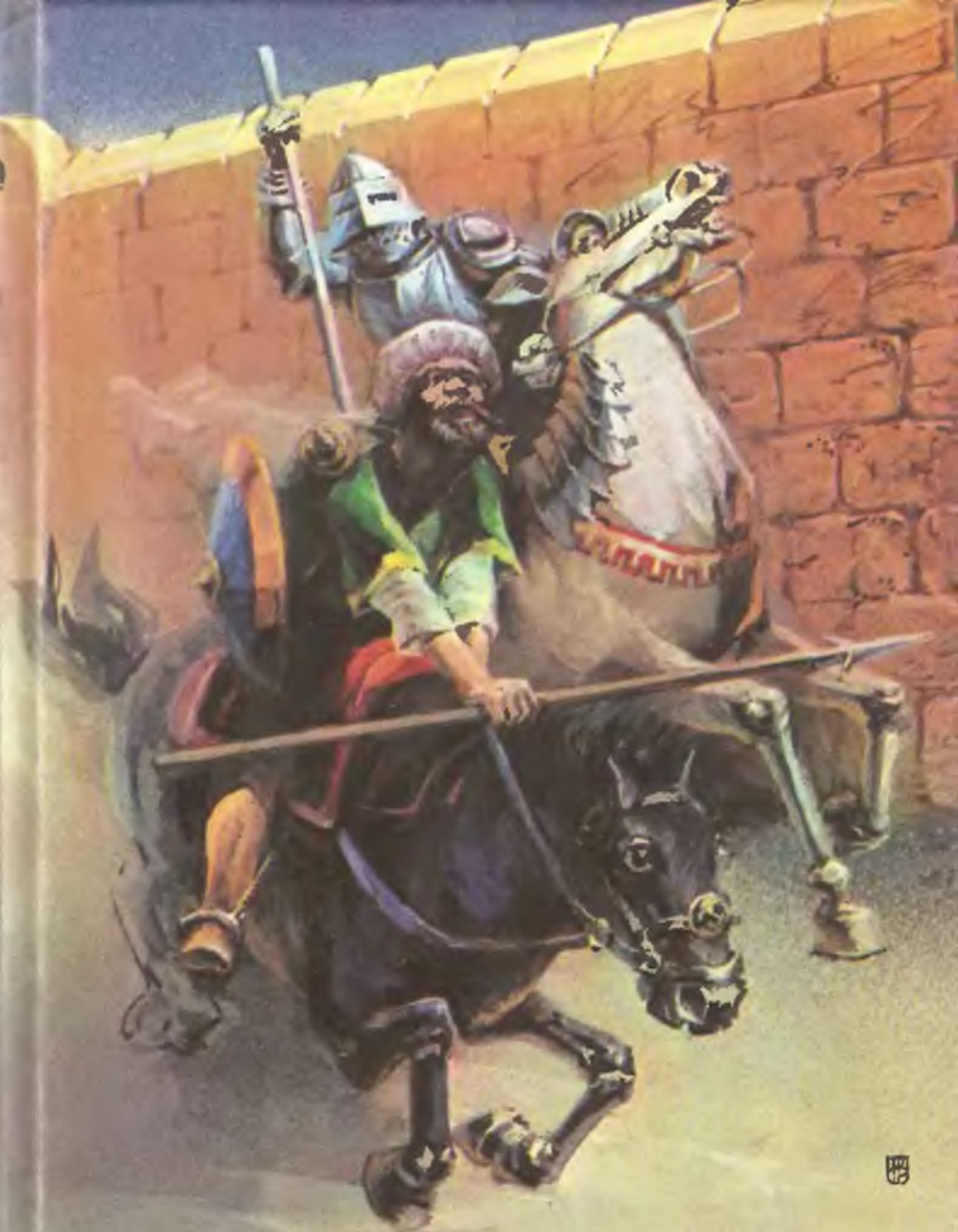




Вальтер Скотт
Граф Роберт Парижский



Искатели Приключений

Вальтер Скотт

Граф

Роберт Парижский

Перевод с английского



Харьков

Филиал «Экспресс»

СП «ИНАРТ»

Фирма

«Титул» ЛТД

1994

ББК 84.4Вл.
С44

Серия «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
основана в 1991 г.

Издание подготовлено при участии
Фирмы «ТИТУЛ» ЛТД

Текст печатается по изданию:

Вальтер Скотт
Собрание сочинений: в 20 т.— М. Л.:
Художественная литература, 1965.— Т. 20

Перевели с английского Б. Т. Грибанов и Н. С. Надеждина

Предлагаемый читателю роман Вальтера Скотта (1771—1832) — создателя жанра современного исторического романа — это увлекательная, преисполненная таинственными загадками и интригами жизнь Византийского двора времен одного из наиболее могущественных императоров Алексея Комнина.

Любовь и ненависть, благородство и предательство, рыцарские турниры и коварные заговоры — ждут читателя в романе «Граф Роберт Парижский», названный именем одного из главных героев.

С 480400000—14 Без объявл.
93

ISBN 5-85882-126-X

© Фирма «Титул» ЛТД
Художественное оформление,
1993 г.

ГЛАВА I

Леонтий

Та сила, что, как вестницу ненастья,
На небеса шлет грозовую тучу,
Веля в гнездо укрыться коноплянке,
На Грецию взирала безучастно
И нам судьбы ничем не предрекла.

Деметрий

О, были сотни предзнаменований:
Попрание законов, слабость власти,
Бунтарство черни, вырожденье знати —
Все признаки больного государства.
В те дни, когда заводит всякий сброд
Речь о правах, каких еще, Леонтий,
Ждать знамений в угоду демагогам,
Что вводят в заблужденье лишь глупцов?

«Ирина», акт I¹

Внимательным наблюдателям за жизнью растительного царства хорошо известно, что хотя отводок от старого дерева по внешнему виду ничуть не отличается от молодого побега, в действительности этот отводок достиг такой же степени зрелости или даже одряхления, как и деревородитель. Этой особенностью, говорят, и объясняется одновременная болезнь и гибель многочисленных деревьев определенной породы, получивших все свои жизненные соки от одного ствола и поэтому не способных пережить его.

Точно так же земные владыки пытаются ценой огромного напряжения сил пересаживать целые поселения, большие города и столицы; основатель такой столицы рассчитывает, что она будет столь же богата, величава, обширна и пышно украшена, как и прежняя, которую он жаждет воссоздать. В то же время он надеется начать новую эру, воздвигнув новую метрополию, которая должна, по его замыслу, не только сравняться долговечностью и славой со своей предшественницей, но, быть может, даже затмить ее юным великолепием. Однако у природы существуют свои законы, равно применимые, надо полагать, и к человеческому обществу и к царству растений. Есть, видимо, общее правило, согласно которому то, чему предназначена долгая жизнь, должно развиваться медленно и улучшаться постепенно; всякая же попытка, какой бы

¹ Стихотворные переводы, кроме особо оговоренных, выполнены В. Васильевым.

грандиозной она ни была, поскорее осуществить задуманное на века, с самого начала обрекает предпринятое дело на преждевременную гибель. В одной прелестной восточной сказке дервиш рассказывает султану, как он ухаживал за великолепными деревьями, среди которых они сейчас гуляют, когда эти деревья были еще слабыми побегами; гордость султана уязвлена, ибо он видит, что рощи, выращенные столь безыскусственно, с каждым днем набирают новые силы, а его собственные истощенные кедры, насильственно вырванные единым усилием из родной почвы, поникли своими царственными кронами в долине Ореца.

Насколько мне известно, все обладающие вкусом люди — кстати, при этом многие из них недавно побывали в Константинополе — сходятся на том, что если бы любому сведущему человеку дали возможность обозреть земной шар и выбрать город, более всего подходящий для столицы мировой империи, он отдал бы предпочтение городу Константина, столь счастливо сочетающему в себе красоту, роскошь, безопасность местоположения и величие. И все-таки, при всех преимуществах расположения и климата, при всем архитектурном блеске церквей и дворцов, при обилии мрамора и сокровищницах, полных золота, даже сам царственный основатель города, должно быть, понимал, что хотя он и может по своему усмотрению распорядиться этими богатствами, но создать замечательные творения искусства и мысли, которые веками потрясают и радуют людей, способен только человеческий разум, развитый и доведенный древними до высшего своего предела. Греческий император мог своей властью разорить другие города и вывезти оттуда статуи и жертвенники, для того чтобы украсить ими новую столицу, но и те люди, которые совершили великие подвиги и те — не менее, может быть, почитаемые, — которые запечатлели эти деяния в поэзии, в живописи, в музыке, давно перестали существовать. Для народа, хоть он и был пока что самым цивилизованным в мире, уже прошел тот период, когда жажда заслуженной славы является единственной или главной причиной, побуждающей трудиться историка или поэта, художника или ваятеля. Принятая в государстве раболепная и деспотическая конституция уже давно полностью разрушила гражданский дух, оживлявший историю свободного Рима; она оставила лишь бледные воспоминания, которые отнюдь не вызывали желания соперничать с нею.

Если представить себе Константинополь в виде оду-

шевленного существа, то следует сказать, что пусть бы даже Константин и сумел возродить свою новую столицу, привив ей жизненно важные и животворные принципы древнего Рима,— Константинополь уже не мог подхватить, как не мог и Рим бросить, эту блистательную искру.

В одном важнейшем отношении состояние столицы Константина совершенно изменилось, и, безусловно, к лучшему. Мир стал теперь христианским и, отказавшись от языческих законов, избавился от гнета позорных суеверий. Нет ни малейшего сомнения и в том, что лучшая вера дала естественные и желанные плоды, понемногу смягчая грубость сердец и украшая страсти народа. Но в то время как многие из обращенных смиренно принимали новое вероучение, кое-кто в своем высокомерии обеднял священное писание собственными домыслами, а другие не упускали случая использовать свою принадлежность к церкви или духовный сан как средство к достижению временной власти. Так и получилось, что в этот критический период результаты великой религиозной перемены в стране, хотя и принесли непосредственные плоды, посеяв множество добрых семян, которые должны были взойти впоследствии, но в четвертом столетии они еще не смогли проявиться настолько, чтобы приобрести господствующее влияние, ожидаемое людьми, в них уверовавшими.

Само убранство Константинополя, его вывезенная из чужих краев роскошь были отмечены некоей печатью старческого увядания. Когда Константин привез в новую столицу древние статуи, картины, обелиски и другие произведения искусства, он тем самым признал, что ничего сравнимого с ними в более поздние времена уже создано не было. Император, ограбивший весь мир, и особенно Рим, для того, чтобы украсить свой город, стал похож на беспутного юнца, который похищает у престарелой родительницы драгоценности и дарит их ветреной любовнице, хотя все видят, как неуместны на ней эти украшения.

Итак, превратившись в 324 году из скромной Византии в императорскую столицу, едва возникший и, повторяем, сверкающий заимствованным блеском, Константинополь уже таил в себе признаки быстрого упадка, к которому незаметно, подчиняясь внутренним причинам, клонился весь цивилизованный мир, ограниченный тогда рамками Римской империи. И потребовалось не так уж много веков, чтобы эти знамения гибели полностью оправдались.

¹ См. у Гиббона, гл. XVIII, о происхождении и первоначальной истории дома Комнинов. (Прим. автора.)

В 1080 году Алексей Комнин¹ взошел на императорский трон, то есть был объявлен властителем Константинополя и всех зависимых от него областей и провинций. Отметим кстати, что, пожелай император вести спокойное существование, ему не следовало бы выезжать из своей столицы, ибо за ее пределами сон его то и дело нарушался бесчинными набегами скифов и венгров. Только в самом городе, видимо, и было безопасно жить: недаром императрица Пульхерия, решив воздвигнуть храм в честь девы Марии, выбрала место для него подальше от городских ворот, чтобы злобные вопли варваров не прерывали возносимых ею молитв. По тем же соображениям неподалеку от этого храма выстроил свой дворец и правящий император.

Алексей Комнин оказался в положении монарха, который скорее расхлебывает последствия того, что его предшественники были богаты, могущественны и владели огромной державой, нежели пользуется остатками этого наследства. Хотя он звался императором, но управлять своими распадающимися провинциями мог не больше, чем издыхающая лошадь может двигать конечностями, на которых уже расселись вороны и ястребы, терзающие добычу.

Всевозможные враги со всех сторон нападали на его владения и то с полным, то с переменным успехом вели с ним войны; многочисленные народы, с которыми он враждовал,— франки на западе, турки, наступающие с востока, бесчисленные орды скифов и половцев, надвигавшиеся с севера и посылавшие тучи стрел, сарацины, вернее племена, на которые они делились, наседавшие с юга,— все они смотрели на Греческую империю как на лакомый кусок. У них у всех были свои собственные способы ведения войны и приемы боя, но римляне, как продолжали называть несчастных подданных Греческой империи, неизменно оказывались куда более слабыми, более неумелыми и трусливыми, чем любой враг, с которым они встречались на поле сражения; император почитал себя счастливым, если ему удавалось вести оборонительную войну, играя на противоречиях и используя диких скифов для того, чтобы отбросить турок, или скифов и турок, чтобы оборониться от неукротимых франков, которых во времена Алексея Петр Пустынник особенно воодушевлял могущественной идеей крестовых походов.

И если Алексей Комнин во время своего беспокойного правления Восточной империей был вынужден вести нече-

стную и коварную политику, если порой, сомневаясь в доблести своих войск, колебался, вступать ли ему в бой, если нередко хитрость и обман заменяли ему мудрость, а вероломство — храбрость, то в этом скорее проявлялись позорные черты эпохи, нежели его личного свойства.

Императора Алексея можно обвинить и в том, что он довел придворный этикет до такой помпезности, которая часто граничила с глупостью. Он любил присваивать себе и даровать другим титулы, о которых оповещали пестро раскрашенные нагрудные знаки, невзирая на то, что эти пожалованные императором звания лишь усиливали презрение свободных варваров к придворной знати. Греческий двор был обрамлен бессмысленными церемониями призванными возместить недостаток благоговейного почтения к государю, которое является данью истинным достоинством и могуществу. Но не Алексей ввел эти церемонии: уже много веков их придерживались все византийские монархи. Действительно, по этому мелочному этикету, устанавливавшему правила поведения в самых обыденных делах на протяжении дня, по количеству глупейших правил Греческая империя не могла сравниться ни с одним государством, за исключением Китайской империи: обе они, бесспорно, находились под влиянием одного и того же суетного стремления — придать достойный вид и облик значительности тому, что по самой своей природе было весьма незначительно.

Но и тут мы должны оправдать Алексея, ибо хотя уловки, к которым он прибегал, были довольно низменными, все же они приносили его империи больше пользы, чем меры, к которым мог бы обратиться в подобных обстоятельствах более гордый и мужественный государь. Алексей, конечно, не стал бы мериться силами в поединке со своим франкским соперником, прославленным Боэмундом Антиохийским¹, однако ему не раз доводилось сознательно рисковать жизнью; досконально изучив его деяния, нельзя не прийти к выводу, что особенно опасным этот греческий император становился в тех случаях, когда враги пытались задержать его во время отступления после стычки, в которой он был побежден.

¹ Боэмунд, сын Роберта Гискара, норманский покоритель Апулии, Калабрии и Сицилии, к началу Первого крестового похода имел титул графа Тарентского. Он был уже не молод, но охотно присоединился к походу латинян и стал князем Антиохийским. О подробностях его походов, о его смерти, а также о его необыкновенном нраве рассказывается у Гиббона, гл. LIX, и в «Истории крестовых походов» Миллса, т. I. (Прим. автора.)

Мало того, что Алексей, в соответствии с обычаями того времени, не колеблясь подвергал себя иной раз опасностям рукопашной схватки,— он еще обладал таким знанием военного дела, какое считалось бы достаточным и в наши дни. Он знал, как с наибольшей выгодой занять боевые позиции, и порою с подлинным искусством умел скрыть свое поражение или ловко использовать сомнительный исход боя, к глубокому разочарованию тех, кто полагал, что война ведется только на поле сражения.

Хорошо разбираясь в способах ведения войны, Алексей Комнин был еще более искусен в вопросах политики; не ограничиваясь только целью переговоров, которые он вел в данный момент, умея заглядывать далеко вперед, император уверенно добивался важных и прочных преимуществ; тем не менее нередко ему приходилось и проигрывать из-за беззастенчивого коварства или откровенного предательства со стороны варваров, как обычно именовали греки все остальные нации, в особенности же со стороны племен (их никак нельзя назвать государствами), окружавших его империю.

Мы можем завершить нашу краткую характеристику Комнина, сказав, что, не будь он вынужден непрерывно держать всех в страхе, чтобы уберечься от бесчисленных заговоров как в своей собственной семье, так и за ее пределами, он, по всей вероятности, был бы исполненным доброй воли и гуманным государем. Бесспорно, что он проявил себя человеком добродушным и реже рубил головы и выкалывал глаза, чем его предшественники, которые, в основном, прибегали именно к этому способу борьбы с честолюбивыми происками соперников.

Остается еще упомянуть, что, полностью разделяя предрассудки той эпохи, Алексей лицемерно скрывал свое суеверие. Утверждают даже, что его супруга Ирина, которая, конечно, лучше других знала подлинный характер императора, обвинила своего умирающего супруга в том, что и на ложе смерти он прибегает к обману — постоянному спутнику своей жизни. Алексей с глубоким интересом относился ко всем вопросам, связанным с церковью, и всегда боялся, что в ней возобладают ереси, которые он ненавидел — или делал вид, что ненавидит. Мы не находим в его отношении к манихеям или к павликианам того сострадания к их теоретическим ошибкам, которого, по современным представлениям, вполне заслуживали эти несчастные секты размахом своей полезной мирской деятельности. Император не знал снисхождения к тем, кто неверно истолковывал таинства церкви или ее учение,

и был убежден, что защита религии от раскола — такой же непреложный его долг, как и защита империи от бесчисленных варварских племен, нападавших на ее границы.

Здравый смысл в сочетании с нравственной слабостью, низость в сочетании с величием, благоразумная расчетливость в сочетании с малодушием, доходившим, по крайней мере с точки зрения европейцев, до прямой трусости, — такова была основа характера Алексея Комнина, а жил он в тот век, когда на чаше весов колебалась судьба Греции и всего, что еще уцелело от ее культуры и искусства, когда их спасение или гибель зависели от способности императора распорядиться картами, которые были ему сданы в этой нелегкой игре.

Мы вкратце изложили эти наиболее существенные обстоятельства для того, чтобы читатель, достаточно сведущий в истории, вспомнил особенности эпохи, избранной нами в качестве фундамента для нижеследующей повести.

ГЛАВА II

Офий

Наследница властителя земли,
Как ты зовешь хвастливо этот город,
Стоит одна в веках, как в океане,—
Большой страны последний островок:
Он грозной бездной не был поглощен
И, уцелев по милости природы,
Громадами подъятых в небо скал
Безбрежную пустыню озирает
В величье одиноком.

«Константин Палеолог», сц. 1

Перенесемся сперва в то место столицы Восточной империи, которое именуется Золотыми воротами Константинополя, и, кстати, отметим, что этот пышный эпитет выбран не так уж опрометчиво, как можно было бы ожидать от греков с их пристрастием к напыщенным восхвалениям самих себя, своей архитектуры и своих памятников.

Феодосий, прозванный Великим, значительно перестроил и укрепил мощные, на вид неприступные стены, которыми Константин окружил город. Триумфальная арка, сооруженная в былые, лучшие, хотя и отмеченные уже печатью вырождения времена, служила одновременно воротами, открывающими путникам вход в город. Над ее сводом высилась бронзовая статуя, олицетворяющая богиню Победы, которая склоняла чашу весов в пользу Феодосия; поскольку зодчий решил возместить недостаток вкуса роскошью, все надписи были окружены золоченым орнаментом; из-за этого орнамента ворота и получили в народе название Золотых. Статуи, изваянные в далекую и благодатную эпоху, смотрели со стен, отнюдь не составляя удачного сочетания с их архитектурой. Более поздние по времени украшения Золотых ворот странно противоречили в ту пору, о которой мы рассказываем, льстивым надписям, гласившим, что благодаря мечу Феодосия «победа вернулась в этот город» и наступил «вечный мир»: на арке было установлено несколько орудий для метания крупных дротиков, и, таким образом, это чисто декоративное сооружение оказалось приспособленным для нужд обороны.

Был вечерний час, и свежий ветерок, дувший с моря, располагал прохожих, если только они не слишком торопились по своим делам, замедлить шаг и полюбоваться удивительными воротами, красивыми видами природы и разнообразными произведениями искусства, которые предлагал Константинополь и своим обитателям и приезжим.

Один человек, во всяком случае, проявлял ко всему

этому больше интереса и любопытства, чем следовало ожидать от местного уроженца; быстрые удивленные взгляды, которые он бросал на окружавшие его редкости, говорили о том, что воображение его поражено новым и необычным зрелищем. Внешность этого человека выдавала в нем иноземца и воина: какая бы случайность ни занесла его в настоящее время к Золотым воротам, какую бы службу ни нес он при императорском дворе, если судить по цвету лица и волос, родина его находилась далеко от греческой столицы.

Ему было года двадцать два, и он отличался великолепным атлетическим сложением — качеством, в котором понимали толк жители Константинополя, частенько посещавшие гимнастические игры, где и научились ценить прекрасное человеческое тело, ибо среди их сограждан встречались несравненные образцы рода людского.

Впрочем, греки редко бывали так высоки ростом, как этот чужеземец у Золотых ворот; его зоркие голубые глаза и белокурые волосы, которые выбивались из-под легкого, изящно отделанного серебром шлема, украшенного гребнем в виде дракона, раскрывающего свою ужасную пасть, а также очень светлая кожа свидетельствовали о том, что он уроженец севера. Несмотря на редкостную красоту лица и фигуры, его никак нельзя было упрекнуть в женственности. От этого юношу спасали физическая сила и та спокойная уверенность в себе, с какой он смотрел на окружавшие его чудеса: глаза незнакомца выражали не бессмысленную растерянность тупицы и невежды, напротив того — в них сверкал смелый ум, который, схватывая многое на лету, старается разобраться, во всем, что было им не понято или, быть может, понято неправильно. Этот острый, светившийся мыслью взгляд привлекал внимание к молодому варвару, и прохожие, удивляясь тому, что дикий из какого-то неведомого или отдаленного уголка земли обладает столь благородной внешностью, говорящей о его высоком уме, в то же время испытывали к нему уважение за то самообладание, с которым он относился к новым обычаям и обстановке, к предметам роскоши, чье назначение было ему совершенно неведомо.

Одежда молодого человека, представляла собой удивительную смесь воинственного великолепия с женственной изысканностью, давала возможность опытному наблюдателю определить его национальность и род службы. Мы уже упоминали о причудливом шлеме с гребнем, изобличавшем в юноше чужеземца; пусть читатель добавит еще в своем воображении небольшую кирасу, или серебряный

нагрудник, настолько узкий, что он явно не мог прикрыть такую широкую грудь и, следовательно, служил скорее украшением, нежели защитой; более того — попади точно брошенный дротик или стрела с острым наконечником прямо в эту богато разукрашенную кирасу, они и в этом случае вряд ли уберегла бы молодого воина от раны.

С его плеч на спину спадало нечто, напоминавшее медвежью шкуру; лишь при самом пристальном разглядывании обнаруживалось, что это отнюдь не охотничий трофей, а лишь подделка под него — короткий плащ, вытканый из толстого мохнатого шелка, и притом столь искусно, что даже на близком расстоянии ткань была похожа на шкуру медведя. На левом боку у чужестранца висела легкая кривая сабля в украшенных золотом и слоновой костью ножнах; чеканный эфес сабли был слишком мал для широкой руки этого так пышно разодетого молодого Геракла. Пурпурная одежда, плотно облегавшая тело, доходила только до колен, оставляя ноги солдата голыми, а от ступней до икр шли переплетенные ремни сандалий, скрепленные вместо пряжки золотой монетой с изображением царствующего императора.

Куда больше подходило к росту молодого варвара другое оружие, с которым не сумел бы справиться человек менее могучего сложения — алебарда с древком из крепкого вяза, отделанным железом и медью; многочисленные накладки и кольца прочно скрепляли сталь с деревом. Алебарда имела два широких, обращенных в разные стороны лезвия, между которыми торчал острый наконечник. Стальные ее части — лезвия и наконечник — были отполированы до зеркального блеска. Кому-нибудь послабее эта огромная алебарда была бы обременительна, но молодой воин нес ее как пушинку. Впрочем, этим тщательно сделанным и отлично уравновешенным орудием было гораздо легче наносить и отражать удары, чем казалось постороннему зрителю.

Уже то обстоятельство, что воин имел при себе алебарду и саблю, говорило о его иноземном происхождении. Греки, как народ просвещенный, никогда не носили в мирное время оружия, за исключением тех, от кого их воинский долг и звание требовали, чтобы они всегда были вооружены. Этих воинов без труда можно было отличить от мирных граждан, и прохожие со страхом и неприязнью говорили друг другу о чужеземце, что он варяг: так называли варваров, служивших в личной охране императора.

Чтобы возместить недостаток доблести среди своих собственных подданных и обеспечить себя воинами, цели-

ком зависящими от милости императора, греческие государи издавна держали в качестве телохранителей отборную гвардию наемников. Эти наемники, отличавшиеся железной дисциплиной, нерушимой преданностью, физической силой и неукротимой отвагой, были достаточно многочисленны не только для того, чтобы предотвратить любое предательское покушение на особу императора, но и для того, чтобы подавить открытый мятеж, если, конечно, в нем не принимали участие крупные вооруженные силы. Жалованье они получали щедрое, а их положение и утвердившаяся репутация смельчаков обеспечивали немалое уважение со стороны народа, мужество которого в последние несколько веков оценивалось не слишком высоко; будучи чужеземцами и служа в привилегированном воинском отряде, варяги не раз принимали участие в насильственных действиях против населения, и греки, питая к ним неприязнь, в то же время так их боялись, что храбрых чужеземцев мало трогало, любят их или нет жители Константинополя. Их парадное снаряжение отличалось, как мы уже говорили, богатством, вернее — кричащей роскошью, и только отдаленно напоминало одежду и оружие, которое они носили когда-то в своих родных лесах. Но когда воины этой гвардии несли службу за городом, они снаряжались так, как привыкли на родине; в этом снаряжении, не столь роскошном, но куда более устрашающем, они и выходили на поле боя.

Варяжская гвардия (согласно одному толкованию, слово «варяг» употреблялось как общее понятие «варвар») была создана в ранний период существования империи из жителей северных стран, занимавшихся мореплаванием и пиратством; в неведомые моря их увлекала безмерная страсть к приключениям и небывалое еще в истории презрение к опасностям. «Пиратство,— отмечает с обычной для него выразительностью Гиббон,— было для скандинавских юношей гимнастикой, ремеслом, источником славы и доблестью. Наскучив суровым климатом и тесными границами своей родины, они вставали из-за пиршественного стола, хватали оружие, трубили в рог, поднимались на корабли и уплывали на поиски земель, где можно было чем-нибудь пожить или надолго обосноваться».

Победы, одержанные во Франции и Англии этими дикими «владыками морей», как их тогда называли, затмили воспоминания о других северных завоевателях, которые, задолго до эпохи Комнинов, достигали Константинополя и собственными глазами убеждались в богатстве и слабости Греческой империи. Одни из них прокладывали

себе путь через неведомые просторы России, другие плавали по Средиземному морю на «морских змеях», как именовали они свои пиратские корабли. Императоры, насмерть перепуганные появлением этих бесстрашных жителей ледяного севера, прибегали к обычной политике богатого и не любящего войны народа: оплачивая золотом услуги их мечей, они составляли себе, таким образом, личную гвардию, более отважную, чем прославленная преторианская гвардия в Риме, и, вероятно, в силу меньшей численности, более преданную своим новым государям.

Однако в позднейший период императорам стало труднее отыскивать солдат для своей любимой отборной гвардии, ибо северные народы в значительной степени отказались от пиратских набегов и странствий, которые влекли их предков от Эльсинорского пролива в проливы Сеста и Абидоса. Поэтому варяжские отряды либо вовсе исчезли бы, либо пополнились менее ценным человеческим материалом, если бы завоевания норманнов на далеком западе не пришли на помощь Комнину, вызвав приток в его гвардию изгнанников, покинувших Британские острова и, в частности, Англию. Это были англосаксы, но благодаря путаным географическим представлениям, царившим при константинопольском дворе, их стали называть англо-датчанами, ибо их родину смешивали с Туле; в античные времена под этим названием разумели, собственно Зееландские и Оркнейский архипелаги, но, по представлению греков, туда же входили и Дания и Британия. Действительно, язык, на котором говорили эти люди, не многим отличался от языка настоящих варягов, и они тем охотнее приняли это название, что оно напоминало им об их горестной судьбе, поскольку слово «варяг» могло истолковываться и как «изгнанник». Не считая одного-двух высших начальников-греков, которым император в виде исключения доверял, командирами варягов были люди той же национальности, что они сами; благодаря своим многочисленным привилегиям, а также все время вливавшимся в их отряд свежим силам из числа англосаксов, или англо-датчан, прибывавших на восток в качестве крестоносцев, пилигримов или переселенцев, варяжские отряды просуществовали до последних дней Греческой империи, сохраняя свое значение и свой родной язык вместе с безусловной верностью и непоколебимым боевым духом, отличавшими их отцов.

Все эти сведения о варягах являются строго историческими и могут быть подтверждены ссылками на византийских историков, большинство которых, как и Виллардуен в своем описании взятия Константинополя франками и ве-

нецианцами, неоднократно упоминало об этом избранном и единственном в своем роде отряде англичан, составлявших наемную охранную гвардию при греческих императорах¹.

Теперь, объяснив, каким образом наш варяг мог очутиться у Золотых ворот, мы продолжим прерванный рассказ.

Вряд ли приходится удивляться тому, что прохожие посматривали на этого воина императорской гвардии с некоторой долей любопытства. Варяги несли такого рода службу, что, разумеется, начальники не поощряли их к частому общению с местным населением, да они и сами понимали, что полицейские обязанности, которые им приходилось выполнять, внушают скорее страх, чем приязнь; знали они и о той зависти, с какой воины других отрядов относились к их высокому жалованью, роскошному снаряжению и непосредственной близости к императору. Поэтому они обычно держались поближе к своим казармам и показывались в других частях города, только если им давали какое-нибудь важное поручение.

При таком положении дел понятно, что столь любопытные люди, как греки, с интересом глазели на чужеземца, который то останавливался, то ходил взад и вперед, словно человек, который не может разыскать нужное ему место или не встретил знакомого, назначившего ему свидание. Изобретательные горожане придумывали по этому поводу тысячи всевозможных и самых противоречивых толкований.

— Смотри; да ведь это варяг,— заметил один прохожий другому,— и не иначе как по делам службы.

Позволь сказать тебе кое-что на ухо...

— А как ты думаешь, зачем он здесь? — полюбопытствовал его собеседник.

— О боги и богини! Неужели ты полагаешь, что я могу ответить на этот вопрос? Может, он подслушивает, что люди говорят об императоре,— отозвался константинопольский болтун.

— Вряд ли,— заявил вопрошавший.— Эти варяги объясняются только на своем наречии и, следовательно, не годятся для роли шпионов; ведь большинство из них не знает ни слова по-гречески. Нет, нет, не думаю, чтобы

¹ Дюканж излил поток учености по поводу этого необыкновенного предмета, упомянутого им в «Заметках Виллардуена о Константинополе при французских императорах», Париж, 1637, in folio, стр. 196. Можно справиться и в «Истории» Гиббона, т. X, стр. 231. (Прим. автора.)

император держал в качестве соглядатая человека, не понимающего здешнего языка.

— Но если правда, как утверждают люди, что среди этих варваров есть такие, которые знают множество языков, то, согласишься, они замечательно подходят для того, чтобы высматривать и подслушивать; у них есть все данные, необходимые для шпионов, и никому в голову не придет заподозрить их,— настаивал любитель политических сплетен.

— Все может быть,— ответил его собеседник,— и раз уж мы так ясно разглядели лисьи лапы и когти, выглядывающие из-под овечьей — или, если позволишь, скорее из-под медвежьей — шкуры, то не лучше ли нам потихоньку отправиться по домам, пока нас с тобой не обвинили в оскорблении варяжской гвардии?

Опасение, высказанное вторым собеседником, который был постарше и поискушеннее в делах политики, чем его приятель, заставило обоих спешно ретироваться. Они плотнее запахнули плащи, взялись под руки и, возбужденными шепотом обмениваясь тревожными сведениями, поспешили к своим домам, расположенным в другом, дальнем конце города.

Тем временем солнце склонялось к западу, и тени от стен, башен и арок становились темнее и гуще. Варягу, видимо, надоело разгуливать по маленькому кругу, в пределах которого он топтался уже больше часа, словно дух, обреченный витать в заколдованном месте, откуда ему не выбраться, пока не будут разрушены чары. Наконец, бросив нетерпеливый взгляд на солнце, которое в яркой короне лучей садилось за купу густо разросшихся кипарисов, варвар выбрал себе место на одной из каменных скамеек, расположенных в тени триумфальной арки Феодосия, положил под бок главное свое оружие — алебарду, укрылся плащом, и, хотя одеяние его так же мало было приспособлено для сна, как ложе, избранное им для отдыха, не прошло и трех минут, как он крепко уснул. Быть может, непреодолимое желание отдохнуть, заставившее его расположиться в столь неподходящем месте, было вызвано длительным стоянием в карауле прошлой ночью. Однако, даже погрузившись в сон, он оставался настороже, словно бодрствуя с закрытыми глазами, и можно сказать, что ни одна сторожевая собака не спит так чутко, как спал наш англосакс у Золотых ворот Константинополя.

Но незнакомец, и спящий, привлекал к себе не меньше внимания случайных прохожих, чем прежде, когда он

слонялся без дела. Под аркой появилось двое. Один из них, по имени Лисимах, тщедушный, подвижный человек, был художником. Все его профессиональное снаряжение состояло из свитка бумаги, который он держал в руке, и мешочка с несколькими мелками и карандашами; будучи знаком с памятниками античного искусства; он разглагольствовал о нем весьма авторитетным тоном, хотя, к сожалению, этот тон далеко не оправдывался его собственным мастерством. Его спутник напоминал отличным сложением молодого варвара, о котором уже шла речь, но черты лица у него были куда более грубые и жесткие; это был хорошо известный в палестре борец по имени Стефан.

— Постоим здесь, мой друг,— обратился к своему спутнику художник, доставая карандаши,— я хочу сделать набросок с этого юного Геракла.

— Я всегда считал, что Геракл был грек,— возразил ему борец,— а это спящее животное — варвар.

В голосе его прозвучала некоторая обида, и художник поторопился смягчить недовольство своего друга, которое он, сам того не желая, вызвал. Стефан, известный под прозвищем Кастор, славился как превосходный гимнаст и в какой-то мере покровительствовал маленькому художнику; видимо, благодаря его известности не остался незамеченным и талант его друга.

— Красота и сила,— ответил находчивый художник,— не имеют национальности, и пусть наша муза откажет мне в своей благосклонности, но я наслаждаюсь, сравнивая их проявления у нецивилизованного северного дикаря и у любимого сына просвещенного народа, у человека, который сумел к своим выдающимся природным данным присоединить искусство гимнастической школы; такое сочетание мы видим теперь только в работах Фидия и Праксителя или в нашем живом образце, воскрешающем античный идеал гимнаста.

— Нет, я признаю, что этот варвар хорошо сложен,— сказал несколько смягчившись, атлет,— только бедный дикарь, вероятно, ни разу в жизни не растер себе грудь даже каплей масла. Геракл же учредил Истмийские игры...

— погоди,— прервал его художник.— Что это он прижимает к себе под своей медвежьей шкурой даже во сне? Уж не дубинка ли это?

— Прочь, прочь отсюда, мой друг! — воскликнул Стефан, приглядевшись к спящему.— Разве ты не видишь, что это варварское оружие? Они ведь сражаются не мечом или копьем, как принято сражаться с людьми из плоти и крови, а молотом и топором, точно им предстоит рубить тела из

камня и мышцы из дуба. Я готов прозакладывать свой венок — увы, из увядшей петрушки, — что он здесь для того, чтобы арестовать какого-нибудь высокопоставленного военачальника, оскорбившего власть. Иначе зачем ему быть столь грозно вооруженным... Прочь, прочь отсюда, мой добрый Лисимах, будем уважать сон этого медведя.

С этими словами чемпион палестры поторопился скрыться, проявив гораздо меньше уверенности в себе, чем можно было ожидать при его росте и силе.

Наступал вечер, тени кипарисов становились все гуще, прохожие попадались все реже и шли не останавливаясь. Две женщины-простолюдинки обратили внимание на спящего.

— Святая Мария! — сказала одна из них. — Он точь-в-точь как тот храбрый принц из восточной сказки, которого джин унес из свадебных покоев в Египте и спящего бросил у ворот Дамаска. Разбужу-ка я этого бедного ягненка, а не то он простудится от ночной росы.

— Простудится? — отозвалась вторая, на вид постарше, с озлобленным лицом. — Роса причинит ему не больше вреда, чем холодная вода Кидна дикому лебедю. Ягненок! Ты уж скажешь! Да это скорее волк, или медведь, или на худой конец варяг, и ни одна порядочная женщина не станет разговаривать с таким неотесанным варваром. Вот я тебе расскажу, что со мной сделал один из этих англо-датчан...

И она увлекла свою подругу, которая последовала за ней с явной неохотой, делая вид, что слушает ее болтовню, про при этом все время оглядываясь на спящего.

Солнце зашло, и сумерки, которые в тропических странах столь коротки — одна из немногих привилегий стран с более умеренным климатом как раз в том и состоит, что там этот нежный и спокойный свет дольше не гаснет, — уступили место темноте; это послужило сигналом для городской стражи запереть створчатые половины Золотых ворот и закрыть на засов калитку, через которую попадали теперь в город те, кого дела допоздна задержали за стенами Константинополя и, уж само собой разумеется, кто готов был расплатиться какой-нибудь мелкой монетой. Варяг, распростертый на скамье и, видимо, спящий непробудным сном, не мог не привлечь внимания охраны ворот, где нес службу сильный отряд регулярных греческих войск.

— Клянусь Кастором и Поллуксом! — воскликнул центурион — ибо греки по-прежнему клялись именами античных богов и героев, хотя уже не поклонялись им, точно так же, впрочем, как они сохраняли воинские звания, суще-

ствовавшие еще в те времена, когда «непоколебимые римляне сотрясали мир», хотя давно уже переродились и забыли свои древние доблести.— Клянусь Кастором и Поллуксом, друзья, хотя эти ворота называются Золотыми, золота они нам не приносят, но мы сами будем виноваты, если не сумеем собрать добрую жатву серебром. Золотой век был самый древний и славный, не спорю, однако в наше ничтожное время не так уж плохо, если нам блеснет и менее благородный металл.

— Мы не заслуживали бы чести служить под командованием благородного центуриона Гарпакса,— отозвался один из стражников, мусульманин, судя по бритой голове и единственному пучку волос на макушке,— если бы не считали серебро достойным того, чтобы побеспокоить себя ради него, коли уж невозможно разжиться золотом: мы и цвет-то его позабыли — столько месяцев нам ничего не перепало ни от казны, ни от прохожих.

— А то серебро, о котором я говорю, ты увидишь собственными глазами и услышишь, как оно звенит, падая в мешок, где хранится наша общая казна.

— Ты хочешь сказать, доблестный начальник, где когда-то хранилась, ибо, насколько я знаю, сейчас в этом мешке нет ничего, кроме нескольких жалких оболков, на которые можно купить только маринованных овощей да соленой рыбы — надо же чем-нибудь закусить виноградное пойло, что нам выдают. Я готов уступить свою долю дьяволу, если кто-нибудь обнаружит в этом мешке или на блюде признаки века более богатого, нежели бронзовый.

— Будь у нас еще меньше звонкой монеты,— ответил центурион,— все равно я пополню нашу казну. А ну-ка, подойдите ближе к калитке. Не забудьте, мы императорская стража, или стража императорской столицы,— это одно и то же, так что не зевайте, пусть никто не проскользнет мимо нас незамеченным. А теперь, когда каждый из вас смотрит в оба, я объясню вам... Впрочем, одну минуту...— прервал свою речь доблестный центурион.— Все ли здесь стоят один за другого? Все ли знают старинный и похвальный обычай городской стражи — сохранять в тайне все, что касается прибылей и дел нашего поста, помогать и поддерживать друг друга, ничего не разбалтывать и никого не предавать?

— Ты сегодня что-то слишком подозрителен,— ответил ему стражник.— Мне кажется, мы поддерживали тебя и не болтали языком в делах посерьезнее. Забыл ты, что ли, как здесь проходил торговец драгоценными камнями?.. Это

был не золотой и не серебряный век, а самый что ни на есть алмазный...

— Помолчи, Измаил, мой добрый язычник,— прервал его центурион.— Кстати сказать, слава богу, что у всех у нас разная вера — надо надеяться, хоть одна истинная среди них да найдется. Так вот, помолчи, говорю я, зачем разбалтывать старые тайны в доказательство того, что ты умеешь хранить новые. Иди сюда и посмотри сквозь калитку на каменную скамью вон там, в тени большого портика. Скажи-ка мне, старина, что ты там видишь?

— Спящего человека,— ответил Измаил.— И, клянусь небом, насколько я могу разобрать при свете луны, это один из тех варваров, заморских псов, которых в таком множестве набрал себе император.

— И ты, умная голова, видишь, что он спит, и не можешь придумать, как выгоднее воспользоваться этим?

— Почему не могу? — возразил Измаил.— Хотя они не только варвары, а еще и языческие псы, но, в отличие от нас, мусульман, и от назареев, им платят очень хорошо. Этот малый напился и не смог вовремя найти дорогу к своим казармам. Его ждет жестокое наказание, если мы не согласимся пропустить его, а чтобы уговорить нас, ему придется опустошить свой пояс.

— Да, это уж по меньшей мере,— поддержали его остальные стражники, стараясь говорить потише, хотя в голосах их звучало нетерпение.

— И это все, что вы собираетесь извлечь из такого случая? — с презрением спросил Гарпакс.— Нет, друзья, если этот чужеземный зверь спасется от нас, то по крайней мере он должен оставить нам свою шерсть. Неужто вы не видите, как сверкают его шлем и нагрудник? Заранее могу сказать, что они из настоящего серебра, хотя, может быть, и из тонкого. Вот они, серебряные копи, о которых я говорил, и они обогатят ловкие руки, способные поработать.

— Но ведь этот варвар, как ты его называешь,— воин императора,— несмело произнес молодой грек, недавно вступивший в отряд и незнакомый еще с его обычаями.— Если нас уличат в том, что мы отобрали у него оружие, то по заслугам накажут, как военных преступников.

— Нет, вы только послушайте, как этот новый Ликург учит нас нашему долгу! — воскликнул центурион.— Запомни, мальчишка, что, во-первых, столичная стража не может совершить преступление, а во-вторых, никто не может уличить ее в этом. Представь себе, что нам попался отбившийся от своих варвар, варяг, вроде этого спящего, или франк, или какой другой из этих иноземцев, чье имя

и произнести-то невозможно, хотя, к стыду нашему, они вооружены и одеты, словно истые римские воины; так неужели же мы, кому доверено защищать столь важный пост, пропустим такого подозрительного человека, который, возможно, злоумышляет против Золотых ворот и золотых сердец, охраняющих их,— ведь ворота могут захватить, а нам попросту перерезать глотки?

— Если он кажется вам опасным человеком,— ответил новичок,— не пропускайте его совсем. Что касается меня, то я не стал бы его бояться, не будь при нем этой огромной обоюдоострой алебарды, поблескивающей из-под его плаща куда более страшно, чем комета, которая предвещает, по словам астрологов, такие удивительные события.

— Ну вот, выходит, мы во всем и согласны,— сказал Гарпакс,— сейчас ты говоришь как скромный и толковый юноша. Можешь мне поверить, государство ничего не потеряет, если кто-нибудь ограбит этого дикаря. У каждого из них есть доспехи, украшенные золотом, серебром, инкрустациями и костью, как подобает тем, кто несет службу во дворце самого императора, и, кроме того, есть боевое снаряжение из трижды закаленной стали, прочное, тяжелое, перед которым нельзя устоять. Если мы отберем у этого подозрительного молодчика серебряный шлем и кирасу, мы тем самым заставим его облачиться в подходящие ему доспехи, и ты увидишь, что он пойдет в бой с тем оружием, какое ему пристало.

— Так-то оно так,— возразил новичок,— только из твоих рассуждений выходит, что, мол, сегодня мы вправе отнять у него снаряжение, но если завтра варяг докажет, что он человек не подозрительный, нам придется все вернуть, да еще поклониться при этом. А у меня есть такая мыслишка, что неплохо бы отобрать у него все это насовсем, в наше общее пользование, только вот не знаю, как это сделать.

— Конечно, надо отобрать насовсем,— сказал Гарпакс,— ибо еще со времен замечательного центуриона Сизифа установлено правило, по которому всякая контрабанда, всякая контрабанда, всякое недозволенное оружие и прочие подозрительные товары, что пытаются пронести в город ночью, поступают в пользу воинов стражи; а уж если император решит, что товары или оружие отобраны незаконно, то, надо думать, он достаточно богат, чтобы возместить их стоимость потерпевшему.

— И все-таки, все-таки,— сказал упомянутый молодой грек, по имени Себаст из Митилены,— если император узнает...

— Ты просто осел! — воскликнул Гарпакс. — Не может он узнать, будь у него столько глаз, сколько у Аргуса на хвосте. Нас здесь двенадцать человек, и, как испокон веков заведено у городской стражи, все мы дали клятву не подводить друг друга. Допустим, этот варвар, даже если он что-нибудь вспомнит — в чем я очень сомневаюсь, так как место, выбранное им для отдыха, говорит о его давнишней дружбе с кувшином вина, — и станет рассказывать невероятную историю о том, как он потерял оружие, а мы, друзья мои, — при этом центурион оглядел своих соратников, — будем упорно все отрицать — я полагаю, на это у нас хватит храбрости, — то кому поверят? Конечно, страже!

— Вот уж нет! — ответил Себаст. — Я родился далеко отсюда, но даже до острова Митилены доходили слухи, будто воины городской стражи Константинополя достигли такого совершенства во лжи, что клятва одного варвара перевесит клятвы целого отряда христиан, тем более, что в нем не одни христиане, — например, этот смуглый с пучком волос на голове.

— Даже если так, — сказал с мрачным и зловещим видом центурион, есть другой способ отнять у него оружие и при этом не попасться.

Глядя в упор на своего командира, Себаст дотронулся до висевшего у него сбоку восточного кинжала, словно спрашивая, правильно ли он понял. Центурион кивнул головой в знак согласия.

— Хоть я и молод, — сказал Себаст, — но мне уже довелось пять лет быть морским пиратом, а потом в течение трех лет заниматься грабежом в горах, и я ни разу не слышал, чтобы в подобных случаях, когда нужно действовать не мешкая, мужчина побоялся принять решение, единственно достойное храброго человека.

Гарпакс пожал стражнику руку в знак того, что разделяет его решимость, но, когда он заговорил, голос его слегка дрожал.

— Как же мы с ним поступим? — спросил он Себаста, который, хотя и был самым младшим среди стражников, поднялся в его глазах на недостижимую высоту.

— Да как угодно, — отозвался митиленец, — вон лежат луки и стрелы, и если никто, кроме меня, не умеет обращаться с ними...

— У нас, — сказал центурион, — это оружие не в ходу.

— Нечего сказать, хорошие вы стражи! — Молодой воин разразился грубым хохотом, в котором было что-то оскорбительное. — Что ж, пусть будет так. Я стреляю не

хуже скифа,— продолжал он,— только кивните мне, и первой же стрелой я пробью ему череп, а вторую всажу в сердце.

— Браво, мой благородный друг! — сказал Гарпакс с притворным восхищением, однако приглушив голос, словно уважая сон варяга.— Таковы были разбойники древности, все эти Диомеды, Коринеты, Синны, Скироны, Прокрусты, и понадобились полубоги, чтобы совершить над ними то, что столь ошибочно называют правосудием. Их потомки, равные им по смелости, останутся хозяевами на материке и островах Греции, пока на земле вновь не появятся Гераклы и Тесеи. И все-таки стрелять не надо, мой доблестный Себаст, здесь надо действовать наверняка, мой бесценный митиленец: ведь ты можешь только ранить его, а не убить.

— Этого я и сам не хотел бы,— сказал Себаст, вновь раздражаясь грубым, кудахтающим смехом, который начал раздражать центуриона, хотя вряд ли он мог объяснить, почему этот смех так ему неприятен.

«Если я не позабочусь о себе,— подумал он,— так, пожалуй, у нас в отряде окажутся два центуриона вместо одного. Этот митиленец — или кто он там, дьявол его знает,— легко меня обскачет. За ним нужен глаз да глаз». Вслух же он властно сказал:

— Ну что ж, действуй, молодой человек; нехорошо осаживать начинающего. Если ты не врешь и действительно был разбойником в лесах и на море, так сам знаешь, что нужно делать, дабы не оставлять следов: вон лежит варяг, пьяный или спящий — этого уж мы не знаем, да оно и неважно, ибо ты должен расправиться с ним в любом случае.

— Значит, ты предоставляешь мне заколоть спящего или пьяного человека, высокоблагородный центурион? — спросил грек.— Может, тебе самому хочется заняться этим? — продолжал он с иронией в голосе.

— Делай что приказано, приятель,— буркнул Гарпакс, показывая ему на лесенку внутри башни, которая вела со стены к сводчатому входу под портиком.

— До чего бесшумно движется, прямо как кошка,— пробормотал он, когда стражник стал спускаться, чтобы совершить преступление, которое центурион по долгу службы обязан был предотвратить.— Этому петушку пора отрезать гребешок, не то он станет править в нашем курятнике. Посмотрим, какая у него рука — такая же решительная, как язык, или нет, а тогда будет ясно, что с ним делать.

Пока Гарпакс бормотал сквозь зубы, обращаясь скорее к самому себе, чем к кому-либо из своих подчиненных, митиленец показался из-под арки и на цыпочках, но очень быстро направился к варягу, двигаясь необыкновенно проворно и вместе с тем бесшумно. Кинжал, который он успел обнажить, пока спускался, был отведен назад, чтобы его не было видно, и поблескивал в лунном свете. На секунду убийца застыл над спящим, словно для того, чтобы лучше разглядеть, в каком месте злополучная кираса обнажает грудь, которую она должна была защищать, но в тот миг, когда он собирался вонзить кинжал, варяг молниеносно вскочил, алебардой отбросил вверх руку убийцы и, избегнув опасности, в свою очередь нанес греку такой мощный удар, какому Себаста не обучали в гимнастической школе; у митиленца не хватило дыхания даже на то, чтобы позвать на помощь своих товарищей с крепостной стены. Они видели все, что случилось: как варвар наступил ногой на их товарища и занес над ним алебарду, чей свист зловеще отдался под старинной аркой, видели, как он на мгновение приостановился с занесенным оружием перед тем, как обрушить на врага последний удар. Между стражниками поднялась суматоха, словно они намеревались броситься на помощь Себасту, без особой, впрочем, стремительности, но Гарпакс громким шепотом скомандовал им не двигаться.

— Все по местам, — прошипел он, — что бы там ни случилось. Сюда идет начальник гвардии; если митиленец убит этим дикарем — а я полагаю, что убит, ибо он не шевелит ни рукой, ни ногой, — то нашей тайны никто не узнает. Если же, друзья, он остался жив, будьте немые как рыбы — он один, а нас двенадцать. Мы ничего не знали о его намерении, кроме того, что он пошел посмотреть, почему варвар спит так близко от сторожевого поста.

Пока центурион деловито растолковывал товарищам по караулу, как им следует вести себя, внизу показался рослый и статный воин; на нем было богатое оружие и шлем, высокий гребень которого засверкал, когда его владелец вышел из-под арки на лунный свет. Среди стражников, стоявших наверху, пробежал шепот.

— Задвиньте засов, закройте калитку, — приказал центурион, — а уж с митиленцем пусть будет что будет: мы погибли, если признаем, что он один из наших. Это идет сам начальник варяжской гвардии, главный телохранитель императора.

— Эй, Хирвард, — обратился к варягу пришедший на ломаном лингва-франка, на котором обычно объяснялись

варвары, служившие в императорской гвардии,— ты что, поймал ночного сокола?

— Клянусь святым Георгием, ты прав,— отозвался варяг,— только у меня на родине его посчитали бы всего лишь коршуном.

— А кто он? — спросил начальник.

— Это он сам тебе расскажет,— ответил варяг,— когда я перестану сжимать ему горло.

— Отпусти его,— последовал приказ.

Англичанин повиновался, но как только митиленец почувствовал свободу, он с неожиданной ловкостью выскочил из-под арки и побежал, укрываясь за вычурными украшениями, которыми по воле зодчего изобиловали ворота снаружи; он вертелся вокруг опор и выступов, преследуемый по пятам варягом, которому его оружие мешало догнать быстрого грека, укрывавшегося от своего преследователя то в одном темном углу, то в другом. Вновь пришедший от души смеялся, глядя, как эти две фигуры, нежданно появляясь и исчезая подобно теням, метались друг за другом вокруг арки Феодосия.

— Клянусь Гераклом, можно подумать, что это Ахилл гонится за Гектором вокруг стен Илиона,— произнес он,— только на этот раз Пелиду, пожалуй, не настигнуть сына Приама. Эй ты, рожденный богиней, сын белоногой Фетиды! Впрочем, бедному дикарю непонятны эти сравнения. Эй, Хирвард! Говорю тебе, остановись! Уж свое-то варварское имя ты знаешь.— Последние слова он пробормотал себе под нос, затем опять возвысил голос: — Побереги свое дыхание, добрый Хирвард! Оно тебе еще понадобится сегодня ночью.

— Стоило тебе приказать,— ответил варяг, нехотя приближаясь к командиру и с трудом переводя дух, как человек, бежавший из последних сил,— и уж я не упустил бы его, загнал бы, как борзая зайца. Не будь на мне этих дурацких доспехов, которые только обременяют, вместо того чтобы защищать, мне не потребовалось бы и двух прыжков, чтобы схватить его и сдвинуть ему глотку.

— Оставь его в покое,— сказал воин, который действительно был главным телохранителем или, как его называли, аколитом, ибо обязанностью этого облеченного высокими полномочиями начальника варяжской гвардии было постоянно сопровождать особу императора.— Давай лучше посмотрим, каким образом нам вернуться в город, потому что, если, как я подозреваю, эту шутку сыграл с тобой один из стражников, его товарищи могут не захотеть добровольно пропустить нас.

— А разве для тебя не дело чести до конца расследовать такое нарушение порядка?

— Помолчи, мой простодушный дикарь! Я часто говорил тебе, невежественный Хирвард, что мозги тех, кто явился сюда с севера, из холодной и грязной Беотии, скорее вынесут двадцать ударов кузнечным молотом, чем изобретут какой-нибудь ловкий и хитроумный ход. Слушай меня внимательно, Хирвард. Конечно, я хорошо понимаю, что разоблачить тайны греческой политики перед столь неискушенным варваром, как ты, все равно что метать бисер перед свиньями, а святое писание предостерегает нас от этого; тем не менее, поскольку у тебя такое доброе и верное сердце, какое не часто сыщется даже среди моих варягов, я воспользуюсь случаем — ты ведь должен сегодня сопровождать меня — и познакомлю тебя с некоторыми сторонами этой политики. Я сам, главный телохранитель, начальник над всеми варягами, возведенный их непобедимыми алебардами в сан доблестного из доблестных, руководствуюсь ею несмотря на то, что у меня есть все возможности вести свою галеру против дворцовых течений с помощью одних лишь весел и парусов. Да, я снисхожу до политики, хотя ни один человек при императорском дворе, этом средоточии блистательных умов, не смог бы, пустив в ход открытую силу, добиться того, чего легко достиг бы я. Что ты по этому поводу думаешь, мой добрый дикарь?

— Я знаю одно,— ответил варяг, следуя за своим начальником в полутора шагах сзади, как положено и в наши дни идти вестовому за своим офицером,— мне было бы жаль ломать себе голову над тем, что можно решить в два счета с помощью рук.

— Ну, не прав ли я был? — сказал главный телохранитель, который уже несколько минут шагал вдоль наружной, залитой лунным светом городской стены, внимательно вглядываясь в нее, словно не рассчитывая больше на то, что Золотые ворота открыты, и отыскивая другой вход.— Вот видишь, чем набита твоя голова вместо мозгов! По сравнению с головами ваши руки — настоящее совершенство. Слушай же меня, самое невежественное из всех животных и именно поэтому — надежнейший из наперсников и храбрейший из воинов: я открою тебе секрет нашей сегодняшней ночной прогулки, хотя не уверен, что ты все поймешь даже после моих объяснений.

— Мой долг стараться понять твою доблесть,— ответил варяг,— вернее — твою политику, раз уж ты так снисходительно стараешься растолковать ее мне. Что касается

твоей доблести,— добавил он,— то хорош бы я был, если бы не знал ее вдоль и поперек.

Греческий военачальник слегка покраснел, однако голос его не дрогнул:

— Это правда, мой добрый Хирвард. Мы видели друг друга в бою.

Тут Хирвард не сдержался и легонько кашлянул. Грамматикам того времени, столь изощренным в искусстве разгадывать смысл интонации, этот кашель не показался бы панегириком храбрости грека. Действительно, несмотря на то, что командир на протяжении всей их беседы тоном своим то и дело подчеркивал свое высокое положение и превосходство, в этом тоне чувствовалось явное уважение к собеседнику, как к человеку, который в минуту опасности во многих отношениях может проявить себя более храбрым воином, чем он сам. С другой стороны, хотя могучий северный воин отвечал своему начальнику, соблюдая все правила дисциплины и этикета, беседа их порой напоминала разговор между невежественным франтом офицером и опытным сержантом того же полка,— речь идет, разумеется, о том времени, когда английская армия еще не была перестроена герцогом Йоркским. В каждом слове северянина звучало чувство собственного превосходства прикрытое внешней почтительностью, и начальник молчаливо признавал это превосходство.

— Ты позволишь мне, мой простодушный друг,— продолжал главный телохранитель прежним тоном,— вкратце познакомить тебя с основным принципом политики, который господствует при константинопольском дворе. Дело в том, что милость императора,— тут он приподнял шлем, а варяг сделал вид, что повторяет его движение,— который (да будет благословенна земля, по коей он ступает!) является не менее животворным началом для своих подданных, чем солнце — для всего рода человеческого...

— Я уже слышал что-то в этом роде от наших ораторов,— заметил варяг.

— Они обязаны поучать вас,— ответил начальник,— и я полагаю, что священники, произнося свои проповеди, также не забывают наставлять моих варягов в верности и преданности императору.

— Нет, не забывают, только мы, изгнанники, сами знаем свой долг.

— Видит бог, я не сомневаюсь в этом,— сказал главный телохранитель.— Просто хочу, чтобы ты понял, мой дорогой Хирвард, что есть такие насекомые — впрочем, в вашем суровом и мрачном климате их, быть может, и не

существует,— которые рождаются с первыми проблесками света и гибнут с заходом солнца. Мы называем их эфемерами, поскольку они живут всего лишь один день. Такова же и участь придворного фаворита, который живет в лучах улыбок священной особы императора. Счастлив тот, кто попал в милость с той минуты, когда император, подобно, светилу, появившемуся из-за горизонта, впервые взошел на трон, кто потом сверкал отраженным светом императорской славы, кто сохранил свое место, когда эта слава достигла зенита, кто исчез и умер вместе с последним лучом императорского сияния.

— Твоя доблесть,— прервал его островитянин,— говорит столь высоким слогом, что моим северным мозгам трудно все это понять. Только, по-моему, чем избирать такую долю — жить до захода солнца, так уж я, будь я насекомым, предпочел бы родиться мошкой и просуществовать два-три часа в темноте.

— Таковы, Хирвард, изменные желания людей ничтожных и обреченных на жизнь ничем не выдающуюся,— с напускным высокомерием произнес главный телохранитель,— мы же, люди, отмеченные печатью высоких достоинств, составляющие ближайшее, избраннейшее окружение императора Алексея, где он является центром, мы с женской ревностью следим за тем, как он раздает свои милости, не упуская возможности, то объединяясь, то выступая друг против друга, выдвинуться и удостоиться его ясного взора.

— Пожалуй, я понял, о чем ты говоришь,— сказал Хирвард,— хотя жить такой жизнью, полной интриг... Но, конечно, это к делу не относится...

— Конечно, не относится, мой добрый Хирвард,— ответил главный телохранитель,— и счастье твое, что тебя не тянет к такой жизни. И все же я видел варваров, которые достигали высоких постов при императорском дворе, хотя им и не хватало гибкости или, скажем, эластичности, не хватало счастливой способности применяться к обстоятельствам... Так вот, повторяю, я знавал представителей варварских племен — большей частью это были люди, с детства воспитанные при дворе,— которые при небольшой гибкости обладали столь непреклонной силой характера, что, будучи не слишком способными использовать обстоятельства, сами с необыкновенным талантом эти обстоятельства создавали. Однако довольно сравнений. Итак, тебе должно быть понятно, что в этой погоне за славой, то есть за монаршей милостью, приближенные благословенного императорского двора стараются всяче-

ски выделиться и показать государю, что каждый из них не только превосходно справляется со своими обязанностями, но и может в случае необходимости заменить других.

— Да, теперь мне все понятно, — сказал англосакс. — Выходит, что высокопоставленные придворные, военачальники и помощники государственных деятелей постоянно заняты не тем, чтобы помогать друг другу, а тем, чтобы шпионить за своим соседом?

— Совершенно верно, — ответил начальник, и не далее как несколько дней назад я получил бесспорное доказательство этому. Любой придворный, как бы глуп он ни был, знает, что великий протоспафарий — таков титул главнокомандующего всеми военными силами империи, — тебе это, разумеется, известно, — так вот, он ненавидит меня, ибо я являюсь начальником грозных варягов, которые заслуженно пользуются привилегией не подчиняться его беспредельной власти, распространяющейся на все войсковые соединения, хотя Никанору, несмотря на его столь победоносно звучащее имя, власть эта не больше подходит, чем седло — волу.

— Вот как! — воскликнул варяг. — Значит, протоспафарий хочет командовать благородными изгнанниками? Клянусь знаменем красного дракона, под которым мы сражаемся и умираем, мы не станем подчиняться ни единой живой душе, кроме самого Алексея Комнина и наших начальников!

— Это ты сказал правильно и смело, мой добрый Хирвард, — заметил главный телохранитель. — Но, и предаваясь справедливому негодованию, смотри не забывай при упоминании имени благословенного императора прикладывать руку к шлему и перечислять его титулы.

— Моя рука будет подниматься достаточно часто и достаточно высоко, когда этого потребует служба императору, — заявил северянин.

— В этом я могу поклясться, — сказал Ахилл Татий, начальник варяжской императорской гвардии, решив, что сейчас неподходящее время для того, чтобы требовать точного соблюдения этикета, хотя знание этого этикета он считал своей важнейшей воинской заслугой. — И все-таки, сын мой, если бы не постоянная бдительность вашего начальника, благородные варяги были бы попраны и растворились бы в общей массе армии, среди всех этих языческих когорт гуннов, скифов или предавшихся нам нечестивых турок в тюрбанах. И теперь вашему начальнику угрожает опасность именно из-за того, что он требует, чтобы его алебардщиков оценивали выше, чем жалких

скифских копьеносцев и вооруженных дротиками мавров, чье оружие годится только для детских игр.

— От любой опасности,— сказал воин, доверительно придвигаясь к Ахиллу Татию,— тебя защитят наши алебарды!

— Разве я когда-нибудь сомневался в этом? — сказал Ахилл Татий.— Но сейчас главный телохранитель благословенного монарха доверяет свою безопасность тебе одному.

— Я сделаю все, что подобает воину,— ответил Хирвард.— Решай, как действовать дальше, и не забудь, что я один стою двух любых воинов из других отрядов императора.

— Слушай дальше, мой храбрый друг,— продолжал Ахилл Татий.— Этот Никанор осмелился бросить тень на нашу благородную гвардию, обвинив ее воинов — о боги и богини! — в том, что на поле боя они похитили и — что еще святотатственнее! — выпили драгоценное вино, приготовленное для самого святейшего императора. В присутствии священной особы императора я, как ты сам понимаешь, не мог промолчать...

— Понимаю, ты хочешь загнать ему эту ложь в его наглую глотку! — воскликнул варяг.— Ты назначил ему встречу где-нибудь в окрестностях и взял с собой своего ничтожного подчиненного Хирварда из Гемптона, который за такую честь будет твоим рабом до конца дней! Только почему ты не сказал мне, чтобы я взял с собой обычное оружие? Однако со мной алебарда и...

Тут Ахилл Татий улучил момент и прервал своего спутника, встревоженный его слишком воинственным тоном.

— Успокойся, сын мой,— сказал он,— и говори потише. Ты сделал неправильный вывод, мой доблестный Хирвард. Действительно, когда ты рядом со мной, я не побоюсь сразиться с пятью такими воинами, как Никанор, но поединки запрещены законом нашей возлюбленной богом империи и не угодны трижды прославленному монарху, правящему ею. Тебя испортили, мой храбрый воин, хвастливые рассказы франков — эти истории, которые с каждым днем все больше распространяются по Константинополю.

— Никогда по доброй воле я ни в чем не стану подражать тем, кого ты называешь франками, а мы — норманнами,— сердито ответил варяг.

— Не горячись,— сказал Татий, продолжая идти вдоль стены.— Лучше вдумайся в существо дела, и тогда

тебе станет ясно, что обычай, который франки именуют дуэлью, не может существовать в стране, где господствуют цивилизация и здравый смысл, не говоря уже о нашем государстве, удостоенном такого монарха, как несравненный Алексей Комнин. Два царедворца или два военачальника спорят в присутствии высокочтимой особы императора. Они в чем-то несогласны между собой. И вдруг, вместо того чтобы каждому отстаивать свою точку зрения, выдвигая аргументы или доказательства, представь, что они обратятся к обычаю этих варваров франков! «Ты наглый лжец!», — скажет один. «Нет, это ты насквозь пропитан гнусной ложью!» — ответит другой, и тут же оба начнут выбирать место для поединка. Каждый клянется, что правда на его стороне, хотя, вероятно, оба недостаточно знают, в чем она заключается. Один из них, возможно — наиболее храбрый, честный и добродетельный, главный телохранитель императора и отец своих варягов, остается лежать бездыханным на земле — смерть ведь никого не щадит, мой верный спутник, — а другой возвращается и процветает при дворе, хотя, если бы дело было расследовано с точки зрения здравого смысла и справедливости, то победителя, как его величают, должны были бы послать на виселицу. Вот что такое спор, решенный в «честном поединке», как ты изволишь назвать это, друг мой Хирвард.

— Если на то пошло, твоя доблесть, то согласен, в твоих словах есть доля правды, — ответил варвар, — но меня легче убедить в том, что эта лунная ночь черна, как пасть волка, чем заставить спокойно слушать, как меня обзывают лжецом. Нет, я тут же вгону эти слова обидчику в глотку острием моей алебарды! Обвинить человека во лжи — это все равно что ударить его по лицу, а кто не отвечает ударом на удар, тот просто жалкий раб или вьючное животное.

— Опять ты за свое! — сказал Ахилл Татий. — Неужели я так никогда и не внушу вам, что ваши варварские обычаи толкают вас, самых дисциплинированных воинов божественного императора, на кровавые ссоры и вражду, которые...

— Господин начальник, — угрюмо отозвался варяг, — послушай моего совета, принимай варягов такими, каковы они есть; поверь мне, если ты приучишь их сносить оскорбления, терпеть ложь и не отвечать на удары, то очень скоро убедишься, что при самой лучшей дисциплине они не будут стоять дневной порции соли, которую расходует на них святейший император, если таков его титул. Скажу тебе больше, доблестный начальник: варяги вряд ли будут

очень благодарны своему командиру, если узнают, что при нем их обозвали грабителями, пьяницами и еще не знаю как, а он тут же на месте не опроверг этих обвинений.

«Да,— подумал Татий,— если бы я не умел приноравливаться к причудам моих варваров, дело кончилось бы ссорой с этими неукротимыми островитянами: напрасно император думает, что их так легко держать в повиновении. Надо немедленно уладить эту размолвку».

— Мой верный воин,— примирительно сказал он саксу,— точно так же, как вы полагаете себя обязанными возмущаться, когда вас обвиняют во лжи, мы, римляне, в соответствии с обычаями наших предков, считаем для себя делом чести говорить только правду, и поскольку все, что сказал Никанор, чистейшая правда, я поступил бы бесчестно, упрекнув его во лжи...

— Как! Выходит, что мы, варяги, действительно воры, пьяницы и тому подобное? — еще более раздраженно, чем раньше, спросил Хирвард.

— Конечно нет, если говорить по существу,— ответил Ахилл Татий,— однако вы дали серьезный повод для этой выдумки.

— Где и когда? — спросил англосакс.

— Помнишь ли ты,— сказал начальник,— тот длинный переход от ущелья к Лаодикее, когда варяги разгромили полчища турок и отбили захваченный ими обоз с императорским имуществом? Ты отлично знаешь, что вы наделали в тот день,— я имею в виду то, как вы утолили тогда свою жажду.

— У меня есть все основания помнить,— ответил Хирвард из Гемптона,— мы чуть не задохлись от пыли и усталости, а хуже всего было то, что нам все время приходилось отбивать атаки с тыла; тут как раз нам в руки попало несколько бочек с вином, оставленных на разбитых повозках, и вино это исчезло в наших глотках так быстро, точно то был лучший эль из Саутгемптона.

— Несчастные! — воскликнул главный телохранитель.— Неужели вы не заметили, что эти бочки были опечатаны личной и неприкосновенной печатью трижды превосходительного главного кравчего и предназначены для священных уст его императорского величества?

— Клянусь добрым святым Георгием нашей веселой Англии, который стоит дюжины ваших святых Георгиев Каппадокийских, вот уж что меня мало заботило! — ответил Хирвард.— Я только помню, что и твоя доблесть сделала хороший глоток из моего шлема — не из этой серебряной игрушки, а из стального шлема, который вдвое

больше. И доказательство этому есть: сперва ты приказал отступить, а как отмыл глотку от пыли, будто сразу стал другим человеком и крикнул нам: «Грудью встретим новый удар врага, мои храбрые и стойкие сыны Британии!»

— О,— ответил Ахилл Татий,— в бою я не знаю удержу. Но в одном ты ошибся, добрый Хирвард; вино, которым я освежился после изнурительной схватки с врагом, было не то, что предназначалось для собственных уст его священного величества, а совсем другое, второго сорта, оставленное главным кравчим для самого себя, и я, как один из высших военачальников, имел законное право попробовать его. Однако дело все равно чрезвычайно неприятное.

— Клянусь жизнью,— ответил Хирвард,— я не вижу большого греха в том, что, умирая от жажды, мы выпили это вино.

— Ничего, мой благородный друг, не унывай,— сказал Ахилл; поспешно оправдав себя, он сделал вид, что не замечает легкомыслия, с каким варяг отнесся к своему проступку.— Его императорское величество в соей неизреченной милости не считает преступниками тех, кто участвовал в этой неблагоразумной проделке. Более того — он упрекнул протоспафария за то, что тот выступил с таким обвинением, и, напомнив о неразберихе и смятении, царивших в тот трудный день, сказал: «Я сам почувствовал себя лучше в этом ужасном пекле, когда промочил себе горло глотком ячменного вина, которое обычно пьют мои бедные варяги; да, я с удовольствием выпил за их здоровье, тем более что если бы не они, это был бы последний глоток в моей жизни. Слава их мужеству, хотя они, в свою очередь, выдули мое вино!» После этого он отвернулся, словно говоря: «С меня довольно всех этих сплетен и козней, направленных против Ахилла Татия и его храбрых варягов».

— Да благословит господь его благородное сердце за такие слова! — воскликнул Хирвард, и на этот раз в его тоне было больше искренней сердечности, чем полагающегося почтения.— Я буду пить за его здоровье, чем бы мне ни пришлось в следующий раз утолять жажду — элем, вином или водой из канавы.

— Хорошо сказано, только не старайся перекричать самого себя и не забывай прикладывать руку к шлему, когда называешь имя императора или думаешь о нем. Ну так вот, Хирвард, получив такое преимущество и понимая, что, отбив атаку, всегда следует немедленно переходить в наступление, я возложил на протоспафария Никанора

ответственность за грабежи, которые происходят у Золотых ворот и у других входов в город: ведь совсем недавно был похищен и убит купец, который вез драгоценности, принадлежавшие патриарху.

— В самом деле? — воскликнул варяг. — И что же сказал Алек... то есть святейший император, когда он услышал о таких подвигах городской стражи? Хотя ведь он сам, как говорят у меня на родине, поставил лису стеречь гусей.

— Может, так оно и есть, — ответил Ахилл, — но наш государь — тонкий политик и не станет преследовать этих вероломных стражей или их начальника протоспафария, не имея решающих доказательств. Поэтому его святейшее величество поручил мне добыть с твоей помощью обстоятельные улики.

— Я добыл бы их в две минуты, не прикажи ты мне прекратить погоню за этим гнусным головорезом. Но его величество знает, чего стоит слово варяга, и я могу заверить его, что желание завладеть этой серебряной штукой, которую они, точно в насмешку, называют кирасой, и ненависть к нашему отряду — вполне достаточный повод для любого из этих негодяев, чтобы перерезать горло уснувшему варягу. Надо думать, мы с тобой пойдем сейчас к императору и расскажем ему об этом ночном разбое?

— Нет, мой нетерпеливый варяг, даже если бы ты поймал мерзавца, я намеренно отпустил бы его, и я требую от тебя, чтобы ты забыл обо всем происшедшем.

— Вот так поворот в политике! — воскликнул варяг.

— Ты прав, мой храбрый Хирвард. Перед тем как я ушел сегодня из дворца, патриарх постарался восстановить мир между мной и протоспафарием, и поскольку наше доброе согласие очень важно для государства, я как хороший воин и хороший христианин не мог отказаться от примирения. Патриарх поручился, что все оскорбления, нанесенные моей чести, будут полностью искуплены. Император, который предпочитает ничего не знать о наших ссорах, очень хочет, чтобы эта история заглохла.

— А обвинения, возведенные на варягов... — начал Хирвард.

— Будут взяты обратно и заглажены, — прервал его Ахилл Татий, — увесистым подарком в виде золотых монет, которые раздадут всем воинам англо-датского отряда. Если хочешь, мой Хирвард, я назначу тебя раздатчиком, и ты позолотишь свою алебарду, только сумей ловко провести этот дележ.

— Мне моя алебарда больше нравится такой, какова

она есть,— сказал варяг.— Мой отец разил ею воров норманнов при Гастингсе. Эта сталь мне дороже золота.

— Дело твое, Хирвард,— ответил начальник.— Только пеняй на себя, если ты так и останешься бедняком.

Но тут они подошли к калитке, или, лучше сказать, к вылазным воротам, которые вели внутрь большого и массивного укрепления, прикрывавшего вход в город. Начальник остановился и склонил голову с видом святоши, готовящегося войти в особо почитаемую часовню.

ГЛАВА III

Здесь дерзость — не подмога:
Главу ты обнажи
И меч свой у порога
Смиренно положи.
Опасностей здесь много:
Будь словно лань, что вдруг
Охотничьего рога
Заслышит дальний звук.
«Двор»

Перед тем как войти в калитку, Ахилл Татий проделал ряд сложных поклонов, а непривычный к этому варяг неловко и смущенно повторял все его движения. Почти вся служба Хирварда до этого проходила в боевых походах, и только совсем недавно его перевели в константинопольский гарнизон. Поэтому он не был еще знаком с разработанным до мелочей этикетом, который греки — самые церемонные и чопорные воины и придворные в мире — соблюдали не только по отношению к самому императору, но и вообще ко всему, что было с ним связано.

Ахилл, особым образом отвесив полагающиеся поклоны, постучал наконец в ворота, отчетливо и в то же время негромко. Трижды повторив стук, он прошептал своему сопровождающему:

— Сейчас откроют! Если тебе дорога жизнь, повторяй за мной все, что я буду делать.

В тот же момент он подался назад, низко опустил голову, прикрыл глаза рукой, словно защищая их от яркого света, который вот-вот должен вспыхнуть, и стал ждать ответа. Англо-датчанин, повинуясь приказу командира и повторяя все его движения, застыл рядом в позе, на восточный лад изображавший смирение. Маленькие воротца открылись внутрь; из полной темноты возникли фигуры четырех варягов с алебардами, занесенными так, словно они собирались повергнуть наземь пришельцев, нарушивших покой их сторожевого поста.

— Аколит, — произнес начальник вместо пароля.

— Аколит Татий, — пробормотали стражи и опустили алебарды.

Ахилл горделиво вскинул голову, украшенную высоким шлемом, весьма довольный, что воины знают, как велико его влияние при дворе. Хирвард остался невозмутимым к полному недоумению главного телохранителя, удивленно вопрошавшего себя, как это можно быть столь невежественным, чтобы спокойно наблюдать такую сцену, кото-

рая, по его личному мнению, должна была внушать благоговейный страх. Спокойствие своего спутника он отнес за счет его тупой бесчувственности.

Они прошли между стражами, которые, расступившись, пропустили их к длинной и узкой доске, перекинутой через городской ров, прорытый между укреплением и городской стеной.

— Эту доску,— шепнул начальник Хирварду,— называют Мостом Опасности: говорят, иногда она оказывалась смазанной маслом или посыпанной сушеным горохом, и тела людей, приближенных к священной особе императора, обнаруживали в бухте Золотой Рог, куда стекают воды из рва.

— Никогда бы не подумал,— сказал островитянин, повысив голос до обычного,— что Алексей Комнин...

— Молчи, безумец, или не сносить тебе головы! — воскликнул Ахилл Татий.— Тот, кто будит дочь императорских сводов¹, всегда навлекает на себя тяжкую кару; но если преступный буземец нарушает ее покой словами, затрагивающими священную особу его величества императора, смерть — и та покажется благом по сравнению с наказанием, которое ждет наглеца, прервавшего ее праведный сон! Судьба лишила меня милостей, иначе я не получил бы прямого приказа доставить в священные покои существо, стоящее на столь низкой ступени цивилизации, что оно способно думать только о безопасности своего брэнного тела и не знает духовных радостей. Посмотри на себя, Хирвард, и подумай, кто ты такой? Обыкновенный варвар, и похвалиться ты можешь лишь тем, что на войне, которую ведет твой государь, ты убил нескольких мусульман и что тебя допустили в запретные покои Влахернского дворца, где твой голос может услышать не только царственная дочь императорских сводов, или, иначе говоря, эхо этих великолепных залов,— продолжал красноречивый аколит,— но и, помилуй нас небо, само священное ухо!

— Ладно, начальник,— ответил варяг,— я, конечно, не умею сказать все так, как положено в этом месте, и сам понимаю, что не гожусь для придворных бесед. Поэтому я не вымолвлю ни слова, пока ко мне не обратятся, если только не увижу там людей вроде меня самого. Мне трудно приглушать свой голос и изменять его: каким его создала

¹ Дочь сводов — выражение, бывшее в ходу при дворе и означающее эхо, как это объясняет сам придворный военачальник. (Прим. автора.)

природа, такой он и есть. А поэтому, мой храбрый начальник, я буду нем, пока ты не дашь мне знака говорить.

— Вот это мудро с твоей стороны,— сказал начальник.— Здесь будут особы весьма высокого ранга, более того — порфирородные, так что, Хирвард, приготовься соразмерять свое пустое варварское самодовольство с их высоким разумением и не вздумай отвечать на изящные улыбки взрывами дикого хохота, которыми ты привык раздражаться в компании своих приятелей.

— Я ведь уже сказал тебе, что буду молчать,— возразил задетый этими словам варяг.— Если ты веришь моему слову — хорошо, а если считаешь, что я сорока, которая трещит где попало и что попало, то я вернусь домой, и дело с концом.

Ахилл, считая, видимо, неразумным доводить до крайности своего подчиненного, в ответ на резкие слова варяга несколько понизил тон, как бы говоря этим, что прощает грубость человеку, с которым даже его соотечественникам трудно было состязаться в силе и храбрости: эти качества Ахилл в глубине души ценил куда больше, чем изысканные манеры выложенных и учтивых воинов, поэтому и пропускал мимо ушей бесцеремонные замечания Хирварда.

Главный телохранитель, отлично знавший лабиринты императорской резиденции, пересек несколько дворигов причудливой формы, составлявших часть огромного Влахернского дворца¹, и через боковую дверцу, охраняемую также стражами их варяжской гвардии, которые, узнав, пропустили их, он вместе с варягом вошел в здание. В следующей комнате помещалась караульня, где несколько воинов этого же отряда развлекались играми, напоминавшими современные шашки и кости, то и дело прикладываясь к вместительным бутылкам с элем, которым их щедро снабжали, чтобы скрасить часы их службы. Хирвард переглянулся с товарищами; он предпочел бы присоединиться к ним или хотя бы поболтать, так как после приключения с митиленцем эта прогулка при лунном свете его скорее раздражала, чем радовала, если не считать коротких, но волнующих минут, когда он предполагал, что ему предстоит драться на дуэли. Но хотя варяги и не соблюдали строгих правил этикета, принятого при высочайшем дворе, у них были свои, весьма жесткие понятия о воинском долге; поэтому Хирвард, не перемолвившись ни единым словом с товарищами, проследовал за начальником через

¹ Этот дворец получил свое наименование от соседних Влахернских ворот и моста (Прим. автора.)

караульню и через несколько приемных залов, роскошная обстановка которых подсказала ему, что теперь он находится в священных покоях самого императора.

Миновав многочисленные коридоры и покои, по которым главный телохранитель, видимо хорошо знакомый с ними, шел мягкими, крадущимися и какими-то почти-тельными шагами, словно, пользуясь его собственным напыщенным выражением, боялся разбудить эхо величественных и монументальных сводов, они начали наконец встречать других обитателей дворца. Наш северянин увидел несчастных рабов, большей частью африканцев, которых греческие императоры порою облакали большой властью и даже окружали почетом, следуя в этом одному из самых варварских обычаев восточного деспотизма. Иные из них стояли у дверей и в проходах как бы на страже, с обнаженными саблями в руках, другие по-восточному сидели на коврах, отдыхая или играя в различные игры, проходившие в полном молчании. Начальник Хирварда ни слова не говорил этим дряхлым и искалеченным существам. Стражам достаточно было взглянуть на главного телохранителя, чтобы беспрепятственно пропустить и его и варяга.

Пройдя несколько помещений, где были только рабы, либо вообще никого не было, они попали в отделанный черным мрамором или каким-то другим темным камнем зал, еще более величественный и длинный, чем остальные. Насколько мог разглядеть островитянин, в зал вело несколько боковых проходов, однако масляные и смоляные светильники над порталами так чадили, что в их неверном мерцании трудно было определить форму и архитектуру зала. Только по концам этого огромного и длинного помещения светильники горели ярче. Дойдя до середины покоя, Ахилл обратился к воину не своим обычным голосом, а тем осторожным шепотом, которым он начал говорить с того момента, как они миновали Мост Опасности:

— Оставайся здесь, пока я не вернусь; ни при каких обстоятельствах не уходи отсюда.

— Слушаю и повинуюсь,— ответил варяг, употребив формулу повиновения, которую, как и многие другие выражения и обычаи, империя, все еще присваивавшая себе титул Римской, заимствовала у восточных варваров. Ахилл Татий поспешно поднялся по ступенькам, которые вели к одной из боковых дверей зала, слегка толкнул ее, она бесшумно открылась и пропустила главного телохранителя.

Оставшись в одиночестве, варяг, желая развлечься в дозволенных ему пределах, обошел оба конца зала, где

свет давал возможность лучше рассмотреть помещение. В задней стене, в самом центре ее была низенькая железная дверь. Над ней был прибит бронзовый крест, а вокруг него и по сторонам двери висели бронзовые же украшения в виде оков и цепей. Дверь в темной сводчатой нише была приоткрыта, и Хирвард, естественно, заглянул в нее — ведь приказ начальника не запрещал ему удовлетворить свое любопытство таким путем. Тусклый красноватый свет, похожий на мерцание далекой искры, исходил от площадки, укрепленной на стене очень узкой винтовой лестницы, размерами и очертаниями напоминавшими колодец; внизу лестница упиралась в порог железной двери, — мнилось, тут начинается спуск в преисподнюю. Варяг, которого греки с их быстрым умом считали несообразительным, тем не менее легко догадался, что лестница столь мрачного вида, да еще украшенная столь зловещими символами, может вести только в императорские подземелья — по своей протяженности и запутанности самую, быть может, значительную и, уж во всяком случае, самую устрашающую часть священного дворца. Хирвард внимательно прислушался, и ему показалось, что он слышит звуки, которые могли бы исходить из могил, где заживо погребены люди; ему мерещились стоны и вздохи, доносившиеся из бездонной пропасти. Но здесь, видимо, его воображение дополнило картину, созданную на основании догадок.

«Я не сделал ничего такого, — подумал он, — за что меня можно было бы замуровать в одной из этих подземных пещер. Хотя мой начальник Ахилл Татий и не многим умнее осла, но не так же он вероломен, чтобы под вымышленным предлогом заманить меня в тюрьму. Однако если он все-таки решил подобным образом позабавиться сегодня вечером, то, думаю, последнее, что он в жизни увидит, — это блеск английской алебарды. Пойду-ка я лучше посмотрю, что делается в другом конце этого огромного зала; может быть, там я найду более счастливое предзнаменование».

Подумав так, могучий сакс направился в другой конец черномраморного зала, стараясь согласно требованиям этикета приглушить свои тяжелые шаги и не бряцать оружием. Здесь портал был украшен небольшим алтарем, который несколько выступал над аркой и был похож на алтари в языческих храмах. На нем курились благовония, и вьющийся дымой легким облачком поднимался к потолку, застилая удивительную эмблему, совершенно непостижимую для варяга. Это было бронзовое изваяние, изображавшее две руки с раскрытыми ладонями, словно отде-

лявшиися от стены и дарующие благословение тем, кто приближается к алтарю. Руки эти, вдвинутые вглубь по сравнению с алтарем, все же были видны сквозь дым курений в свете плашек, помещенных так, чтобы озарять всю арку. «Я понял бы смысл этого изображения,— подумал простодушный варвар,— если бы руки были стиснуты в кулаки, а зал предназначался для гимнастических упражнений, или, по-нашему, для кулачных боев... Нет, поскольку даже беспомощные греки дерутся кулаками, то, клянусь святым Георгием, я не могу понять, что означают эти разжатые ладони».

Но тут в ту же дверь, через которую он уходил, вошел главный телохранитель и, приблизившись к неофиту, как можно было бы назвать варяга, сказал ему:

— Следуй за мной, Хирвард, ибо наступает решающая минута. Собери все свое мужество, потому что, поверь мне, от этого зависят твоя честь и доброе имя.

— Если для того, что мне предстоит сегодня, достаточно доблестного сердца и сильной руки, способной обращаться вот с этой игрушкой, то можешь не тревожиться за мою честь и доброе имя.

— Сколько раз я тебе уже напоминал — говори тише и смиреннее,— сказал начальник,— кроме того, опусти алебарду; вообще, мне думается, лучше бы ты оставил ее во внешних покоях.

— С твоего дозволения, доблестный начальник,— ответил Хирвард,— я не люблю расставаться с моей кормилицей. Я ведь один из тех неотесанных невеж, которые не умеют вести себя прилично, если им нечем занять руки, а моя верная алебарда — лучшая забава для них.

— Ну ладно, оставь ее при себе, только помни, что не следует размахивать ею, как ты это обычно делаешь, и не надо орать, вопить и рычать, как на поле боя; не забывай о святости этого места, где любой шум подобен богохульству, и о том, с какими особами тебе, быть может, придется здесь встретиться: оскорбить их — это в некотором смысле все равно, что кощунственно бросить вызов небу.

Наставляя таким образом своего ученика, учитель провел его через боковую дверь в соседнюю комнату, по всем признакам — прихожую, пересек ее и остановился на пороге приоткрытой двухстворчатой двери, ведущей в помещение, которое, видимо, можно было назвать парадным залом дворца. Глазам неотесанного уроженца севера открылось зрелище новое и необычайное для него.

Это был тот покой Влахернского дворца, которым пользовалась в особых случаях любимая дочь императора

Алексея, царица Анна Комнина, чье имя дошло и до наших дней благодаря ее литературному таланту, запечатлевшему историю правления ее отца. Она торжественно восседала в кругу избранного литературного общества, какое в те времена могла собрать только дочь императора, порфирородная, то есть рожденная в священном порфирном покое. Она была душой и властительницей этого общества, и сейчас мы окинем его взглядом, чтобы составить себе представление о ее родных и гостях.

У царицы-писательницы были живые глаза, правильные черты лица и, по всеобщему мнению, мягкие, приятные манеры; впрочем, ничего другого о дочери императора все равно никто не сказал бы, будь даже ее манеры не слишком любезны. Она расположилась на небольшой скамье, или софе, потому что в Византии прекрасному полу не разрешалось возлежать, как это было принято у римских матрон. Стол перед ней был завален книгами, чертежами, засушенными травами, рисунками. Скамья стояла на небольшом возвышении, и приближенным царицы или вообще тем, с кем она желала побеседовать особо, разрешалось во время этой почетной беседы прислоняться коленями к упомянутому возвышению, или помосту; таким образом, они как бы стояли, но в то же время и преклоняли колена. Три других сиденья различной высоты были установлены на том же помосте и под тем же царственным балдахинном, который осенял царицу Анну.

Одно из них, точно соответствовавшее по размерам и форме ее собственной скамье, предназначалось для ее мужа Никифора Вриенния. О нем говорили, что он испытывал, — а может быть, только выказывал — величайшее уважение к учености своей супруги, хотя придворные утверждали, что на ее вечерних приемах он отсутствует гораздо чаще, чем хотелось бы самой Анне и ее царственным родителям. Придворные сплетники частично объясняли это тем, что Анна Комнина была гораздо привлекательней, пока не стала такой ученой, и хотя ее можно было назвать красивой женщиной и сейчас, все же, чем образованнее она становилась, тем более утрачивала женское обаяние.

Для того чтобы искупить недостаточную по сравнению с императорским тронном высоту скамьи Никифора Вриенния, ее подвинули почти вплотную к скамье Анны, чтобы царица все время видела своего красавца мужа, а он не упускал ни единой крупинки мудрости, срывающейся с уст его ученой супруги.

Два других почетных сиденья, или, скорее, трона,

потому что там были и подлокотники, и расшитые подушки под спину, и скамеечки для ног, не говоря уже о великолепии простертого над ними балдахина, предназначались для императорской четы, которая часто посещала публичные чтения своей дочери, происходившие в уже знакомой нам обстановке. В таких случаях императрица Ирина испытывала чувство особой гордости, как мать столь образованной дочери, а Алексей с удовольствием слушал рассказ о своих собственных подвигах, изложенный напыщенным языком царевны, а порой незаметно дремал, убаюканный ее диалогами о премудростях философии, вместе с патриархом Зосимой и другими почтенными мужами.

В описываемый нами момент все места, предназначенные для членов императорской семьи, были заняты, за исключением того, где должен был сидеть Никифор Вриенний, супруг прекрасной Анны Комнин. Вероятно, сердитая морщинка на челе царевны была вызвана именно его отсутствием, свидетельствовавшим о пренебрежении. Рядом с ней на помосте находились две прислуживавшие ей нимфы в белых одеяниях, а попросту — две рабыни, которые стояли, преклонив колена на подушки, пока не требовалась их помощь в качестве живых подставок для того, чтобы держать или разворачивать пергаментные свитки, куда царевна заносила свои собственные глубокие мысли или откуда цитировала чужие. Одна из этих девушек, по имени Астарт, была таким выдающимся каллиграфом, так красиво умела писать на разных языках с разными алфавитами, что однажды ее чуть было не отправили в подарок калифу, не умевшему ни читать, ни писать, чтобы задобрить его и предотвратить войну. Что же касается Виоланты, второй прислужницы царевны, такой мастерицы петь и играть на различных музыкальных инструментах, что ее прозвали Музой, то она действительно была послана Роберту Гискару, эрцгерцогу Апулии, дабы смягчить его нрав; но, будучи стар и глух, — а девочке в то время исполнилось всего десять лет, — он вернул этот ценный дар царственному жертводателю и с присущим этому лукавому норманну сластолюбием пожелал, чтобы вместо девчонки, которая гнусавит и визжит, ему прислали кого-то, кто по-настоящему смог бы ублажить его.

Внизу у помоста сидели или возлежали на полу придворные, допущенные на это собрание. Из всех почтенных гостей, посещавших литературные вечера царевны, — а именно так они назывались бы в наши дни, — только патриарху Зосиме и еще нескольким старикам было дозволено пользоваться низенькими скамеечками. Считалось,

что для более молодых вельмож честь быть допущенным к беседе с членами императорской семьи куда важнее презренной потребности удобно сидеть. Их было человек пять-шесть, различного возраста и в различных одеяниях. Некоторые стояли, другие отдыхали, преклонив колена у разукрашенного фонтана, который разбрызгивал тончайшую водяную пыль; рассеиваясь почти незаметно для глаз, она освежала воздух, пропитанный ароматами цветов и растений, расставленных таким образом, что, с какой бы стороны ни дул ветерок, он всюду разносил их благоухание. Среди собравшихся выделялся рослый, дородный старик по имени Михаил Агеласт, одетый на манер древних философов-циников; впрочем, он отличался не только нарочитой небрежностью в одежде и грубостью манер, присущей этой секте, но и пунктуальнейшим соблюдением самых строгих правил этикета, установленного императорской семьей. Он не скрывал, что придерживается идей, изложенных циниками, был известен своими республиканскими взглядами и в то же время, странным образом противореча себе, откровенно пресмыкался перед сильными мира сего. Удивительно, с каким постоянством этот старик, которому было уже за шестьдесят, пренебрегал обычной привилегией прислониться к чему-нибудь или опереться коленями и либо упрямо стоял на ногах, либо уже совсем опускался на колени; однако, как правило, он предпочитал стоять, из-за чего и заслужил у своих придворных друзей прозвище Элефаса, то есть Слона, поскольку древние считали, что это обладающее почти человеческим разумом животное наделено такими суставами, которые не позволяют ему становиться на колени.

— Однако в стране гимнософистов я видел, как слоны опускаются на колени,— заметил кто-то из приглашенных в тот вечер, когда главный телохранитель должен был привести Хирварда.

— Они опускались на колени, чтобы их хозяева могли взобраться к ним на спину? Наш Слон сделал бы то же самое,— сказал патриарх Зосима с насмешкой в голосе, которая настолько приближалась к сарказму, насколько это было дозволено этикетом греческого двора, где, в общем, царило убеждение, что менее преступно даже обнажать кинжалы в присутствии членов императорской семьи, чем обмениваться при них остротами. Даже невинный сарказм Зосимы был бы сочтен недопустимым при этом строгом дворе, не занимая патриарх столь высокого положения, которое давало ему право на некоторые вольности.

В тот момент, когда патриарх таким образом несколько

нарушил приличия, в зал вошел Ахилл Татий со своим воином. Главный телохранитель больше чем когда-либо щеголял утонченностью манер, словно хотел оттенить ею грубоватую безыскусственность варяга: однако в глубине души он испытывал гордость, представляя императорской семье своего прямого и непосредственного подчиненного, человека, которого он привык считать одним из самых замечательных, как по внешности, так и по существу, воинов армии Алексея.

Неожиданное появление новых людей вызвало некоторый переполох. Ахилл вошел в зал тихо, с видом спокойной и непринужденной почтительности, свидетельствовавшей о том, что он привык бывать в таком обществе. Хирвард же запнулся у самого порога, но, догадавшись, что попал в придворное общество, поспешил исправить свою неловкость. Его начальник чуть пожал плечами, как бы прося извинения у собравшихся, а Хирварду сделал тайком знак, призывая его вести себя разумно, то есть снять шлем и пасть ниц. Но англосакс, непривычный к невразумительным намекам, первым делом, разумеется, вспомнил о своем воинском долге и, подойдя к императору, отдал ему честь. Он преклонил колени, слегка прикоснулся рукой к шлему, затем выпрямился, вскинул алебарду на плечо и замер перед троном, как часовой в карауле.

Легкая улыбка удивления появилась на лицах придворных при виде мужественной внешности северного воина и его бесстрашного, хотя и несколько нарушающего этикет поведения. Многие перевели взгляд на лицо императора, не зная, должны ли они отнестись к неловкому вторжению варяга как к неучтивости и выказать свой ужас по этому поводу или же им следует рассматривать его манеру держать себя как проявление грубоватого, но мужественного усердия и в таком случае выразить свое одобрение.

Прошло несколько минут, прежде чем император настолько овладел собой, чтобы, по заведенному обычаю, дать придворным почувствовать, как им нужно держаться. Алексей Комнин на какой-то момент не то задремал, не то задумался. Из этого-то состояния его и вывело неожиданное появление варяга; хотя он давно привык к тому, что внешняя охрана дворца поручена этой доверенной гвардии, но внутреннюю охрану, как правило, несли упомянутые нами изуродованные чернокожие, которые иногда поднимались до положения государственных министров и верховных военачальников. Поэтому вырванный из дремоты Алексей, в чьих ушах еще отдавались звонкие фразы

его дочери, читавшей описание боя из большого исторического труда, где она подробно рассказывала о войнах, имевших место во время его царствования, был несколько неподготовлен к появлению и воинственному приветствию одного из англосаксонских гвардейцев, которые всегда напоминали ему о кровавых схватках, опасности и смерти.

Окинув всех настороженным взглядом, император остановил глаза на Ахилле Татии.

— Что тебя привело сюда, мой верный аколит? — спросил он. — И почему этот воин находится здесь в столь поздний час?

Тут-то и настало время для придворных придать своим лицам выражение *regis ad exemplum*¹, но, прежде чем патриарх успел каждой своей чертой изобразить глубочайшую озабоченность. Ахилл Татий сказал несколько слов, напоминавших Алексею, что он сам приказал привести сюда этого воина.

— Ах, да, совершенно верно, добрый мой аколит, — сказал император, и тревожные морщины исчезли с его лба. — Мы забыли об этом деле за другими государственными заботами.

После этого он обратился к варягу искренней и теплей, чем обычно говорил со своими придворными: ведь для деспота монарха надежный рядовой гвардеец — это человек, которому можно доверять, в то время как любой военачальник всегда вызывает у него некоторые подозрения.

— А, наш достойный англо-датчанин, как твои дела?

Столь нецеремонное приветствие удивило всех, кроме того, к кому оно было обращено. Хирвард ответил императору военным поклоном, скорее сердечным, нежели почтительным, и громким, неприглушенным голосом, поразившим присутствующих даже больше, чем англо-саксонский язык, на котором иногда говорили эти чужеземцы, воскликнул:

— *Waes hael, Kaisar mirrig und machtigh!* — что означало: «Будь здоров, великий и могущественный император!»

Алексей тонко улыбнулся и, чтобы показать, что он может разговаривать со своими воинами на их родном языке, произнес обычный ответ:

— *Drink hael!*²

В ту же минуту прислужник подал серебряный кубок

¹ Такое же, как у царя (лат.).

² Пью за твое здоровье! (старонем.).

с вином. Император слегка пригубил его, словно пробуя на вкус, и затем приказал передать вино Хирварду, чтобы тот выпил.

Сакс не заставил просить себя дважды и тут же осушил кубок до дна. Легкая улыбка, приличествующая такому обществу, пробежала по лицам собравшихся при виде подвига, отнюдь не удивительного для гиперборейца, но поразившего умеренных греков. Сам Алексей рассмеялся гораздо громче, чем это могли себе позволить придворные, и, с трудом подбирая варяжские слова и путая их с греческими, спросил у Хирварда:

— А ну-ка, скажи, мой храбрый британец, мой Эдуард,— помнится, тебя зовут Эдуардом,— знаком ли тебе вкус этого вина?

— Да,— ответил варяг, не моргнув глазом,— я пробовал его однажды под Лаодикеей...

Тут Ахилл Татий, понимая, что воин вступает на весьма зыбкую почву, сделал попытку привлечь его внимание и тайными знаками заставить замолчать или по крайней мере тщательно обдумывать слова в таком обществе. Но варяг, повинувшись военной дисциплине, смотрел только на императора как на своего повелителя, которому он обязан отвечать и служить, и не замечал знаков Ахилла, ставших настолько явными, что Зосима и протоспафарий обменялись выразительными взглядами, словно предлагая друг другу отметить в памяти поведение главного телохранителя.

Между тем разговор между императором и воином продолжался.

— Как же тебе понравился этот глоток по сравнению с тем? — спросил Алексей.

— Мой господин,— ответил Хирвард, обведя присутствующих взглядом и поклонившись с врожденной учтивостью,— общество здесь, конечно, гораздо приятнее, чем компания арабских лучников. Но я не почувствовал того вкуса, который придают глотку редкостного вина палящее солнце, пыль битвы и усталось после того, как поработаешь таким оружием, как это,— он поднял свою алебарду,— восемь часов подряд.

— Быть может, у этого вина есть другой недостаток,— сказал Агеласт-Слон,— если мне простят такой намек,— добавил он, взглянув в сторону трона.— Может, этот кубок слишком мал по сравнению с тем, который был при Лаодикее?

— Клянусь Таранисом, ты сказал правду,— ответил варяг,— при Лаодикее мне для этого послужил мой шлем.

— Давай-ка сравним эти сосуды, приятель,— продолжал издеваться Агеласт,— мы хотим увериться, что ты не проглотил сегодняшнего кубка вместе с его содержимым. Мне, во всяком случае, показалось, что проглотил.

— Есть вещи, которые я не проглатываю так легко,— спокойно и невозмутимо ответил варяг,— но они должны исходить от человека помоложе и посильнее, чем ты.

Присутствующие вновь обменялись улыбками, как бы говорившими о том, что философ, хотя и был завзятым острословом, в данной схватке потерпел поражение.

В этот момент сказал свое слово император:

— Я посылал за тобой, приятель, не для того, чтобы тебя здесь осыпали пустыми насмешками.

Агеласт немедленно спрятался за спины придворных, как охотничья собака, на которую хозяин прикрикнул за то, что она не вовремя тявкнула. Но тут наконец заговорила царица Анна Комнин, прекрасное лицо которой уже выражало нетерпение:

— Может быть, мой возлюбленный отец и повелитель, ты объяснишь счастливым, допущенным в этот храм муз, зачем ты приказал сегодня привести этого воина сюда, в святилище, столь недоступное обычно людям его звания? Позволь мне сказать, что мы не должны тратить на легкомысленные и глупые шутки время, столь священное и дорогое для блага империи, как и каждая минута твоего отдыха.

— Наша дочь говорит мудро,— заметила императрица Ирина, которая, как большинство матерей, не наделенных никакими талантами и не очень способных оценить их у прочих людей, горячо восхищалась совершенствами своей любимой дочери и всегда готова была выставить их напоказ.— Позволь мне заметить, что стоило в этом священном и избранном обиталище муз, посвященном занятиям нашей возлюбленной и высокоодаренной дочери, чье перо сохранит твою славу, наш августейший супруг, до того дня, когда погибнет все сущее, а ныне доставляет радость и счастье этому обществу, состоящему из лучших цветов мудрости нашего возвышенного двора,— так вот, позволь мне заметить, что стоило здесь появиться одному-единственному воину из охранной гвардии, как наша беседа приняла характер, свойственный казарме.

Император Алексей Комнин испытывал в эту минуту то же ощущение, что и любой мужчина, когда его жена произносит длинную речь, тем более что императрица Ирина далеко не всегда проявляла достаточное почтение к его верховной власти и грозному сану, хотя была чрез-

вычайно строга к другим, когда речь шла о соблюдении пиетета к ее царственному супругу. Поэтому, хотя император и испытывал некоторое удовольствие от краткого перерыва в монотонном чтении истории, сочиненной царевной, он решил, что лучше возобновить это чтение, чем выслушивать красноречивые тирады императрицы. И он со вздохом сказал:

— Я прошу у вас прощения, наша добрая августейшая супруга и наша порфирородная дочь. Я вспомнил, наша обожаемая и высокообразованная дочь, что вчера ты пожелала узнать некоторые подробности о битве при Лаодикее с отвергнутыми небом язычниками-арабами. Еще и по другим соображениям, которые побуждают нас дополнить кое-какими сведениями наши собственные воспоминания, поручили мы Ахиллу Татию, нашему доверенному главному телохранителю, привести сюда одного из находящихся под его началом воинов, чья храбрость и присутствие духа должны были помочь ему наилучшим образом запомнить все, что происходило вокруг него в тот знаменательный и кровавый день. Я полагаю, что это и есть нужный нам человек.

— Если мне будет дозволено говорить, не расставаясь с жизнью,— ответил Татий,— ваше императорское величество и божественные императрица и царица, чьи имена для нас все равно что имена святых, перед вашими ясными очами сейчас находится лучший из моих англо-датчан, или как там еще их называют. Он, позволю себе сказать, варвар из варваров и, хотя по своему рождению и воспитанию не заслуживает того, чтобы ступать по ковру в этом обиталище учености и красноречия, все же настолько храбр, верен, предан и усерден, что...

— Достаточно, мой добрый телохранитель,— прервал его император.— Нам довольно знать, что он хладнокровен и наблюдателен, не теряет головы и присутствия духа в рукопашном бою, как это бывало, по нашим наблюдениям, с тобой и с некоторыми другими военачальниками, а порою, в случаях исключительных, признаться,— и с нашей императорской особой. Такое различие в поведении свидетельствует не о недостатке мужества, а что касается нас — оно говорит о глубоком сознании того, насколько важна наша безопасность для общего блага и сколь многочисленны обязанности, возложенные на нас. Однако, Татий, говори и не медли, ибо я вижу, что наша драгоценная супруга и наша трижды благословенная порфирородная дочь проявляют некоторое нетерпение.

— Хирвард так же спокоен и наблюдателен в бою,—

ответил Татий,— как другие во время танцев. Ноздри его жадно вдыхают пыль сражений, и он может устоять один против любых четырех воинов (не считая, конечно, варягов), которые показали себя храбрейшими на службе твоего императорского величества.

— Главный телохранитель,— прервал его император, на лице и в голосе которого появилось выражение неудовлетворения,— вместо того чтобы приучать этих бедных невежественных варваров к духу цивилизации и к законам нашей просвященной империи, ты своими хвастливыми речами разжигаешь в их необузданных душах пустую гордыню, которая толкает их на драки с другими чужеземными воинами и даже на ссоры друг с другом.

— Если мне дозволено будет молвить слово, чтобы смиренно испросить себе прощение,— сказал главный телохранитель,— я хотел бы только объяснить, что не далее чем час назад говорил этому бедному и невежественному англо-датчанину о той отеческой заботе, с какой твое величество, император Греции, относится к сохранению доброго согласия между различными отрядами, собранными под твоими знаменами, как печешься ты о поддержании добрых отношений, особенно между воинами разных национальностей, которые имеют счастье служить твоему величеству, как стремишься оградить их от кровавых ссор, столь обычных среди франков и других северных народов, вечно раздираемых гражданскими войнами. Я думаю, что этот бедный малый подтвердит мои слова.

Он посмотрел в сторону Хирварда, который с серьезным видом склонил голову в знак согласия с тем, что сказал его начальник. Видя, что его извинения, таким образом, подтверждены, Ахилл продолжал оправдываться уже более уверенно:

— Произнесенные мною только что слова были необдуманны, ибо вместо того, чтобы утверждать, что Хирвард может выступить против четырех слуг твоего императорского величества, я должен был сказать, что он готов сразиться с шестерыми самыми заклятыми врагами святейшего императора Греции, предоставив им выбор времени, оружия и места схватки.

— Вот это уже звучит лучше,— сказал император.— К сведению моей дорогой дочери, взявшей на себя благочестивый труд записать все деяния, которые, с господнего соизволения, были мной совершены для счастья империи, я искренне и горячо хочу внушить ей, что хотя меч Алексея не спал в своих ножнах, тем не менее я никогда не стре-

мился умножить свою славу ценой пролития крови моих подданных.

— Я надеюсь,— сказала Анна Комнин,— что в моем скромном описании жизни царственного владыки, которому я обязана своим рождением, я не забыла отметить его любовь к миру, его заботу о жизни своих воинов, а также его отвращение к кровавым обычаям еретиков-франков как одну из самых замечательных черт, ему присущих.

С повелительным видом человека, требующего внимания у собравшихся, царица, слегка наклонив голову, обвела всех взглядом и, взяв у прелестной Астарты свиток пергамента, на котором отличным почерком рабыни были записаны мысли госпожи, приготовилась читать.

В эту минуту ее взгляд упал на варвара Хирварда, и она удостоила его следующим приветствием:

— Доблестный варвар, которого, мне кажется, я смутно, словно во сне, припоминаю, сейчас ты услышишь рассказ, который, если прибегнуть к сравнениям, может быть уподоблен портрету Александра, написанному плохим художником, укравшим кисть Апеллеса. Но пусть иные сочтут этот рассказ недостойным избранной темы, однако он не может не вызвать некоторой зависти у тех, кто непредубежденно ознакомился с его содержанием и оценит всю трудность описания подвигов великого человека, который является героем этого произведения. Все же я прошу тебя внимательно выслушать то, что я буду читать, потому что описание битвы при Лаодикее, возможно, окажется не совсем точным в подробностях, которые я узнала главным образом от его императорского величества, моего царственного родителя, а также от доблестного протоспафария, его непобедимого военачальника, и от Ахилла Татия, верного аколита. Дело в том, что высокие обязанности этих великих военачальников заставляют их держаться на некотором расстоянии от сечи, дабы они имели возможность спокойно и безошибочно оценивать общее положение и отдавать приказы, не беспокоясь за свою безопасность. Даже когда дело идет о вышивании, мой храбрый варяг (не удивляйся, что мы владеем этим искусством: ведь ему покровительствует Минерва, которой мы стремимся подражать в наших занятиях), мы оставляем за собой лишь общий надзор за всем рисунком, поручая нашим прислужницам выполнение отдельных его частей. Таким образом, доблестный варяг, поскольку ты был в самой гуще сражения при Лаодикее, ты можешь пове-
дать мне, недостойную историю столь знаменитой войны, о ходе событий там, где люди дрались врукопашную и где

судьба войны решалась острием меча. Поэтому, храбрейший из вооруженных алебардами воинов, которым мы обязаны и этой победой и многими другими, не бойся исправлять любую ошибку или неточность, допущенную нами в описании подробностей этого славного боя.

— Госпожа моя,— сказал варяг,— я со вниманием буду слушать все, что твоему высочеству угодно будет прочитать, хотя с моей стороны было бы слишком самонадеянно пытаться оценить труд порфирородной царевны. Еще меньше пристало варвару-варягу судить о поведении в бою императора, который так щедро ему платит, или начальника, который хорошо к нему относится. Когда нашего совета спрашивают перед боем, этот совет всегда будет правдив и честен, но, насколько я могу понять своим неотесанным умом, если мы вздумаем разбирать сражение после того, как оно состоялось, это будет скорее оскорбительно, нежели полезно. А что касается протоспафария, то, если обязанности командующего — находиться в стороне от схватки, смело могу сказать и в случае нужды поклясться, что этого непобедимого начальника я никогда не видел ближе, чем на полет дротика, от места, представлявшего хоть малейшую опасность.

Прямые и смелые слова варяга произвели сильное впечатление на собравшихся. И сам император и Ахилл Татий выглядели так, словно им удалось выйти из опасного дела благополучнее, чем они ожидали. Протоспафарий постарался подавить свое негодование, Агеласт же шепнул стоявшему рядом патриарху:

— Эта северная алебарда умеет не только рубить, но и колоть.

— Тише,— ответил Зосима,— послушаем, чем это кончится: царевна собирается говорить.

ГЛАВА IV

Мы слышали «Такбир». Так называют
Арабы здесь воинственный свой клич,
Которым у небес победы просят,
Когда в разгаре битва и враги
Кричат: «Вперед! Нам уготован рай!»
«Осада Дамаска»

В голосе северного воина, хотя и приглушенном уважением к императору и желанием сделать приятное своему начальнику, прозвучало тем не менее больше грубоватой искренности, чем привыкло слышать эхо императорского дворца. Царевна Анна Комнин подумала, что ей придется выслушать мнение сурового судьи, но в то же время она почувствовала по его почтительной манере держаться, что уважение варяга более искренно, а его одобрение, если она сумеет заслужить таковое, более лестно, нежели позолоченные восторги всех придворных ее отца. С чувством некоторого удивления она внимательно смотрела на Хирварда, который, как мы уже описывали, был молод и красив, и испытывала при этом естественное желание понравиться, легко возникающее по отношению к привлекательному представителю другого пола. Он держался свободно и смело, но без тени шутовства или неучтивости. Звание варвара освобождало его и от принятых форм цивилизованной жизни и от правил неискренней вежливости. Однако его храбрость и благородная уверенность в себе вызывали к нему больший интерес, чем если бы он вел себя с обдуманной угодливостью или трепетным благоговением.

Короче говоря, Анна Комнин, несмотря на свое высокое положение и порфирородность (которую она ценила превыше всего), готовясь продолжить чтение своей истории, больше стремилась получить похвалу этого неотесанного воина, чем всех остальных своих слушателей. Их она достаточно хорошо знала и не жаждала услышать неумеренные восторги, в которых заранее была уверена дочь греческого императора, пожелавшая приобщить избранных придворных к своим литературным упражнениям. Но сейчас перед ней стоял иной судья, чье одобрение, если она его получит, будет иметь подлинную цену, поскольку завоевать подобное одобрение можно было, только затронув разум или сердце этого судьи.

Быть может, именно под влиянием этих чувств царевна несколько дольше, чем обычно, отыскивала в свитке тот отрывок, который она собиралась прочитать. Не осталось

незамеченным и то, что начала она чтение неуверенно, даже смущенно, и это удивило вельможных слушателей, которые привыкли видеть ее невозмутимо спокойной перед более сведущей, как они считали, и даже более строгой аудиторией.

Все эти обстоятельства не оставили равнодушным и варяга. Анне Комнин в то время уже перевалило за двадцать пять, а как известно, в этом возрасте гречанки начинают терять красоту. Сколько лет прошло с тех пор, как она перешагнула эту роковую черту, не знал никто, кроме нескольких доверенных прислужниц ее порфирного покоя. Поговаривали, что года два, и эту молву подтверждало ее обращение к философии и литературе, ибо такие занятия, видимо, не очень привлекают молоденьких девушек. Ей могло быть лет двадцать семь.

Во всяком случае, Анна Комнин если не теперь, то совсем еще недавно была подлинной красавицей, и, надо полагать, у нее хватило бы обаяния, чтобы покорить северного варвара, забудь он вдруг о разумной осторожности и о неопреодолимом расстоянии, разделявшем их. Впрочем, и это соображение вряд ли спасло бы Хирварда, смелого, бесстрашного и свободнорожденного, от чар этой обворожительной женщины, ибо в те времена неожиданных переворотов было немало случаев, когда удачливые военачальники делили ложе с порфирородными царевнами, которым они, возможно, сами помогли стать вдовами, чтобы расчистить путь для собственных притязаний. Но не говоря уже о некоторых привязанностях, о которых читатель узнает позже, Хирвард, хотя и был польщен необычным вниманием, уделенным ему царевной, все же видел в ней только дочь своего императора и повелителя и супругу знатного вельможи. Смотреть на нее иными глазами ему одинаково запрещали и долг и разум.

Только после одной или двух неудачных попыток Анна Комнин начала свое чтение; сначала ее голос звучал неуверенно, но сила и звучность возвращались к нему по мере того, как она читала нижеследующий отрывок из хорошо известного раздела своей истории царствования Алексея Комнина, не воспроизведенный, к несчастью, византийскими историками. Именно так и должен быть воспринят этот отрывок читателями — знатоками античной литературы: автор надеется заслужить благодарность ученого мира за восстановление столь любопытного фрагмента, который в противном случае, вероятно, все еще пребывал бы в полном забвении.

ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ЛАОДИКЕИ

Впервые публикуемый в переводе с греческого отрывок из написанной царевной Анной Комнин истории царствования ее отца.

«Солнце удалилось на свое ложе в океане, словно ему было стыдно смотреть на то, что бессмертная армия нашего божественного императора Алексея окружена дикими ордами нечестивых варваров, которые, как было описано в предыдущей главе, заняли ряд горных проходов на пути римлян в тылу у них и коварно укрепились там накануне ночью. И хотя в нашем триумфальном марше мы уже далеко продвинулись, однако теперь возникло серьезное опасение — смогут ли наши победоносные отряды проникнуть в глубь вражеской страны или хотя бы благополучно отступить к собственным своим пределам.

Обширные познания императора в военном деле — они превосходят познания большинства ныне здравствующих государей — помогли ему накануне вечером с удивительной точностью и прозорливостью определить позицию врага. Для этого ответственного дела он выбрал отряд легко вооруженных варваров, родом из сирийской пустыни, сохранивших и в чужой стране свои военные нравы и обычаи. Поскольку мой долг — писать под диктовку истины, ибо только ей должно подчиняться перо историка, я не могу не сказать, что эти варвары — такие же язычники, как и наши враги; однако они верны римскому знамени, как мне кажется, являются преданными слугами императора, которому они и добыли нужные сведения о расположении войск его грозного противника Ездегерда. Но эти сведения они доставили значительно позже того часа, когда император обычно отправляется почивать.

Пренебрегая подобным нарушением своего священного отдыха, наш августейший отец, отложивший церемонию раздевания — настолько напряженным был момент, — держал совет со своими опытнейшими военачальниками, людьми столь мудрыми, что они могли бы спасти от гибели рушащуюся вселенную; до глубокой ночи обсуждали они, что следует предпринять в этих тяжелых обстоятельствах. Дело требовало столь срочного решения, что все обычные порядки, установленные при дворе, были отменены; например, я слышала от очевидцев, что императорская постель была устроена в том же помещении, где собрался совет, а священный светильник, именуемый светильником совета, который зажигают всякий раз, когда император сам воз-

главлял совещание своих приближенных, в эту ночь — событие неслыханное в нашей истории — был заправлен не благовонным, а простым маслом!»

Тут прекрасная чтица приняла изящную позу, изображающую трепетный ужас, а слушатели выразили свое сочувствие по поводу такого невероятного случая соответствующими жестами; не вдаваясь в подробности, скажем только, что возглас Ахилла Татия был как нельзя более патетическим, а стон Агеласта-Слона напоминал глухой рев дикого зверя. Хирварда все это мало трогало, разве только слегка удивило поведение присутствующих. Царевна, выждав достаточно времени, чтобы все могли выразить свои чувства, продолжала чтение:

«В этих печальных обстоятельствах, когда даже самые нерушимые и священные традиции императорского двора отступили перед необходимостью безотлагательно решить, что следует делать завтра, мнения советников разошлись соответственно характерам и привычкам последних — явление, кстати сказать, довольно обычное даже среди добродетельнейших и мудрейших мужей, если им приходится принимать столь трудное и важное решение.

Я не стану приводить здесь имена и мнения тех, чьи советы были выслушаны и отвергнуты, уважая тайну и свободу высказываний, которые так соблюдаются в совете императора. Достаточно сказать, что одни хотели без промедления атаковать врага, продолжая двигаться в том же направлении, что и раньше. Другие считали, что безопаснее и легче, пробившись назад, вернуться тем же путем, каким мы пришли сюда; не следует также скрывать, что были и такие люди — их преданность не подвергается сомнению, — которые предлагали третий выход, более безопасный чем первые два, но совершенно неприемлемый для нашего благородного императора. Они советовали послать доверенного раба вместе с министром императорского двора в шатер Ездегерда, чтобы выяснить у него, на каких условиях этот варвар разрешит нашему победоносному отцу, не подвергаясь опасности, отступить во главе своей доблестной армии. Услышав такой совет, наш августейший отец воскликнул: «Святая София!» — а эти слова, как известно, обычно предшествуют проклятию, которое он иногда позволяет себе произнести — и уже готов был осудить бесчестность подобного совета и трусость того, кто его подал, но, вспомнив о превратностях человеческой судьбы и несчастьях, постигших некоторых из его славных предшественников, вынужденных сдать не верным в том самом месте, где он сейчас находился, его

императорское величество подавил благородные чувства и ограничился изложением своих мыслей по этому поводу. Он заявил военным советникам, что даже перед лицом смертельной опасности постарается не идти на столь постыдные переговоры. Таким образом, могущественный государь без колебаний отверг совет, позорный для его оружия и могущий поколебать боевой дух войск, хотя в глубине души император решил, если другого выхода не будет, согласиться на такое вполне безопасное, хотя — в более благоприятных условиях — не очень почетное отступление.

В эту печальную минуту, когда, казалось, говорить было уже не о чем, явился прославленный Ахилл Татий с обнадеживающим сообщением — он во главе нескольких своих воинов обнаружил на левом фланге расположения наших войск горный проход, через который, сделав, конечно, значительный крюк, мы могли бы пробраться и, двигаясь ускоренным маршем, достичь города Лаодикеи, соединиться с нашими резервами и до известной степени оказаться в безопасности.

Как только этот проблеск надежды озарил встревоженный дух императора, наш милостивый родитель стал немедленно отдавать приказы, которые должны были обеспечить полный успех этому делу. Его императорское величество не пожелал, чтобы храбрая варяжская гвардия, которую он считал цветом своей армии, на этот раз первой встретила противника. Он не посчитался с любовью к сражениям, всегда отличавшей благородных чужеземцев, и приказал, чтобы сирийские стряды, уже упомянутые нами, по возможности без шума продвинулись к свободному от врага проходу и заняли его. Великий гений нашей империи указал, что поскольку сирийцы всем своим обликом, оружием и языком схожи с нашими врагами, их подвижные отряды смогут беспрепятственно занять упомянутое ущелье и, таким образом, обеспечить отступление всей армии, в авангарде которой пойдут варяги, охраняющие священную особу императора. За ними последуют прославленные отряды Бессмертных — то есть основная часть армии, — которые составят ее центр и арьергард. Ахилл Татий, верный аколит нашего царственного владыки, хотя и был глубоко опечален тем, что ему вместе с его гвардией не разрешили возглавить арьергард, где возможность столкновения с врагом казалась в то время наиболее вероятной, тем не менее охотно согласился с предложением императора, обеспечивающим наилучшим образом безопасность государя и всей армии.

Приказы императора были немедленно разосланы и самым точным образом выполнены, ибо они указывали путь к спасению, на которое не надеялись даже самые старые и опытные воины. В те ночные часы, когда, по выражению божественного Гомера, спят и боги и люди, стало ясно, что бдительность и предусмотрительность одного человека сохранят от гибели всю римскую армию. Первые лучи рассвета тронули вершины скал, образующих ущелье, и сразу засверкали на солнце стальные шлемы и копья сирийцев, которыми командовал Монастрас, вместе со всем своим племенем связавший свою судьбу с судьбами империи. Государь во главе верных варягов двигался по ущелью, стремясь выйти на дорогу к Лаодикее и избежать столкновения с варварами.

Великолепное это было зрелище — темная масса северных воинов, которые шли впереди, медленно и упорно, подобно могучей реке, пробиваясь по горному ущелью, огибая скалы и пропасти или преодолевая невысокие подъемы, в то время как небольшие отряды лучников и копейщиков, вооруженных по-восточному, рассыпались по крутым склонам, словно легкая пена вдоль берегов потока. Окруженный воинами-гвардейцами, горделиво выступал боевой конь его императорского величества, гневно бьющий землю копытом, словно негодуя на то, что нет на нем его царственной ноши. Восемь сильных африканских рабов несли на носилках императора Алексея, который возлежал, сберегая силы на тот случай, если враги настигнут армию. Доблестный Ахилл Татий ехал рядом, дабы ни одна из тех блистательных идей, благодаря которым наш августейший повелитель не раз решал судьбу сражения, не пропала втуне и была бы немедленно передана тем, кто должен был претворить ее в жизнь. Следует добавить, что были там и носилки императрицы Ирины, которую мы можем сравнить с луной, озаряющей вселенную, и еще несколько носилок, а среди них — принадлежащие сочинительнице этого описания, недостойной упоминания, если бы она не была дочерью знаменитых и священных особ, которым посвящен сей рассказ. В таком порядке императорская армия преодолевала опасные горные проходы, где она могла подвергнуться нападению варваров. Мы счастливо миновали их, не встретив сопротивления. Когда мы подошли к выходу из ущелья, откуда начинался спуск к городу Лаодикее, прозорливость императора подсказала ему, что пора остановить воинов авангарда, которые, несмотря на тяжелое вооружение, двигались очень быстро; эта остановка была необходима и для того, чтобы воины

передохнули и освежили силы, и для того, чтобы подтянулся арьергард, так как в войсковых колоннах за время торопливого марша образовались разрывы.

Место, выбранное для стоянки, было восхитительно — цепь невысоких холмов постепенно переходила в долину, раскинувшуюся между ущельем, которое мы занимали, и Лаодикеей. Город был от нас примерно на расстоянии ста стадий, и наиболее пылкие воины даже утверждали, что уже различают башни и островерхие крыши, сверкающие под косыми лучами солнца, еще невысоко стоявшего над горизонтом. Горный поток, вытекавший из расселины в огромной скале, словно по ней ударил жезлом пророк Моисей, катил свои воды по отлогому склону, питая влагой травы и даже большие деревья, и лишь в милях четырех или пяти от этого места терялся — по крайней мере в засушливые месяцы — среди песчаных наносов и камней, чтобы в период дождей наброситься на них с особенной яростью и силой.

Было отрадно видеть, как заботится император об удобствах своих спутников и охраны. Трубы время от времени оповещали то один отряд варяжской гвардии, то другой, что воины могут положить оружие, дабы принять пищу, которую им приносили, утолить жажду чистой водой из потока, обильно струившегося с холма, или просто дать отдых своим могучим телам и растянуться на траве. Императору, его супруге, царевнам и придворным дамам завтрак был подан у источника, где брал начало ручеек, который воины, исполненные благоговейных чувств, не осквернили своими грубыми прикосновениями, чтобы им могло воспользоваться семейство, столь выразительно именуемое порфирородным. Здесь присутствовал и наш возлюбленный супруг; он был среди тех, кто первым обнаружил одно из бедствий, постигших нас в этот день. Хотя вся трапеза благодаря усилиям слуг императорской кухни даже в таких страшных обстоятельствах мало чем отличалась от пищи, обычно подаваемой в императорском дворце, однако, когда государь потребовал вина, то — о ужас! — оказалось, что не только исчерпана или где-то оставлена священная влага, предназначенная для уст императора, но, говоря языком Горация, невозможно раздобыть худшее из сабинских вин. И его императорское величество с радостью принял предложение неотесанного варяга, протянувшего ему свою долю ячменного отвара, который эти варвары предпочитают соку виноградной лозы. Да, император не отказался от этой жалкой дани».

— Вставь сюда, — сказал вдруг император, не то оч-

нувшийся от глубокой задумчивости, не то пробудившийся от легкого сна,— вставь сюда следующие слова: как знойно было это утро, так поспешно отступление от многочисленного врага, идущего по пятам, а императору так хотелось пить, что ни разу в жизни ни один напиток не казался ему столь восхитительным.

Повинуясь своему царственному отцу, Анна Комнин передала рукопись прекрасной рабыне-переписчице и, продиктовав ей это добавление, велела отметить, что оно сделано по высочайшему приказу самого императора. Затем она продолжала чтение:

«Я тут написала кое-что о любимом напитке верных императорскому величеству варягов, но, поскольку наш драгоценный родитель удостоил похвалы этот эль, как они называют его,— потому, очевидно, что он исцеляет все недуги, или, на их языке, элементы,— эта тема становится слишком возвышенной, чтобы ее обсуждал кто-нибудь из простых смертных. Могу только добавить, что все мы прекрасно провели время; дамы и рабы старались усладить императорский слух пением; воины в самых живописных позах длинной линией расположились в долине, некоторые бродили вдоль ручья, другие посменно сторожили оружие своих товарищей, а тем временем отставшие войска, в частности Бессмертные¹ под командованием протоспафария подходили отряд за отрядом и присоединялись к армии. Уставшим воинам разрешили отдохнуть, после чего их послали вперед по дороге на Лаодикею, а командиру было приказано, как только он установит связь с городом, потребовать подкреплений и продовольствия, не забыв о священном виде для императорских уст. Итак, римские отряды Бессмертных и другие двинулись вперед, ибо император пожелал, чтобы варяги, составлявшие до сих пор авангард, теперь прикрывали тыл армии, дабы легковооруженные сирийские войска могли, не подвергаясь опасности, уйти из все еще занимаемого ими ущелья, которое мы так благополучно миновали. И тут мы услышали ужасный вопль «Лля!» — так называют арабы свой военный клич, хотя что это значит, мне непонятно». Быть может, кто-нибудь из собравшихся здесь просветит мое невежество?

— Если мне будет дозволено говорить, не расставаясь с жизнью, то я отвечу,— произнес Ахилл Татий, гордый

¹ Бессмертные, принадлежавшие к константинопольской армии, были избранным отрядом, названным так в подражание древним персам. Согласно Дюканжу, они были сформированы впервые Михаилом Дукой. (Прим. автора).

своими познаниями в иноземных языках.— Эти слова звучат так: Алла иль алла Мухаммед расул алла,¹ или что-то в этом роде; это символ их веры, и с ним они всегда идут в бой. Я много раз слышал его.

— Я тоже слышал,— сказал император,— и мне — впрочем, ручаюсь, что и тебе — иной раз хотелось оказаться где угодно, только не там, где раздается этот клич.

Окружающие с живым интересом ждали, что ответит Ахилл Татий. Однако он был слишком искушенным царедворцем, чтобы тут же не найтись.

— Мой долг,— сказал он,— требует от меня, чтобы, как и подобает твоему верному телохранителю, я всегда был возле твоего императорского величества, где бы ты в эту минуту не пожелал оказаться.

Агеласт и Зосима обменялись взглядами, а царица Анна Комнин продолжала чтение:

«Причину этих ужасных воплей, доносившихся из ущелья, вскоре сообщили нам двенадцать всадников, на которых была возложена обязанность доставлять сведения.

Они доложили нам, что язычники, чье войско было разбросано вокруг позиции, которую мы занимали накануне, не могли объединить свои силы до тех пор, пока сирийские отряды, прикрывавшие отступление нашей армии, не оставили своего сторожевого поста. Когда, спустившись с холмов, сирийцы оказались в горном проходе, то, несмотря на скалистую местность, их яростно атаковал Ельдегерд во главе большого отряда своих приверженцев, которых с немалыми усилиями ему все же удалось собрать и бросить на арьергард армии императора. И хотя коннице было весьма неудобно действовать в ущелье, вождь неверных энергичными понуканиями заставил своих воинов двинуться вперед с решимостью, чуждой сирийцам, которые, увидев, какое расстояние отделяет их от товарищей по оружию, пришли к прискорбному выводу, что они принесены в жертву, и стали бросаться из стороны в сторону, вместо того чтобы оказать врагу дружное и решительное сопротивление. Таким образом, в дальнем конце ущелья положение оказалось гораздо хуже, чем нам хотелось бы, и те, кого любопытство толкало взглянуть на зрелище, которое можно было бы назвать разгромом нашего арьергарда, видели, как толпы злодеев мусульман скатывались с холмов, бросались на бегущих сирийцев и либо убивали их, либо брали в плен.

Святейший император несколько минут смотрел на

¹ Нет бога, кроме аллаха, и Мухаммед — пророк его (араб.).

поле битвы и, будучи сильно взволнован этим зрелищем, отдал несколько поспешный приказ варягам построиться и быстрым маршем двигаться к Лаодикее, на что один из воинов-северян смело возразил, не убоившись оспорить приказ государя: «Если мы будем торопливо спускаться с холма, в арьергарде начнется беспорядок отчасти из-за спешки, а отчасти из-за этих негодяев сирийцев, которые обязательно врежутся на бегу в наши ряды и смешают их. Пусть две сотни варягов, которые живут и умирают во славу Англии, вместе со мной займут горловину ущелья, а остальные пусть сопровождают императора в эту самую Лаодикею, или как она там называется. Быть может, мы поляжем костями защищаясь, но умрем, выполняя свой долг, и, уж конечно, так угостим этих воющих псов, что они будут сыты по горло — сегодня по крайней мере».

Мой августейший отец сразу по достоинству оценил совет, хотя и готов был заплатить, глядя, с каким непоколебимым мужеством несчастные варвары стремились попасть в число тех, кому надлежало пойти на столь ужасное дело, с какой любовью прощались они с товарищами и какими восторженными криками провожали своего повелителя, глядя, как он продолжает путь вниз по холму, предоставляя им грудью встретить натиск врага и погибнуть. Глаза императора были полны слез, и я не стыжусь сознаться, что в тот ужасный миг императрица и я сама забыли свое происхождение и точно так же отдали должное этим храбрым и преданным людям.

В последний раз мы видели их вожака, когда он тщательно расставлял своих товарищей для защиты ущелья, располагая их таким образом, чтобы центр обороны находился посередине прохода, а фланги нависали над флангами противника, если он будет напирать на тех, кто преграждал ему путь. Не успели мы преодолеть и половины расстояния, отделявшего нас от долины, как услышали страшный шум: то были вопли арабов и мощные отчетливые возгласы варягов, которые они обычно троекратно повторяют, приветствуя своих начальников и государей или вступая в бой. Многие обращали свои взоры туда, где шло сражение, и, будь там скульптор, он запечатлел бы этих людей в то мгновение, когда они замедляли шаги, не зная, слушать ли голос долга, который приказывал им продолжать путь вместе с императором, или же, откликнувшись на зов храбрости, броситься назад, к товарищам.

Привычка повиноваться, однако, взяла верх, и большая часть двинулась вперед.

Прошел час, в течение которого до нас то и дело

доносился шум битвы, и вот у императорских носилок появился конный варяг. Его взмыленный скакун, судя по сбруе, благородству форм и тонким ногам, принадлежал, должно быть, какому-нибудь вождю пустыни и по воле случая попал во время сражения к северному воину. Мощная алебарда варяга была покрыта кровью, а по лицу его разлилась смертельная бледность. Он был отмечен печатью боя, из которого только что вырвался, поэтому ему простили недостаточную почтительность приветствия.

«Благородный государь! — воскликнул он. — Арабы разбиты, и вы можете продолжать свой путь уже не столь поспешно».

«Где Ездегерд? — спросил император, у которого было достаточно причин опасаться этого прославленного вождя.

«Ездегерд, — ответил варяг, — там, куда попадают храбрецы, павшие при исполнении долга...»

«Значит, он...» — прервал император, жаждавший узнать более точно судьбу своего грозного врага.

«...там, где скоро буду и я», — ответил верный воин и, упав с коня к ногам тех, кто нес императорские носилки, испустил дух.

Император поручил своим слугам присмотреть за тем, чтобы труп верного воина, которого он хотел похоронить с почетом, не достался шакалам или стервятникам, а земляки покойного, англосаксы, весьма его почитавшие, подняли бездыханное тело на плечи и двинулись дальше с этой новой ношей, готовые сразиться за драгоценные останки подобно тому, как некогда сражался доблестный Менелай за тело Патрокла».

Здесь Анна Комнин остановилась; дойдя до этого места, которое, очевидно, считала завершением отрывка, она хотела проверить, понравилось ли прочитанное слушателям. Надо сказать, что, не будь царица так увлечена своей рукописью, она гораздо раньше заметила бы волнение чужеземного воина. Некоторое время он не менял позы, принятой вначале — стоял навтыжку, неподвижно, словно в карауле, не думая, по-видимому, ни о чем, кроме того, что находится при исполнении воинских обязанностей в присутствии императорского двора. Однако потом он стал проявлять больше интереса к тому, что читала царица. Рассказ о страхе, звучавшем в словах различных военачальников во время ночного военного совета, он слушал с выражением сдержанного презрения, когда же дело дошло до похвал в адрес Ахилла Татия, варяг чуть было не расхохотался. Даже упоминание об императоре он выслушал хотя и уважительно, но без того восторга,

которого добивалась императорская дочь, прибегая к столь явным преувеличениям.

До сих пор на лице варяга почти не было признаков внутреннего волнения, но они не замедлили появиться, едва только царевна начала описывать обстановку после того, как почти вся армия выбралась из ущелья, неожиданное нападение арабов, отход колонны, сопровождавшей императора, шум схватки, доносившийся до отступающих. Он слушал рассказ об этих событиях, и с лица его сходило суровое, принужденное выражение; это уже не был воин, который внимает рассказу о своем императоре с тем же видом, с каким несет караульную службу во дворце. Щеки его то вспыхивали румянцем, то бледнели, глаза то начинали сверкать, то наполнялись слезами, руки и ноги помимо воли их владельца непрерывно двигались; он превратился в слушателя, горячо заинтересованного в том, что ему читают, безразличного к происходящему, не помнящего, где он находится.

Царевна продолжала читать, и Хирвард уже не мог справиться с волнением; в тот момент, когда она обвела всех взглядом, варяг настолько потерял власть над собой, что, совершенно забывшись, уронил тяжелую алебарду на пол и, всплеснув руками, воскликнул:

— О мой несчастный брат!

Все вздрогнули от стука упавшего оружия, и несколько человек тут же поспешили вмешаться, пытаясь объяснить столь необычайное происшествие. Ахилл Татий бормотал что-то невнятное, просил простить Хирварду такое не деликатное выражение чувств, объяснял высокому собранию, что бедный необразованный варвар приходится младшим братом командиру-варягу, погибшему в том памятном ущелье. Царевна молчала, но было видно, что она поражена, тронута и вместе с тем довольна столь сильными чувствами, вызванными ее произведением. Остальные, каждый в меру своих возможностей, мямлили какие-то слова, которые следовало принять за выражение соболезнования, или подлинное горе вызывает сочувствие даже у самых равнодушных людей. Голос Алексея заставил умолкнуть непрощенных утешителей.

— Ну, мой храбрый воин Эдуард,— сказал император,— я, видимо, ослеп, раз не узнал тебя раньше; мне помнится, у нас есть заметка, согласно которой мы собирались выдать пятьсот золотых монет варягу Эдуарду; она имеется в наших секретных записях о наградах, полагающихся нашим подданным, и выплата не заставит себя ждать.

— С твоего позволения, государь, не мне получать эти монеты,— сказал англо-датчанин, поспешно придавая своему лицу прежнюю грубоватую суровость,— иначе они попадут к тому, кто не имеет права на щедрость твоего императорского величества. Меня зовут Хирвард, имя Эдуард носят трое моих товарищей, и все они не меньше, чем я, заслужили награду за верное исполнение своего долга.

Татий знаками старался предостеречь воина от такой глупости, как отказ от императорского подарка, Агеласт же высказался прямо.

— Юноша,— сказал он,— радуйся столь неожиданной чести и отзывайся впредь лишь на имя Эдуарда, ибо светоч мира озарил тебя лучом своего сияния; теперь ты отличен этим именем из числа прочих варваров. Что для тебя купель, в которой тебя крестили, или священник, совершавший этот обряд, если тогда ты получил не то имя, каким угодно было назвать тебя сейчас императору? Ты выделен из безликой толпы и, вознесенный столь великой милостью, обретаешь право на известность даже среди грядущих поколений.

— Хирвардом звали моего отца,— сказал воин, уже успевший овладеть собой.— Я не могу отказаться от своего имени, если чту его память. Эдуардом зовут моего товарища, и я не должен посягать на его интересы.

— Довольно! — прервал император.— Если мы и совершили ошибку, то достаточно богаты, чтобы исправить ее, и Хирвард не станет беднее, если какой-то Эдуард окажется достойным этой награды.

— Твое величество может поручить это своей преданной супруге,— сказала императрица Ирина.

— Его наисвятейшее величество,— заметила Анна Комнин,— столь ненасытен в своем стремлении быть добрым и великодушным, что не оставляет даже самым ближайшим своим родственникам возможности проявить благодарность или щедрость. Тем не менее и я со своей стороны выражу признательность этому храброму человеку и, упоминая в своей истории его деяния, всегда буду отмечать: «Этот подвиг был совершен Хирвардом, англо-датчанином, которого его императорскому величеству угодно было именовать Эдуардом». Возьми это, добрый юноша,— продолжала она, протягивая ему драгоценный перстень,— в знак того, что мы не забудем нашего обещания.

С низким поклоном принимая подарок, Хирвард не мог скрыть волнения, естественного в этих обстоятельствах.

Для большинства присутствующих было очевидно, что прекрасная царица выразила свою благодарность в форме, более приятной для молодого телохранителя, чем Алексей Комнин. Варяг взял перстень с великой признательностью.

— О драгоценный дар! — сказал он, прижимая этот знак уважения царицы к губам. — Может быть, нам недолго придется быть вместе, но, клянусь, — добавил он, склонившись перед Анной, — разлучить нас сможет одна только смерть.

— Продолжай свое чтение, наша августейшая дочь, — сказала императрица Ирина. — Ты уже достаточно показала, что для той, которая может даровать славу, доблесть одинаково драгоценна, в ком бы она ни обитала — в римляnine или варваре.

Не без некоторого замешательства Анна Комнин возобновила чтение:

«Мы вновь начали продвигаться по направлению к Лаодикее; все, принимавшие участие в походе, были теперь полны добрых надежд. И все-таки мы невольно оглядывались назад, туда, откуда в течение столь долгого времени ожидали нападения. И вот, к нашему изумлению, на склоне холма, как раз на полдороге между нами и тем местом, где мы останавливались, появилось густое облако пыли. Кое-кто из воинов, составлявших наш отступающий отряд, особенно те, что находились в арьергарде, принялись кричать: «Арабы!», «Арабы!» и, будучи уверенными, что их преследует неприятель, ускорили свой марш. Однако варяги в один голос стали уверять, что эту пыль подняли их оставшиеся в живых товарищи, которым было поручено оборонять ущелье и которые, доблестно выполнив свой долг, тоже двинулись в путь. С полным знанием дела они говорили, что облако пыли более плотно чем если бы оно было поднято арабской конницей, и даже решались утверждать, опираясь на свой немалый опыт, что число их товарищей сильно поубавилось после битвы. Несколько сирийских всадников, посланных на разведку, вернулись со сведениями, во всех подробностях подтверждающими слова варягов. Оставленный нами отряд гвардейцев отбил арабов, а их доблестный предводитель поразил вождя Ездегерда и во время схватки с ним был смертельно ранен, о чем уже упоминалось выше. Оставшиеся в живых — число их уменьшилось наполовину — спешили теперь догнать императора, насколько им позволяли раненые, которых они хотели доставить в безопасное место.

Император Алексей, движимый одним из тех велико-

душных и милосердных побуждений, которые свидетельствуют о его отеческом отношении к воинам, приказал, чтобы все носилки, даже предназначенные для его собственной священной особы, были немедленно посланы назад, дабы освободить храбрых варягов от необходимости нести раненых товарищей. Легче представить, чем описать, восторженные крики варягов, когда они увидели, что сам император сошел с носилок и, подобно рядовому всаднику, вскочил на боевого коня, в то время как святейшая императрица, равно как автор этих строк и другие порфирородные царевны продолжали свой путь на мулах, а их носилки немедленно были предоставлены раненым воинам. Император проявил тут не только доброту, но и военную проницательность, ибо помощь, оказанная тем, кто нес раненых, позволила оставшимся в живых защитникам ущелья присоединиться к нам скорее, чем это было бы возможно в ином случае.

С глубоким прискорбием смотрели мы на поредевшие ряды этих людей, которые совсем недавно покинули нас во всем блеске, придаваемом молодости и силе военными доспехами; теперь латы их были продавлены, в щитах застряли стрелы, оружие покрыто кровью и весь их облик свидетельствовал о том, что они только что вышли из жестокой битвы. Стоит рассказать о встрече варягов, принимавших участие в сражении, с товарищами, к которым они присоединились. Император по предложению своего верного аколита разрешил тем, кто видел битву лишь издали, на несколько минут выйти из строя и расспросить друзей о подробностях.

Эта встреча двух отрядов являла собой смешение горя и радости. Даже самые грубые из варваров, — я свидетельствую это, ибо видела все собственными глазами, — приветствовали крепким рукопожатием товарищей, которых уже считали погибшими, а их большие голубые глаза наполнялись слезами, когда они узнавали о смерти тех, кого надеялись встретить живыми. Бывалые воины рассматривали боевые знамена, радуясь, что покрытые славой, они находятся теперь в безопасности, и подсчитывали, сколько новых следов от вонзившихся стрел появилось на их полотнищах. Все громко славил храброго молодого начальника, которого они потеряли в битве, и не менее согласно восхваляли того, кто взял на себя начальство над отрядом, кто привел назад воинов своего павшего брата и кого, — сказала царевна, по всей видимости вставив эти слова ради данного случая, — автор настоящей истории, я хочу сказать — все члены императорского дома, поисти-

не высоко ценят и уважают за доблестную службу в столь трудных обстоятельствах.»

Воздав своему другу-варягу этой краткой похвалой дань уважения, к которому примешивались чувства, неохотно обнаруживаемые перед многочисленными слушателями, Анна Комнин перешла к чтению следующей части своей истории, носившей менее личный характер:

«Мы недолго занимались наблюдениями за отважными воинами, ибо, когда прошли те несколько минут, что были отведены им для изъявления чувств, труба возвестила о продолжении похода на Лаодикею, и вскоре мы увидели город, расположенный в четырех милях от нас посреди равнины, почти целиком покрытой лесом. Очевидно, стража, охранявшая город, уже заметила наше приближение, так как из ворот выехали повозки и фуры с освежающими напитками, которые были необходимы нам после продолжительного похода по жаре среди столбов пыли и при недостатке воды. Воины с радостью прибавили шаг, чтобы скорее получить продовольствие, в котором они так нуждались. Но чаша не всегда доносит драгоценный напиток до уст, которым она предназначена, как бы ни жаждали влаги эти уста. Вот так же и нас постигло разочарование, ибо мы увидели, что из рощи, расположенной между римской армией и городом, появилась, словно туча, арабская конница и, галопом налетев на повозки, начала опрокидывать их и убивать возниц. Это был, как мы впоследствии узнали, вражеский отряд, возглавляемый Варанесом, не уступавшим по боевой славе среди неверных Ездегерду, своему убитому брату. Когда Варанес понял, что успех на стороне варягов, отчаянно защищавших ущелье, он возглавил большой отряд конницы и, поскольку неверные, когда они на лошадях, не уступают в скорости ветру, проделав огромный крюк, прошел через другое ущелье, расположенное севернее, а затем устроил засаду в роще, о которой я уже упоминала: он решил напасть на императора и его армию как раз в то время, когда они будут уверены, что спокойно завершили отступление. Атака действительно могла оказаться неожиданной, и трудно сказать, чем бы все это кончилось, если бы не внезапное появление вереницы повозок, пробудивших необузданную жадность в арабах, несмотря на осторожность их вождя, пытавшегося остановить своих воинов. Таким образом, засада оказалась обнаруженной.

Однако Варанес, не желая отказываться от преимуществ, полученных благодаря быстрому переходу, собрал тех всадников, которых ему удалось оторвать от грабежа,

и бросил их навстречу римлянам, остановившимся при неожиданном появлении врага. Даже такой неопытный в военном деле судья, как я, не мог не заметить неуверенности и колебания в наших передних рядах. Варяги же, напротив, все как один принялись кричать: «Алебарды,— так они на своем языке называют боевые секиры,— вперед!», и, поскольку император милостиво уступил их доблестному желанию, бросились из арьергарда в голову колонны. Я затрудняюсь объяснить, как был проведен этот маневр, но, несомненно, он удался благодаря мудрым указаниям моего сиятельного отца, славящегося тем, что он никогда не теряется в тяжелых положениях. Разумеется, здесь сыграло роль и желание самих воинов, ибо, насколько я могла судить, римские отряды так называемых Бессмертных столь же ревностно стремились отступить в тыл, сколь варяжская гвардия — занять освобожденное ими место в авангарде. Весь маневр был выполнен так успешно, что когда Варанес со своими арабами бросился на наше войско, он был встречен непоколебимыми северными воинами. Все это произошло на моих глазах, и, казалось бы, на них можно положиться, как на надежных свидетелей происшедших событий. Но, признаюсь, глаза мои мало привычны к подобного рода зрелищам, и атакующие отряды Варанеса представились мне в виде огромного облака пыли, стремительно несущегося нам навстречу, сквозь которое поблескивали острия копий да смутно виднелись развевающиеся перья на тюрбанах всадников. Такбир — их военный клич — был так пронзителен, что в нем тонул сопровождающий его гром литавр и медных кимвалов. Однако этот дикий и жестокий шквал встретил такое сопротивление, словно он налетел на скалу.

Варяги, не дрогнувшие под бешеным натиском арабов, обрушили на лошадей и всадников удары своих тяжелых алебард, которые обращали в бегство самых храбрых противников и повергали на землю самых сильных. Телохранители сплывали свои ряды, а стоявшие сзади по примеру древних македонян напирали на передних таким образом, что легконогие, но некрупные скакуны идумейцев не могли пробиться сквозь ряды этой северной фаланги. В первых рядах пали самые храбрые воины и лучшие кони. Тяжелые, хотя и короткие дротики, которые отважные варяги сильной и меткой рукой бросали из задних рядов, посеяли смятение среди нападавших, и те в страхе повернули вспять и в полном беспорядке умчались с поля боя.

Отбив, таким образом, нападение врага, мы продолжали путь и остановились только тогда, когда увидели свои

разграбленные повозки. Придворные, ведавшие хозяйством императорского двора, позволили себе кое-какие недоброжелательные замечания, хотя именно им надлежало защищать эти повозки, а они бросили их при нападении неверных и вернулись только после того, как атака была отбита. Эти люди, скорые на клевету, но медлительные, когда выполнение долга грозит опасностью, доложили, что варяги постыдно нарушили дисциплину и выпили часть священного вина, предназначенного только для императорских уст. Было бы преступно отрицать, что это серьезная и заслуживающая наказания провинность; тем не менее наш царственный герой счел ее простительной, шутливо заметив, что поскольку он выпил так называемый эль своей доверенной гвардии, то варяги имеют право утолить жажду и подкрепить силы, потраченные ими в этот день для защиты его особы, хотя они и воспользовались для этой цели священным содержимым императорских подвалов.

Тем временем конница была отправлена в погоню за отступающими арабами; ей удалось отбросить их за цепь холмов, которые еще недавно отделяли арабов от римлян, и, таким образом, можно считать, что императорская армия одержала полную и славную победу.

Нам остается упомянуть о встрече с жителями Лаодикеи, которые с крепостных стен наблюдали за изменчивым ходом битвы, переживая то страх, то надежду, и теперь спустились вниз, чтобы поздравить царственного победителя.»

Но тут прекрасной царевне пришлось прервать свое чтение. Обе створки центральных дверей покоя распахнулись — бесшумно, разумеется, но так широко, что было ясно: сейчас в них появится не простой царедворец, который хочет произвести поменьше шума и никого не беспокоить, а человек, чей высокий сан позволяет ему не думать о том, что он привлечет к себе всеобщее внимание. Такую вольность мог позволить себе только член императорской семьи, кровно с ней связанный или породнившийся, поэтому гости, знавшие, кто бывает в этом храме муз, поняли, что в столь широко распахнутые двери войдет зять Алексея Комнина и муж прекрасной летописицы, Никифор Вриенний, носивший титул кесаря. Впрочем, в отличие от предшествующих веков, этот титул уже не означал, что Вриенний является вторым человеком в империи, ибо из политических соображений Алексей отодвинул его в тень, поставив нескольких важных сановников между собой и кесарем с его старинным правом считаться вторым после императора лицом в государстве.

ГЛАВА V

Стихии буйствуют. Не дождь веселый,
Рожденный в недрах влажного Апреля,
Не ливень из горячих губ Июля,—
Все створы неба шумно распахнулись,
И вот неисчислимые потоки
На землю с хриплым ревом устремились.
Что остановит их?

«Потоп», поэма

Вошедший вельможа оказался греком благородной внешности; одежда его была украшена всеми возможными знаками отличия, исключая те, которые Алексей учредил только для своей собственной священной особы и для себастократора, считавшегося теперь вторым человеком в империи. Никифор Вриенний находился в расцвете молодости и мужественной красоты, сделавшей союз с ним приемлемым для Анны Комнин, тогда как император считал этот брак желательным по соображениям политическим, стремясь привлечь на свою сторону могущественный род Вриенниев и превратить их в друзей и приверженцев престола.

Мы уже намекали на то, что царственная супруга Вриенния имела перед ним некоторое — весьма сомнительное — превосходство в годах. О ее литературных талантах мы уже упоминали. Люди хорошо осведомленные отнюдь не считали, что эти почтенные преимущества помогли Анне Комнин безраздельно завладеть вниманием красавца мужа. Конечно ее принадлежность к императорской семье препятствовала Никифору проявлять откровенное пренебрежение к ней, но, с другой стороны, род Вриенниев обладал слишком большой силой, чтобы Никифор позволил кому-либо, даже императору, оказывать на него давление. Он, видимо, отличался способностями, ценными как в военное, так и в мирное время. Поэтому к его советам прислушивались, в его помощи нуждались, а он взамен требовал полной свободы и права распоряжаться своим временем по своему усмотрению. Порой он посещал храм муз гораздо реже, чем заслуживала, по ее собственному мнению, богиня этого храма или чем полагала императрица Ирина, защищавшая интересы своей дочери. Добродушный Алексей соблюдал в этом вопросе нейтралитет и старался по мере сил скрыть все разногласия от посторонних глаз, полагая, что удержать престол в столь беспокойной империи можно, лишь сохранив нерушимое единство в семье.

Он пожал Никифору руку, когда тот, проходя мимо его трона, преклонил перед ним в знак почтения колени. Императрица встретила зятя более натянуто и холодно, а сама прекрасная муза вообще не удостоила вниманием своего красавца мужа, занявшего подле нее ту свободную скамью, о которой мы уже упоминали.

Наступила неловкая пауза, во время которой зять императора, считавший, что ему обрадуются, а вместо этого встретивший столь холодный прием, попытался завести незначительный разговор с красавицей рабыней Астартой, стоявшей на коленях рядом со своей госпожой. Однако этот разговор тут же был прерван царевной, приказавшей прислужнице спрятать манускрипт в предназначенный для этого ларец и собственноручно отнести его в зал Аполлона, где Анна Комнин обычно занималась, ибо храм муз был отведен только для устраиваемых ею чтений.

Император первый прервал тягостное молчание.

— Дорогой наш зять,— сказал он,— хотя время сейчас уже позднее, но ты многого лишишь себя, если позволишь нашей Анне отослать этот свиток, чтение которого столь усладило слух собравшихся; они могли бы сказать, что в пустыне цвели розы, а голые скалы источали молоко и мед — так приятно звучало описание тяжелого и опасного похода в изложении нашей дочери.

— Насколько нам дано судить,— заметила императрица,— у кесаря нет вкуса к тем утонченным занятиям, какими увлекается наша семья. В последнее время он стал редким гостем в храме муз: видимо, беседы в каком-то другом месте доставляют ему большее удовольствие.

— Я все же надеюсь, государыня,— ответил Никифор,— что мой вкус не заслуживает подобных обвинений. Но вполне естественно, что нашему августейшему отцу должны особенно нравиться молоко и мед, ибо расточают их только ради него.

Тут заговорила царевна, и в тоне ее прозвучала обида красивой женщины, которая уязвлена своим возлюбленным, помнит обиду, но тем не менее не отказывается от примирения.

— Если деяния Никифора Вриенния,— сказала она,— упоминаются в этом скромном свитке пергамента реже, чем подвиги моего прославленного отца, пусть он будет справедлив и вспомнит, что таково было его собственное желание, проистекавшее то ли от скромности, которая, как с полной правотой говорят люди, лишь подчеркивает и украшает другие добродетели, то ли от справедливого

неверия в способность своей жены воздать ему хвалу по достоинству.

— Тогда мы позовем обратно Астарту,— вмешалась императрица.— Она, вероятно, еще не успела отнести это прекрасное подношение в святилище Аполлона.

— С разрешения твоего императорского величества,— сказал Никифор,— пифийский бог может разгневаться, если у него потребуют обратно сокровище, оценить которое может он один. Я пришел сюда, чтобы поговорить с императором о нетерпящих отлагательства делах государственных, а не для того, чтобы вести литературную беседу в обществе — отмечу, кстати, довольно смешанном, поскольку среди приближенных императора я вижу простого воина-телохранителя.

— Клянусь распятием, дорогой зять,— сказал Алексей,— ты несправедлив к этому храброму человеку. Его брат, не пощадив собственной жизни, своей доблестью завоевал нам победу под Лаодикеей, а сам он — тот англо-датчанин Эдмунд... или Эдуард... или Хирвард, которому мы навсегда обязаны успехом столь победоносного дня. Да будет тебе известно, что он предстал перед нами по нашему повелению для того, чтобы восстановить в памяти моего главного телохранителя Ахилла Татия, так же как и в моей, некоторые подробности боя, которые уже несколько стерлись в ней.

— Поистине, государь,— ответил Вриенний,— я весьма сожалею, что своим вторжением в какой-то степени помешал столь важным расследованиям и как бы украл частицу света, который должен озарить события этих дней, дабы о них узнали грядущие поколения. Впрочем, я полагаю, что в отношении битвы, которой руководили сам святейший император и его великие военачальники, свидетельство государя весит больше, чем слова такого человека, как этот. Хотел бы я знать — продолжал он, высокомерно обращаясь к варягу,— какие подробности можешь ты добавить к тем, которые были уже описаны царевной?

Варяг ответил незамедлительно:

— Я добавлю только одно: когда мы сделали остановку у родника, музыка, исполнявшаяся дамами императорского двора, и особенно теми двумя, в чьем присутствии я сейчас нахожусь, была лучшей музыкой, какую я когда-либо слышал.

— Как ты смеешь высказывать столь дерзкое суждение? — воскликнул Никифор.— Да разве музыка, которую угодно было исполнить супруге и дочери императора, предназначалась для того, чтобы каждый низкорожден-

ный варвар, случайно услышавший ее, мог насладиться ею или подвергнуть ее критике? Убирайся вон из дворца! И не смей показываться мне на глаза, если только на то не будет воли нашего августейшего отца.

Варяг перевел взгляд на Ахилла Татия, ожидая, чтобы начальник приказал ему уйти или остаться. Но император с большим достоинством взял дело в свои руки.

— Сын наш,— сказал он,— мы не можем этого допустить. Из-за любовной ссоры с нашей дочерью ты странным образом позволяешь себе забыть, что находишься перед лицом императора, и гонишь прочь человека, которого мы пожелали видеть у себя. Тебе не пристало вести себя так. Запомни: нам не угодно, чтобы этот Хирвард, или Эдуард, или как там его имя, ушел сейчас отсюда, точно так же как не угодно, чтобы в будущем он подчинялся чьим-либо приказам, кроме наших или нашего аколита Ахилла Татия. А теперь, покончив с этим вздорным недоразумением, которое, несомненно, тут же развеется по ветру, мы жаждем узнать о важных государственных делах, побудивших тебя прийти сюда в столь поздний час. Ты опять смотришь на варяга. Прошу тебя, говори при нем прямо, ничего не утаивая, ибо он пользуется — и с достаточными основаниями для этого — столь же высоким нашим доверием, как и любой другой советник, присягнувший на верность нашему дому.

— Слушаю и повинуюсь,— ответил зять императора, видя, что его повелитель недоволен, и зная, что в таких случаях доводить его до крайности небезопасно и неразумно.— Тем более что новость, которую я собираюсь сообщить, вскоре станет общим достоянием, и поэтому неважно, кто ее сейчас услышит. Так вот, запад, где всегда происходят странные вещи, никогда еще не слал в нашу восточную половину мира таких тревожных вестей, как те, о которых я поведаю твоему императорскому величеству. Заимствуя выражение у этой дамы, которая оказывает мне честь, именуя меня своим мужем, Европа как бы сорвалась с места и вот-вот ринется на Азию...

— Я действительно сказала так,— прервала его Анна Комнин,— и, смею надеяться, выразила свою мысль с достаточной силой, ибо тогда мы впервые слышали, что дикий порыв взметнул беспокойных европейских варваров и тысячи племен ураганом налетели на наши западные границы с неслыханным намерением, о котором они во всеуслышанье заявляли, завоевать Сирию и те места, где покоятся пророки, где святые приняли мученический венец и где совершались великие события, изложенные в свя-

щенном писании. Но, судя по всему, эта буря отшумела и утихла, и мы надеялись, что вместе с ней миновала и опасность. Мы будем глубоко опечалены, если окажется, что это не так.

— К сожалению, не так,— продолжал ее супруг.— Донесения не солгали: огромное скопище людей низкорожденных и невежественных, взявших оружие по наущению безумного отшельника, двинулись из Германии в Венгрию, ожидая, что среди них совершатся такие же благостные чудеса, как для народа Израиля, когда его вел через пустыню столп огненный. Но не сыпалась манна с небес, не слетались перепела; чтобы накормить их, и никто не объявил их избранным народом божьим. Вода не била из скалы, дабы напоить алчущих. Страдания ожесточили этих людей, и они принялись добывать себе пищу грабежом. Венгры и другие народы, проживающие на наших западных границах, такие же христиане, как они, не остановились перед тем, чтобы напасть на этот беспорядочный сброд, и только огромные груды костей в диких ущельях и безвестных пустынях оставались свидетелями безжалостного разгрома, которому подверглись эти нечестивые пилигримы.

— Но все это,— сказал император,— мы знали и раньше. Какое новое бедствие угрожает нам теперь, после того, как нас уже миновала сия страшная опасность?

— Знали раньше? — повторил кесарь Никифор.— Нет, о подлинной опасности мы ничего не знали: нам было известно лишь, что стада животных, жестоких и яростных как дикие быки, угрожали ринуться на пастбище, которое давно влекло их к себе, и что они наводнили Греческую империю и ближние с ней страны, надеясь, что Палестина с ее реками, полными молока и меда, вновь откроется им, как избранному богом народу. Но такое беспорядочное и дикое нашествие не страшно столь просвященному народу, как римляне. Стадо тупых животных испугалось греческого огня; их заманивали в западни и уничтожали ливнем стрел дикие племена, которые хотя и считают себя независимыми от нас, но прикрывают нашу границу, подобно линии укреплений. Даже пища, которую раздобывал на своем пути этот грустный сброд, и та оказалась губительной: император с его прозорливой политикой и отеческой заботливостью предусмотрел и такие меры обороны. Эта мудрая политика достигла цели, и корабль, над которым гремел гром и сверкали молнии, спасся, невзирая на ярость грозы. Но не успела улечься одна буря, как поднялась другая: на нас движется новый вал западных наро-

дов, такой грозный, какого никогда не видели мы или наши предки. И теперь это не чернь, голодная, неосмотрительная, невежественная и фанатичная, нет, все, что есть на просторах Европы: разумного и достойного, отважного и благородного, объединилось во имя той же цели, скрепив священным обетом свой союз.

— Что же это за цель? Говори прямо,— прервал его Алексей.— Уничтожение всей нашей Римской империи, с тем чтобы даже имя ее государя было вычеркнуто из списка коронованных особ мира, среди которых оно так долго было первым,— только такая цель смогла бы объединить всех в подобный союз.

— Открыто о таком замысле никто не заявляет,— ответил Никифор.— Все эти владыки, мудрецы и православные вельможи ставят перед собой, по их утверждению, ту же неправдоподобную цель, что и полчища невежественной черни, которые первыми появились в наших местах. Вот у меня, милостивый император, свиток, в котором ты найдешь перечисление армий, по разным дорогам движущихся на нашу страну. Гуго де Вермандуа, за доблесть прозванный Великим, отплыл от берегов Италии. Уже прибыли двадцать рыцарей, закованных в стальные выложенные золотом латы, и передали от него следующее надменное приветствие: «Пусть император Греции и его военачальники знают, что Гуго, граф Вермандуа, приближается к его землям. Он брат короля королей — государя Франции¹, и сопровождает его цвет французской знати. С ним благословенное знамя святого Петра, врученное его победоносному попечению самим наместником апостола, и он предупреждает тебя об этом, чтобы ты мог устроить ему прием, приличествующий его сану».

— Слова громкие,— сказал император,— но не всегда топят корабли тот ветер, который громче других завывает в снастях. Мы немного знакомы с французами и весьма наслышаны о них. Они скорее спесивы, чем доблестны, и мы будем льстить их тщеславию, пока не выиграем время и не найдем возможностей для более надежной обороны. Да, если бы словами можно было расплачиваться, наша казна никогда не оскудела бы... Что там написано дальше,

¹ Дюканж прибегает к свидетельству бесконечного числа авторитетов, дабы показать, что король Франции в те дни преимущественно именовался Rex. См. его заметки об «Алексиаде». Анна Комнин в своей истории заставляет Гуго Вермандуа присваивать себе титулы, на которые мог претендовать, по мнению восторженного француза, лишь его старший брат, царствующий император. (Прим. автора).

Никифор? Имена людей, сопровождающих этого великого графа?

— Нет, мой государь,— ответил Никифор Вриенний,— тут перечислены лишь имена владык, а не подчиненных, и сколько в списке этих имен, столько независимых друг от друга армий движутся по разным дорогам на восток, провозглашая общей своей целью завоевание Палестины у неверных.

— Перечень устрашающий,— промолвил император, внимательно изучив список.— Однако нас обнадеживает именно его длина, ибо столь необычный замысел не может объединить в прочный и нерушимый союз такое множество государей. Я вижу здесь хорошо знакомое имя нашего старого друга, а ныне врага — ибо таковы превратности войны и мира — Боэмунда Антиохийского. Разве он не сын знаменитого Роберта Апулийского, который, будучи простым рыцарем, возвысился до звания великого герцога, повелителя своих воинственных соотечественников в Сицилии и Италии? Разве знамена германского императора и папы римского, как, впрочем, и наши собственные, не отступали перед ним, пока этот изворотливый политик и храбрый рыцарь не стал наводить ужас на всю Европу, он, в чьем нормандском замке поместилось бы не больше шести лучников и стольких же копейщиков? Это страшная семья, в равной мере коварная и могущественная. Боэмунд, сын старого Роберта, будет следовать политике своего отца. Он может сколько угодно говорить о Палестине и об интересах христианства, но если я сумею сделать так, чтобы его интересы совпали с моими, вряд ли он станет преследовать какие-либо другие цели. Итак, поскольку мне уже известны его желания и замыслы, возможно, что небо под личиной врага посылает нам союзника... Кто там следующий? Готфрид,¹ герцог Бульонский, во главе мощного отряда с берегов огромной реки, называемой Рейном. Что это за человек?

— Насколько мы слышали,— ответил Никифор,— Готфрид — один из самых мудрых, самых благородных и самых храбрых вождей, принимающих участие в этом странном деле; и среди правителей, число которых не меньше числа тех, кто осаждал Трою, и в большинстве своем ведущих за собой в десять раз более многочисленные отряды, этот Готфрид может считаться Агамемноном.

¹ Готфрид Бульонский, герцог Нижней Лотарингии — выдающийся полководец, командовавший Первым крестовым походом, впоследствии король Иерусалимский. См. у Гиббона или Миллса. (Прим. автора.).

Государи и графы уважают его, потому что он — первый среди тех, кого они так странно именуют рыцарями, а также потому, что все его деяния отмечены печатью честности и благородства. Духовенство чтит его за твердую приверженность религии и за уважение к церкви и ее служителям. Справедливость, щедрость, прямодушие привлекают к нему и простых людей. Готфрид непоколебим в том, что считает своим нравственным долгом, поэтому никто не сомневается в искренности его веры; будучи наделен такими превосходными качествами, он справедливо считается одним из предводителей этого крестового похода, хотя по званию, рождению и власти уступает многим его вождям.

— Жаль,— заметил император,— что такой человек, каким ты его описал, подвержен фанатизму, подобающему разве что Петру Пустыннику, или бессмысленной толпе, которую он вел за собой, или даже ослу, на котором он путешествовал! Впрочем, я готов думать, что этот осел был самым мудрым из всего скопища участников первого нашествия, поскольку он пустился вскачь в сторону Европы, как только ему стало не хватать воды и ячменя.

— Если мне будет дозволено говорить, не расставаясь с жизнью,— вставил Агеласт,— я бы добавил, что сам патриарх сделал то же самое, как только стрел вокруг стало много, а еды мало.

— Это ты правильно заметил, Агеласт,— сказал император,— но сейчас надо решить, нельзя ли образовать сулящее выгоду и почет княжество из тех провинций Малой Азии, которые были разграблены за последнее время турками. Думается, что такое княжество с его неоспоримыми преимуществами — плодородной почвой, прекрасным климатом, трудолюбивым населением и здоровым воздухом — стоит болот Булони. Если оно будет зависеть от Священной Римской империи и в то же время находиться под защитой Готфрида и его победоносных франков, оно может стать оплотом в том краю для нашей праведной и священной особы. Что об этом скажет святейший патриарх? Не считает ли он, что такое предложение охладит склонность самого преданного крестоносца к выжженным пескам Палестины?

— Особенно,— ответил патриарх,— если тот, кто получит такую богатую провинцию в феодальное владение, предварительно будет обращен в единственно истинную веру, о чем, несомненно, ты не забываешь, милостивый император.

— Разумеется, разумеется,— ответил Алексей с подобающим случаю пафосом, хотя про себя-то он знал, как

часто во имя государственных интересов он вынужден был принимать в свое подданство не только латинских христиан, но и манихеев и других еретиков, не говоря уже о варварах-мусульманах, никогда при этом не встречая сопротивления со стороны щепетильного патриарха.— Судя по этому списку,— продолжал он,— столько отрядов во главе с влиятельными государями и вельможами движется к нашим границам, что они могут соперничать с армиями древних, которые, по преданию, выпивали на своем пути реки, опустошали страны, вытапывали леса.

При этих словах лицо императора тронула та же тень тревоги, которая уже омрачила лица его советников.

— Эта война народов,— сказал Никифор,— во многом отличается от любой другой войны, исключая разве ту, которую ты, мой государь, вел в прошлом с так называемыми франками. Нам предстоит помериться силами с людьми, для которых грохот битвы необходим как воздух. Ради того, чтобы воевать, они готовы сражаться с ближайшими своими соседями, кровавые поединки для них такая же забава, как для нас — состязание на колесницах. Они закованы в непроницаемую стальную броню, защищающую их от копий и мечей, а их могучие кони легко несут на себе эту огромную тяжесть, которая для наших была бы так же непосильна, как гора Олимп. Их пехота вооружена не простыми луками, а неизвестными нам и другим народам арбалетами. Тетиву арбалета натягивают не правой рукой, а ногою, налегая на нее при этом всей тяжестью тела. Стрелы, вернее — дротики, для этого лука сделаны из прочного дерева, имеют металлические наконечники и пробивают на лету самые прочные нагрудники и даже каменные стены, если они не слишком толсты.

— Довольно,— прервал его император,— мы собственными глазами видели копья франкских рыцарей и арбалеты их пеших воинов. Если небо наделило франков храбростью, которая другим народам кажется почти сверхъестественной, то грекам оно даровало мудрость, отказав в ней варварам. Мы добиваемся победы не грубой силой, а мудрым расчетом и ведем переговоры так искусно, что получаем большие преимущества, чем может дать даже военный успех. И если у нас нет того страшного оружия, которое наш зять назвал арбалетом, зато провидение в своем милосердии скрыло от западных варваров тайну состава и применения греческого огня, именуемого так потому, что только руки греков умеют его изготавливать и обращать его молнии против ошеломленного врага.

Сделав паузу, император окинул взглядом лица своих

советников и, хотя они были по-прежнему бледны, бодро продолжал:

— Вернемся, однако, к этому мрачному свитку, содержащему перечень тех, кто продвигается к нашим границам; насколько нам подсказывает память, в нем немало знакомых имен, хотя воспоминания наши смутны и стерты временем. Нам важно узнать, кто они, чтобы мы могли извлечь выгоду из их междоусобиц и ссор, которые, будучи вызваны к жизни, отвлекут этих людей от того необычного замысла, ради которого они объединились. Здесь есть, например, некий Роберт, носящий титул герцога Нормандского, который ведет за собой немалый отряд графов — с этим титулом мы слишком хорошо знакомы — и эрлов — звание нам неизвестное, но, видимо, почетное среди варваров и рыцарей, чьи имена говорят о том, что больше всего среди них франков, но есть представители и других племен, нам неведомых. За разъяснениями по этому поводу всего разумнее нам обратиться к нашему высокопочтимому и высокоученому патриарху.

— Обязанности, налагаемые моим саном, не позволяли мне в зрелые мои годы заниматься историей дальних государств — ответил патриарх Зосима, — но мудрый Агеласт, прочитавший столько книг, что, собранные вместе, они заняли бы все полки знаменитой Александрийской библиотеки, без сомнения сможет ответить на вопрос твоего императорского величества.

Агеласт выпрямился на своих неутомимых ногах, благодаря которым был прозван Слоном, и начал отвечать на вопрос императора, проявляя при этом больше доброй воли, нежели знаний.

— В том замечательном зеркале, — сказал он, — которое отражает дела и жизнь наших предков, в трудах высокоученого Прокопия, я прочитал, что народы, именуемые норманнами и англами, в действительности происходят от одного племени и что Нормандия, как ее иногда называют, является частью Галлии. Напротив нее, совсем близко, отделенный лишь морским проливом, расположен мрачный остров, царство туманов и бурь, куда, по утверждению жителей континента, отправляются души умерших. По эту сторону пролива живут немногочисленные рыбаки, которым дана какая-то странная хартия, а вместе с ней и единственная в своем роде привилегия: будучи живыми людьми, они, как некогда языческий Харон, перевозят души умерших на остров — обиталище теней. Под прикрытием ночного мрака рыбаки по очереди вершат то, ради чего им и дозволено жить на этом таинственном берегу.

Чья-то бесплотная рука стучит в дверь того, кто должен нести в эту ночь небывалую службу. Шепот, подобный еле слышному вздоху ветра, призывает рыбака исполнить свой долг. Он спешит к лодке, но до тех пор не отплывает, пока не убеждается, что она осела, словно под тяжестью умерших, которые взошли на нее. Никого не видно, слышны только голоса, но слов разобрать невозможно, точно кто-то бормочет во сне. Рыбак пересекает пролив, отделяющий материк от острова, испытывая непонятный ужас, всегда охватывающий живых, когда они ощущают присутствие мертвых. Он добирается до противоположного берега, где белые меловые скалы образуют поразительный контраст с вечным мраком, царящим там, причаливает всегда в одном и том же месте, но сам из лодки не вылезает, ибо на эту землю никогда не ступала нога живого человека. Тени умерших, сойдя на берег, отправляются в назначенный им путь, а лодочник медленно возвращается на свою сторону пролива, выполнив, таким образом, повинность, которая дает ему возможность ловить рыбу сетями и жить в этом удивительном месте.

Агеласт сделал паузу, и тут снова заговорил император:

— Если эта легенда действительно рассказана Прокопием, высокоученый Агеласт, то это означает только одно: в вопросе о загробной жизни знаменитый ученый оказался гораздо ближе к язычникам, чем к христианам. Ведь его рассказ мало чем отличается от древнего поверия о потустороннем Стиксе. Прокопий, как известно, жил тогда, когда язычество еще процветало, и равно как мы отказываемся верить многому из того, что он поведал нам о нашем предке и предшественнике Юстиниане, точно так же в дальнейшем мы всегда будем сомневаться в основательности его географических познаний. Кстати, что тебя так тревожит, Ахилл Татий, и о чем ты шепчешься с этим воином?

— Моя жизнь, — ответил Ахилл Татий, — принадлежит твоей императорской милости, и я готов отдать ее в уплату за непристойную болтливость моего языка. Я только спросил этого Хирварда, что он знает о норманнах, ибо слышал, как мои варяги неоднократно называли друг друга англо-датчанами, норманнами, британцами и всякими другими варварскими именами, и думаю, что одно из этих странных названий, а может, и все они, по-разному обозначают родину изгнанников, которые должны быть счастливы, вырвавшись из мрака невежества и оказавшись в кругу сияния твоего императорского величества.

— Так говори же, варяг, во имя неба,— сказал император,— и открой нам, друзей или врагов увидим мы в лице этих людей из Нормандии, подступающих к нашим границам. Говори смело, тебе нечего опасаться, ибо ты служишь государю, который в силах защитить тебя.

— Раз уж мне позволили говорить, то я скажу,— ответил варяг.— Правда, я не очень хорошо знаю греческий язык, который вы называете римским, но все же моих знаний довольно, чтобы обратиться к его императорскому величеству с просьбой: вместо платы, подарков или награды, которые император соизволил обещать мне, пусть он поставит меня в первые ряды войска, которое сразится с этими норманнами и их герцогом Робертом, и если император разрешит мне взять с собой варягов, которые, любя ли меня, ненавидя ли своих прежних тиранов, захотят присоединиться ко мне, то не сомневаюсь: мы так сведем с ними счеты, что последнюю службу им уже сослужат греческие орлы и волки, отодрав их мясо от костей.

— Чем вызвана такая необузданная ненависть, мой воин,— спросил император,— которая после стольких лет будит в тебе ярость при одном лишь упоминании о Нормандии?

— Суди сам, милостивый император,— ответил варяг.— Мои предки и предки большинства из тех, кто служит сейчас вместе со мной в гвардии, происходят из доблестного племени, жившего на севере Германии и именовавшегося англосаксонским. Никто, за исключением разве что священников, умеющих читать древние хроники, не знает, как давно переселились наши праотцы на остров Британию, где шла тогда междоусобная война. Англы явились туда по просьбе исконных жителей острова, вернее — той их части, которая обитала на южном побережье. В вознаграждение за щедро оказанную помощь им даровали там земли, и постепенно большая часть острова перешла в собственность к англосаксам, которые поначалу образовали несколько владений, а позднее создали единое королевство, где население подчинялось единым законам и говорило на том языке, на каком говорит большинство варягов-изгнанников, составляющих теперь твою императорскую гвардию телохранителей. Прошло время — и вот в этих краях появились норманны, северные люди. Их стали называть так потому, что они приплыли с далеких берегов Балтийского моря, чьи необозримые просторы временами покрываются льдом, крепким, как скалы Кавказа. Они искали страну с более мягким климатом, чем

тот, на который обрекла природа их родину. Климат во Франции оказался превосходным, а народ ее — не очень воинственным; пришельцы отняли у них большую провинцию, которая и была названа Нормандией, хотя я слышал, как мой отец говорил, что раньше она называлась иначе. Они обосновались там под властью герцога, который признал верховную власть короля Франции над собой, а означало это лишь то, что он подчинялся ему, когда подчиняться было выгодно и удобно.

С тех пор прошло много лет, и все это время оба народа, норманны и англосаксы, мирно уживались на разных берегах морского пролива, отделяющего Францию от Англии, как вдруг Вильгельм, герцог Нормандии, собрал сильную армию, высадился в Кенте, на противоположном берегу пролива, и в великой битве разбил Гарольда, бывшего в то время королем англосаксов. Тяжело рассказывать о том, что произошло после этого. И в старые времена бывали битвы, приносившие ужасные бедствия, которые тем не менее сглаживались с годами, но в битве при Гастингсе — о горе мне! — знамя моей родины рухнуло и никогда больше не воспряло. Угнетение своими колесами раздавило нас. Все, в ком билось доблестное сердце, покинули родной край, и в Англии остались лишь те англичане — ибо только так следует называть нас, — которые согласились стать рабами захватчиков. Нашу горестную участь разделили и те датчане, которые по разным причинам перебрались в Англию. Победители опустошили страну. Дом моего отца лежит в развалинах, окруженный густым лесом, разросшимся там, где раньше были прекрасные поля и пастбища и где мужественный народ добывал себе средства к жизни, возделывая благодатную почву. Огонь уничтожил церковь, где покоится прах моих предков, и я, последний в своем роду, скитаюсь по чужим странам, сражаюсь в чужих битвах, служу хотя и доброму, но чужому хозяину, одним словом — я изгнанник, варяг.

— И более счастлив сейчас, — вмешался Ахилл Татий, — чем если бы жил в варварской простоте, которую так ценили твои предки, ибо теперь ты находишься под благодатным солнцем улыбки, дарующей миру жизнь.

— Не стоит об этом говорить, — холодно возразил варяг.

— Значит, норманны и есть тот народ, — спросил император, — который захватил и подчинил себе славный остров Британию?

— Увы, это так, — ответил варяг.

— Выходит, они воинственные и храбрые люди? — продолжал расспросами Алексей.

— С моей стороны,— сказал Хирвард,— было бы низко и лживо говорить о врагах иначе. Они причинили мне зло, и зло это никогда не будет забыто, но говорить о них неправду было бы женской мезтью. Они — мои смертельные враги, и имя их всегда будет связано для меня с тяжкими и ненавистными воспоминаниями, но если собрать войска всех стран Европы — а сейчас как будто именно так и произошло,— то ни один народ и ни одно племя по храбрости своей не сравнится с надменными норманнами.

— А герцог Роберт — кто он такой?

— На этот вопрос мне ответить труднее,— сказал варяг.— Он сын — старший сын — жестокого Вильгельма, который подчинил себе Англию, когда меня и на свете-то не было или я был еще в колыбели. Этот Вильгельм, победитель в битве при Гастингсе, уже умер — мы знаем об этом из достоверных источников; и в то время как его старший сын, герцог Роберт, получил в наследство герцогство Нормандию, кто-то из других его сыновей оказался настолько счастливым, что взошел на английский трон, если, конечно, это замечательное королевство не было разделено между наследниками тирана, подобно маленькой ферме какого-нибудь безвестного йомена.

— Насчет этого у нас тоже есть кое-какие сведения, и мы постараемся на досуге сопоставить их с рассказом нашего воина, к которому мы склонны отнестись с полным доверием, ибо говорил он только то, что было ему дополнительно известно. А теперь, мои мудрые и достойные советники, пора нам кончить сегодняшнее наше служение в храме муз: удручающие известия, которые принес нам наш дорогой зять, прославленный кесарь, заставили нас затянуть поклонение этим ученым богиням до глубокой ночи, а это не полезно для здоровья нашей возлюбленной жены и дочери; что же касается нас, то сообщение кесаря требует нашего серьезного размышления.

Придворные тут же стали расточать на редкость изобретательскую, изошренную лесть, выражая надежду на то, что столь затянувшееся бодрствование не повлечет за собой дурных последствий.

Никифор и его прекрасная супруга разговаривали друг с другом, как обычно разговаривают муж и жена, когда оба хотят загладить мимолетную размолвку.

— Мой кесарь,— сказала царица,— излагая эти ужасные события, ты нашел для иных подробностей столь изысканные выражения, словно все девять муз, которым

посвящен этот храм, помогали тебе облекать в слова твои мысли.

— Мне не нужна их помощь,— ответил Никифор,— ибо у меня есть собственная муза, обладающая талантами, которые язычники тщетно пытались приписать девяти парнасским богиням.

— Это очень мило сказано,— заметила прелестная служительница муз, опираясь на руку мужа и выходя вместе с ним из зала,— но если ты будешь награждать твою жену похвалами, во много раз превышающими ее достоинства, тебе придется предложить ей руку, чтобы помочь нести бремя, которое ты соблаговолил возложить на нее.

Как только царственные особы удалились, все придворные тоже разошлись, и большинство из них поспешило отправиться в общество менее достойное, но более неприужденное, чтобы вознаградить себя за чопорную благопристойность, которую им приходилось хранить в храме муз.

ГЛАВА VI

Вольно тебе, тщеславный человек,
Любимою своею похвалиться:
Пускай она в себе соединяет
Духовную с телесной красотой,
Но женщиной прекрасной из прекрасных
Ты все же не дерзнешь ее назвать,
Пока на свете существует та,
Которой я поклонник и певец.

Старинная пьеса

Ахилл Татий вместе со своим верным варягом, неотступно следовавшим за ним, ускользнули от расходящегося общества так тихо и неприметно, как исчезает снег со склонов альпийских гор при наступлении солнечных дней. Их уход не сопровождался ни гулом шагов, ни бряцаньем оружия. Не полагалось подчеркивать существование охраны во дворце, более того — принято было считать, что греческий император, это божество среди земных владык, окружен ореолом недоступности и неуязвимости. Поэтому старейшие и наиболее опытные царедворцы, среди которых не последнее место занимал наш друг Агеласт, предпочитали утверждать, что хотя император и пользуется услугами варягов и иной стражи, делается это скорее ради соблюдения этикета, чем из страха перед таким чудовищным и даже, с точки зрения хорошего тона, немыслимым преступлением, как покушение на царя. Молва о необычайной редкости таких случаев переходила из уст в уста в тех самых покоях, где подобные преступления совершались довольно часто, и порою повторяли ее именно те люди, которые только и думали, как бы им свергнуть правящего императора.

Наконец начальник телохранителей и его верный спутник выбрались из стен Влахернского дворца. Варяг, охранявший потайную дверь, через которую Ахилл вывел Хирварда, захлопнул ее за ними и закрыл на засовы, издавшие при этом зловещий скрежет. Оглянувшись на бесчисленные башни, зубчатые стены и шпили, Хирвард невольно испытал облегчение: над ним снова было темно-синее небо Греции, на котором необычайно ярко светились звезды. Он вздохнул полной грудью и с удовольствием потер руки, как человек, вновь обретший свободу. Вопреки своему правилу никогда не заговаривать первым, он на этот раз сам обратился к своему начальнику:

— Скажу тебе так, доблестный начальник, — конечно, воздух в этих покоях пропитан благовониями, и они, быть

может, даже приятны, но уж до того удушливы, что подходят больше для усыпальницы, чем для человеческого жилья. Я счастлив, что не должен дышать этим воздухом. .

— Ну что ж,— ответил Ахилл Татий,— твое счастье, что твоя низменная и грубая душа задыхается там, где освежающий ветерок не только не может быть причиной смерти, но, напротив того, возвращает мертвым жизнь. Однако должен тебе сказать, Хирвард, что хотя ты родился варваром и тебе знаком лишь узкий круг дикарских потребностей и удовольствий, а другая жизнь, отличная от этого грубого и жалкого существования, неизвестна, тем не менее природа уготовила тебе иной, лучший удел: сегодня ты прошел через такое испытание, какого, боюсь, не выдержал бы ни один воин даже нашей благородной гвардии, ибо все они погрязли в безысходном варварстве. А теперь скажи по правде: разве ты не был вознагражден?

— Этого я не стану отрицать,— сказал варяг.— Я на двадцать четыре часа раньше своих товарищей узнал, что норманны движутся сюда, и, таким образом, мы сможем сполна отомстить им за кровавый день битвы при Гастинге. Столь великая радость стоит того, чтобы несколько часов подряд слушать бесконечную болтовню дамы, которая пишет о том, чего она не знает, и льстивые замечания окружающих, которые рассказывают ей о том, чего они не видели.

— Хирвард, юный мой друг,— сказал Ахилл Татий,— ты бредишь, и, я думаю, мне следовало бы приставить к тебе для присмотра опытного человека. Слишком большая смелость, мой доблестный воин, у трезвого человека граничит с дерзостью. Вполне понятно, что происшествия сегодняшнего вечера наполнили тебя гордостью, но если к этой гордости примешается тщеславие, ты немедленно станешь подобен умалишенному. Посуди сам: ведь ты бесстрашно смотрел в лицо порфирородной царевне, тогда как мои собственные глаза, привыкшие к подобным зрелищам, никогда не поднимались выше складок ее покрывала.

— Да будет так! — ответил Хирвард.— Но ведь красивые женские лица для того и созданы, чтобы их созерцать, а глаза молодых мужчин — чтобы на них смотреть.

— Если они действительно созданы для этого,— сказал Ахилл,— то, должен признать, более чем оправдано твое дерзновенное желание смотреть на церевну.

— Мой добрый начальник, или, если так тебе больше нравится, главный телохранитель,— сказал англо-бритт,— не доводите до крайности простого человека, который хочет честно выполнять свой долг по отношению

к императорской семье. Царевна — жена кесаря и рождена, как ты сам сказал, в порфире; тем не менее она очень красивая женщина, сочиняет историю, о которой я предпочел бы не говорить, поскольку такие вещи недоступны моему пониманию, и поет как ангел; наконец, могу сказать, следуя моде нынешних рыцарей, хотя обычно я не пользуюсь их выражениями, что готов сразиться с любым, кто посмеет вслух умалять красоту или ум царственной особы Анны Комнин. Таким образом, мой благородный начальник, мы исчерпали все, о чем ты мог бы спросить меня и на что я захотел бы тебе ответить. Нет сомнения, что есть женщины более красивые, чем царевна, и я меньше чем кто-либо сомневаюсь в этом, ибо знаю особу, которая, как я считаю, далеко превосходит ее красотой. На этом закончим наш разговор.

— Твоя красotka, мой несравненный дурачок, — сказал Ахилл, — должно быть, дочка какого-нибудь здорового северного мужлана, живущего по соседству с фермой, на которой вырос такой осел, как ты, наделенный непотребным желанием высказывать свои суждения.

— Говори все, что тебе нравится, начальник, — ответил Хирвард, — потому что, к счастью для нас обоих, ты не в состоянии оскорбить меня, ибо я ценю твое суждение не выше, чем ты ценишь мое; не можешь ты также унижить особу, которую в глаза не видел, но если бы ты ее видел, вряд ли я так терпеливо выслушивал бы замечания на ее счет даже от своего начальника.

Ахилл Татий в достаточной мере обладал сообразительностью, необходимой для человека в его положении. Он никогда не доводил отчаянные головы, которыми командовал, до крайности и в своих вольностях с ними никогда не переходил границ их терпения. Хирвард был его любимцем, и уже хотя бы по этой причине аколит пользовался уважением и искренней приязнью своего подчиненного; поэтому, когда главный телохранитель, вместо того чтобы возмутиться дерзостью варяга, добродушно извинился за то, что затронул его чувства, минутное недоразумение между ними было тут же забыто. Главный телохранитель сразу напустил на себя начальственный вид, а воин с глубоким вздохом, относившимся к его далекому прошлому, снова стал сдержан и молчалив, как прежде. Дело заключалось еще и в том, что у главного телохранителя были особые, далеко идущие замыслы в отношении Хирварда, о которых он не хотел пока говорить иначе, как самыми отдаленными намеками.

После длительной паузы, в течение которой они успели

дойти до казармы — мрачного укрепленного строения, предназначенного для варяжской гвардии, — начальник знаком приказал воину подойти поближе и доверительным тоном спросил его:

— Хирвард, друг мой, хотя и трудно предположить, что в присутствии императорской семьи ты обратил внимание на кого-либо, в чьих жилах не течет царская кровь, или, как говорит Гомер, не струится божественная влага, заменяющая священным особам грубую жидкость, именуемую кровью, но, может быть, ты все-таки во время этой длительной аудиенции заметил человека необычной для придворных внешности и одетого иначе, чем остальные, человека, которого зовут Агеласт, а мы, царедворцы, кличем Слоном за его неукоснительное соблюдение правила, запрещающего кому бы то ни было садиться или отдыхать в присутствии императорской семьи?

— Я думаю, — ответил варяг, — что помню того, о ком ты говоришь. Лет ему семьдесят или даже больше, он высокого роста и толстый; большая лысина вполне возмещается длинной и кудрявой седой бородой, спадающей ему на грудь до самого полотенца, которым он подпоясан, тогда как остальные придворные носят шелковые пояса.

— Ты совершенно точно описал его, варяг, — сказал Ахилл. — А что еще в нем привлекло твое внимание?

— Его плащ сшит из грубой ткани, как у последнего простолюдина, но отличается безукоризненной чистотой, как будто этот человек хотел выставить напоказ свою бедность или презрительное равнодушие к одежде, не вызвав в то же время отвращения своей неопрятностью.

— Клянусь святой Софией, — воскликнул главный телохранитель, — ты меня поражаешь! Даже пророк Валаам был бы меньше удивлен, когда его ослица повернула к нему голову и заговорила с ним. Что же еще ты можешь сказать об этом человеке? Я вижу, что люди, которые встречаются с тобой, должны опасаться твоей наблюдательности не меньше, чем алебарды.

— Если угодно твоей доблести, — ответил воин, — у нас, у англичан, есть не только руки, но и глаза, но мы позволяем себе говорить о том, что замечаем, только когда этого требует наш долг. Я не вслушивался в разговоры этого старика, но кое-что долетело до меня, и я понял, что он не прочь разыгрывать из себя, как мы это называем, шута или дурачка, а в его возрасте и при его внешности такое поведение, смею сказать, малоприсойно и скорее всего говорит о том, что он преследует более далекие цели.

— Хирвард, ты сейчас говоришь, как ангел, спустив-

шийся на землю, чтобы читать в сердцах смертных. На свете мало столь противоречивых людей, как этот Агеласт. Обладая разумом, который в былые времена равнял мудрецов этой страны с самими богами, Агеласт при этом еще и хитер, как старший Брут, скрывавший свои таланты под личиной бездельника и шута. Он как будто не ищет должностей, не стремится занять видное положение, ко двору является, только когда его туда требуют, но что сказать, мой воин, о влиянии, которого он достигает без всяких видимых усилий, словно воздействуя на мысли людей и заставляя их поступать так, как ему нужно, хотя сам он никогда ни о чем не просит? Ходят странные слухи о его общении с существами потусторонними, которым наши предки молились и приносили жертвы. Однако я решил выведать, что это за лестница, по которой он так быстро и легко поднимается к вершине — средоточию помыслов всех придворных. Одно из двух: либо он потеснится и даст мне местечко на ней, либо я выбью ее у него из-под ног. Тебя, Хирвард, я избрал себе в помощники, подобно тому как нечестивые рыцари-франки, отправляясь искать приключений, избирают сильного оруженосца или слугу и делают с ним опасности и награды. Я остановил свой выбор на тебе, потому что ты проявил сегодня редкую проницательность, а также из-за твоей храбрости, равной храбрости твоих товарищей или даже превосходящей ее.

— Я польщен и благодарен тебе, — ответил варяг, быть может несколько холоднее, чем того ожидал его начальник, — и буду, как велит мне долг, служить тебе в любом деле, угодном богу и не противоречащем моим обязанностям на службе императору. Я хочу только добавить, что как воин, приносивший присягу, я ни в чем не нарушу законов империи; что касается языческих богов, то как ревностный, хотя и невежественный христианин, я готов бросить им вызов именем безгрешных праведников, а других дел с ними иметь не желаю.

— Глупец! — воскликнул Ахилл Татий. — Неужели ты думаешь, что я, уже занимающий одно из первых мест в империи, могу замыслить что-либо, противоречащее интересам Алексея Комнина? Или — что было бы даже еще ужаснее — неужели ты можешь заподозрить, что я, близкий друг и союзник досточтимого патриарха Зосимы, буду вмешиваться в какие-то дела, имеющие хотя бы самое отдаленное отношение к ереси или к идолопоклонничеству?

— По правде говоря, — ответил варяг, — никто не был бы так удивлен и огорчен этим, как я, но когда мы проби-

раемся по лабиринту, мы должны твердо знать и постоянно твердить себе, что у нас есть ясная цель впереди, — только тогда мы не собьемся с верного пути. Люди в этой стране выражают одно и то же столь разными словами, что в конце концов перестаешь понимать, о чем они говорят. Мы, англичане, напротив, можем выразить нашу мысль только одним способом, но зато самые изобретательные в мире люди не в силах извлечь другой смысл из наших слов.

— Ну хорошо, — сказал главный телохранитель, — завтра мы с тобой поговорим подробнее; для этого ты придешь ко мне вскоре после захода солнца. И помни, пока солнце не скроется, время принадлежит тебе, можешь развлекаться или отдыхать. Мой тебе совет — лучше отдыхай, поскольку вечером нам обоим, быть может, снова придется быть на страже.

С этими словами они вошли в казарму и расстались — начальник телохранителей прошествовал в роскошные покои, которые он занимал, а англосакс направился в свое более скромное помещение, отведенное нижним чинам гвардии телохранителей.

ГЛАВА VII

Не больше было северных дружин
Во стане Агрикана в день, когда
Альбракку, град великий Галлафрона,
Он, по преданью, осадил, желая
Похитить Анжелику, о которой
Все доблестные рыцари мечтали,
Язычники и даже пэры Карла.

«Возвращенный рай»

Наутро после описанного нами дня собрался на заседание императорский совет; его многочисленные члены — сановники с пышными званиями — должны были прикрывать, подобно легкой вуали, очевидную всем слабость греческой империи. Военачальников было множество, различия в их чинах разработаны до тонкостей, но простых воинов было сравнительно очень мало.

Должности, некогда исполнявшиеся префектами, преторами и квесторами, занимали прислужники императора, которые, именно в силу своей близости к этому деспотическому двору, обладали особенно большой властью. Сейчас они длинной вереницей входили в просторную приемную Влахернского дворца и затем следовали до того места, которое соответствовало их чину. Таким образом, в каждом из смежных покоев задерживались те, чей ранг был недостаточно высок, чтобы идти дальше, и только пять человек, миновав десять залов, дошли до внутреннего приемного зала — этой святая святых империи, убранной с обычной для тех времен роскошью. Там их ждал сам император.

Император Алексей восседал на величественном троне, богато отделанном привозными самоцветами и золотом; по обеим сторонам трона, вероятно в подражание великолепию царя Соломона, были расположены фигуры лежащих львов, сделанные из того же драгоценного металла. Не упоминая о других предметах роскоши, скажем только, что ствол дерева, простиравшего над троном свои ветви, также, видимо, был отлит из золота. На ветвях сидели диковинные птицы из финифти, а в листве сверкали плоды из драгоценных камней. Только пять высших сановников империи пользовались привилегией допуска в это святилище, когда император созывал совет. Это были — великий домоestik, который по положению своему являлся чем-то вроде современного премьер-министра; логофет, или, другими словами, канцлер; уже упоминавшийся протоспафа-

рий, или главнокомандующий; аколит, или главный телохранитель, начальник варяжской гвардии; патриарх.

Передняя и двери этого тайного покоя охранялись шестью искалеченными нубийскими рабами, чьи сморщенные, безобразные лица представляли ужасающий контраст с белоснежными одеждами и роскошным вооружением. Они были немые, эти несчастные, которым по обычаю, заимствованному у восточных деспотий, отрезали языки, чтобы они не могли рассказать о делах тирана, чьи веления безжалостно выполняли. На них взирали скорее с ужасом, нежели с жалостью, ибо считалось, что эти рабы испытывают злобное наслаждение, нанося другим непоправимые увечья, навеки отделившие их самих от всего человечества.

По сложившемуся обычаю — он, как и многие другие обыкновения греков, был бы сочтен в наши дни пустым ребячеством, — при появлении в этом покое постороннего человека в действие приводился несложный механизм, и тогда львы, издавая рык, приподнимались, легкий ветерок пробегал по листве деревьев, птицы начинали прыгать с ветки на ветку, клевать плоды и громко щебетать. Такое зрелище пугало многих простодушных чужеземных послов, и даже греки — советники императора, услышав рычание льва и вслед за ним чириканье птиц, должны были неуклонно изображать испуг, а затем удивление, хотя уже неоднократно наблюдали все это. Но на этот раз — свидетельство чрезвычайности заседания — упомянутая церемония была отменена.

Речь императора поначалу напоминала львиный рык, но конец ее скорее был похож на птичий щебет.

Сперва он заклеymил дерзость и неслыханную наглость миллионов франков, посмеvших под предлогом освобождения Палестины от неверных вторгнуться в священные пределы империи. Он угрожал им суровыми карами, которым, несомненно, их подвергнут его, Алексея, бесчисленные войска и военачальники. При этих словах собравшиеся, особенно военные, выразили свое полное согласие с императором.

Однако Алексей недолго настаивал на своих воинственных намерениях, о которых заявил вначале. Он стал рассуждать о том, что франки, в общем, тоже христиане. Быть может, они искренне верят в этот свой крестовый поход, а если так, то хотя они и ошибаются, к их побуждениям следует отнестись более снисходительно и даже с некоторым уважением. Численность участников крестового похода огромна, а что касается храбрости, люди,

видевшие, как они сражались в Дураццо¹ и в других местах, не могут ее недооценивать. Кроме того, если на то будет воля провидения, франки в конце концов могут сослужить службу Священной империи, хотя они и нарушили столь бесцеремонно ее границы. Поэтому император, олицетворение благоразумия, человеколюбия и великодушия в сочетании с доблестью, которая всегда должна пылать в сердце истинного монарха, наметил план действий и предлагает обсудить его, чтобы затем претворить в жизнь. Но сперва пусть великий доместик доложит, какими силами он располагает на западном берегу Босфора.

— Военные силы империи бессчетны, как звезды на небе и как песок на берегу морском,— таков был ответ великого доместика.

— Это был бы прекрасный ответ,— заметил император,— если бы здесь присутствовали посторонние; но поскольку у нас тайное совещание, я хочу получить точные сведения, на какое количество войск я могу рассчитывать. Прибереги свое красноречие для другого, более подходящего случая и ответь мне, что в настоящее время ты имеешь в виду под словом «бессчетные»?

Великий доместик немного помедлил с ответом, но, понимая, что сейчас неподходящий момент для уверток, ибо Алексей Комнин порой бывал опасен в гневе, ответил, хотя и не без колебания:

— Августейший повелитель лучше чем кто-либо другой знает, что ответ на этот вопрос нельзя дать наспех, иначе можно и ошибиться. Численность императорских войск, расположенных между этим городом и западными границами империи, не считая находящихся в отпуску, не превышает двадцати пяти, от силы тридцати тысяч человек.

Алексей ударил себя ладонью по лбу, а советники, увидев столь бурное проявление скорби, смешанной с недоумением, тут же вступили в спор, который в ином случае они не стали бы вести в этом месте и в эту минуту.

— Клянусь доверием, которым ты меня облек, святейший государь,— сказал логофет, за последний год из казны твоего величества было взято золота достаточно, чтобы оплатить вдове большее число воинов, чем то, которое назвал сейчас великий доместик.

¹ О кровопролитной битве при Дураццо в октябре 1081 года, в которой Алексей потерпел поражение от Роберта Гискара и спасся только благодаря быстроте своего коня, см. у Гиббона, гл. LVI (Прим. автора.)

— Мой государь,— взволнованно возразил задетый за живое министр,— соблаговоли вспомнить, что существуют еще постоянные гарнизоны, которые не входят в названное мною число.

— Замолчите вы оба! — прикрикнул Алексей, быстро овладев собой.— Войск у нас действительно оказалось гораздо меньше, чем мы рассчитывали, но не следует спорами увеличивать трудности, перед которыми мы стоим. Эти войска следует расположить между городом и западными границами империи в долинах, горных проходах, за гребнями холмов и в труднопроходимых местах, где, при искусном использовании позиций, небольшие отряды производят впечатление многочисленной армии. А пока будут производиться передвижения войск, мы продолжим переговоры с крестоносцами, как они себя называют, насчет условий, при соблюдении которых мы разрешим им пройти через наши земли. Мы не теряем надежды достигнуть с ними соглашения, которое принесет великую выгоду нашему государству. Мы будем настаивать, чтобы они шли через нашу страну армиями, не превышающими пятидесяти тысяч человек за раз, и эти армии нужно последовательно переправлять в Азию, чтобы они не скапливались у стен столицы мира, угрожая тем самым ее безопасности.

Если они будут следовать мирно и в строгом порядке, мы согласимся снабжать их на пути к берегам Босфора продовольствием; если же их воины начнут отделяться от своих отрядов и грабить население, мы надеемся, что наши храбрые крестьяне не замедлят дать им отпор и сделают это без прямых приказов с нашей стороны, дабы нас нельзя было упрекнуть в нарушении договора. Мы полагаем также, что скифы, арабы, сирийцы и прочие наемники, состоящие на нашей службе, не допустят, чтобы наши подданные терпели урон в то время, когда они защищают себя. Точно так же, поскольку вряд ли справедливо оставлять страну без продовольствия, снабжая им чужеземцев, мы не будем удивлены и тем более жестоко разгневаны, узнав, что из всего количества муки, несколько мешков окажутся наполненными мелом, известью или чем-нибудь в этом роде. Поистине удивительно, чего только не может переварить желудок франка! Проводники, которых вы тщательно отберете для этой цели, поведут крестоносцев труднопроходимыми и кружными дорогами. Это принесет пришельцам несомненную пользу, ибо приучит их к нелегким условиям нашей страны и нашего климата, а иначе им придется столкнуться с этими трудностями без всякой подготовки.

Между тем, встречаясь с их вождями, которых они величают графами и каждый из которых мнит, что он так же велик, как император, старайтесь не задевать их врожденной спесивости, но и не упускайте случая рассказать им о богатстве и щедрости вашего государя. Знатным персонам можно даже преподнести денежные дары, но тем, кто подчинен им, следует делать менее щедрые подношения. Ты, наш логофет, позаботишься об этом, а ты, верный domestик, проследишь за тем, чтобы воины, которые будут нападать на отбившиеся отряды франков, своим видом и одеждой по возможности напоминали язычников. Возлагая на вас исполнение этих поручений, я стремлюсь к тому, чтобы крестоносцы почувствовали цену нашей дружбы и в какой-то мере опасность вражды с нами и чтобы те, кого мы благополучно переправим в Азию, составили хоть и по-прежнему огромную, но все же меньшую числом армию, с которой мы могли бы потом обойтись со всем христианским благоразумием. Таким образом, улещивая одних и угрожая другим, даруя золото скупцам, власть — честолюбцам и обращаясь с доводами разума к тем, кто способен понимать их, мы, без сомнения, сможем внушить этим франкам, которые прибыли из тысячи различных мест и враждуют друг с другом, что они должны признать своим вождем нашу особу, а не кого-либо, избранного из их же числа. Мы докажем им, что каждая деревня в Палестине, от Дана до Вирсавии, является исконной собственностью Священной Римской империи и что любой христианин, отправляясь на завоевание этих мест, должен выступать как наш подданный, а добившись военного успеха, обязан помнить, что он — наш вассал. Порок и добродетель, здравый смысл и глупость, честолюбие и бескорыстная преданность — все должно подсказывать тем, кто выживет из числа этих простодушных людей, что для них же лучше стать пленниками нашей империи, а не врагами ее, щитом, а не противником вашего отца-императора.

Царедворцы единодушно склонили головы в знак согласия и воскликнули по восточному обычаю:

— Многие лета императору!

Когда приветственные возгласы стихли, Алексей продолжал:

— Я еще раз напоминаю моему верному великому domestiku, что он и его подчиненные должны поручить исполнение той части этого приказа, которую можно назвать наступательной, воинам, чья внешность и чей язык свидетельствуют об их иноземном происхождении, а таких в нашей императорской армии, должен с грустью заметить, больше, чем исконных наших подданных-христиан.

Тут вставил свое слово патриарх:

— Есть утешение в том, что истинных римлян в императорской армии так мало, ибо столь кровавое занятие, как война, более пристало тем, чьи земные дела, равно как и вероисповедание, повергнут их в преисподнюю на том свете.

— Достопочтимый патриарх,— сказал император,— мы отнюдь не полагаем наравне с варварами-неверными, что царство небесное можно завоевать мечом; тем не менее, думается нам, римлянин, умирающий на поле брани за свою веру и своего императора, вправе ожидать, что, отстрадав на смертном ложе, он попадет в рай, как и тот, кто умирает в мире, с руками, не обогренными кровью.

— Я должен заметить,— возразил патриарх,— что учение церкви не столь терпимо к войне; церковь сама миролюбива и обещает блаженство тем, кто жил мирно. Однако не следует думать, что я закрываю ворота рая воину, если он верует в догматы нашей церкви и выполняет все ее обряды. Тем менее собираюсь я осуждать мудрые расположения твоего императорского величества, должныствующие ослабить силы и уменьшить число этих еретиков-латинян, пришедших сюда, чтобы разорять нас и, возможно, грабить церкви и храмы под тем суетным предлогом, что небеса позволят им, погрязшим в стольких ересях, отвоевать святую землю, которую истые христиане, священные предки твоего величества, не смогли отбить у неверных. Я также убежден, что наш император не позволит этим латинянам водружать в своих поселениях вместо креста с равными концами бесовский и проклятый крест западной церкви, требующей, чтобы нижний конец этого священного символа был удлинен.

— Досточтимый патриарх,— ответил император,— не подумай, что мы легко относимся к твоим веским доводам, но речь сейчас идет не о том, какими путями мы можем обратить еретиков-латинян в истинную веру, а о том, как бы нам не оказаться раздавленными их полчищами, подобными полчищам саранчи, чье нашествие предшествовало и предвещало их появление.

— Святейший император,— сказал патриарх,— будет действовать с присущей ему мудростью; я же со своей стороны только высказал некоторые сомнения, ибо надеюсь спасти свою душу.

— Наш план никак не оскорбляет твоих чувств, досточтимый патриарх,— заметил император.— А вы,— обратился он к остальным советникам,— позаботьтесь об исполнении отдельных частей этого плана, изложенного

нами в общих чертах. Наши распоряжения начертаны священными чернилами, а священная наша подпись должным образом запечатлена зеленой и пурпурной красками. Пусть же мои подданные строжайше следуют им. Мы лично примем командование над теми отрядами Бессмертных, которые остаются в городе, и присоединим к ним когорты наших верных варягов. Во главе этих войск мы станем ожидать у стен города подхода чужеземцев и, стараясь мудрой политикой по возможности отсрочить сражение, будем в то же время готовы в худшем случае встретить то, что ниспошлет нам всевышний.

На этом совет закончился, и многочисленные начальники отправились выполнять многочисленные поручения, касающиеся дел гражданских и военных, тайных и гласных, частью дружественные, а частью враждебные в отношении крестоносцев. И тут полностью проявился своеобразный характер греческого народа. Их шумные и хвастливые речи соответствовали тем представлениям о могуществе и богатстве империи, которые Алексею хотелось внушить крестоносцам. Не следует также скрывать, что большинство приближенных императора, движимые коварным своекорыстием, тотчас начали отыскивать возможность исполнить приказание государя таким образом, чтобы добиться при этом своих собственных выгод.

Тем временем по Константинополю распространилась весть о том, что к западным границам Греческой империи подошла огромная и разноплеменная армия, которая намеревается переправиться в Палестину. Бесчисленные слухи преувеличивали, если только это возможно, важность столь поразительного события. Одни утверждали, что крестоносцы решили завоевать Аравию, разрушить гробницу пророка, а его зеленое знамя вручить брату французского короля в качестве конской попоны. Другие предполагали, что действительной целью войны является разрушение и ограбление Константинополя. Третьи утверждали, что франки хотят заставить патриарха подчиниться папе, принять римский крест и положить конец расколу церкви.

Варяги добавили к этому необыкновенному известию подробности, отвечающие, как оно обычно бывает, их собственным предупреждениям. Первоисточником слухов оказался наш друг Хирвард, один из низших чинов варяжской гвардии, именуемых сержантами, или констеблями, который счел необходимым пересказать товарищам то, что он услышал накануне вечером. Полагая, что новость все равно вскоре станет широко известна, он, не колеблясь, сообщил следующее: к Константинополю подступает ар-

мия норманнов во главе с герцогом Робертом, сыном прославленного Вильгельма Завоевателя, и намерения у этой армии, заключил он, весьма враждебные, главным образом в отношении варягов. Как и все люди, находящиеся в особых обстоятельствах, варяги не усомнились в том, что это правда. Норманны, решили они, эти насильники, обесчестившие всех саксов, теперь преследуют скорбных изгнанников в чужеземной столице и хотят объявить войну великодушному государю, который не только дал убежище тем немногим, что еще остались в живых, но и готов их защищать. Немало страшных клятв отомстить острыми алебардами за поражение при Гостингсе, вызванных этой уверенностью, было произнесено на норвежском и англосаксонском языках, немало кубков с вином и элем поднято за тех, кто сумеет доказать, что глубже других ненавидит и беспощаднее накажет захватчиков за обиды, нанесенные жителям Англии.

Хирвард, принесший эту весть, вскоре уже пожалел, что проговорился,— так приставали к нему товарищи с расспросами, откуда у него такие сведения, между тем как он считал, что должен молчать о приключениях прошлого вечера и о том, от кого ему стало известно о вторжении франков.

Около полудня, когда Хирвард порядком устал отвечать одно и то же на одни и те же вопросы или уклоняться от них, звуки труб возвестили о появлении главного телохранителя Ахилла Татия, который, как сообщали шепотом, прибыл прямо из императорского дворца с известием о немедленном начале войны.

Передавали, что варяги и римские отряды Бессмертных должны расположиться лагерем под городом с тем, чтобы по первому же приказу встать на его защиту. Это известие подняло всех на ноги; каждый воин принялся за необходимые приготовления к предстоящей компании. Казармы гудели от оживленной суеты и веселых возгласов, и Хирвард, воспользовавшись своим правом поручить сборы оруженосцу, решил улизнуть от товарищей, чтобы в одиночестве поразмыслить о странных приключениях, в которые он оказался замешанным, и о своем знакомстве с императорской семьей.

Пройдя узкими улицами, пустынными в эти жаркие часы, он наконец добрался до одной из тех широких террас, которые, спускаясь уступами к Босфору, образуют одно из лучших в мире мест для прогулок; говорят, они по сей день служат туркам для той же цели, для которой некогда служили христианам. Эти ступенчатые террасы

были густо обсажены деревьями, среди которых больше всего было кипарисов. Хирвард увидел, что там толпятся люди; одни сновали взад и вперед с озабоченными и тревожными лицами, другие стояли небольшими группами, видимо обсуждая удивительные и грозные события; были, впрочем, и такие, которые с ленивой беспечностью, порождаемой климатом этой восточной страны, поедали в тени свой полуденный завтрак и вели себя так, словно единственной их целью было получить все, что можно, от сегодняшнего дня, а завтра будь что будет.

Пока варяг, боясь, что встреча с каким-нибудь незнакомцем нарушит его уединение, ради которого он и пришел сюда, спускался и поднимался с одной террасы на другую, все вокруг следили за ним с пытливым любопытством, считая, что он благодаря своей службе и постоянной связи с императорским дворцом наверняка знает больше других о новости дня — неслыханном нашествии многочисленных армий из разных стран. Но хотя все взирали на него с острым интересом, ни единый человек не осмелился заговорить с воином императорской гвардии. Так он переходил с залитых солнцем террас на тенистые, с заросших деревьями — на более просторные, и никто не останавливался его; тем не менее все время у него было такое чувство, словно он не один.

Стремясь уйти от посторонних глаз, он то и дело оглядывался и тут внезапно обнаружил, что за ним по пятам идет чернокожий раб. Такие рабы были достаточно обычны на улицах Константинополя и не привлекли особого внимания, однако, поскольку Хирвард уже заметил его, ему захотелось отделаться от этого человека. Если раньше он нигде не останавливался, чтобы держаться подальше от людей вообще, то теперь стал переходить с места на место, чтобы избавиться от непрошеного соглядатая, который, хотя и издали, но со всей очевидностью следил за ним. Хирвард свернул в сторону, и негр, казалось, отстал от него, но через несколько минут варяг опять увидел его на расстоянии, слишком далеком для спутника, но достаточно близком для шпиона. Рассердившись, он круто повернулся и, выбрав место, где не было никого, кроме докучного раба, внезапно подошел к нему и потребовал, чтобы тот объяснил, зачем и по чьему приказу он преследует его. На столь же ломаном языке, на каком был задан вопрос, хотя и с другим акцентом, раб ответил, что «имеет приказ смотреть за тем, куда идет воин».

— Чей приказ? — спросил варяг.

— Моего и твоего повелителя, — смело заявил негр.

— Ах ты, гнусный язычник! — возмутился варяг. — С каких пор мы с тобой служим одному хозяину, и кто это такой, кого ты дерзаешь именовать моим повелителем?

— Тот, кто повелевает всеми миром, — ответил раб, — так как властвует над своими собственными желаниями.

— Но я со своими едва ли совладаю, — сказал Хирвард, — если на мои настойчивые вопросы ты будешь отвечать дурацкими философскими увертками. Еще раз спрашиваю: что тебе нужно от меня? И как ты смеешь следить за мной?

— Я уже сказал тебе, — ответил раб, — что я выполняю приказ моего повелителя.

— Но в таком случае я должен знать, кто он, — настаивал Хирвард.

— На это он тебе ответит сам, — сказал негр. — Он не станет открывать такому жалкому рабу, как я, цели тех поручений, с какими он посылает меня.

— Однако он оставил тебе язык, — продолжал варяг, — которым, я думаю, многие из твоих соотечественников были бы рады обладать. Смотри, как бы я не укоротил его за то, что ты отказываешься отвечать мне на вопросы, которые я вправе тебе задавать.

Судя по ухмылке, чернокожий, видимо, придумал новую отговорку, но Хирвард, не дав ему заговорить, поднял алебарду.

— Кончится тем, что я опозорю себя, — воскликнул он, — проткнув тебя оружием, предназначенным для более благородных дел!

— Я не смею отвечать тебе, доблестный господин, — взмолился негр; в его голосе прозвучал страх, и от прежней насмешливой наглости не осталось и следа. — Если даже ты забьешь до смерти бедного раба, все равно он не скажет тебе того, что хозяин запретил ему говорить. Согласись совершить короткую прогулку, и тебе не придется пятнать свою честь и утомлять руки расправой над тем, кто не может защищаться, а мне не придется покорно терпеть побои, не пытаюсь ответить ударом на удар или хотя бы убежать.

— Тогда веди, но помни, что тебе не удастся одурачить меня жалкими словами, — сказал варяг. — Я все равно выясню, кто этот дерзкий, который полагает, что он вправе следить за мной.

Чернокожий пошел впереди, и лицо его по-прежнему хранило лукавое выражение, которое в равной степени можно было приписать и злобности и веселости нрава. Варяг следовал за ним, испытывая некоторое беспокой-

ство, вызванное тем, что он мало сталкивался с несчастными африканцами и не совсем еще преодолел то удивление, с каким глазел на них, когда приехал сюда с севера. Негр так часто оглядывался и смотрел на Хирварда так пристально и проницательно, что ему невольно вспомнились английские поверья, наделявшие дьявола точно таким же черным цветом кожи и безобразным лицом, как у его проводника. Местность, по которой этот человек вел варяга, способствовала мыслям, довольно понятным у невежественного английского воина.

С роскошных террас, которые мы только что описали, негр спустился по тропинке к морскому берегу; здесь не было обычных удобных насыпей для прогулок, напротив того, кругом царило полное запустение, и лишь развалины старинных построек виднелись из-под бурной растительности, свойственной этому климату. Хотя руины на берегу маленькой бухты, укрытой с обеих сторон высокими склонами, входили в черту города, их ниоткуда не было видно, точно так же как церкви, дворцы, башни и укрепления, расположенные совсем близко, не были видны с берега. Это запущенное и на первый взгляд безлюдное место, где среди развалин теснились кипарисы и другие деревья, производило на душу впечатление сильное и мрачное, особенно, быть может, потому, что находилось оно среди многолюдного города. Что касается руин, то они были древнего и, судя по стилю, не греческого происхождения. Отстатки огромного портика, обломки гигантских статуй, изваянных в принужденных позах и изобличавших грубость вкуса — словом, прямая противоположность скульптуре греков, — наполовину стершиеся иероглифы, еще различимые кое-где на этих обломках, подтверждали народную молву об их происхождении, которую мы сейчас вратце изложим.

По преданию, здесь стоял храм, посвященный египетской богине Кибеле и построенный еще в те времена, когда Римская империя была языческой, а Константинополь именовался Византией. Известно, что верования египтян, одинаково непристойные, понимать ли их буквально либо истолковывать мистически, в особенности же порожденные ими многочисленные, ни с чем не сообразные учения были отвергнуты Римом, невзирая на его веротерпимость и политеизм. Закон неоднократно отказывал им в своем покровительстве, хотя империя относилась с уважением к самым странным и нелепым верованиям. И тем не менее египетские обряды обладали большой притягательностью для

людей любопытных и суеверных, и, как с ними ни боролись, они все-таки укрепились в империи.

Однако хотя египетских жрецов и терпели, но народ видел в них скорее чародеев, нежели священнослужителей, считая, что их обряды больше сродни магии, чем любому обычному богослужению.

Запятнанный подобными обвинениями даже среди самих язычников, египетский культ вызывал у христиан еще больший ужас и отвращение, чем другие, более рациональные языческие верования, если только их вообще можно рассматривать как верования. В жестоком культе Аписа и Кибелы усматривали не только предлог для постыдных и распутных наслаждений, но и прямой призыв к опасным сношениям со злыми духами, которые, по общему мнению, принимали у этих исполненных скверны алтарей имена и обличья омерзительных божеств. Поэтому, когда Рим стал христианским, не только был разрушен храм Кибелы с его гигантским портиком, огромными, безвкусными статуями и диковинными иероглифами, но и само место, где он стоял, начало почитаться оскверненным и проклятым и, поскольку еще ни один император не построил здесь христианской церкви, оставалось, как мы уже описали, заброшенным и пустынным.

Варяг прекрасно знал о дурной славе развалин храма, и поэтому, когда негр как будто собрался войти в них, он, в нерешительности остановившись, обратился к своему проводнику:

— Послушай, чернокожий приятель, люди худо говорят об этих странных статуях с собачьими и коровьими головами, а то и вовсе без голов. Да и ты, друг, цветом кожи слишком уж похож на дьявола, чтобы бродить с тобой среди этих обломков, где, как утверждают, каждый день прогуливается нечистый. Говорят, обычно он появляется в полдень и полночь. Я не сделаю ни шагу дальше, если ты не сможешь убедить меня в том, что это необходимо.

— Если ты будешь повторять эти глупые рассказы, — сказал негр, — ты отобьешь у меня всякое желание вести тебя к моему хозяину. А я-то думал, что имею дело с человеком не только несокрушимого мужества, но и здравого смысла, на котором должна основываться настоящая доблесть. У тебя же ее достаточно, чтобы прибить черного раба, у которого нет ни сил, ни права сопротивляться тебе, но слишком мало, чтобы без дрожи взглянуть на теневую сторону стены, даже если на небе сияет солнце.

— Ты обнаглел,— сказал Хирвард, замахиваясь алебардой.

— А ты лишился ума,— ответил негр,— если пытаешься доказать свою смелость и рассудительность таким способом, который дает основания сомневаться и в том и в другом. Я уже сказал: невелика храбрость избить такое жалкое существо, как я, и, уж наверное, ни один человек, который пытается отыскать дорогу, не начинает с того, что гонит прочь своего проводника.

— Я иду за тобой,— сказал Хирвард, уязвленный обвинением в трусости,— но если ты собираешься завлечь меня в ловушку, то вся твоя хитроумная болтовня не спасет тебя, даже если на твою защиту встанут тысячи таких, как ты, черномазых порождений земли или ада.

— Тебе не нравится цвет моей кожи,— сказал негр,— но откуда ты знаешь, что его следует рассматривать и оценивать как нечто существующее в действительности? Твои собственные глаза ежедневно стараются доказать тебе, что к ночи цвет неба из светлого становится темным, и все-таки ты знаешь, что это, бесспорно, не настоящий цвет небес. Точно так же меняет свой цвет и море на глубоких местах... Можешь ли ты утверждать, что разница между цветом моей кожи и твоей не является следствием столь же обманчивых перемен, разницей кажущейся, а не подлинной?

— Конечно, ты мог выкраситься,— подумав, ответил варяг,— и тогда твоя чернота только видимая, но я полагаю, что даже твой друг дьявол вряд ли изобрел бы эти вывернутые губы, белые зубы и приплюснутый нос, если бы нубийский тип лица, как его называют, не существовал в действительности. Ну, а чтобы ты зря не старался, мой чернокожий приятель, должен тебя предупредить, что хотя ты имеешь дело с необразованным варягом, все же я не совсем чужд греческому искусству хитроумными словами морочить голову собеседникам.

— Вот как? — недоуменно и с некоторым сомнением спросил негр.— А может ли раб Диоген — ибо именно так окрестил меня мой хозяин — поинтересоваться, каким образом ты приобрел столь редко встречающиеся знания?

— Очень просто,— сказал Хирвард.— Мой соотечественник Витикинд, имевший чин констебля в нашем отряде, уйдя с военной службы, провел остаток своей долгой жизни здесь, в Константинополе. Покончив с трудами войны и, как говорится, обыденной жизни, а также с пышностью и тяготами смотров и учений, бедный старик, не зная, чем занять время, начал учиться у философов.

— И чему же он у них научился? — снова спросил негр.— Не думаю, что варвар, поседевший под шлемом, оказался очень восприимчивым к греческой философии.

— Во всяком случае, не менее восприимчивым, чем раб на посылках, а ты, насколько я понимаю, именно в этой должности и состоишь,— ответил воин.— От Витикинда я узнал, что учителя этой бесполезной науки ставят себе целью подменять в своих доказательствах мысли словами, а так как каждый из них вкладывает в эти самые слова другое значение, то никакого окончательного и разумного вывода из их споров сделать нельзя, ибо они не могут договориться о языке, которым выражают свои идеи. Эти так называемые теории построены на песке, и ветер и прибой сильнее их.

— Скажи это моему хозяину,— серьезно заметил негр.

— И скажу,— заявил варяг.— Пусть убедится, что я невежественный воин, у которого убеждений не много, да и те касаются только религии и воинского долга, но уж с этих моих убеждений меня не собьют ни залпы софизмов, ни уловки или угрозы почитателей языческих богов ни в этом мире, ни в потустороннем.

— Что ж, значит, ты сам сможешь изложить ему свои взгляды,— сказал Диоген.

Он посторонился, уступая дорогу варягу, и сделал ему знак пройти вперед.

Хирвард пошел по заросшей тропинке, почти не приметной в высокой, густой траве, и, обогнув полуразрушенный алтарь, на котором валялись обломки статуи божественного быка Аписа, оказался перед философом Агеластом, отдыхавшим на траве посреди развалин.

ГЛАВА VIII

Не разгадают этих тайн софисты,
Но здравый смысл к ним ключ легко найдет;
Так, лишь сверкнет луч солнца золотистый,
Туман за гребни горные плывет,

Доктор Уоттс

При появлении Хирварда старик с живостью поднялся с земли.

— Мой храбрый варяг,— обратился он к воину,— ты оцениваешь людей и вещи не по той суетной стоимости, которую приписывают им в этом мире, а по их истинному значению и подлинному достоинству, и я приветствую тебя, зачем бы ты ни пришел сюда. Да, я приветствую тебя в месте, где философия занимается важнейшим делом — срывает с человека заимствованные украшения и устанавливает настоящую цену тому, что только и следует принимать во внимание,— цену его физическим и умственным свойствам.

— Ты, господин,— важный вельможа,— ответил сакс,— ты приближен к его императорскому величеству и, уж конечно, знаешь, что правил этикета, предписывающих, как надо приветствовать людей различных званий, раз в двадцать больше, чем может запомнить такой человек, как я. Поэтому простых людей вроде меня следует прощать, если, попав в высокопоставленное общество, они ведут себя не так, как положено.

— Это верно,— согласился философ,— но человек, подобный тебе, благородный Хирвард, в глазах подлинного философа заслуживает большего внимания, чем тысячи этих насекомых, которых порождает улыбка, полученная при дворе, и уничтожает малейший знак неодобрения.

— Господин, ты ведь сам придворный,— заметил Хирвард.

— И к тому же примерный,— ответил Агеласт.— Думаю, во всей империи не найдется подданного, лучше меня знающего десять тысяч правил, согласно которым люди различного положения должны обращаться к различным представителям власти. Еще не родился тот, кто мог бы утверждать, что я воспользовался случаем и сел в присутствии императорской семьи. Но хотя в обществе я придерживаюсь этих суетных правил и, значит, как бы разделяю всеобщие предрассудки, истинное мое суждение о людях куда глубже и достойнее человека, который создан, как говорится, по образу и подобию божьему.

— У тебя было слишком мало возможностей,— сказал варяг,— составить суждение обо мне, да я и не хочу вовсе, чтобы кому-нибудь я представлялся иным, чем я есть на самом деле, то есть бедным изгнанником, который старается укрепиться в своей вере в бога, а также выполнить свой долг по отношению к тем, среди кого он живет, и к государю, которому он служит. А теперь, господин, позволь мне спросить, действительно ли ты желал встречи со мной и если да, то с какой целью? Раб-африканец, которого я встретил на прогулке и который называет себя Диогеном, сказал мне, что ты хочешь поговорить со мной; он, видно, старый насмешник, и вполне возможно, что наврал мне. Если это так, я готов избавить его от той трепки, которую он заслуживает своей ложью, а тебя попросить не гневаться на меня за то, что я нарушил твое уединение, ибо не достоин делить его с тобой.

— Диоген не обманул тебя,— ответил Агеласт.— Он обладает юмором, как ты только что заметил, и, кроме того, еще рядом качеств, которые ставят его на одну доску с людьми более светлокожими и благообразными, чем он.

— А ради чего ты послал его с таким поручением? — спросил варяг.— Неужели твоя мудрость могла выразить желание беседовать со мной?

— Я исследую природу и людей,— ответил философ,— разве так уж непонятно, что я устал от существ насквозь искусственных и жажду увидеть кого-то, кто совсем еще недавно вышел из рук природы?

— Во мне ты не увидишь такого человека,— возразил варяг,— суровость военной дисциплины... лагерь... центурион... доспехи... все это сковывает тело и душу человека, как морского краба — его панцирь. Достаточно взглянуть на одного из нас, и ты будешь иметь представление обо всех остальных.

— Позволь мне усомниться в этом,— сказал Агеласт,— и предположить, что в лице Хирварда, сына Уолтерфа, я вижу человека необыкновенного, хотя сам он по своей скромности, возможно, и не представляет, насколько редки его достоинства.

— Сына Уолтерфа? — повторил несколько изумленный варяг.— Ты знаешь имя моего отца?

— Не удивляйся,— ответил философ.— Мне действительно известно то, что не так уж трудно узнать. Я получил эти сведения без больших усилий, но мне хотелось бы надеяться, что труд, затраченный мною на это, убедит тебя в моем искреннем желании стать твоим другом.

— Конечно, мне очень лестно,— сказал Хирвард,— что человек твоей учености и сана не поленился выяснить происхождение одного из низших чинов варяжской гвардии. Вряд ли даже мой начальник, сам главный телохранитель, считает, что такие сведения стоит собирать и хранить в памяти.

— Не говоря уже о людях более вельможных,— сказал Алегаст.— Одного такого человека, занимающего высокий пост, ты знаешь; он полагает, что имена его самых верных воинов недостойны запоминания, в отличие от кличек охотничьих собак или соколов, и рад был бы избавить себя от труда подзывать их иначе как свистом.

— Мне не пристало слушать такие слова,— прервал его варяг.

— Я не хотел задеть тебя,— сказал философ,— у меня и в мыслях не было поколебать твое уважение к тому, на кого я намекнул, и все-таки меня удивляет, что таких взглядов придерживаешься ты, человек столь выдающихся достоинств.

— Довольно об этом, господин, ибо слова эти не соответствуют ни твоему возрасту, ни положению,— ответил англосакс.— Я подобен скалам моей родины: меня не поколеблют дикие ветры, не размягчат теплые дожди, не тронут ни лесть, ни угрозы.

— Вот эта-то неколебимость духа, непреклонное презрение ко всему, кроме долга, и заставляют меня, словно какого-то нищего, добиваться дружбы с тобой, в которой ты, подобно скряге, отказываешь мне.

— Ты уж не прогневайся,— сказал Хирвард,— но я сомневаюсь в этом. Что бы ты ни узнал обо мне и как бы, по всей вероятности, эти истории ни были преувеличены — ибо привилегии хвастать принадлежит не одним только грекам, варяги тоже кое-что переняли от них,— все равно ты не мог услышать ничего такого, что позволило бы тебе вести подобные речи иначе, чем в насмешку.

— Ты ошибаешься, сын мой,— ответил Агеласт.— Проверь, не такой я человек, чтобы заниматься пустой болтовней о тебе с твоими приятелями за кружкой эля. Ведь я могу коснуться этого разбитого изображения Анубиса,— при этих словах он дотронулся до гигантского обломка статуи, рядом с которым стоял,— и дух, который долго вещал его устами, подчинившись моему приказу, еще раз вдохнет жизнь в трепещущий камень. Мы, посвященные, обладаем великой силой — стоит нам ударить по этим разрушенным сводам, и эхо, дремлющее в них, начинает отвечать на

наши вопросы. Поверь, не для того я ищу твоей дружбы, чтобы выведать что-нибудь о тебе самом или о других.

— Ты говоришь поистине удивительные вещи,— сказал англосакс,— но я слышал, что немало душ было соvrащено с пути истинного такими многообещающими словами. Мой дед Кенельм любил повторять, что прекрасные речи языческих философов гораздо опаснее для христианской веры, чем угрозы языческих тиранов.

— Я знал его,— заметил Агеласт,— неважно, живого или бесплотного. Он поклонялся Вотану, но потом был обращен в христианство одним благородным монахом и закончил свою жизнь священником в обители святого Августина.

— Это правда,— ответил Хирвард,— все это действительно так, и тем более я должен помнить его наставления теперь, когда он мертв и его нет на одном свете. Еще тогда, когда я плохо понимал смысл его слов, он наказывал мне остерегаться учения, которое ведет по пагубному пути, ибо его проповедуют лжепророки, пытающиеся доказать свою правоту небывалыми чудесами.

— Это чистейший предрассудок,— возразил Агеласт.— Твой дед был хороший и достойный человек, но ограниченный, как и другие священники. Слепо следуя их примеру, он довольствовался маленьким окошечком во вратах истины и видел мир только сквозь это узкое отверстие. Видишь ли, Хирвард, твой дед, как и большинство духовных лиц, был бы рад ограничить деятельность нашего разума созерцанием той области нематериального мира, которая важна лишь для нравственного совершенствования нашей души при этой жизни и спасения ее после смерти. Истина ее заключается в том, что если человек мудр и смел, он имеет право вступить в сношения с таинственными существами, наделенными сверхъестественной властью, имеет право, раздвинув с их помощью назначенные ему пределы, преодолеть трудности, кажущиеся ужасными и непосильными людям ограниченным и невежественным.

— Ты говоришь о таких безрассудных вещах,— сказал Хирвард,— что, услышав тебя, несмышленное дитя вытаращит глаза, а зрелый муж рассмеется.

— Напротив,— ответил философ,— я говорю о неодолимом желании, которое в глубине сердца испытывает каждый человек,— о желании сообщаться с могущественными духами, которые недоступны восприятию наших органов чувств. Пойми, Хирвард, эта мечта не была бы столь страстной и всеобъемлющей, если бы мы не знали,

что если будем стремиться к ней упорно и обдуманно, то обязательно ее достигнем. Она живет и в твоём собственном сердце; в подтверждение того, что это так, мне достаточно назвать одно-единственное имя. Мысли твои даже сейчас обращены к существу далекому и уже, быть может, умершему. Довольно сказать «Берта» — и чувства, которые ты в своём неведении считал навеки погребёнными, начнут бушевать в твоей груди, подобно призракам, восставшим из могил. Ты вздрогнул, изменился в лице... По этим признакам я с радостью вижу, что стойкость и неукротимое мужество, приписываемые тебе людьми, оставили твоё сердце открытым для добрых и благородных чувств, закрыв в него доступ страху, нерешительности, всему презренному племени низменных чувств. Я уже говорил, что уважаю тебя, и, не колеблясь, готов это доказать. Если ты пожелаешь, я расскажу тебе об участии той самой Берты, чей образ ты, вопреки самому себе, хранишь в душе среди дневных трудов и ночного отдыха, во время боев и в дни мира, когда занимаешься вместе с товарищами военными упражнениями или пытаешься проникнуть в греческую премудрость, которой, если пожелаешь, я могу обучить тебя куда быстрее.

Пока Агеласт произносил эту речь, варяг настолько овладел собой, что смог ответить ему, хотя голос его звучал нетвердо:

— Я не знаю, кто ты, не понимаю, чего от меня хочешь... не имею представления, откуда тебе удалось раздобыть сведения, столь важные для меня и столь незначительные для других... Но я твердо знаю одно — намеренно или случайно ты произнес имя, которое взволновало меня до самой глубины сердца; тем не менее я христианин и варяг и не поколеблюсь в верности ни моему богу, ни государю, которому служу. Поклоняюсь лжебогам, сотворив себе кумира, чтобы добиться чего-нибудь для себя, мы тем самым изменяем истинным святыням. Ясно мне также, что ты как бы невзначай пустил несколько стрел в особу императора, а для верноподданного это серьезный проступок. Поэтому я не желаю иметь с тобой никаких дел, что бы они ни несли мне — добро или зло. Я наемный воин императора, и хотя не хваюсь примерным исполнением многочисленных правил, требующих в разных случаях по-разному выражать почтительные чувства и покорность, все же я — его щит, а моя алебарда — его телохранительница.

— Никто не ставит этого под сомнение, — сказал философ. — Но скажи, разве ты также не являешься прямым подчиненным великого аколита Ахилла Татия?

— Нет. Согласно уставу нашей службы, он мой командир,— ответил варяг,— и ко мне всегда проявлял доброту и благожелательность. Несмотря на свой чин, он, можно сказать, держался со мною скорее как друг, чем как начальник. Однако он такой же слуга моего господина, как и я; кроме того, я не придаю большого значения разнице в нашем положении, поскольку оно зависит от одного-единственного слова государя.

— Это сказано благородно,— заметил Агеласт,— и ты, бесспорно, имеешь право стоять с высоко поднятой головой перед тем, кого превосходишь в мужестве и в военном искусстве.

— Прости меня,— возразил бритт,— если я отклоню эту похвалу, на которую не имею права. Император избирает себе тех военачальников, которые умеют служить ему так, как он того желает. И здесь, вероятно, я не оправдал бы его доверия. Я уже сказал тебе, что для меня превыше всего долг, повиновение и служба императору, поэтому, думается мне, нам нет нужды продолжать наш разговор.

— Удивительный человек! — воскликнул Агеласт.— Неужели нет ничего, что могло бы затронуть тебя? Имена твоего императора и твоего начальника не повергают тебя в трепет, и даже имя той, которую ты любишь...

— Я обдумал твои слова,— прервал его варяг.— Ты нашел способ затронуть струны моего сердца, но не поколебал моих убеждений. Я не стану беседовать с тобой о вещах, которые не представляют для тебя интереса. Говорят, служители черной магии вызывают духов, произнося вслух имя господя бога; можно ли удивляться, что для осуществления своих греховных замыслов они поминают и чистейшее из его созданий? Я не пойду на такую уловку, ибо она позорит и умерших и живых. Не думай, что я пропустил мимо ушей твои странные речи, но какова бы ни была твоя цель, старый человек, знай, что мое сердце навеки укреплено против людских и дьявольских соблазнов.

С этими словами воин повернулся и, слегка кивнув философу, покинул разрушенный храм.

После его ухода Агеласт, оставшись в одиночестве, видимо погрузился в глубокое раздумье, которое неожиданно прервал появившийся среди развалин Ахилл Татий. Начальник варягов внимательно взгляделся в лицо философа и заговорил лишь после того, как сделал про себя какие-то выводы.

— Ну как, мудрый Агеласт, ты по-прежнему веришь в возможность того, о чем мы недавно беседовали?

— Да,— торжественно и твердо ответил Агеласт.

— Однако,— заметил Ахилл Татий,— тебе не удалось привлечь на нашу сторону этого прозелита, чье хладнокровие и мужество принесли бы нам в нужный час больше пользы, чем помощь тысячи бесчувственных рабов.

— Ты прав, мне это не удалось,— согласился Агеласт.

— И тебе не стыдно признаваться в этом? — сказал императорский военачальник.— Ты, мудрейший из тех, кто все еще притязает на обладание греческой премудростью, могущественнейший из тех, кто твердит, что владеет искусством с помощью слов, знаков, имен, амулетов и заклинаний выходить за пределы, начертанные человеку, ты потерпел поражение, не сумев убедить его, подобно тому как ребенка не в силах переспорить домашний учитель! Чего же ты стоишь, если в споре не смог подтвердить те качества, которые так охотно присваиваешь себе?

— Успокойся! — сказал грек.— Действительно, я еще ничего не добился от этого упрямого и неколебимого человека, но пойми, Ахилл Татий, я ничего и не проиграл. Мы с ним оба в том же положении, в каком были вчера, но все-таки я получил преимущество, ибо упомянул нечто столь интересное для него, что теперь он не найдет себе покоя до тех пор, пока вновь не обратится ко мне за подробными сведениями. А теперь отложим разговоры об этом необыкновенном человеке, но поверь мне, что хотя лесть, жадность и тщеславие не смогли привлечь его на нашу сторону, тем не менее у меня в руках такая приманка, которая сделает его не менее безоговорочно нашим, чем того, кто связан с нами таинственным и нерушимым договором. Расскажи мне лучше, как идут дела в империи? Все ли еще этот поток латинских воинов, неожиданно нахлынувший на нас, стремится к берегам Босфора? И все ли еще Алексей мнит, что ему удастся ослабить и разобщить армии, которые он не надеется побороть?

— Получены новые сведения, совсем свежие,— ответил Ахилл Татий.— Боэмунд под чужим именем и с шестью или восемью всадниками прибыл в город. Если вспомнить, как часто он сражался с императором, то надо признать, что предприятие это было довольно опасным. Но разве франки когда-нибудь отступали перед опасностью? Граф, как сразу же понял император, приехал разведать, что он сумеет выиграть, оказавшись первым, на кого изольется щедрость государя, и предложив ему свою помощь в качестве посредника между ним и Готфридом Бульонским, а также другими вельможами, участвующими в походе.

— Если Боэмунд будет и дальше вести такую политику,— заметил философ,— то получит полную поддержку императора.

Ахилл Татий продолжал:

— Императорский двор узнал о прибытии графа якобы совершенно случайно, и Боэмунду был оказан такой ласковый и пышный прием, какого еще не удостаивался ни один франк. Не было сказано ни слова о старинной вражде или о былых войнах, Боэмунду не напомнили, как он в прошлом захватил Антиохию и вторгся в пределы империи. Наоборот, все вокруг благославляли небо, пославшее на помощь императору верного союзника в минуту грозной опасности.

— А что сказал Боэмунд? — поинтересовался философ.

— Ничего или почти ничего,— ответил начальник варяжской гвардии,— до тех пор, пока, как я узнал от дворцового раба Нарсеса, ему не преподнесли большую сумму золотом. После этого ему пообещали даровать обширные владения и другие привилегии при условии, что в нынешних обстоятельствах он будет верным другом империи и ее повелителя. Щедрость императора по отношению к этому жадному варвару простерлась так далеко, что ему как бы случайно дали заглянуть в комнату, полную шелковых тканей, самоцветов, золота, серебра и прочих драгоценностей. Когда алчный франк не смог скрыть свое восхищение, его заверили, что содержимое сокровищницы принадлежит ему, если он видит в нем свидетельство теплых и искренних чувств, которые питает император к своим друзьям, после чего все это добро было отнесено в палатку нормандского вождя. Надо думать, что теперь Боэмунд душой и телом принадлежит императору, ибо сами франки удивляются тому, что человек такой безграничной храбрости и непомерного честолюбия в то же время так подвластен жадности — пороку изменному и противоестественному, на их взгляд.

— Да, Боэмунд будет до смерти верен императору, вернее — до тех пор, пока чей-нибудь еще более богатый дар не сотрет воспоминания об императорской щедрости. Алексей, гордый тем, что ему удалось сладить с таким видным военачальником, надеется, без сомнения, с помощью его советов добиться от большинства крестоносцев и даже от самого Готфрида Бульонского присяги на верность. Но если бы не священные цели их войны, на это не согласился бы ничтожнейший из рыцарей, даже если бы ему посулили целую провинцию. Ну что ж, подождем.

Ближайшие дни покажут, что мы должны предпринять. Раскрыть себя раньше времени — значит погибнуть.

— Значит, сегодня ночью встречи не будет? — спросил аколит.

— Нет, — ответил философ, — если только нас не вызовут на это дурацкое представление или чтение, и тогда мы встретимся — игрушки в руках глупой женщины, испорченной дочери слабоумного родителя.

Татий распрощался с философом, и они, словно опасаясь, что их могут увидеть вместе, покинули уединенное место свидания разными путями. Вскоре после этого Хирвард был вызван к своему начальнику, который сказал ему, что, вопреки прежним его словам, сегодня вечером варяг ему не потребуется.

Ахилл помолчал и добавил:

— Я вижу, с губ твоих рвутся слова, но тем не менее ты их удерживаешь.

— Вот что я хочу сказать, — решился воин. — У меня была встреча с человеком по имени Агеласт, и он на самом деле настолько другой, чем казался, когда мы последний раз с ним говорили, что я не могу не рассказать тебе о том, что обнаружил. Он вовсе не жалкий шут, который, чтобы рассмешить общество, не пожалеет ни себя, ни других. Нет, он человек глубокого и дальновидного ума; по каким-то причинам ему нужно привлечь друзей и сплотить их вокруг себя. Твоя собственная мудрость подскажет тебе, как надо поступать, чтобы не дать ему в обман.

— Ты неискушенный простака, мой бедный Хирвард, — ответил Ахилл Татий с наигранной добродушной снисходительностью. — Такие люди, как Агеласт, часто облачают самые свои злые шутки в самую серьезную форму. Они будут уверять, что обладают неограниченной властью над стихиями и духами, и для этого раздобудут сведения об именах и событиях, известных только людям, над которыми они собираются подшутить; и потом на всякого, кто поверит им, низвергнется, говоря словами божественного Гомера, поток неудержимого смеха. Я не раз присутствовал при том, как Агеласт, избрав своей жертвой кого-нибудь из присутствующих — неопытного и необразованного человека, — для развлечения всех остальных делал вид, что может привести отсутствующих, приблизить далеких и даже вызвать мертвецов из могил. Остерегайся, Хирвард, как бы его искусство не повредило доброму имени одного из моих храбрейших варягов.

— Можешь не опасаться, — ответил Хирвард, — так как я вовсе не собираюсь часто встречаться с этим челове-

ком. Если он шутит по поводу одной истории, которую упомянул при мне, я не постесняюсь и пущу в ход силу, чтобы научить его относиться к этому с должным уважением. А если он не шутя считает себя мастером всякой магии, то я, как и мой дед Кенельм, верю, что мы наносим величайшее оскорбление умершим, когда позволяем произносить их имена вещуну или нечестивому чародею. Поэтому я не собираюсь снова встречаться с этим Агеластом, кем бы он ни был — колдуном или мошенником.

— Ты не понял меня, — поспешно сказал главный телохранитель, — и неправильно истолковал мои слова. Если только он снизойдет до беседы с тобой, тебе будет чему поучиться у такого человека. Ты только держись подальше от всех тайных наук — ведь он говорит о них, только чтобы выставить тебя на посмеяние.

С этими словами, которые сам Ахилл Татий вряд ли сумел бы примирить между собой, начальник и подчиненный расстались.

ГЛАВА IX

Меж скал, где в пене рушится волна,
Искусный зодчий насыпь воздвигает,
Деля шальной поток на рукава,
С тем чтобы в руслах каменистых
Ослабить силу вод, их бег замедлить
И в направленье заданном пустить,
С которого их не собьет ничто.
Так зодчий достигает нужной цели.

«Зодчий»

Если бы во время этого беспорядочного нашествия европейских армий Алексей открыто проявил недоброжелательность или сделал любой другой неверный шаг, он, безусловно, раздул бы в пожар многочисленные очаги недовольства, тлевшие среди крестоносцев. Неминуема была бы катастрофа и в том случае, если бы он с самого начала оставил всякую мысль о сопротивлении и, спасая только себя, отдал западным полчищам все, что они захотели бы взять. Император избрал нечто среднее: принимая во внимание слабость Греческой империи, это был единственный правильный путь, ибо он обеспечивал Алексею одновременно и безопасность и влияние как на франкских пришельцев, так и на его собственных подданных. Средства, которыми он пользовался, были очень разнообразны; нередко они были запятнаны лицемерием или низостью, но причину этого надо скорее искать в требованиях политики, чем в его личных свойствах. Таким образом, действия императора напоминали повадки змеи, которая ползет в траве и старается незаметно ужалить того, к кому она не смеет приблизиться гордо и благородно, как лев. Однако мы не собираемся писать историю крестовых походов, и того, что мы уже рассказали о мерах предосторожности, принятых императором при первой вести о приближении Готфрида Бульонского и его сподвижников, достаточно для пояснения нашего рассказа.

Прошло около четырех недель, отмеченных ссорами и примирениями между крестоносцами и подданными греческого императора. Как и требовала политика Алексея, кое-кого из пришельцев от случая к случаю принимали при дворе с большим почетом, а к их вождям выказывали уважение и милость, но в то же время на войска франков, пробиравшиеся далекими или кружными путями к столице, нападали, безжалостно истребляя их, легковооруженные отряды воинов, которых несведущие чужеземцы при-

нимали за турок, скифов или других неверных; впрочем, так оно порой и было, но эти неверные состояли на службе греческого государя. Случалось, что, пока самые могущественные из вождей крестового похода пировали вместе с императором и его приближенными, угощаясь роскошнейшими блюдами и утоляя жажду ледяными винами, их воины, задержавшиеся в пути, получали намеренно испорченные продукты, муку с примесями, тухлую воду, после чего они начинали болеть и во множестве умирали, так и не ступив на святую землю, ради освобождения которой отказались от мирной жизни, достатка и родины. Эти недружелюбные действия не оставались незамеченными. Многие вожди крестового похода твердили, что император не держит своих обещаний, и рассматривали потери, несомые их армиями, как следствие сознательной враждебности греков; не один раз союзники доходили до такой ненависти друг к другу, что война между ними казалась неизбежной.

Тем не менее Алексей, хотя ему и приходилось прибегать ко всевозможным уловкам, довольно твердо вел свою линию и любыми способами старался сохранить хорошие отношения с влиятельными вождями крестоносцев. Когда франков истребляли в стычках, он говорил, что они нападают первыми; когда их вели неверной дорогой, объяснял это случайностью или непослушанием; когда они гибли от порченных продуктов, возмущался их неумеренной склонностью к незрелым плодам и недобродившему вину. Короче говоря, какие бы несчастья ни обрушивались на незадачливых пилигримов, у императора всегда были наготове объяснения — он доказывал, что все это естественные последствия их жестокости, своевольного поведения или вредоносной опрометчивости.

Предводители крестоносцев, отлично понимавшие, как они сильны, не стали бы, пожалуй, покорно сносить обиды от такого слабого противника, если бы у них не создалось весьма преувеличенного представления о сокровищах Восточной империи, которые Алексей, казалось, готов был разделить с ними со щедростью, столь же непривычной для них, сколь удивительной была для их воинов щедрость природы Востока.

Когда возникали какие-нибудь трения, труднее всего было справиться с французской знатью, но тут императору помогло происшествие — Алексей вполне мог увидеть в нем руку провидения, — в результате которого высокомерный граф Вермандуа оказался в положении просителя там, где рассчитывал диктовать свою волю. Едва он

отплыл из Италии, на его флот неожиданно обрушилась свирепая буря и прибила его к греческому побережью. Многие суда потерпели крушение, а отряды крестоносцев, достигшие берега, были так потрепаны, что им пришлось сдаться в плен военачальникам Алексея. Таким образом, граф Вермандуа, державшийся столь надменно при отплытии, прибыл к константинопольскому двору не как владетельный государь, а как пленник. Император немедленно освободил всех воинов и оделил их подарками.

Благодарный за внимание, которое неустанно оказывал ему Алексей, движимый признательностью точно так же, как и корыстью, граф Гуго был склонен присоединиться к мнению тех, кто по другим причинам хотел сохранения мира между крестоносцами и Греческой империей. Прославленный Готфрид, Раймонд Тулузский и некоторые другие, у которых благочестие было не только вспышкой фанатизма, руководствовались более высокими соображениями. Эти государи представляли себе, каким позором будет покрыт крестовый поход, если первым их подвигом окажется война против Греческой империи, справедливо считающейся оплотом христианства. А так как империя эта слаба и в то же время богата, внушает алчное желание грабить и одновременно не в силах обороняться, то тем более они обязаны во имя своих интересов и своего долга христианских воинов встать на защиту христианского государства, чье существование столь важно для общего дела, даже если это государство не способно отстоять себя. В ответ на заявления императора о своих дружеских чувствах эти прямодушные люди старались проявить не меньшее дружелюбие, а за его доброту воздать с такой лихвой, чтобы он убедился в честности и благородстве их намерений и ради собственных интересов воздержался от враждебных действий, которые могли бы заставить их изменить свое отношение к нему.

Это благоприятное расположение большинства крестоносцев к Алексею, вызванное многими разнообразными и сложными причинами, привело к тому, что вожди крестового похода согласились на меру, которую в иных обстоятельствах, по всей вероятности, отвергли бы, как не заслуженную греками и позорную для них самих. Речь идет о знаменитом решении, гласящем, что, прежде чем переправиться через Босфор и начать наступление на Палестину, которую все они поклялись отвоевать, каждый вождь крестового похода в отдельности признает греческого императора, исконного властелина этих земель, своим ленным владыкой и сюзереном.

Император Алексей с несказанной радостью узнал о таком намерении крестоносцев, к которому надеялся склонить их скорее путем подкупа, чем убеждениями, хотя можно было привести немало разумных доводов в пользу того, что провинции, отвоеванные у турок и сарацин, должны вновь стать частью Греческой империи, ибо они были отторгнуты от нее без всяких оснований, путем прямого насилия.

Хотя Алексей боялся и даже почти не надеялся, что ему удастся справиться с необузданным и разноголосым скопищем высокомерных вождей, совершенно независимых друг от друга, тем не менее он без проволочек и колебаний ухватился за решение Готфрида и его соратников признать императора сюзереном всех, кто отправляется воевать в Палестину, и верховным властителем земель, которые будут завоеваны во время этого похода. Он решил обставить эту церемонию так торжественно, чтобы своей пышностью и роскошью она произвела глубокое впечатление на всех присутствующих и надолго сохранилась у них в памяти.

Для совершения обряда была избрана одна из многочисленных широких террас, расположенных вдоль берега Пропонтиды. Здесь на возвышении был установлен величественный трон для императора. Других сидений на террасе не было: с помощью этой уловки греки надеялись сохранить самый дорогой для их тщеславия обычай — а именно запрет сидеть в присутствии императора. Вокруг трона Алексея Комнина в строго определенном порядке стояли сановники его великолепного двора, от протосебаста и кесаря до патриарха в роскошном священническом облачении и Агеласта, простая одежда которого тоже производила немалое впечатление. Блестящее сборище придворных охватывали полукольцом сзади и по бокам темные ряды англосаксонских изгнанников. В этот торжественный день они спросили разрешения облачиться не в серебряные нагрудники, как было принято при изнеженном греческом дворе, а стальные кольчуги. Они заявили, что воины должны видеть в них воинов. Их просьбу охотно удовлетворили, ибо все понимали, что достаточно пустячного повода — и в этой накаленной атмосфере может вспыхнуть нешуточная ссора.

Позади варягов, значительно превышая их численность, расположились отряды греков или римлян, прозванные Бессмертными, — название это римляне некогда заимствовали у персов. Статные фигуры, высокие шлемы и сверкающее вооружение могли бы внушить чужеземным

вельможам весьма лестное представление о мощи и силе этих воинов, если бы ряды их не находились в постоянном движении и оттуда не доносилась болтовня, что составляло резкий контраст с неподвижностью и гробовым молчанием хорошо обученных варягов, стоявших навтыжку, подобно железным статуям.

Пусть читатель представит себе этот трон во всем его восточном великолепии, окруженный чужеземными наемниками и римскими войсками. Вдали виднелись отряды легкой конницы, которые то и дело передвигались, дабы всем казалось, что их очень много, но никто не мог сосчитать, сколько именно. Сквозь пыль, поднимаемую конями, мелькали знамена и штандарты, среди которых можно было разглядеть и знаменитый Лабарум, залог военных успехов императора, чья магическая сила несколько повыдохлась к тому времени, о котором идет речь. Грубые воины запада, приглядевшись к греческим отрядам, утверждали, что знамен, выставленных ими, хватило бы на армию в десять раз более многочисленную.

Далеко справа, на морском берегу, стояла внушительная конница крестоносцев. Желание последовать примеру своих вождей-принцев, герцогов и графов,— готовых принести присягу, было столь велико, что когда для этой цели собрались все независимые рыцари и дворяне, число их оказалось огромным. Каждый крестоносец, владевший замком и приведший с собой шесть копейщиков, считал бы себя униженным, если бы его не пригласили, наравне с Готфридом Бульонским или Гуго Великим, графом Вермандуа, принести ленную присягу греческому императору и отдать под его верховное владычество земли, которые этот крестоносец собирался завоевать. Но в силу каких-то странных и противоречивых чувств они, настаивая на том, чтобы дать присягу вместе со своими могущественными предводителями, в то же время стремились найти повод, чтобы показать, будто рассматривают ее как бессмысленное унижение, а всю церемонию — как дурацкий спектакль.

Порядок церемонии был установлен следующий: крестоносцы, или, как греки называли их, графы, поскольку этот титул чаще всего встречался среди них, должны были, двигаясь слева направо, поодиночке проезжать мимо императора и произносить как можно быстрее слова присяги, заранее установленные. Первыми совершили эту процедуру Готфрид Бульонский, его брат Болдуин, Боэмунд Антиохийский и еще несколько видных крестоносцев, после чего, спешившись, они стали у императорского трона,

чтобы своим присутствием удержать бесчисленных соратников от преступно-дерзких или опрометчивых выходов. Увидев это, другие, менее знатные крестоносцы тоже стали останавливаться возле императора, отчасти из чистого любопытства, отчасти из желания показать, что имеют на это не меньшее право, чем их вожди.

Таким образом, на берегу Босфора лицом к лицу оказались две огромные армии — греческая и европейская, не похожие друг на друга ни языком, ни вооружением, ни внешним видом. Небольшие конные отряды, отделявшиеся порою от этих армий, напоминали вспышки молний, пробегающих от одной грозовой тучи к другой, чтобы передать друг другу избыток накопившейся в них энергии. Помешкав немного на берегу Босфора, франки, уже принесшие присягу, беспорядочными толпами направлялись затем к бухте, где покачивались на волнах бесчисленные галеры и другие мелкие суда под парусами и с веслами в уключинах, готовые переправить воинственных пилигримов через пролив на тот самый азиатский берег, куда они так страстно стремились попасть и откуда лишь немногим из них суждено было вернуться. Нарядные корабли, ожидавшие крестоносцев, закуски, уже приготовленные для них, небольшая ширина пролива, не внушавшая опасений, предвкушение желанных подвигов, которые они поклялись свершить, — все это вселяло веселье и бодрость в сердца воинов, и звуки песен и музыки сливались с плеском весел отчаливавших судов.

Воспользовавшись таким расположением духа у крестоносцев, Алексей в течение всей церемонии изо всех сил старался внушить чужеземной армии самое высокое представление о своем императорском величии и о значении события, которое свело их в этом месте. Вожди крестового похода с готовностью поддерживали императора, одни — потому, что тщеславие их было удовлетворено, другие — потому, что насытилась их алчность, третьи — потому, что распалилось их честолюбие, и лишь очень немногие — потому, что считали дружбу с Алексеем, быть может, лучшим средством для достижения целей их похода. Так вот и получилось, что вельможные франки, движимые столь разными побуждениями, выказывали смирение, которого, по всей вероятности, отнюдь не чувствовали, и тщательно воздерживались от поступков, которые можно было бы расценить как неуважение к торжественной церемонии греков.

Однако среди крестоносцев было множество людей, настроенных совершенно иначе. В числе всех этих графов,

сеньоров и рыцарей, под чьими знаменами крестоносцы пришли к стенам Константинополя, было немало фигур столь незначительных, что никому в голову не пришло покупать их согласие на неприятную процедуру присяги. Эти люди хотя и покорились, опасаясь проявлять открытое сопротивление, однако их насмешливые замечания, издевки и попытки нарушить порядок явно свидетельствовали о том, что к совершаемому шагу они относятся с презрением и негодованием, ибо государь, вассалами которого они себя объявляли, исповедовал, по их мнению, еретическую веру, только хвалился своей силой, а на деле был слаб, при первой возможности нападал на крестоносцев и друженно обходился только с теми, кто мог принудить его к этому; короче говоря, будучи подобострастным союзником могучих предводителей, по отношению ко всем остальным он вел себя при всяком удобном случае как коварный и смертельный враг.

Особенно выделялись высокомерным пренебрежением ко всем остальным нациям, участвовавшим в крестовом походе, а также безудержной храбростью и презрительным отношением к могуществу и силе Греческой империи французские рыцари. У них в ходу была даже поговорка, что если обрушится небо, то французские крестоносцы без чьей-либо помощи сумеют поддержать его своими копьями. С такой же спесивой дерзостью вели они себя и во время нередких ссор со своими хозяевами поневоле и большей частью одолевали греков, несмотря на изворотливость последних. Поэтому Алексей твердо решил во что бы то ни стало избавиться от этих непокорных и заносчивых союзников и любыми способами поскорее переправить их через Босфор. А чтобы эта переправа прошла возможно спокойнее, он решил воспользоваться присутствием графа Вермандуа, Готфрида Бульонского и других влиятельных вождей крестоносцев, могущих поддержать порядок среди многочисленных французских рыцарей, не столько знатных, сколько буйных.

Обуздывая оскорбленную гордость благоразумной осторожностью, император заставлял себя благосклонно принимать присягу, приносимую с явной насмешкой. Но тут случилось происшествие, с необычайной наглядностью показавшее, как различны чувства и образ действия этих двух народов — греков и французов, сведенных вместе при столь необычных обстоятельствах. Уже несколько французских отрядов, прошествовав мимо императорского трона, не без некоторой торжественности совершили обряд.

Преклонив колено перед Алексеем, рыцари вкладывали свои руки в его и в этой позе произносили слова ленной присяги. Когда присягу принес уже упомянутый Боэмунд Антиохийский, император, желая уважить и ублажить этого лукавого человека, своего бывшего врага, а ныне, по всей видимости, союзника, сделал с ним несколько шагов по направлению к берегу, где стояли предназначенные для Боэмунда суда.

Император, как мы уже сказали, прошел совсем недалеко; этот жест был сделан лишь для того, чтобы почтить Боэмунда, однако он послужил поводом для оскорбительной выходки, которую гвардия и приближенные Алексея восприняли как намеренное унижение императора. С десятка всадников, составлявших свиту франкского графа, которому предстояло принести сейчас присягу, на полном галопе отделились во главе со своим господином от правого фланга французской конницы и, доскакав до все еще пустого трона, осадили коней. У графа, атлетически сложенного человека, было решительное, суровое и очень красивое лицо, обрамленное густыми черными кудрями. Он был в берете и в облегающей одежде из замши, поверх которой обычно носил тяжеловесные доспехи, как это было принято у него на родине. Однако на сей раз он для удобства не надел их, проявив тем самым полное пренебрежение к столь торжественной и важной церемонии. Не дожидаясь Алексея и нисколько не тревожась мыслью о том, что непристойно ему торопить императора, он соскочил с могучего коня и бросил поводья, которые тут же подхватил один из его пажей. Без минуты колебаний статный, небрежно одетый франк сел на свободный императорский трон и, развалясь на шитых золотом подушках, предназначенных для Алексея, принялся лениво поглаживать огромного свирепого волкодава, который следовал за ним по пятам и чувствовал себя так же вольно, как и его хозяин. Пес небрежно растянулся у подножия императорского трона на узорчатом дамасском ковре, не испытывая, видимо, уважения ни к кому, кроме сурового рыцаря, своего признанного хозяина.

Император, в виде особой чести немного проводив Боэмунда, повернулся и с изумлением увидел, что трон его занят дерзновенным франком. Отряд полудиких варягов, стоявших вокруг трона, не стал бы ждать и минуты, чтобы отомстить за оскорбление, нанесенное этим наглецом их владыке, если бы их не сдерживали Ахилл Татий и другие военачальники, которые, не зная, какова будет воля императора, боялись принять решение.

Тем временем бесцеремонный рыцарь громко сказал на своем провинциальном наречии, понятном, однако, и тем, кто знал французский язык, и тем, кто не знал, настолько недвусмысленны были его тон и все поведение:

— Что это за невежа, который сидит, словно деревянный чурбан или бессловесный камень, в то время как столько благородных людей, цвет рыцарства и образец отваги, стоят с обнаженными головами перед трижды побежденными варягами?

В ответ раздался голос, такой низкий и отчетливый, словно он исходил из недр земли и принадлежал существу другого мира:

— Если норманны желают биться с варягами, они могут встретиться с ними в поединке, лицом к лицу, а оскорблять греческого императора постыдно, потому что всем известно, что сражается он только алебардами своей гвардии.

Эти слова поразили всех, даже рыцаря, который оскорбил императора и тем самым вызвал такой отпор. Напрасно старался Ахилл обуздать своих воинов и принудить их к молчанию — громкий ропот свидетельствовал, что они вот-вот выйдут из повиновения. Боэмунд протиснулся сквозь толпу с поспешностью, которая была бы не к лицу Алексею, взял крестоносца за руку и как бы дружественно, но до некоторой степени и насильно заставил его сойти с императорского трона, на котором тот столь дерзко расположился.

— Что я вижу? — сказал Боэмунд. — Благородный граф Парижский? Есть ли среди этого высокого собрания хоть один человек, который останется равнодушным к тому, что имя рыцаря, столь прославленного своей доблестью, отныне будет запятнано пустой ссорой с продажными воинами из императорской гвардии, заслуживающими лишь одного звания — звания наемников? стыдись, стыдись, не позорь себя, ведь ты — норманский рыцарь!

— Я не любитель, — сказал крестоносец, неохотно вставая, — разбираться в звании моего противника, когда он проявляет охоту сразиться со мной. Я человек покладистый, граф Боэмунд, и готов скрестить оружие с кем угодно — с турком, с татаринном, со странствующим англосаксом, который спасся от цепей норманнов, чтобы стать рабом греков, — если он добивается высокой чести отточить свой клинок о мой панцирь.

Император слушал эти препирательства со смешанным чувством негодования и страха, ибо ему казалось, что весь его сложный замысел тут же пойдет прахом из-за нане-

сенного ему предумышленного оскорбления, которое к тому же может не ограничиться одними словами. Он уже готов был призвать своих воинов к оружию, но, взглянув на правый фланг армии крестоносцев, увидел, что после того, как франкский граф покинул их ряды, они не двинулись с места. Тогда Алексей решил не обращать внимания на оскорбление и отнестись к нему как к грубоватой шутке франка, поскольку вновь подходившие отряды не обнаруживали никаких враждебных намерений.

Молниеносно приняв такое решение, он неспешно прошествовал под свой балдахин и остановился рядом с тронном, не торопясь занять его, чтобы не дать повода наглому чужеземцу опять предъявить на него права.

— Кто этот отважный рыцарь,— спросил он у графа Болдуина,— которого я, судя по его гордому поведению, должен был встретить, сидя на троне, и который счел возможным таким образом отстаивать свое достоинство?

— Он считается одним из самых храбрых воинов в нашем войске,— ответил Болдуин,— хотя храбрецов у нас не меньше, чем песчинок на берегу моря. Он сам назовет тебе свое имя и звание.

Алексей посмотрел на рыцаря. В крупных красивых чертах лица, в живом, исполненном фанатического огня взоре он не увидел ничего, что говорило бы о желании намеренно оскорбить его; очевидно, хотя случившееся весьма противоречило порядкам и этикету греческого двора, оно отнюдь не было задумано как повод для ссоры. Успокоившись, император обратился к чужеземцу:

— Мы не знаем, какое благородное имя ты носишь, но уверены, судя по словам графа Болдуина, что имеем честь видеть одного из храбрейших среди тех рыцарей, которые, негодуя на порабощение святой земли, проделали долгий путь, дабы освободить Палестину от владычества неверных.

— Если ты хочешь узнать мое имя,— ответил рыцарь,— любой из этих пилигримов удовлетворит твое желание с большей готовностью, чем я, ибо, как справедливо считают в нашей стране, многие поединки не на жизнь, а на смерть только потому были отложены, что люди раньше времени назвали свои имена; сражаться следует, боясь одного лишь господ бога и не думая о том, в каком родстве, свойстве или близком знакомстве состоишь с противником. Сперва пусть рыцари померятся силами, а уж потом объявляют свои имена! Тогда по крайней мере каждый из них будет знать, что имеет дело с храбрым человеком, и проникнется уважением к нему.

— И все-таки,— сказал императар,— я хотел бы знать, раз уж ты претендуешь на первенство среди такого множества рыцарей, полагаешь ли ты себя равным государю или владетельному князю?

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил франк, и лицо его несколько омрачилось.— Ты считаешь, что я задел тебя, высказав мнение о твоих воинах?

Император поспешил ответить, что вовсе не собирался обвинять рыцаря в оскорблении или враждебном действии; кроме того, у него, отягченного управлением империей, да еще в столь сложных обстоятельствах, нет времени заниматься бесполезными и пустыми ссорами.

— То, что ты сейчас мне сказал, очень удивительно, ибо, судя по твоему французскому выговору, тебе не раз приходилось иметь дело с моими соплеменниками. Я полагаю, что некоторые рыцарские доблести, свойственные нашей нации, поскольку ты не монах и не женщина, должны были бы вместе с нашим языком найти путь к твоему сердцу.

— Успокойся, граф,— сказал Боэмунд, который, боясь, что вот-вот вспыхнет ссора, все время стоял рядом с Алексеем.— Императору во всех случаях полагается отвечать учтиво. Ну, а кто стремится к сражениям, очень скоро утолит свою жажду в боях с неверными. Император хочет только узнать твое имя и происхождение, а у тебя меньше чем у кого бы то ни было оснований скрывать их.

— Не знаю, что именно интересуется этого государя или императора, как ты его именуешь,— ответил франкский граф,— но рассказать о себе я могу только очень немного. В глубине одного из обширных лесов в сердце Франции, моей родной страны, стоит часовня, так глубоко ушедшая в землю, словно она согнулась под тяжестью долгих лет. Святая дева, чей алтарный образ известен под именем Владычицы сломанных копий, во всем королевстве считается покровительницей ратных дел. Четыре проезжих дороги с четырех сторон света сходятся у дверей этой часовни, и всякий раз, когда добрый рыцарь проезжает мимо, он спешивается и заходит в часовню помолиться, но перед этим трижды трубит в рог, пока ясень и дуб не ответят ему гулом. Коленопреклоненный, он выстаивает службу перед образом Владычицы сломанных копий и почти всегда, встав с колен, обнаруживает какого-нибудь странствующего рыцаря, готового удовлетворить его желание сразиться. Больше месяца провел я в этом месте и сражался со всеми, кто приезжал туда, и все они благодарили меня за рыцарское обхождение с ними, не считая

того рыцаря, который имел несчастье свалиться с коня и сломать себе шею, и еще одного, которого я проткнул копьем так, что окровавленный наконечник на целый ярд торчал у него из спины. Но такие случаи неизбежны в поединках, остальные же мои противники, расставаясь со мной, были признательны мне за милосердие.

— Я полагаю, благородный рыцарь,— сказал император,— что при твоём телосложении и храбрости тебе нелегко найти равных даже среди твоих соплеменников, искателей приключений, не говоря уже о людях, которым внушили, что рисковать своей жизнью в бессмысленных схватках друг с другом — значит, уподобившись несмышленому ребенку пренебрегать даром господним.

— Думай что тебе угодно,— довольно высокомерно ответил франк,— но уверяю тебя, ты более чем несправедлив, если полагаешь, что мы скрещаем оружие в раздражении или в гневе и что наши утренние рыцарские поединки перед входом в старую часовню даруют нам меньшую радость, чем вечерняя охота на оленя или кабана.

— С турками,— сказал Алексей,— тебе не удастся так приятно обмениваться любезностями. Я советую тебе во время боя с ними находиться не в авангарде и не в тылу, а держаться поближе к знамени, которое обычно стараются захватить самые храбрые из неверных и грудью отстоять — самые доблестные из рыцарей.

— Клянусь Владычицей сломанных копий,— ответил крестоносец,— я не жалею, что турки менее вежливы, чем христиане: ведь даже самый лучший из них не заслуживает других названий, кроме «неверный» и «пес-язычник», ибо они равно преступают и божеские и рыцарские законы. Я надеюсь встретиться с ними в первых рядах нашей армии, вблизи от нашего знамени или в любом другом месте на поле боя, и выполню свой долг, разделавшись с ними за то, что они, будучи врагами пречистой девы и всех святых, к тому же еще привержены гнусным обычаям, то есть являются и моими личными врагами. А сейчас у тебя довольно времени, чтобы сесть и принять у меня присягу; я же буду весьма тебе обязан, если ты сделаешь эту дурацкую церемонию как можно быстрее.

Император поспешно занял свое место и взял в свои руки мускулистые руки крестоносца, который произнес слова присяги и отправился в сопровождении графа Болдуина к кораблям. С удовольствием убедившись, что рыцарь взошел на борт, Болдуин вернулся к императору.

— Как имя этого необыкновенного и самонадеянного человека? — спросил император.

— Его зовут Роберт, граф Парижский, — ответил Болдуин. — Он считается одним из самых храбрых пэров, окружающих французский трон.

После некоторого раздумья Алексей Комнин отдал приказ закончить на сегодняшний день церемонию, опасаясь, что грубые и легкомысленные шутки чужеземцев вызовут новую ссору. Крестоносцев, к их полному удовольствию, проводили обратно во дворцы, где их до этого так гостеприимно принимали, и они охотно вернулись к прерванному пиру, от которого им пришлось оторваться, чтобы принести присягу. Трубы предводителей крестового похода проиграли сигнал отбоя немногочисленным простым воинам, входившим в их отряды, а также всему скопищу рыцарей, и те, довольные отсрочкой, смутно понимая, быть может, что только после переправы через Босфор начнутся для них подлинные испытания, с радостью остались по сю сторону пролива.

Вероятно, это никак не было предусмотрено; но граф Роберт Парижский — так сказать, герой описанного тревожного дня, — услышав звучащие вокруг призывы труб, тоже решил сойти на берег, хотя корабль его уже был готов к отплытию, и ни Боэмунд, ни Готфрид, ни все остальные, пытавшиеся объяснить ему смысл сигнала, не смогли поколебать его намерение вернуться в Константинополь. Он презрительно рассмеялся, когда ему сказали, что он может навлечь на себя гнев императора; более того — казалось, что графу доставит особенное удовольствие, сидя за столом Алексея, бросить ему вызов или хотя бы показать, насколько ему безразлично, нанес он оскорбление императору или нет.

Даже Готфрид Бульонский, к которому рыцарь высказывал известное уважение, не переубедил его; этот мудрый предводитель, исчерпав все аргументы, могущие поколебать решение графа вернуться в императорскую столицу, и почти поссорившись с ним, в конце концов предоставил ему действовать по собственному усмотрению. Указывая на проходившего мимо Роберта Парижского, Готфрид сказал графу Тулузскому, что этот неукротимый странствующий рыцарь способен повиноваться лишь своим прихотям.

— Он взял с собой в крестовый поход меньше пяти-сот воинов, — сказал Готфрид, — и я готов поклясться, что даже сейчас, когда мы накануне военных действий, он понятие не имеет, где его люди и есть ли у них еда и кров

над головой. В его ушах вечно звучит трубный глас, призывающий к атаке, и у него нет ни желания, ни времени прислушаться к другим, менее воинственным или более разумным голосам. Поглядите, как он прогуливается там,— ни дать ни взять школяр, который вырвался на свободу и теперь сгорает от любопытства и жажды напроказить.

— При этом,— заметил Раймонд, граф Тулузский,— отваги у него столько, что он вынесет на своих плечах любую, самую безрассудную выходку целой армии благочестивых крестоносцев. Тем не менее он так горяч и спесив, что рискнет успехом всего похода, лишь бы не упустить случая схватиться в поединке с достойным противником или, как он выражается, послужить Владычице сломанных копий. Но с кем это он сейчас встретился и вместе идет, вернее — лениво бредет, обратно в Константинополь?

— Ты говоришь о вооруженном рыцаре в великолепных доспехах, более хрупкого телосложения, чем обычный воин? — спросил Готфрид.— Полагаю, что эта та самая прославленная дама, которая завоевала сердце Роберта, проявив во время турнира не меньше доблести и бесстрашия, чем он сам. А паломница в длинном одеянии, вероятно, их дочь или племянница.

— Удивительные зрелища можно увидеть в наше время, достойный рыцарь,— заметил граф Тулузский.— Ничего подобного я не встречал с тех пор, как Гета, жена Роберта Гискара, решила стяжать известность делами, достойными мужчины, и начала соперничать со своим мужем на поле боя, на балах и на пирушках.

— Такова и эта чета, благородный рыцарь,— добавил третий крестоносец, в это время присоединившийся к ним,— да помилует небо беднягу, который не в состоянии поддерживать домашний мир сильной рукой!

— Что верно, то верно,— ответил Раймонд.— Хотя и обидно, что женщина, которую мы любим, давно утратила цветение юности, все же утешительно думать, что она слишком старомодна и не решится колотить нас, когда мы вернемся назад, оставив нашу молодость или зрелость в этом длительном походе. Однако давайте пойдем и мы в Константинополь вслед за этим бравым рыцарем.

ГЛАВА X

В те давние, глухие времена
Нередко женщины предпочитали
Не в зеркала смотреть, а в щиты,
И побеждать мужчин не взором нежным,
А острием разящего меча.
И все же в их сердцах была природа
Унижена, но не побеждена.

«Феодальные времена»

Бренгильда, графиня Парижская, была одной из тех доблестных дам, которые охотно принимали участие в битвах. Во время Первого крестового похода таких воительниц было немало — относительно, конечно, ибо явление это все же противоестественное; они-то и послужили реальными прообразами Марфиз и Брадамант, которых так любили воспевать сочинители романов, награждавшие их порою непроницаемыми доспехами, а иной раз — копьем, пробивающим любую броню, для того, чтобы как-то смягчить невероятный факт частых побед представительниц слабого пола над мужской половиной рода человеческого.

Но очарование Бренгильды было более простого свойства и заключалось главным образом в ее удивительной красоте.

С детских лет она презирала занятия, обычно милые женскому сердцу, и те, кто пытался добиться благосклонности юной госпожи Аспрамонтской, наследницы владений весьма воинственного семейства — это обстоятельство, по видимому, и питало в ней ее причудливые склонности, — слышали в ответ, что они должны заслужить такую честь, проявив свою отвагу на турнире. Отец Бренгильды к этому времени умер, а мать была женщиной мягкой, и дочь легко подчинили ее своему влиянию.

Многочисленные поклонники Бренгильды охотно согласились на ее условия, которые были слишком в духе того времени, чтобы кого-нибудь удивить. Турнир был устроен в замке Аспрамонте. Половина участников этого рыцарского сблища, выбитая из седла другой, более удачливой половиной, удалилась с арены подавленная и разочарованная. Победители не сомневались, что им предложат сразиться между собой. Каково же было их изумление, когда они узнали волю дамы их сердца! Она сама облачилась в доспехи, взяла копье, села на коня и попросила рыцарей, которые так высоко, по их словам, ценят ее, позволить ей принять участие в их рыцарских забавах.

Молодые рыцари учтиво внесли молодую хозяйку в список участников турнира, посмеиваясь над ее желанием победить стольких доблестных представителей сильного пола. Вассалы же и старые слуги графа, ее отца, тоже посмеивались, предвидя исход поединка. Рыцари вступали в бой с прекрасной Бренгильдой, а затем, выбитые из седла, один за другим падали на песок; надо, впрочем, отдать им справедливость — положение у них было не из легких: шутка сказать, им приходилось мериться силами с одной из красивейших женщин того времени! Они невольно сдерживали мощь ударов, поворачивали коней в сторону и старались не столько одержать верх над своей прекрасной противницей — а без такого стремления нет и победы, сколько уберечь ее от серьезных повреждений. Но молодая госпожа Аспрамонтская была не из тех дам, которых можно было победить, не приложив при этом всей силы и всего воинского искусства. Потерпевшие поражение поклонники покинули замок, тем более раздосадованные, что перед заходом солнца туда прибыл Роберт Парижский; узнав о турнире, он немедленно выразил желание принять в нем участие, заявив, что если ему удастся добиться победы, он заранее отказывается от обещанной награды, ибо приехал сюда не ради богатых поместий или красивых женщин. Задетая, уязвленная, Бренгильда выбрала новое копье, вскочила на лучшего своего коня и выехала на арену с твердой решимостью отомстить обидчику, пренебрегшему ее красотой. Это ли раздражение лишило ее обычной силы и ловкости, или она, подобно всякой женщине, поддалась тому мужчине, который как раз и не добивался ее, или, как оно нередко бывает, пришел назначенный ей час, только случилось так, что копье графа Роберта сделало свое дело с обычным для него успехом: Бренгильда Аспрамонтская была выбита из седла, шлем слетел с ее головы, а сама она грохнулась на землю. Это прекрасное лицо, прежде румяное, а теперь мертвенно-бледное, произвело на рыцаря такое впечатление, что он еще выше оценил свою победу. Верный слову, он собирался покинуть замок, ибо тщеславная дама была достаточно наказана, но тут своевременно вмешалась ее мать. Убедившись, что ее молодая наследница не получила серьезных ран, она поблагодарила незнакомого рыцаря за преподанный ее дочери урок, который, надо полагать, та не скоро забудет. А так как предложение остаться соответствовало тайным желаниям графа Роберта, он уступил чувству, подсказывающему ему, что с отъездом торопиться не следует.

В нем текла кровь Карла Великого, но еще большее значение в глазах юной дамы имело то обстоятельство, что он был одним из самых прославленных норманских рыцарей того времени. Проведя десять дней в замке Аспрамонте, жених и невеста с приличествующей случаю свитой отправились в часовню Владычицы сломанных копий, ибо только там граф Роберт пожелал венчаться. Два рыцаря, ожидавшие у часовни, в соответствии с обычаем, возможности вступить с кем-нибудь в поединок, были весьма разочарованы, увидев эту кавалькаду, явно нарушавшую их планы. Каково же было удивление рыцарей, когда они получили вызов от молодой четы, которая предложила им сразиться с ними обоими, радуясь возможности начать супружескую жизнь именно так, как они собирались ее вести и впредь. Граф и его жена, как всегда, победили; их учтивость дорого обошлась обоим рыцарям, так как у одного из них во время поединка была сломана рука, а у другого — вивихнута ключица.

Женитьба нисколько не помешала графу Роберту по-прежнему вести жизнь странствующего рыцаря; напротив, когда он хотел новыми подвигами поддержать укрепившуюся за ним известность, его жена наравне с ним участвовала в сражениях и не уступала ему в жажде славы. Поддавшись безумию, охватившему всю Европу, они оба украсили свои доспехи знаком креста и отправились освобождать святую землю.

Графине Бренгильде было в ту пору двадцать шесть лет, и она прекрасна, как только может быть прекрасна амазонка. Очень высокого для женщины роста, она отличалась благородством черт. Даже военные труды не уменьшили ее красоты, а легкий загар, покрывавший лицо графини, лишь оттенял белизну кожи там, где она была закрыта от солнечных лучей.

Император Алексей, отдав своей свите приказ возвращаться в Константинополь, имел тайный разговор с главным телохранителем Ахиллом Татием. Начальник гвардии молча склонил голову в знак повиновения и с несколькими своими воинами отделился от императорской свиты. Главная дорога в город была забита войсками и толпами зрителей, страдавших от пыли и жары.

Граф Роберт Парижский погрузил на борт корабля своих лошадей и свиту, оставив при себе только старого оруженосца и прислужницу жены. Ему не нравилась вся эта толчея, тем более что с ним была жена, и он начал высматривать среди деревьев, окаймлявших берег и сбегавших к самой воде, какую-нибудь другую дорогу в Кон-

стантинополь, пусть кружную, но приятную, где, быть может, они набредут на удивительные виды природы или рыцарские приключения — а этого главным образом они и искали на Востоке. Широкая утоптанная дорожка, казалось, обещала им все удовольствия, какие может предоставить тень в этом жарком климате. Местность, по которой они проходили, была необычайно красива; повсюду виднелись храмы, церкви, беседки, то там, то здесь источник предлагал им свои серебрянные струи, подобно щедрому даятелю, который, отказывая себе во всем, ничего не жалеет для тех, кто в нужде. Никто не толкал их и не теснил, ибо воинственная музыка, долетавшая до них издали и ласкавшая слух, отвлекла весь народ на большую дорогу.

Радуюсь тенистой прохладе, они неспешно шли, дивясь непривычному ландшафту, зданиям, повадкам людей, попадавших им навстречу или обгонявших их. Один человек особенно обратил на себя внимание графини Бренгильды. Это был дородный старик, который держал в руке свиток пергамента и так внимательно читал его, что, казалось, ничего больше не видел. Высокий лоб его свидетельствовал о глубоком уме, а пронзительный взгляд, мнилось, умел проникать в тайный смысл человеческих суждений и, отбросив все суетное, извлекал из них самое существенное. С трудом оторвавшись от пергамента, Агеласт — ибо это был он — встретился глазами с графом Робертом и его дамой, ласково назвал их «дети мои» и спросил, не заблудились ли они и не может ли он чем-нибудь им помочь.

— Мы чужестранцы, отец, — услышал он в ответ. — Вместе со всей армией пилигримов мы приехали сюда из далекой страны, охваченные единым стремлением — вознести молитвы там, где, во искупление наших грехов, была принесена великая жертва, и освободить с помощью добрых мечей поработленную Палестину, захваченную и поруганную неверными. Такова высшая цель крестоносцев. Однако Роберт Парижский и его супруга, раз уж они оказались в этой стране, хотят огласить ее эхом своих шагов. Они не привыкли бесшумно ходить по земле и жаждут завоевать бессмертную славу хотя бы ценой земного существования.

— Значит, ты готов пожертвовать безопасностью ради славы, — сказал Агеласт, — хотя, быть может, на чашу весов вместе с победой ляжет и смерть?

— Конечно, — ответил граф Роберт. — Любой из нас,

если он владеет мечом не хуже, чем я, рассуждает точно так же.

— И, насколько я понимаю,— спросил Агеласт,— твоя дама разделяет с тобой эти доблестные мысли? Неужели это действительно так?

— Ты волен, отец, не верить в мою женскую храбрость,— сказала графиня,— но, клянусь тебе,— и вот свидетель, который подтвердит мои слова,— если бы в ней усомнился мужчина раза в два моложе тебя, он не остался бы безнаказанным.

— Да защитит меня небо от молний, которые мечут твои глаза, будь то молнии гнева или презрения,— сказал Агеласт.— От других опасностей меня защищает мой *aegis*¹. Но возраст с его недугами тоже служит мне защитой. Возможно, вам нужен именно такой человек, как я; если это верно, я был бы счастлив оказать вам услугу, ибо считаю это своим долгом по отношению ко всем достойным рыцарям.

— Я уже говорил,— ответил ему граф Роберт,— что, не считая обета, который я должен выполнить,— тут он поднял глаза к небу и перекрестился,— больше всего на свете я хочу прославить свое имя с оружием в руках, как подобает доблестному рыцарю. Когда люди умирают в неизвестности, они умирают навсегда. Если бы мой предок Карл не покинул жалких берегов Заале, он был бы известен не более, чем любой виноградарь из тех мест, который только тем и занимается, что подрезает лозы. Но он прожил жизнь как храбрый человек, и имя его бессмертно в памяти достойных.

— Молодой человек,— сказал старый грек,— нашу страну не часто посещают такие люди, как ты, чьи редкие свойства я, твой преданный слуга, высоко ценю; знай же, что именно я могу помочь тебе в деле, столь дорогое твоему сердцу. Я так долго изучал природу и так глубоко проник в ее тайны, что она как бы перестала существовать для меня и передо мной открылся иной мир, совершенно от нее отличный. Удивительные знания, которыми я владею, недоступны другим людям, и их нельзя раскрыть тому, чьи ратные подвиги не выходят за пределы обыденного. Ни один выдумщик романтических небылиц в вашей романтической стране, жаждущий утолить пустое любопытство сидящих вокруг него слушателей, не способен извлечь из своего воображения такие необычайные истории, какие

¹ Щит (лат.).

знаю я, черпающий их не из фантазии, а из подлинной жизни, не говоря уже о том, что мне известно, где рыцаря ждут увлекательные приключения и как завершить их подвигом.

— Если ты и вправду стремишься поделиться своими знаниями,— сказал французский граф,— то сейчас ты встретил одного из тех, кого ищешь. Ни моя графиня, ни я не сойдем с места, пока ты не укажешь, где нам найти такое приключение, о каком без устали мечтают все странствующие рыцари.

С этими словами он сел рядом со стариком: Бренгильда последовала его примеру с видом до того почтительным, что в этом было даже что-то забавное.

— Нам с тобой повезло, Бренгильда,— продолжал граф Роберт.— Наш ангел-хранитель хорошо заботится о нас. До сих пор нас окружали здесь только чопорные придворные, которые болтают на своем бессмысленном языке и больше ценят мимолетный взгляд трусливого императора, чем разящий удар смелого рыцаря. Знаешь, я уже даже начал думать, правильно ли мы поступили, сделавшись крестоносцами,— бог да простит мне эти нечестивые мысли! И вот, почти отчаявшись найти путь к славе, мы вдруг встречаем одного из тех замечательных людей, которых рыцари былых времен обычно встречали у родников, возле придорожных крестов и часовен, людей, всегда готовых направить странствующего рыцаря туда, где можно совершить великие дела. Не перебивай его, Бренгильда,— добавил граф,— пусть он припомнит старинные предания, и ты увидишь, как он обогатит нас сокровищами своей памяти.

— Мне пришлось ждать дольше, чем позволяет большинству людей срок человеческой жизни,— сказал после некоторой паузы Агеласт,— но я с лихвой вознагражден за это тем, что на склоне дней могу послужить супругам, которые так преданы рыцарским идеалам. И мне сразу вспомнилась одна история, случившаяся здесь, в моей Греции, вообще богатой необыкновенными историями. Я вам коротко расскажу ее.

Далеко отсюда, в нашем прославленном греческом архипелаге, где на море свирепствуют бури и пенятся валы, среди скал, которые, постоянно меняя свой облик, словно бросаются друг на друга, лежит, омываемый беспокойными волнами, богатый остров Зюликий, где, несмотря на изобилие его природы, живет совсем немного людей, и те — только на морском берегу. Внутренняя часть острова представляет собой огромную гору, вернее — нагро-

мождение гор; меня уверяли, что все, кто отваживался подойти достаточно близко к горе, видели старинные, поросшие мхом башни и остроконечные шпили величавого, но разрушенного замка, жилища повелительницы этого острова, заколдованной много-много лет назад.

Некий смелый рыцарь, совершивший паломничество в Иерусалим, поклялся освободить эту несчастную жертву жестокого колдовства, ибо он испытывал справедливое негодование при мысли, что силы тьмы владуют так близко от святой земли, которую можно назвать истинным источником света. Двое старейших жителей острова согласились проводить его к главным воротам, но не осмелились подойти к ним ближе, чем на расстояние полета стрелы. Отсюда, предоставленный самому себе, храбрый франк двинулся к своей цели, полагаясь лишь на свое мужественное сердце и на помощь неба. Он приблизился к зданию, гигантские размеры и гармоничные очертания которого говорили о могуществе и богатстве того, кто построил его. Бронзовые ворота раскрылись сами собой, словно с надеждой и радостью, и среди шпилей и башенок прозвучали неземные голоса, как будто поздравлявшие духа, прикованного к этому месту, с приходом освободителя.

Рыцарь вошел в ворота, полный удивления, но не запятнанный страхом, ибо готическое великолепие, открывшееся ему, еще более возвысило его представление о красоте дамы, для которой была создана столь роскошная темница. На башнях и стенах замка стояли вооруженные стражи в восточных одеждах, готовые, казалось, выстрелить из луков; но они стояли молча и неподвижно, не обращая внимания на закованного в латы рыцаря, словно к их посту приближался монах или отшельник. Они были живые, но бесчувственные и бессильные, подобно мертвецам. Если верить старому преданию, четыреста раз сменялись времена года, летом их грело солнце, зимой поливал дождь, но они не замечали ни ласкающего тепла, ни холода. Как у израильтян в пустыне, обувь их не изнашивалась, одежда не истлевала. Время не коснулось этих людей, и рыцарь увидел их в точности такими, какими они были когда-то. Мудрец, который зачаровал этих людей, был одним из магов, исповедовавших учение Зороастра. Он явился ко двору юной царевны, которая встретила его со вниманием, какого только может пожелать самое придирчивое тщеславие; но очень скоро ее почтительный страх перед этим величавым старцем исчез, ибо она поняла, что он покорен ее красотой. Прекрасной женщине ничего не стоило — это ведь случается на каждом шагу — привести

мудреца в такое состояние, которое довольно метко называют «раем для дураков». Философ стал вести себя как мальчишка, а в его возрасте это выглядело смешным: он мог повелевать стихиями, но повернуть время вспять было вне его власти. Когда он произносил магические заклятия, склонялись горы и отступало море, но когда пытался увлечь царевну зюлийскую в стремительном танце, юноши и девушки отворачивались, чтобы он не заметил, как они потешаются над ним.

К несчастью, старики, даже самые умудренные, порой забывают о своих седилах, и тогда молодежь начинает подсматривать за ними, вышучивать и высмеивать их слабости. Царевна частенько обменивалась взглядами со своими придворными, давая им понять, что ее забавляют ухаживания грозного мага. С течением времени она позабыла об осторожности, и однажды старик перехватил взгляд, открывший ему, каким смешным казался он той, кого так страстно обожал. На земле не существует страсти более горькой, чем любовь, превратившаяся в ненависть; такой ненавистью и воспылил мудрец, раскаявшийся в безумном чувстве к легкомысленной царевне, сделавшей из него шута.

Однако он нашел в себе силы скрыть свой гнев. Ни словом, ни взглядом не выдал он горького разочарования. Только некая тень печальных, вернее — сумрачных дум, появившаяся на его челе, предвещала надвигающуюся бурю. Царевну это несколько обеспокоило; к тому же сердце у нее было очень доброе, и если она и выставила старика на посмеяние, то винить за это надо скорее случай и обстоятельства, нежели ее дурные намерения. Видя, что старик страдает, и желая облегчить его боль, она подошла к нему, прежде чем удалиться в свои покои, и ласково пожелала доброй ночи:

«Ты говоришь мне «доброй ночи», дочь моя,— заметил мудрец,— но кто из тех, кто слышит меня сейчас, сможет завтра сказать «доброе утро»?»

На эти слова мало кто обратил внимание; лишь два-три человека, хорошо знавшие мудреца, в ту же ночь бежали с острова, и от них-то и стало известно, что навлекло на обитателей замка страшную кару. Магический сон, подобный смерти, сковал их, и они уже больше не просыпались. Остров обезлюдел, а те, кто не покинул его, остерегались приближаться к замку, дожидаясь, чтобы какой-нибудь отважный искатель приключений принес околдованным желанное избавление, на которое смутно намекнул волшебник.

Никогда, казалось, не была так велика надежда на пробуждение, как в ту минуту, когда заколдованный замок огласили гордые шаги Артавана де Олье. По левую руку он увидел дворец, увенчанный башней, по правую — изящное строение, где, видимо, обитали женщины. У боковой двери полулежали два гаремных стража с обнаженными мечами в руках; страшная гримаса не то сна, не то смерти искажала их лица и словно грозила гибелью каждому, кто осмелится войти сюда. Но Артаван де Олье не уstraшился. Он приблизился к двери, и она, подобно воротам замка, распахнулась сама собой. Рыцарь переступил порог помещения для стражи, где находились такие же воины-евнухи, чьи взоры, столь неподвижные, что никто не мог бы сказать, остановила их длань смерти или сна, словно запрещали ему войти. Не обращая внимания на грозных стражей, Артаван вошел во внутренний покой и увидел прекрасных рабынь, застигнутых чарами в тот миг, когда они раздевались, чтобы отойти ко сну. Это соблазнительное зрелище, казалось, должно было бы остановить столь юного пилигрима, как Артаван де Олье, но сердце его было исполнено решимости вернуть свободу прекрасной царевне, и никакие низменные побуждения не могли отвлечь его от этой цели. Поэтому он двинулся дальше и подошел к маленькой двери из слоновой кости, которая открылась не сразу, словно застыдившись чего-то, но затем, подобно другим, распахнулась перед ним. И вот рыцарь вступил в спальню самой царевны. Мягкий свет, подобный свету вечерних сумерек, проникал в эту комнату, где все располагало к сладкому сну. На груди подушек величественного ложа, едва касаясь их, возлежала пятнадцатилетняя красавица, прославленная царевна зюликийская.

— Не посетуй, что я прерываю тебя, достойный отец, — сказала графиня Бренгильда, — но, думается мне, все мы хорошо представляем себе спящую женщину, и не следует так подробно останавливаться на этом, тем более что подобная тема вряд ли подобает как нашему, так и твоему возрасту.

— Прости меня, благородная дама, — ответил Агеласт, — но наибольший интерес всегда вызывала именно эта часть моей истории, и если я сейчас, повинувшись твоему приказу, опущу ее, то прошу тебя иметь в виду, что таким образом я пожертвую лучшим местом моей повести.

— Бренгильда, — вмешался граф, — я удивлен, что ты решилась прервать историю, рассказываемую с таким пылом. Несколько слов, опущенных или добавленных, несомненно могут иметь большое значение для ее смысла, но вряд ли они повлияют на наши чувства.

— Как вам будет угодно,— сказала его супруга, снова усаживаясь,— но мне кажется, что почтенный отец затягивает свой рассказ, и он становится скорее легкомысленным, чем интересным.

— Бренгильда,— заметил граф,— я впервые обнаруживаю в тебе женскую слабость.

— А я могу, в свою очередь, сказать, граф Роберт,— ответила Бренгильда,— что ты впервые проявляешь при мне непостоянство, свойственное твоему полу.

— О боги и богини! — воскликнул философ.— Ведь это ссора лишена всякого основания! Графиня ревнует супруга к женщине, которую он, по всей вероятности, никогда не увидит, ибо для нынешних поколений царевна зюликийская все равно что замурована в гробнице.

— Продолжай,— попросил граф Роберт Парижский.— Если сэр Артаван де Олье не снял чар с царевны, то я даю обет Владычице сломанных копий...

— Не забывай,— прервала его супруга,— что ты уже дал обет освободить гроб господень, и мне думается, что нет цели возвышеннее, чем эта.

— Ты права, госпожа моя, ты права,— сказал граф Роберт, не слишком довольный ее вмешательством.— Можешь быть уверена, что никакой подвиг не сможет отвлечь меня от нашего общего дела — освобождения гроба господня.

— Увы! — сказал Агеласт.— Замок Зюликий лежит так близко от кратчайшей дороги ко гробу господню, что...

— Достойный отец,— сказала графиня,— если тебе угодно, мы дослушаем твою историю до конца и затем решим, что нам предпринять. Мы, норманские женщины, потомки древних германцев, имеем право голоса наравне с нашими мужьями в совете перед битвой, и наша помощь в бою никогда не считалась бесполезной.

В голосе графини таилось нечто похожее на угрозу, и философ подумал, что направлять действия норманского рыцаря, пока рядом с ним его супруга, будет гораздо труднее, чем он предполагал. Поэтому рассказ его стал звучать более сдержанно, и в нем уже не было тех пламенных описаний, которые вызвали такое неудовольствие графини Бренгильды.

— Сэр Артаван де Олье, повествует предание, задумался над тем, как ему разбудить спящую девушку, и тут вдруг вспомнил о способе, перед которым не могут устоять никакие чары. Суди сама, прекрасная госпожа, прав ли он был, что лучшим способом будет поцелуй в губы.

Бренгильда слегка покраснела, но не сочла нужным прерывать философа.

— Никогда еще,— продолжал Агеласт,— столь невинный поступок не вызывал таких страшных последствий. Уже не мягкий свет летнего вечера, а мрачное, таинственное мерцание озарило комнату. Воздух наполнился удушливым запахом серы. Роскошные занавеси, великолепное убранство комнаты, даже стены ее превратились в огромные камни, беспорядочно нагроможденные друг на друга, словно в пещере дикого зверя. И в этой пещере был обитатель. Прекрасный и невинный рот, к которому прикоснулся Артаван де Олье, растянулся и стал отвратительной и чудовищной пастью огнедышащего дракона. Мгновение дракон парил на крыльях, и говорят, что если бы у сэра Артавана хватило мужества трижды повторить свое приветствие, он оказался бы владельцем всех этих богатств и освобожденной от чар царевны. Но возможность была упущена, дракон, или существо, напоминавшее его, громко и горестно стеная, взмахнул огромными крыльями и вылетел в окно.

На этом Агеласт закончил свою историю.

— Говорят, что принцесса,— сказал он,— до сих пор спит очарованным сном на своем острове; еще несколько рыцарей пошли навстречу этому приключению, но уж не знаю, что их остановило — боязнь поцеловать спящую девушку или коснуться дракона, в которого она превращалась, только заклятие остается в силе. Я знаю туда дорогу, и стоит вам приказать, как завтра вы уже будете на пути к заколдованному замку.

Графиня выслушала предложение старца с глубокой тревогой, понимая, что если она будет противиться, это еще больше укрепит желание ее супруга отправиться в заколдованный замок. Поэтому она стояла с робким и застенчивым видом, довольно необычным для столь отважной дамы, предоставляя графу Роберту самому, без постороннего влияния, принять такое решение, которое будет ему по душе.

— Бренгильда,— сказал он, беря ее за руку,— не было на свете рыцаря, носившего меч и латы, которому слава и честь были бы дороже, чем твоему мужу. Поверь, я знаю, что ты сделала ради меня то, чего я не мог ожидать от столь высокородной женщины, и поэтому тут твой голос должен быть решающим. Ради чего скитаешься ты в этой чужой, тлетворной стране, вместо того чтобы оставаться на берегах милой Сены? Ради чего носишь эту одежду, столь необычную для твоего пола? Ради чего рискуешь

жизнью, предпочитая смерть позору? Ради чего? Только ради того, чтобы у графа Роберта была супруга, достойная его. Неужели ты думаешь, что я могу пренебречь такой любовью? Нет, клянусь всеми святыми! Твой рыцарь воздаст тебе должное и готов поступиться любым своим желанием, если твоя любовь не одобрит его.

Бедная Бренгильда, раздираемая противоречивыми чувствами, тщетно пыталась сохранить стоическое спокойствие, подобающее, как она считала, ей в качестве новой амазонки. Она попробовала принять обычный свой гордый и величественный вид, но не выдержала, бросилась в объятия графа, обняла его и расплакалась, как деревенская девушка, провожающая своего любимого на войну. Ее супруг, немного сконфуженный столь несвойственным этой женщине бурным проявлением любви, был в то же время глубоко тронут, горд и счастлив тем, что мог пробудить такое искреннее и нежное чувство в этой смелой и несгибаемой душе.

— Не надо плакать, моя Бренгильда! — сказал он. — Ради меня и ради себя самой утри слезы, ибо мне нестерпимо их видеть. Пусть не думает этот мудрый старец, будто сердце твое сделано из того же податливого материала, что и у других женщин; поэтому попроси у него прощения за то, что ты пыталась воспрепятствовать подвигу, который, по его словам, я мог бы совершить на острове Зюлий.

Не легко было Бренгильде овладеть собой после того, как, не сдержавшись, она явственно показала, что природа, которую она так долго обуздывала и подавляла, все же взяла верх над ней. Бросив на супруга взгляд, полный невысказанной любви, она оторвалась от него и, все еще не выпуская его руку, застенчиво и ласково улыбнулась Агеласту, хотя слезы ее еще не высохли. Когда она заговорила, в ее тоне звучало уважение к нему и желание загладить нанесенную ему обиду.

— Отец, — почтительно сказала она, — не сердись на меня за то, что я попыталась помешать одному из лучших рыцарей, которые когда-либо прищипоривали коня, отправиться в замок твоей заколдованной принцессы, но, по правде говоря, в нашей стране, где законы и рыцарства и религии гласят, что у благородного человека может быть только одна дама сердца и одна супруга, мы стараемся не подвергать наших мужей такого рода опасностям, особенно когда речь идет об освобождении одиноких дам, а выкупом... а выкупом служат поцелуи. Я верю в пре-

данность моего Роберта, как только может верить дама в своего рыцаря, но все же...

— Прекрасная госпожа,— сказал Агеласт, который, несмотря на свое закоренелое лицемерие, все же был тронут простой и искренней любовью этой красивой молодой четы,— ты не сделала ничего дурного. Положение царевны не стало хуже, чем было до сих пор, и нет сомнения в том, что рыцарь, которому суждено освободить ее, появится в предназначенное время.

Графиня печально улыбнулась и покачала головой.

— Вы не знаете,— сказала она,— как могущественна помощь, которой я столь бессердечно лишила эту бедную даму из ревности — чувства, я это хорошо понимаю, низменного и недостойного; раскаяние мое так велико, что я готова дать согласие графу Роберту на совершение этого подвига.

При этих словах она посмотрела на своего супруга с некоторым беспокойством, как человек, который предложил сделать что-то, но втайне надеется, что его предложение не будет принято, и успокоилась только, когда он решительно сказал:

— Бренгильда, этого не будет.

— А почему бы тогда самой Бренгильде не свершить этого деяния,— сказала графиня,— раз она не страшится ни красоты принцессы, ни безобразия дракона?

— Госпожа,— ответил Агеласт,— царевну может освободить только поцелуй любви, а не дружбы.

— Разумеется, никакая дама не захочет отпустить своего супруга, если для свершения подвига нужно выполнить такие условия,— улыбаясь, сказала графиня.

— Благородный менестрель или герольд, уж не знаю, как тебя именуют в твоей стране,— сказал граф Роберт,— прими наше небольшое вознаграждение за то время, которое мы провели с таким удовольствием, хотя, к сожалению, без пользы. Прости меня за скромность моего подарка, но тебе, быть может, известно, что французские рыцари гораздо богаче славой, нежели деньгами.

— Благородный рыцарь, не по этой причине я отказываюсь от твоего дара,— сказал Агеласт,— ибо золотой, полученный из твоих доблестных рук или из рук твоей несравненной дамы, становится во сто крат дороже благодаря высоким достоинствам тех, кто его дарит. Я носил бы его на жемчужной нити и, оказавшись в обществе рыцарей и дам, объявлял бы во всеуслышание, что сие добавление к моему гербу пожаловано мне знаменитым графом Робертом Парижским и его божественной супругой.

Рыцарь обменялся взглядом со своей женой, и графиня, сняв с пальца перстень из чистого золота, попросила старца принять его в знак высокого уважения с ее стороны и со стороны ее супруга.

— Я приму его,— ответил философ,— но при одном условии, которое, надеюсь, не покажется вам трудным. У меня есть уединенный загородный домик, и стоит он почти у самой дороги — кстати, очень живописной,— ведущей в город. Там я иногда принимаю друзей, которые, смею сказать, являются весьма уважаемыми людьми в империи. Двое или трое из них, вероятно, соблаговолят посетить меня сегодня и разделят со мной нехитрую трапезу. Если бы я имел честь присоединить к этому обществу благородных графа и графиню Парижских, мое скромное жилище было бы осчастливлено навеки.

— Что ты скажешь на это, моя благородная жена? — спросил граф.— Общество менестреля приличествует самым высокорожденным особам, подобает людям самого высокого положения и возвеличивает самые блестящие подвиги. Это приглашение слишком лестно для нас, чтобы отказаться от него.

— Время уже довольно позднее,— ответила графиня,— но мы приехали сюда не для того, чтобы остерегаться заходящего солнца или ночного неба; я почтѹ не только долгом, но и удовольствием сделать, если только это в моих силах, приятное достойному отцу, поскольку я была причиной того, что ты не последовал его совету.

— Нам предстоит такой недолгий путь, что лучше всего пройти его пешком, если, конечно, дама не возражает,— сказал Агеласт.

— Нисколько. У моей прислужницы Агаты есть все необходимое для меня, а что касается моего супруга, то так налегке еще не путешествовал ни один рыцарь.

После этих слов графини Агеласт повел своих новых друзей через довольно густой лес, где их приятно освежал прохладный вечерний ветерок.

ГЛАВА XI

Руинами казался дом снаружи,
Но настоящим раем был внутри.
Там первенцы искусства, изваянья,
Восторженному взору представая,
Безмолвно говорили: преклонись.

Неизвестный автор

Граф Роберт Парижский и его супруга следовали за старцем, чьи преклонные годы, отличное знание французского языка, на котором он говорил поистине безукоризненно, в особенности же мастерство, с каким он рассказывал на этом языке поэтические и романтические предания,— а в те времена оно было немаловажно для предметов, именуемых историей и *belles lettres*¹ вызывали у его благородных слушателей бурное одобрение: даже сам Агеласт редко претендовал на такие похвалы — точно так же, впрочем, как редко удостаивали ими кого бы то ни было граф Роберт Парижский и его супруга.

Некоторое время они шли по тропинке, которая то вела их по рощам, сбегавшим к самой Пропонтиде, то вдруг снова выводила на берег, с каждым поворотом открывая удивительные и неожиданные красоты. Новизна и разнообразие ландшафта сообщали этой прогулке особую прелесть. На морском берегу плясали нимфы, а пастухи в такт их движениям наигрывали на дудочках или били в бубны — такие группы мы находим у античных скульпторов. Даже лица встречных хранили необычайное сходство с лицами древних. Старики своими длинными одежаниями, осанкой, гордой посадкой головы напоминали пророков и святых, а весь облик молодых невольно приводил на память выразительные черты античных героев и несравненную красоту женщин, вдохновлявших их на подвиги.

Однако греки, сохранившие характерные для них черты в первозданной чистоте, даже на своей родине встречались не часто: наши путники видели на своем пути людей, лица которых говорили о происхождении совсем не греческом.

Тропинка привела к просторной песчаной площадке, окруженной со всех сторон скалами. Здесь расположилось довольно много язычников-скифов, чьи безобразные физиономии напоминали демонов, которым, если верить молве, они поклонялись: приплюснутые носы с такими вывер-

¹ Изящными искусстваами (Франц.).

нутыми ноздрями, что, казалось, заглянув туда, можно было увидеть мозги их обладателей; широкие скулы и странные, широко расставленные глаза, в которых не было ни проблеска мысли; приземистые, низкорослые фигуры; руки и ноги необыкновенной силы, слишком длинные для этих тел. В то время когда наши друзья поравнялись с ними, у этих дикарей происходило нечто вроде турнира — так по крайней мере называл это граф. Они занимались тем, что метали друг в друга специально изготовленные для этой цели стрелы или дротики, причем делали это с такой силой и яростью, что часто выбивали друг друга из седла и причиняли серьезные повреждения. Несколько скифов, не принимавших в эту минуту участия в состязаниях, уставились на прекрасную графиню столь жадными глазами, что она сказала графу Роберту:

— Супруг мой, я никогда не знала, что такое страх, не испытываю его и сейчас, но если отвращение — одна из его составных частей, то эти грубые животные вполне могут внушить его.

— Эй, рыцарь! — крикнул один из язычников. — Твоя жена или возлюбленная оскорбила скифов, состоящих на службе императора, и она понесет за это немалое наказание. Тебя мы не станем задерживать — убирайся, да побыстрее, с этой площадки, которая служит нам сейчас ипподромом, или майданом, — называй ее как хочешь по гречески или на своем сарацинском языке, но твоя жена, если только церковь соединила вас, поверь мне, уйдет отсюда не так легко и просто.

— Гнусный язычник! — воскликнул граф. — Да как ты смеешь так разговаривать с пэром Франции?

Тут вмешался Агеласт и на изысканном и звонком языке греческого придворного напомнил скифам — видимо, наемным воинам императора, — что всякое насилие над европейскими пилигримами каралось, по приказу его величества, смертной казнью.

— Мне лучше знать! — дерзко ответил дикарь, потрясая в воздухе дротиком с широким стальным наконечником и орлиными перьями, на которых еще не засохла кровь. — Спроси у оперения моего дротика, чье сердце окропило его своей кровью. Оно ответит тебе, что Алексей Комнин только тогда друг европейских пилигримов, когда стоит лицом к лицу с ними, а мы — примерные воины и служим императору так, как он того желает.

— Замолчи, Токсартис! — сказал философ. — Ты клеветешь на своего императора!

— Сам ты молчи! — воскликнул Токсартис. — Иначе

я совершу дело, неприличествующее воину, и освобожу мир от старого болтуна.

Говоря это, он протянул руку к покрывалу графини. С присущей ей ловкостью эта воинственная женщина увернулась от предводителя скифов и острым мечом нанесла ему такой мощный удар, что он замертво свалился на землю. Граф Роберт вскочил на его коня и своим боевым кличем: «Сын Карла Великого, на помощь!» — бросился в гущу языческих всадников; выдернув секиру, притороченную к седлу убитого Токсартиса, и ловко нанося ею беспощадные удары, он перебил, ранил или обратил в бегство всех своих противников, даже не пытавшихся привести в исполнение хвастливые угрозы.

— Презренные негодяи! — воскликнула графиня, обращаясь к Агеласту. — У меня душа горит при мысли, что хоть капля этой трусливой крови обагрила руки благородного рыцаря! Они смеют называть свое состязание турниром, а сами норовят нанести друг другу удар в спину, и никто из них не решается метнуть дротик в противника, если тот целится в него!

— Таков их обычай, — заметил Агеласт, — и дело тут, пожалуй, не столько в трусости, сколько в привычке, ибо, проделывая свои упражнения перед императором, они всегда стоят к нему лицом. Я сам видел, как Токсартис буквально повернулся спиной к цели, на полном скаку натянул лук и с очень большого расстояния всадил длинную стрелу в самый центр мишени.

— Мне думается, — сказал граф Роберт, подъехав к ним, — что такие воины не могут дать настоящий отпор, если встретят противника, обладающего хоть малой долей подлинного мужества.

— А теперь направим наш путь ко мне, — предложил Агеласт. — Может случиться, что эти беглецы встретят приятелей, которые начнут подбивать их отомстить вам.

— По-моему, — сказал граф Роберт, — у этих наглых язычников не должно было бы быть приятелей ни в одной стране, называющей себя христианской. Если я не сложу головы, отвоевывая гроб господень, то первым делом потребую, чтобы ваш император ответил мне, по какому праву он держит на своей службе шайку поганых язычников, занимающихся разбоем на большой дороге, по которой, во имя бога и короля, должны спокойно и в полной безопасности шествовать благородные дамы и мирные пилигримы. Это только один из многих вопросов, какие я, выполнив свой обет, не забуду задать ему. И я потребую у него ответа, как говорится, прямого и точного.

«Ну, от меня тебе такого ответа не дожидаться,— подумал Агеласт.— Слишком прямые и требовательны твои вопросы, господин рыцарь, чтобы на них стал отвечать тот, кто может избежать этого».

Философ с привычной ловкостью переменял тему разговора; беседуя, они вскоре дошли до места, нетронутая красота которого вызвала восхищение чужеземных спутников Агеласта. Довольно глубокий ручей, вытекающий из роши, с шумом впадал в море; словно пренебрегая другим, более спокойным руслом, лежавшим чуть правее, ручей бросался в море напрямик, низвергаясь с высокого голого обрыва, нависшего над морским берегом, и посылая свои немногочисленные струи в воды Геллеспонта с таким грохотом, словно был мощным потоком.

Сам обрыв, как мы уже сказали, был совершенно голый, не считая одеяния из пенистых брызг, но по обеим его сторонам росли платаны, орешник, кипарисы и другие могучие деревья Востока. Водопад всегда приятен в жарком климате; обычно его устраивают искусственно, но здесь он был создан рукой природы, и люди воздвигли над ним храм, подобно тому как они воздвигли храм Сивиллы в Тиволи для поклонения богине, которой суеверие язычников приписывало власть над всей округой. Храм был невелик, круглой формы, как множество других маленьких храмов в честь сельских божеств, и со всех сторон обнесен стеной. Он подвергся в свое время осквернению, а в дальнейшем был, по всей видимости, превращен Агеластом или каким-нибудь иным философом-эпикурейцем в роскошный летний дом. Светлое, воздушное, как бы нереальное здание смутно виднелось сквозь зелень деревьев на вершине утеса, да и дорожка к нему не сразу бросалась в глаза за водяной пылью водопада. Скрытая буйной растительностью, она полого шла вверх, а затем, по оригинальному замыслу архитектора, завершалась широкими и тоже пологими мраморными ступенями, которые вели к прелестной, заросшей бархатистой травой полянке перед входом в башенку, или храм, уже описанный нами и нависавший задней стеной над водопадом.

ГЛАВА XII

Сошлись две стороны: грек-златоуст,
Коварный, хитроумный, острожный,
И прямодушный, мужественный франк,
Следящий за весами и готовый
На них свой меч двуручный положить,
Как только перевесит чаша грека

«Палестина»

Агеласт подал знак, и дверь этого романтического убежища открыл известный уже читателям невольник-негр Диоген, чья внешность и цвет кожи поразили графа и его супругу, ибо вероятно, он был первым африканцем, которого они увидели так близко. Хитрый философ заметил это и не упустил возможности произвести на гостей впечатление, выказав перед ними свою ученость.

— Это жалкое создание, — сказал он, — принадлежит к потомкам Хама, непочтительного сына Ноя; он оскорбил своего отца и был изгнан в пески Африки, где, волею провидения, стал родоначальником расы, осужденной быть в рабстве у потомков его более почтительных братьев.

Рыцарь и его супруга смотрели во все глаза на эту диковинную фигуру, разумеется и не подумав усомниться в точности сведений, сообщенных им Агеластом, ибо эти сведения вполне соответствовали их предрассудкам. Старик, проявивший такую ученость, еще больше вырос в их мнении.

— Человеку утонченных нравов, — продолжал Агеласт, — достигшему преклонных лет или недужному приятно пользоваться чужими услугами, хотя в других случаях это вряд ли справедливо. Избирая себе помощников из числа людей, умеющих только рубить лес и подносить воду и с рождения обреченных на рабство, мы не только не причиняем им обиды, обращая их в невольников; но, напротив того, в какой-то мере способствуем намерениям всевышнего, создавшего всех нас.

— И многочисленно это племя, которое ведет столь жалкое существование? — спросила графиня. — До сих пор я считала, что рассказы о черных людях — такие же пустые выдумки, как истории менестрелей о феях и привидениях.

— Ты ошибалась, — ответил философ. — Это племя не менее многочисленно, чем песчинки на морском берегу, и вовсе не все они так уж несчастны, подчиняясь своей

судьбе. Те из них, у кого дурной нрав, наказаны за это при жизни, ибо становятся рабами жестоких, безжалостных людей, которые бьют их, морят голодом и калечат. Те, у кого нрав получше, попадают к лучшим хозяевам, делящим со своими невольниками, как с детьми, пищу, одежду и все остальное, чем они пользуются. Некоторым небо дарует благосклонность владык и завоевателей, и только немногих избранных счастливых оно поселяет в жилище философии, где, приобщившись к знаниям своих хозяев, они обретают надежду проникнуть в тот мир, где обитает подлинное счастье.

— Мне кажется, я поняла тебя,— сказала графиня,— и если так, то я должна скорее завидовать нашему чернокожему другу, чем жалеть его: ведь по воле судьбы ему достался такой хозяин, который, без сомнения, преподавал ему эти науки.

— Он, во всяком случае, знает многое из того, чему я могу научить,— скромно ответил Агеласт,— а учу я главным образом умению быть довольным своей участью. Диоген, сын мой,— обратился он к рабу,— ты видишь, у меня гости. Poiщи, нет ли в кладовой бедного отшельника чего-нибудь, чем он мог бы угостить своих дорогих друзей.

До сих пор они находились во внешнем покое — своего рода прихожей, убранной довольно скромно, как если бы хозяин хотел без особых затрат, но со вкусом приспособить древнее строение для уединенного частного жилья. Кресла и диваны, покрытые восточными циновками, были самой простой формы. Но когда хозяин нажал пружину, открылся внутренний покой, отделанный уже с претензией на пышность и великолепие.

Обивка мебели и драпировки в этом покое были из соломенно-желтого персидского шелка, затканного узорами, что производило впечатление роскоши и в то же время простоты. Потолок украшала затейливая резьба, а по углам в нишах стояли четыре статуи, изваянные в эпоху, более благоприятную для искусства, нежели та, о которой мы рассказываем. В одной из ниш укрылась статуя пастуха, который словно стыдился своего полуобнаженного тела и в то же время жаждал усладить собравшихся напевом свирели. В остальных нишах притаились три статуи, прекрасными пропорциями своих тел и легкостью одеяний напоминавшие граций; застыв в разных позах, они точно ожидали первых звуков музыки, чтобы сойтись в веселом танце. Статуи были прекрасны, но все же несколько легкомысленны для уединенного жилища такого мудреца, каким изображал себя Агеласт.

Он, видимо, понял, что это противоречие может привлечь к себе внимание, и поэтому сказал:

— Эти статуи изваяны в эпоху наивысшего расцвета греческого искусства; они изображают нимф, которые собрались для поклонения богине этих мест и лишь ожидают музыки, чтобы, закружившись в хороводе, прославить ее. Даже мудрейший из мудрых не может остаться равнодушным перед этими созданиями гения, который так приблизил бездушный мрамор к живой природе. Кажется, достаточно одного божественного дуновения, одного вздоха, чтобы повторилось чудо, содеянное Прометеем. Так, по крайней мере, должно казаться невежественному язычнику. Но мы,— добавил он, возводя очи к небу,— достаточно образованны и отличаем сделанное руками человека от сотворенного всевышним.

На стенах были нарисованы животные и растения, и философ обратил внимание своих гостей на изображение слона, об уме которого он тут же рассказал несколько занятных историй, вызвавших живой интерес у слушателей.

В это время послышалась приглушенная мелодия, словно где-то в лесу играла музыка; она пробивалась сквозь рокот водопада, который шумел прямо под окнами, наполняя зал глухим ревом.

— Видимо,— сказал Агеласт,— друзья, которых я ожидаю, приближаются и несут с собой возможность усладить другие наши чувства. Это хорошо, ибо мудрость учит, что, наслаждаясь дарами, которыми оделило нас божество, мы тем самым приносим ему нашу самую благоговейную молитву.

Эти слова заставили франкских гостей философа обратить внимание на стол, накрытый в этом изящном покое. Ложа вокруг стола говорили о том, что мужчины по образцу древних римлян примут участие в пиршестве полулежа, а сиденья, расставленные между ними, указывали, что ожидалось и женщины, которые, по греческому обычаю, будут есть сидя. Яств на столе было не очень много, но по своей изысканности они могли соперничать и с роскошными блюдами, которыми некогда славились легендарные пиры Тримальхиона, и с утонченными произведениями греческой кухни, и с излюбленными на Востоке пряными кушаньями. Агеласт не без тщеславия пригласил своих гостей разделить с ним скромную трапезу бедного пустытника.

— Мы равнодушны к лакомствам,— сказал граф,— а наша нынешняя жизнь пилигримов, связанных священным обетом, еще менее располагает к чревоугодию. Что едят простые воины, то годится и для нас с графиней, ибо

мы дали клятву в любой час быть готовыми к бою, и чем меньше дорогих минут уйдет у нас на приготовление к нему, тем лучше. Однако раз этот добрый человек просит, сядь, Бренгильда, и не будем тратить слишком много времени на еду, поскольку мы можем употребить его на что-нибудь другое.

— Умоляю о прощении,— сказал Агеласт,— но повремените немного, пока не подойдут мои друзья, которые, как вы можете судить по музыке, уже совсем близко и, если и отсрочат вашу трапезу, то ненадолго.

— Ради нас торопиться не нужно,— сказал граф,— и, поскольку ты считаешь это вопросом приличия, Бренгильда и я — мы вполне можем подождать с едой, но я бы предпочел, чтобы ты разрешил нам теперь же съесть по куску хлеба и запить его чашкой воды, дабы, подкрепившись таким образом, мы уступили место твоим более занимательным и близким тебе гостям.

— Да спасут меня от этого святые угодники! — воскликнул Агеласт.— Никогда еще более высокочтимые гости не сажались и не сядут за мой стол, даже если бы само святейшее семейство императора Алексея вошло сейчас в эти ворота.

Не успел он договорить, как раздался мощный зов трубы, куда более громкий, чем звучавшая до сих пор музыка. Эти трубные звуки гремели у самого входа в храм, заглушая рокот водопада, и проникали в дом, как дамасская сталь в броню, как меч в тело, облаченное в доспехи.

— Ты удивлен? Или встревожен? — спросил граф Роберт.— Может быть, близка опасность и ты не доверяешь нашей защите?

— Нет,— ответил Агеласт,— на вашу помощь я положился бы при любой опасности, но это звуки вызывают во мне не страх, а благоговейный трепет. Они говорят о том, что меня собирается посетить кто-то из членов императорской семьи. Вам, мои благородные друзья, бояться нечего, ибо те, чей взгляд дарует жизнь, готовы щедро излить свою милость на столь достойных чужестранцев, каких они увидят здесь. Однако, чтобы приветствовать их подобающим образом, я должен коснуться лбом своего порога.

С этими словами он поспешил к выходу.

— В каждой стране свои обычаи,— сказал граф, следуя за философом и держа под руку супругу,— и они, столь различны, Бренгильда, что неудивительно, если другим они кажутся недостойными. Однако из уважения к нашему хозяину на этот раз я склоню свой шлем так, как того требует здешний обычай.

И он последовал за Агеластом в прихожую, где их ожидало новое для них зрелище.

ГЛАВА XIII

Агеласт оказался на пороге своего дома раньше графа Роберта Парижского и его супруги, и у него хватило времени на то, чтобы пасть ниц перед огромным животным, неведомым в те времена западному миру, а теперь известным всем под названием слона. На спине у него был паланкин, где восседали августейшие особы — императрица Ирина и ее дочь Анна. Их сопровождал Никифор Вриенний во главе блестящего отряда всадников, чье великолепное вооружение понравилось бы крестоносцу больше, если бы оно не отличалось столь утонченной и бесполезной роскошью. Но, невзирая на это, всадники производили ошеломляющее впечатление. Никифор взошел на площадку перед храмом; за ним последовали только командиры охранной стражи. Пока царственные дамы слезали со слона, воины лежали, распростершись ниц, но вскочили на ноги в облаке развевающихся плюмажей, сверкая саблями, как только супруга и дочь императора благополучно поднялись на площадку. В этом окружении несколько постаревшая, но величественная императрица и все еще молодая и прекрасная писательница весьма выигрывали. На скале перед строем копьеносцев, чьи султаны колыхались на ветру, стоял трубач со священной трубой, поражавший своим огромным ростом и богатым одеянием. Он подал сигнал отрядам внизу, означавший, что они должны остановиться, ожидая повелений императрицы и супруги кесаря.

Красота графини Бренгильды и ее удивительный, наполовину мужской наряд сразу же привлекли внимание дам из семейства Алексея, но вид ее был слишком необычен, чтобы вызвать их восхищение. Агеласт почувствовал, что необходимо сразу же представить гостей друг другу, иначе могут возникнуть недоразумения.

— Дозволено ли мне будет говорить, не расставаясь с жизнью? — начал он. — Эти вооруженные чужестранцы, которых вы видите у меня, — достойные участники той бесчисленной армии, которую привело сюда с западных окраин Европы благочестивое желание облегчить участь страждущим жителям Палестины, а также насладиться лицезрением Алексея Комнина, получить его поддержку и, в свою очередь, помочь ему, если он того пожелает, то есть изгнать мусульман из пределов Священной империи, а потом охранять эти области в качестве вассалов его величества.

— Мы довольны, достойный Агеласт, — сказала импе-

ратрица, — что ты добр к тем, кто так почтителен к императору. И мы тем более расположены побеседовать с ними, что наша дочь, получившая от Аполлона редкий дар описывать то, что она узрела, познакомиться, таким образом, с одной из женщин-воительниц Запада, о которых мы много наслышаны, но ничего не знаем с достоверностью.

— Государыня, — сказал граф, — придется мне без церемоний объяснить тебе, в чем ошибся этот старец, когда он объяснял цель нашего прибытия сюда. Прежде всего мы не были вассалами Алексея и не собирались стать ими, когда дали обет, который привел нас в Азию. Мы пришли сюда потому, что святая земля была отторгнута у греческого императора мусульманами — сарацинами, турками и другими неверными, — и хотим отвоевать ее у них. Самые мудрые и предусмотрительные из нас сочли необходимым признать верховную власть императора, так как только клятва на верность ему откроет нам единственный безопасный путь в страну, где мы должны выполнить наш обет, а кроме того, она предотвратит ссору между христианскими государствами. И хотя мы независимы от любого земного владыки, все же мы не собираемся вознести себя над нашими вождями и поэтому согласились принести вместе с ними присягу императору.

Императрица несколько раз покрывалась краской негодования во время этой речи, которая противоречила принятому при греческом дворе этикету, была исполнена высоким чувством собственного достоинства и всем своим тоном подчеркивала пренебрежение к власти императора. Но она получила наказ от своего царственного супруга не только не давать, но и всячески избегать повода, могущего привести к ссоре с крестоносцами, которые хотя формально и принесли ленную присягу, тем не менее были столь щекотливы в вопросах чести и исполнены готовности в любую минуту начать враждебные действия, что спорные вопросы следовало обсуждать с ними возможно осторожнее. Поэтому она милостиво кивнула головой, словно ничего не поняла из того, что так резко изложил граф Парижский.

К этому моменту главные участники описанной сцены уже вызвали друг у друга немалый интерес и желание познакомиться поближе, хотя все они явно не знали, как это желание выразить.

Агеласт — если начать с хозяина дома — уже поднялся с земли, но не осмеливался выпрямиться; он стоял, низко склонившись перед царственными дамами, и при-

крывал лицо рукой, словно человек, защищающий глаза от лучей солнца, молча ожидая, чтобы те, кому он почитал за неуважение предлагать что-либо, сами отдали ему приказ, и в то же время всем видом выражая, что и он и все его рабы находятся в их полном и неограниченном распоряжении. Что касается графини Парижской и ее заносчивого супруга, то они возбудили живейшее любопытство в Ирине и в ее утонченной дочери; обе царственные дамы думали о том, что никогда еще они не видели столь совершенных образцов человеческой силы и красоты, однако, повинувшись инстинкту, заложенному природой, отдавали предпочтение воинственному графу: его супруга казалась им слишком высокомерной и мужеподобной и поэтому недостаточно привлекательной.

Граф Роберт и его жена тоже были очень заинтересованы неким существом среди вновь прибывших. Говоря по правде, это был впервые увиденный ими в качестве выючного животного огромный, удивительный зверь, на котором приехали прекрасная Ирина и ее дочь. Ни величавая осанка и благородство императрицы, ни изящество и живость Анны не произвели на Бренгильду никакого впечатления, так она была поглощена расспросами о том, откуда происходит слон и для чего ему служат хобот, бивни и такие огромные уши.

Был среди присутствовавших человек, который хотя и не столь откровенно, но тем не менее очень внимательно рассматривал Бренгильду. Это был кесарь Никифор. Если он и отрывал глаза от франкской графини, то лишь для того, чтобы не привлечь внимания и не возбудить подозрений своей супруги и ее матери. Он-то и постарался возобновить разговор, так как затянувшееся молчание становилось уже тягостным.

— Вероятно, прекрасная графиня,— сказал он,— это твое первое посещение Царицы мира, и ты до сих пор никогда не видела поразительное животное, именуемое слоном?

— Прости меня,— ответила графиня,— но наш ученый хозяин уже показывал мне изображение этого чудесного существа и кое-что рассказал о нем.

Все, услышавшие эти слова, решили, что Бренгильда язвительно намекает на самого философа, которого при императорском дворе обычно называли Слоном.

— Никто не может описать его точнее, чем Агеласт,— сказала принцесса с тонкой улыбкой, которая тут же отразилась на лицах ее приближенных.

— Да, мне известно, как он послушен, понятлив и предан,— смиренно заметил философ.

— Правильно, добрый Агеласт,— сказала принцесса,— мы не должны плохо говорить о животном, которое преклоняет колени, чтобы мы могли взобраться на его спину. Прошу вас, дама из дальней страны, и ты, ее доблестный супруг,— обратилась она к франкскому графу и особенно к графине.— Когда вы вернетесь на свою родину, вы сможете рассказать, что видели, как вкушают пищу члены императорской семьи, признающие тем самым, что, подобно остальным смертным, они слеплены из простой глины, испытывают низменные желания и удовлетворяют их низменным способом.

— В этом, благородная дама, я не сомневаюсь,— сказал граф Роберт.— Мое любопытство было бы куда более удовлетворено, если бы я увидел, как ест это странное животное.

— Тебе будет гораздо проще посмотреть, как ест Слон в своем собственном доме,— ответила принцесса, глянув в сторону Агеласта.

— Госпожа,— обратилась к ней Бренгильда,— мне бы не хотелось отказываться от приглашения, сделанного столь любезно, но мы и не заметили, что солнце уже почти село; нам пора возвращаться в город.

— Пусть вас это не страшит,— сказала принцесса,— вам будет предоставлена возможность возвращаться под охраной нашей императорской гвардии, которая защитит вас на обратном пути.

— Страх? Охрана? Защита? Я не знаю таких слов. Да будет тебе известно, благородная дама, что мой муж, вельможный граф Парижский — лучшая охрана для меня, и даже не будь его со мной, все равно Бренгильда Аспрамонтская никого не боится и сумеет сама защитить себя.

— Прекрасная дочь моя,— вмешался Агеласт,— да будет позволено мне сказать, что ты неправильно поняла милостивые слова царевны, которая обратилась к тебе, как обратилась бы к знатной даме своей родной страны. Царевна хочет узнать у тебя о наиболее примечательных обычаях и привычках франков, прекрасной представительницей которых ты являешься. А она, в благодарность за твой рассказ, с радостью предоставит тебе возможность познакомиться с огромной коллекцией животных, привезенных по приказу нашего императора Алексея со всех уголков обитаемого мира, дабы удовлетворить любознательность ученых, которым известны все земные твари, начиная от лани, столь маленькой, что даже обыкновенная

крыса больше ее, и кончая огромным и необыкновенным обитателем Африки, способным обгладывать верхушки деревьев высотой в сорок футов, хотя задние ноги не составляют и половины его неслыханного роста.

— Этого достаточно! — с некоторым нетерпением воскликнула графиня, но Агеласта уже невозможно было остановить.

— Кроме того, — продолжал он, — там есть огромная ящерица из Египта, видом своим напоминающая безвредных обитателей болот в других странах; в этом чудовище тридцать футов длины, оно одето в непробиваемую чешую и, поймав жертву, плачет, подражая человеческому голосу, чтобы подманить новую добычу.

— Не рассказывай ничего больше, отец! — снова воскликнула графиня. — Мой Роберт, мы ведь пойдем туда, посмотрим на этих удивительных животных?

— Есть там еще, — продолжал Агеласт, увидев, что ему удастся добиться своей цели, раззадорив любопытство чужестранцев, — громадное животное, у которого спина покрыта неуязвимой броней, а на носу растет рог, а то и два; складки его шкуры настолько толсты, что ни одному рыцарю еще не удавалось ранить его.

— Мы пойдем туда, Роберт, правда пойдем? — повторила графиня.

— Да, — ответил граф, — пойдем, чтобы эти жители Востока по одному-единственному удару моего верного Траншфера научились правильно судить о рыцарском мече.

— И кто знает, — добавила Бренгильда, — раз уж мы находимся в стране чудес, быть может, этот добрый меч неожиданно освободит от чар какого-нибудь человека, томящегося в чуждом ему обличье.

— Не говори больше ничего, отец! — воскликнул граф. — Мы последуем за этой принцессой, даже если вся ее стража, не вняв приказу охранять нас, попытается преградить нам путь. Ибо знайте все, кто слушает меня сейчас, что такова натура франков: если им рассказывают об опасностях и трудностях, в них пробуждается желание пойти именно по той дороге, где таятся эти опасности, подобно тому как другие люди, ищущие удовольствия или выгоды, скорее всего свернут на тропинку, где смогут найти предмет своих вожделений.

Говоря это, граф похлопывал рукой по Траншферу, словно показывая, как в случае надобности он будет прокладывать себе путь. Придворные были даже слегка испуганы лязгом стали и сверкающим взглядом доблестного

графа Роберта. Императрица, чтобы скрыть тревогу, предпочла войти в дом.

С благоволением, которое редко кому даровалось, кроме самых близких к императорской семье лиц, Анна Комнин подала руку высокородному графу.

— Я вижу, — сказала она, — что наша августейшая мать уже оказала честь дому почтенного Агеласта и показала нам дорогу, поэтому на мою долю выпало преподать вам наши греческие обычаи.

И она повела графа во внутренние покои.

— Не беспокойся за твою жену, — сказала она, заметив, что франк оглядывается. — Графиню поведет к столу наш супруг, который, как и мы, с удовольствием оказывает внимание чужестранцам. У нас не принято, чтобы императорская семья вкушала за одним столом с иноземцами, но, благодарение небу, оно научило нас той учтивости, которая не видит унижения в отказе от принятых правил ради того, чтобы оказать честь столь достойным людям, как вы. Я знаю, моя мать, несомненно, пожелает, чтобы вы без всяких церемоний заняли место за столом рядом с нами, и уверена, что, хотя подобная милость даруется очень редко, ее одобрил бы и мой венценосный отец.

— Пусть будет так, как вам угодно, — сказал граф Роберт. — На свете мало людей, которым я уступил бы место за столом, если только они не одержали победу надо мной в битве. Однако даме, и такой прекрасной, я охотно уступаю место и преклоняю перед ней колени, где бы мне ни выпало счастье встретить ее.

Царевна Анна отнюдь не чувствовала себя смущенной тем, что ей приходится играть необычную и, с ее точки зрения, даже унижительную роль — вести к столу варварского вождя; напротив, она была польщена, что ей удалось одержать верх над столь непреклонным сердцем, как сердце графа Роберта, и, видимо, испытывала чувство удовлетворенной гордости, оказавшись на какое-то время под его покровительством.

Императрица Ирина уже села во главе стола. Не без удивления услышала она, что ее дочь и зять, заняв места справа и слева от нее, предложили графу и графине Парижским сесть рядом с ними; но она получила строжайшее распоряжение от своего супруга быть во всех случаях любезной с крестоносцами, поэтому решила не настаивать на соблюдении правил этикета.

Графиня заняла предложенное ей место рядом с кесарем, а граф, отказавшись возлечь по греческому обычаю, уселся по-европейски рядом с царевной.

— Я только тогда возлягу, — смеясь, сказал он, — когда меня собьют увесистым ударом, да и то постараюсь встать и ответить на него.

Началась трапеза; надо сознаться, что большинство присутствовавших отнеслось к ней как к занятию чрезвычайной важности. Зал, где происходило пиршество, заполнили придворные слуги, которые украшали стол, подавали блюда, убирали их, пробовали и, казалось, соперничали друг с другом, требуя у Агеласта различных пряностей, приправ, вина разных сортов; их заказы были так разнообразны и многочисленны, как будто они *ex proposito*¹ задались целью вывести философа из терпения. Однако Агеласт ухитрился предусмотреть большую часть этих — порою самых неожиданных просьб и полностью или, во всяком случае, почти полностью удовлетворил их с помощью расторопного раба Диогена, на которого он в то же время сваливал вину, если в доме все же чего-нибудь не оказывалось.

— Пусть эта трапеза скромна и недостойна, но, да будет моими свидетелями Гомер, несравненный Вергилий и бесподобный Гораций, я отдал приказ этому трижды несчастному рабу приготовить все необходимые приправы, которые придают каждому блюду нужный вкус. Ах ты мерзкая падаль, да как же ты умудрился поставить маринованные огурчики так далеко от кабаньей головы? И почему так мало укропа вокруг этих превосходных морских угрей? А за то, что ты разлучил устрицы с хиосским вином, да еще когда у меня такие высокие гости, ты заслуживаешь того, чтобы твое тело разлучили с душой или по крайней мере заставили тебя до конца твоих дней работать на *pistrinum*².

Пока философ извергал, таким образом, угрозы, проклятия и брань по адресу своего раба, чужеземцам представлялась полная возможность сравнить этот поток домашнего красноречия, который нравы того времени отнюдь не считали признаком дурного воспитания, с гораздо более широким и шумным потоком лести, изливавшимся на гостей. Они смешивались, подобно маслу и уксусу, которыми Диоген, приправляя соуса. Таким образом, граф и графиня имели случай оценить счастливую участь, уготованную тем рабам, которых всемогущий Юпитер в своем безграничном сочувствии к их положению и в награду за добропорядочность отдал в прислужники к философам.

¹ Намеренно (лат.).

² Мукомольне (лат.).

Участие франкской четы в пиршестве было столь недолгим, что это удивило не только хозяина, но и его высокопоставленных гостей. Граф, не глядя, взял что-то с блюда, оказавшегося рядом с ним, запил глотком вина, не поинтересовавшись даже, тот ли сорт, которым, по мнению греков, следовало запивать именно это кушанье, и объявил, что он сыт; даже любезные просьбы его соседки, Анны Комнин, не принудили его отведать другие яства ради их изысканности или хотя бы из любопытства. Его супруга ела еще более умеренно и самые простые кушанья из тех, что стояли поблизости от нее, а затем выпила кубок чистой воды, слегка подкрашенной вином, да и то по настоянию кесаря. После этого супруги уже не принимали больше никакого участия в трапезе и, откинувшись в своих креслах, только наблюдали, какую дань отдают угощению остальные гости.

Любой съезд современных гурманов вряд ли мог бы сравниться с семьей императора Греции на этом пиру у философа как по части теоретического знания гастрономической науки во всех ее тонкостях, так и в смысле практического усердия и терпения, с которыми они отдавались этому делу. Правда, дамы ели не много, зато отведывали почти каждое кушанье, а их было неисчислимое множество. Однако вскоре, как говорил Гомер, неистовая жажда и голод были утолены, или, что вероятнее, Анне Комнин надоело то невнимание, с каким относился к ней ее сосед по столу, ибо мало найдется женщин, которых не затронуло бы пренебрежение мужчины, сочетающего в себе воинственность с редкой красотой. Нет такой новой одежды, которая не напоминала бы старую, утверждал наш отец Чосер; вот и попытки Анны Комнин завязать разговор с франкским графом напоминали усилия современной светской дамы втянуть в беседу щеголя, который с отсутствующим видом сидит возле нее.

— Для тебя играла музыка,— укоряла его царица,— но ты не пожелал танцевать! Мы пели для тебя веселый хор «Эвоя, эвоя», но ты не почтил ни Кома, ни Вакха! Должны ли мы считать тебя поклонником муз и Феба, к чьим слугам мы дерзаем причислить и себя?

— Прекрасная госпожа,— ответил граф,— пусть не обидят тебя мои прямые и решительные слова: я христианин, поэтому плюю на Аполлона, Вакха, Кома и все прочие языческие божества и бросаю им вызов.

— О, как ужасно ты истолковал мои неосторожные слова! — воскликнула царица. — Я всего-навсего назвала богов музыки, поэзии и красноречия, почитаемых нашими

замечательными философами, богов, чьи имена до сих пор употребляются для обозначения искусств и наук, которым они покровительствуют, а граф понял это буквально и решил, что я нарушаю вторую заповедь! Да спасет меня мать божья, надо быть осторожной в словах, когда их так неверно истолковывают.

Граф рассмеялся.

— Я не хотел нанести тебе обиду, госпожа,— сказал он,— и, уж во всяком случае, не собирался истолковывать твои слова иначе, как в самом невинном и похвальном смысле. Я полагаю, все, что ты говорила, было и хорошо и справедливо. Как я уразумел, ты одна из тех, кто, подобно нашему достойному хозяину, описывает происшествия и ратные дела этого воинственного времени и тем самым осведомляет грядущие поколения о храбрых подвигах, совершенных ныне. Я уважаю дело, которому ты посвятила себя, и не знаю, каким более достойным путем может женщина оставить о себе память в веках; разве что она, подобно моей жене Бренгильде, пожелает сама стать участницей тех событий, о которых рассказывает в своих писаниях. Между прочим, она смотрит на своего соседа по столу так, словно собирается встать и уйти; она склонна вернуться в Константинополь, а я, с твоего разрешения, не могу позволить ей удалиться одной.

— Вам обоим не следует этого делать,— сказала Анна Комнин,— ибо мы все сейчас отправимся в столицу, чтобы вы могли увидеть там чудеса природы, собранные в таком количестве благодаря щедрости моего венценосного отца... Если тебе кажется, что мой супруг чем-нибудь обидел графиню, то не думай, что это было преднамеренно; напротив, когда вы поближе познакомитесь с ним, вы обнаружите, что он добрый человек, один из тех прямодушных людей, которые бывают так неловки в своих любезностях, что те, к кому эти любезности обращены, часто понимают их превратно.

Однако графиня Парижская не пожелала вновь сесть за стол, и Агеласт вместе со своими царственными гостями оказались перед необходимостью решать, позволить ли чужестранцам удалиться — а этого хозяину явно не хотелось, задержать ли их силой, что, по всей вероятности, было бы нелегко и небезопасно, или, наконец, махнуть рукой на этикет и уехать всем вместе, стараясь при этом не уронить достоинства и делая вид, что они сами, а не их упрямые гости первыми пожелали покинуть дом философа. Среди сопровождающей охраны поднялась суматоха, воины и командиры спорили, шумели и кричали, ибо их оторвали от

еды по крайней мере на два часа раньше, чем они рассчитывали, а такого случая не помнили даже самые пожилые из них. По взаимному согласию изменен был и порядок царского шествия.

Никифор Вриенний занял место на спине слона рядом со своей августейшей тещей. Агеласт верхом на смирной лошадке, позволявшей ему продолжать в свое удовольствие философские разглагольствования, ехал бок о бок с графиней Бренгильдой, обращая поток своего красноречия главным образом на нее. Прекрасная писательница, обычно путешествовавшая в паланкине, на этот раз предпочла ехать верхом на горячем коне, ибо это давало ей возможность держаться рядом с графом Робертом Парижским, на воображение, если не на чувства которого она, по видимому, рассчитывала произвести неизгладимое впечатление. Разговор императрицы с ее зятем не содержал ничего примечательного. Он сводился к множеству критических замечаний по поводу манер и поведения франков и к горячим пожеланиям как можно скорее выдворить их за пределы Греции, с тем чтобы они никогда больше не возвращались. Во всяком случае, таковы были речи императрицы, а кесарь считал неуместным проявлять более терпимое отношение к чужеземцам. Что касается Агеласта, то он начал весьма издалека, прежде чем подобрался к занимавшей его теме. Сперва он заговорил об императорском зверинце, где так великолепно представлен весь животный мир, потом стал превозносить тех придворных, которые поддерживали интерес Алексея Комнина к этому полезному и поучительному занятию. Но под конец Агеласт восхвалял уже одного только Никифора Вриенния, которому, по словам философа, константинопольский зверинец обязан главными своими сокровищами.

— Я рада этому,— ответила высокомерная графиня, не подумав понизить голос или хоть чуточку изменить свою обычную манеру говорить.— Я рада, что он способен не только зашептывать глупости на ухо чужеземным молодым женщинам, но и делать полезные вещи. Поверь, если он будет давать волю своему языку с моими соплеменницами, которых наше беспокойное время может сюда забросить, то какая-нибудь из них обязательно сбросит его в водопад, шумящий внизу.

— Прости меня, прекрасная госпожа,— ответил Агеласт,— но нет такой женщины, которая решилась бы совершить столь жестокий поступок по отношению к такому красавцу, как кесарь Никифор Вриенний.

— Не будем спорить об этом, отец,— сказала оскорб-

ленная графиня, — ибо, клянусь моей святой покровительницей, Владычицей сломанных копий, если бы не мое уважение к тем двум дамам, которые проявили добрые чувства к моему мужу и ко мне, этот самый Никифор наверняка оказался бы первым из цезарей со времен великого Юлия, который получил бы титул владыки сломанных костей.

После столь решительного заявления философ, несколько обеспокоившись за собственную свою особу, поторопился с обычной для него ловкостью переменить тему разговора и стал рассказывать историю Геро и Леандра, чтобы только заставить безжалостную амазонку забыть о нанесенной ей обиде.

Между тем графом Робертом Парижским полностью, так сказать, завладела прекрасная Анна Комнин. Она болтала на любые темы, на одни — с большим успехом, на другие — с меньшим, но на все — с одинаковой самоуверенностью; а наш добрый граф тем временем в глубине души искренне сожалел, что его спутница не спит беспробудным сном рядом с заколдованной царевной зюликийской. Она принялась без меры восхвалять норманнов, пока в конце концов граф, который устал слушать ее болтовню о том, в чем она мало что понимала, не прервал ее.

— Госпожа, — сказал он, — меня и моих соратников называют норманнами, но это неверно; норманны пришли сюда многочисленной и самостоятельной армией пилигримов под началом герцога Роберта, человека храброго, но с причудами, безрассудного и слабого. Я отнюдь не собираюсь умалять их славу. Во времена наших отцов они завоевали Англию, королевство гораздо более сильное, чем их собственное. Я вижу, что вы держите у себя на службе людей, родившихся в этой стране, и называете их варягами. Хотя они и потерпели, как я уже сказал, поражение от норманнов, тем не менее варяги — храбрый народ, и мы не сочли бы для себя бесчестьем встретиться с ними на поле боя. Мы же — доблестные франки, обитающие на восточных берегах Рейна и Заале и обращенные в христианскую веру прославленным Хлодвигом; мы столь многочисленны и храбры, что даже если вся Европа будет стоять в стороне, у нас хватит сил, чтобы отвоевать святую землю без чьей-либо помощи.

Поймать такую тщеславную особу, какой была царевна, на вопиющей ошибке — причем как раз тогда, когда она искренно верила, что располагает полными и точными знаниями, — значило нанести очень болезненный удар по ее самолюбию.

— Лживый раб, который, видно, болтал, сам не ведая что,— сказала Анна,— вселил в меня уверенность, что варяги — исконные враги норманнов. Вот он шагает рядом с Ахиллом Татием, начальником гвардии. Эй, вы, позволь его сюда! Вот того высокого воина с алебардой на плече.

Хирвард, шагавший, согласно своему положению, впереди отряда, подошел к царевне и отдал ей честь, но его лицо было сурово, так как в надменном всаднике, ехавшем бок о бок с Анной Комнин, он сразу распознал француза.

— Насколько я помню, любезный,— сказала Анна,— ты с месяц назад говорил мне, что норманны и франки — это один и тот же народ, враждебный племени, из которого ты производишь?

— Госпожа,— ответил Хирвард,— норманны — наши смертельные враги, изгнавшие нас из нашей родной страны. Франки — подданные того же государя, что и норманны, поэтому они не любят варягов, а варяги не любят их.

— Ты, приятель,— возразил французский граф,— худо говоришь о франках, а варягам приписываешь, хотя это и естественно с твоей стороны, слишком большое значение; напрасно ты полагаешь, что народ, который перестал существовать уже больше поколения назад, может вызывать у таких, как мы, симпатию или ненависть.

— Мне понятны,— сказал варяг,— и твоя гордость и твое чувство превосходства по отношению к тем, кто оказался менее удачлив в бою, чем вы. Господь бог волен повергать или возвышать, но мы почитали бы себя счастливыми, если бы сотня наших могла встретиться на поле боя либо с угнетателями-норманнами, либо с их нынешними соотечественниками, тщеславными французами, и пусть бы всевышний рассудил, кто заслуживает победы.

— Ты дерзко пользуешься случаем,— сказал граф Парижский,— который дает тебе непредвиденную возможность бросить вызов благородному рыцарю.

— В том-то моя беда и мой позор,— ответил варяг,— что возможность эта неполная, что на мне цепи, которые сковывают меня и воспрепятствуют сказать тебе: убей меня, или я убью тебя прежде, чем мы разойдемся в разные стороны!

— Ну и дурная у тебя голова! — воскликнул граф.— Да разве ты имеешь право на честь принять смерть от моего меча? Ты рехнулся или столько хватил своего эля, что теперь болтаешь языком и сам себя не понимаешь.

— Хотя у вас и считается, что лгать позорно, тем не менее ты лжешь,— сказал варяг.

С быстротой молнии француз схватился за меч, но тут же отдернул руку и с достоинством заметил:

— Такой, как ты, не может оскорбить меня.

— Но ты,— ответил изгнанник,— оскорбил меня так, что это оскорбление может быть заглажено только смертью.

— Где и когда? — спросил граф.— Впрочем, бессмысленно задавать тебе вопрос, на который ты не можешь разумно ответить.

— Сегодня,— ответил варяг,— ты нанес смертельную обиду великому государю, которого твой сюзерен называет своим союзником и который принял тебя по всем обычаям гостеприимства. Ты потешался над императором, как на пирушке один мужик потешался над другим, и сделал это перед лицом его сановников и вельмож, на глазах рыцарей, съехавшихся со всех королевских дворов Европы.

— Если твой государь счел мой поступок оскорбительным,— возразил француз,— пусть бы он сам и возмущался.

— Это не в обычаях его страны,— ответил Хирвард.— А кроме того, мы, варяги, присягнувшие императору на верность, считаем своим долгом защищать его, пока служим ему, защищать каждую крупицу его чести так же, как каждую пядь его владений. Поэтому я и говорю тебе, господин рыцарь, господин граф, или как ты там себя называешь, что между тобой и варяжской гвардией вражда не на жизнь, а на смерть, и она будет длиться до тех пор, пока ты не решишь ее в честном и справедливом бою, один на один с любым из императорских варягов, когда представится возможность и позволит нам наша служба. И да поможет бог правому!

Разговор этот происходил на французском языке, поэтому придворные, находившиеся поблизости, не поняли его; царица, с некоторым удивлением ожидавшая, когда же крестоносец и варяг кончат беседу, не без любопытства спросила графа:

— Ты, насколько я понимаю, считаешь, что этот бедняга занимает слишком низкое положение, чтобы тебе снизойти до рыцарского поединка с ним?

— На этот вопрос,— сказал рыцарь,— я не могу ответить даме, если только она, подобно моей Бренгильде, не закована в латы, не носит меча и не обладает сердцем рыцаря.

— А если предположить,— настаивала царица,— что я имею все права на твое доверие, как бы ты ответил мне?

— У меня нет особых причин отмалчиваться,— сказал

граф.— Варяг — воин храбрый и сильный, отвергнуть его вызов — значило бы нарушить мой обет, поэтому я, вероятно, приму его, хотя и унижу этим свой сан; но во всем мире ты не найдешь никого, кто осмелился бы сказать, что Роберт Парижский отказался сразиться со смертным. Через одного из храбрых начальников императорской гвардии этот бедняга, обуреваемый столь странным честолюбием, узнает, что его желание будет удовлетворено.

— И тогда? — спросила Анна Комнин.

— Что ж, — ответил граф, — тогда, как сказал варяг, пусть господь поможет правому.

— Значит, если в гвардии моего отца найдется военачальник, достаточно высокородный для этого благочестивого и разумного дела, император должен потерять или союзника, в чью преданность он верит, или самого доверенного и преданного воина из своей личной охраны, который отличился во многих делах?

— Я счастлив услышать, — сказал граф, — что этот варяг обладает такими достоинствами. Должна же на чем-то основываться его самонадеянность! Чем больше я думаю, тем больше склоняюсь к выводу, что не только не унижительно, но, напротив, великодушно даровать несчастному изгнаннику, человеку столь возвышенных и благородных помыслов, эту привилегию людей родовитых, среди которых, к несчастью, встречаются трусы, не желающие, несмотря на свое высокое положение, ею воспользоваться. Но ты не печалься, благородная принцесса, вызов еще не принят, а если и будет принят, то все в руках божьих. Что касается меня, человека, чье ремесло — война, то мысль о предстоящем и очень серьезном поединке с бесстрашным воином удержит меня от менее почетных стычек, в которые я могу ввязаться просто от безделья.

Царевна не стала больше говорить на эту тему, но про себя решила отдать тайное распоряжение Ахиллу Татию и, таким образом, предотвратить поединок, который мог оказаться роковым для одного из храбрецов.

Тем временем глазам путников открылась темная громада города; он был уже окутан мглой, пронизанной множеством огней, светящихся в домах жителей. Царский кортеж проследовал к Золотым воротам, где верный центурион выстроил всю стражу для торжественной встречи.

— Здесь мы покинем вас, прекрасные дамы, — сказал граф, когда все спешили у малых ворот Влахернского дворца, — и попытаемся найти помещение, где мы провели прошлую ночь.

— С вашего разрешения, нет, — возразила императри-

ца.— Вы должны отужинать и отдохнуть в покоях, более соответствующих вашему положению; вам поможет устроиться на ночь кто-нибудь из ваших сегодняшних спутников — членов императорской семьи.

Граф выслушал это гостеприимное предложение и сразу склонился к тому, чтобы принять его. Он был глубоко предан Бренгильде, и ему в голову не приходила мысль предпочесть кого-нибудь своей красавице жене, однако он, естественно, был польщен вниманием столь прелестной и знатной женщины, как Анна Комнин; не пропали зря и похвалы, которыми она его осыпала. Ему уже не хотелось, как утром, обидеть императора и оскорбить его достоинство; смягченный искусной лестью, которой философ научился из книг, а прекрасной царевне и учиться не надо было, ибо умение льстить было у нее в крови, граф Роберт принял приглашение императрицы, тем более что наступившая темнота помешала ему разглядеть тень неудовольствия на лице Бренгильды. Какова бы ни была причина этого недовольства, она постаралась скрыть его, и супруги вступили в лабиринт покоев, где недавно блуждал Хирвард. Не успели они сделать несколько шагов, как прислужник и прислужница, оба богато одетые, склонили перед ними колени и предложили свою помощь и помещение, где супруги могли бы привести себя в порядок, прежде чем предстать перед императором. Бренгильда посмотрела на свой наряд и оружие, забрызганное кровью дерзкого скифа, и хотя презирала женскую суетность, все же ей стало стыдно за то, что она так небрежно и неподобающе одета. Окровавленные доспехи графа тоже были в неподобающем виде.

— Скажи моей прислужнице Агате, что мне нужна ее помощь,— попросила графиня.— Она одна умеет снимать с меня доспехи и одевать меня.

«Слава богу,— подумала гречанка,— что не я должна заниматься этим туалетом, для которого самыми подходящими инструментами будут клещи и кузнечный молот».

— Скажи Марсиану, моему оруженосцу,— приказал граф,— чтобы он принес мне стальную с серебром кольчугу, которую я на пари выиграл у графа Тулузского¹.

— Могу ли я иметь честь привести в порядок твои доспехи? — обратился к нему богато одетый придворный

¹ Раймонд, граф Тулузский и Сен-Жиль, герцог Карбонский, маркиз Прованский, старый воин, отличившийся в боях с сарацинами в Испании, был главным вождем крестоносцев с юга Франции. Его титул Сен-Жиль искажен Анной Комнин и переделан ею в Санглес; под этим именем она постоянно упоминает его в «Алексиаде» (Прим. автора).

слуга, судя по некоторым признакам — оружейный мастер.— Я это делаю даже для самого императора, да святится его имя.

— А сколько заклепок поставил ты в своей жизни вот этими руками,— спросил граф, схватив его руку,— которые выглядят так словно их моют только молоком и розовой водой? И чем ты работаешь? Вот этой детской игрушкой? — Он указал на серебрянный молоток с рукояткой из слоновой кости, заткнутый за фартучек из молочно-белой козьей шкуры, который грек носил в качестве символа своего ремесла.

Оружейник в смятении отшатнулся.

— Он схватил мою руку — словно тисками сжал,— рассказывал он потом другому придворному слуге.

Пока происходила эта маленькая сцена, императрица Ирина, ее дочь и зять удалились под тем предлогом, что им необходимо переодеться. Сразу после их ухода Агеласт потребовали к императору, а чужестранцев проводили в два роскошно убранных смежных покоя, предоставленных им и сопровождающим их людям. Покинем их здесь на некоторое время, пока они с помощью своих приближенных надевают наряды, подобающие, по их представлениям, столь важному случаю; служители греческого двора охотно уклонились от участия в этом деле, которое казалось им не менее опасным, чем, скажем, кормление королевского тигра и его подруги в их логове.

Агеласт застал императора в тот момент, когда он тщательно выбирал роскошное одеяние для этого вечера, ибо, как и при пекинском дворе, смена парадного туалета была в Константинополе одним из важнейших обрядов.

— Ты хорошо все устроил, мудрый Агеласт,— сказал Алексей философу, когда тот приблизился к нему после многочисленных поклонов и коленопреклонений,— ты хорошо все устроил, и мы тобой довольны. Без твоей хитрости и ловкости нам не удалось бы отбить от стада этого неприрученного быка и эту не знающую ярма телку, с помощью которых, если мы подчиним их своей воле, нам, без всякого сомнения, удастся оказывать влияние на тех, кто считает их храбрейшими среди всего войска.

— Моего скромного ума,— ответил Агеласт,— не хватило бы на то, чтобы воплотить в жизнь столь тонкий и хорошо задуманный план, если бы он не был намечен и предложен несравненной мудростью твоего святейшего императорского величества.

— Мы знаем,— сказал Алексей,— что мысль задержать этих людей с их согласия в качестве союзников или

силой как заложников принадлежит нам. Их друзья заметят их отсутствие, только когда уже столкнутся с турками, а тогда они будут не в состоянии напасть на Священную империю, даже если дьявол внушит им подобное намерение. Таким образом, Агеласт, у нас будут заложники не менее важные и ценные, чем этот граф Вермандуа, которого страшный Готфрид Бульонский вырвал у нас, угрожая тут же начать войну.

— Да простится мне,— сказал Агеласт,— если я осмелюсь присовокупить еще одно соображение к тем, которые столь счастливо подкрепляют твоё высокое решение. Вполне возможно, что, соблюдая величайшую осторожность и деликатность по отношению к этим чужеземцам, мы действительно сможем привлечь их на нашу сторону.

— Понимаю твою мысль, понимаю,— сказал император,— и сегодня же вечером предстану перед этим графом и его дамой в парадном покое, одетый в самые богатые наряды, какие только есть в нашем гардеробе. Львы царя Соломона будут рычать, золотое дерево Комнина покажет свои чудеса, и слабые глаза франков будут ослеплены великолепием империи. Это зрелище не может не запасть им в душу; более того — оно должно превратить их в союзников и слуг страны, которая настолько могущественнее, цивилизованнее и богаче их собственной... Ты хочешь что-то сказать, Агеласт? Годы и многолетние занятия философией умудрили тебя, и хотя мы уже высказали наше мнение, ты можешь высказать своё, не боясь расстаться с жизнью.

Трижды три раза коснулся Агеласт лбом края императорского одеяния; было видно, что он волнуется, стараясь найти слова, которые выразили бы его несогласие с мнением государя, и в то же время не звучали бы прямым и нарушающим этикет противоречием этому мнению.

— Святые слова, в которых твоё святейшее величество изволил изложить столь справедливое и правильное мнение, неоспоримы и не могут быть опровергнуты, даже если бы нашелся самонадеянный безумец, попытавшийся не согласиться с ними. И тем не менее да позволено будет мне сказать, самые разумные доводы не убедят того, кто лишен здравого смысла. Расточать их — это все равно, что показывать слепому яркую картину или, как говорится в святом писании, метать бисер перед свиньями. Дело тут не в правильности твоих святейших, а в тупости и упрямстве варваров, к которым ты обращаешься.

— Говори яснее,— приказал император.— Сколько раз нам повторять тебе, что в тех случаях, когда твой совет

действительно нужен, мы умеем жертвовать церемониями?

— Ну что ж, говоря прямо,— ответил Агеласт,— эти европейские варвары нисколько не похожи на другие народы и тогда, когда им страстно чего-нибудь хочется, и когда они к чему-нибудь равнодушны. Если сокровища этой великой империи покажутся им привлекательными, они тотчас же пожелают напасть на обладающую такими богатствами державу, самонадеянно считая, что она менее способна защищаться, чем они — нападать. К таким людям относится, например, Боэмунд Тарентский, да и многие другие крестоносцы, менее проницательные и умные, чем он, ибо, я думаю, мне нет нужды говорить твоему императорскому величеству, что в этой необыкновенной войне все его поведение продиктовано только личными интересами, и поэтому, если ты будешь знать, куда именно влекут Боэмунда жадность и себялюбие, ты сможешь определить, как он будет себя вести. Но среди франков есть люди совсем иного склада, и влиять на них надо совершенно другими способами, если мы хотим управлять их поступками. Да будет мне позволено вспомнить сейчас искусного фокусника при твоём дворе, который на глазах у зрителей мошенничает и плутует, но проделывает это так ловко, что никто ничего не замечает. Эти люди — я говорю о крестоносцах с возвышенным образом мыслей, которые живут согласно так называемой рыцарской чести,— так вот, они презирают и погоню за золотом, да и самое золото тоже, считая его бесполезным, презренным металлом, годным только на то, чтобы украшать им рукояти мечей или обменивать его на какие-нибудь товары. Человека, который гонится за наживой, они осуждают, смотрят на него сверху вниз, приравнивают его к жалкому крепостному рабу, бредущему за плугом или копающему землю. А уж если им действительно понадобится золото, они без всяких церемоний возьмут его там, где найдут. Таким образом, их одинаково трудно укротить, и давая им золото и отказывая в том, в чем они сегодня нуждаются. В первом случае они не придадут никакой цены этой ничтожной желтой ржавчине, во втором — возьмут сами то, что им нужно.

— Желтая ржавчина! — прервал его Алексей.— Неужели они так оскорбительно называют этот благородный металл, в равной мере почитаемый римлянином и варваром, богачом и бедняком, вельможей и плебеем, священнослужителем и мирянином, металл, ради которого все человечество сражается, злоумышляет, интригует, устраивает заговоры, обрекает на проклятие душу и тело? Желтая

ржавчина? Они безумцы, Агеласт, просто безумцы! И если эти люди не подвержены страсти, движущей всем человечеством, значит, на них нужно действовать только такими аргументами, как опасности, тяжкие испытания, кары.

— Нет, государь,— сказал Агеласт,— они так же не подвержены страху, как и корысти. Они с детства воспитаны в презрении к страстям, владеющим обычными людьми, будь то алчность, толкающая к наживе, или страх, удерживающий на месте. Соблазнительные для всех других приманки только тогда привлекают этих людей, когда они приправлены острым соусом смертельной опасности. Я, например, рассказал этому герою предание о прекрасной, как ангел, царевне зюликийской, которая спит заколдованным сном, ожидая предназначенного ей судьбою рыцаря, который разрушит чары и в награду получит царевну, королевство зюликийское и все ее несметные богатства. Так поверишь ли ты мне, государь, я с трудом заставил нашего доблестного воина выслушать мою легенду, и заинтересовался он ею только тогда, когда я убедил его, что ему предстоит сразиться в замке с крылатым драконом, по сравнению с которым самый большой дракон из франкских рыцарских романов — просто стрекоза.

— И это подействовало на храбреца? — спросил император.

— Настолько,— ответил философ,— что если бы я, к несчастью, убедительностью своего рассказа не разбудил ревность у его графини Пентесилеи, он забыл бы о крестовом походе и обо всем, что с ним связано, ради того, чтобы отправиться на поиски острова Зюликия и его спящей правительницы.

— Но ведь у нас в империи сказочников без счета,— сказал император,— и мы должны воспользоваться этим преимуществом: они отнюдь не обладают присущим франкам благородным презрением к золоту — за горсть монет они обведут вокруг пальца самого дьявола и одержат над ним победу, а мы, таким образом, сможем, как говорят моряки, обойти франков с наветренной стороны.

— Здесь требуется,— сказал Агеласт,— величайшая осмотрительность. Простая ложь — это не такая уж хитрая штука, это всего лишь легкое отклонение от истины, почти то же самое, что потеря цели при стрельбе из лука, когда весь горизонт, за исключением одной точки, прекрасно виден стрелку; а вот для того, чтобы управлять поступками франка, нужно отлично знать его характер и нрав, необходимы огромная осторожность, присутствие духа, умение вовремя и искусно менять тему разговора. Не будь

я настороже, я поплатился бы за ложный шаг, служа твоему величеству,— эта сварливая дама обиделась на что-то и чуть было не утопила меня в моем собственном водопаде.

— Настоящая Фалестрис! — воскликнул император.— Придется быть с ней настороже.

— Если дозволено мне говорить, не расставаясь с жизнью,— сказал Агеласт,— кесарю Никифору Вриеннию тоже следует быть осторожнее.

— Это уж пусть Никифор решает вместе с нашей дочерью,— заметил император.— Я всегда говорил ей, что она просто закармливает его своим сочинением, а ей, чтобы развлечь его, следовало бы ограничиться двумя-тремя страницами. Тут мы судим по нашему собственному опыту: ведь даже святой вышел бы из терпенья, если бы его заставили слушать это из вечера в вечер! Но забудь, добрый Агеласт, мои слова, а главное, не вздумай вспомнить о них в присутствии нашей августейшей супруги и дочери.

— Вольности, которые позволил себе кесарь, не выходили за рамки невинного ухаживания,— сказал Агеласт,— но, как я уже говорил, графиня — опасная женщина. Сегодня она убила скифа Токсартиса эдаким легким щелчком по голове.

— Ого! — воскликнул император.— Я знал этого Токсартиса; он был наглый и бессовестный грабитель и, надо полагать, заслужил такую смерть. Ты, однако, запиши, как это произошло, имена свидетелей и все прочее, чтобы мы могли, если понадобится, изобразить крестоносцам этот случай как пример насилия со стороны графа и графини Парижских.

— Я уверен,— сказал Агеласт,— что ты, государь, не упустишь драгоценной возможности привлечь под свои знамена людей, которые прославились рыцарскими доблестями. Тебе это обойдется совсем недорого — достаточно даровать им какой-нибудь греческий остров, который стоит в сто раз больше, чем их жалкие парижские владения; а если при этом ты объяснишь, что сперва они должны изгнать с острова неверных или мятежников, временно его захвативших, им такое предложение еще больше понравится. Мне нет надобности повторять, что все знания, мудрость и ловкость ничтожного Агеласта в распоряжении твоего императорского величества.

Император помолчал и затем произнес, словно придя к какому-то решению:

— Достойный Агеласт, я действительно доверяю тебе

это трудное и даже опасное дело, но я все же собираюсь показать им львов Соломона и золотое дерево нашего императорского дворца.

— Против этого нечего возразить,— ответил философ,— только пусть будет поменьше стражи, ибо эти франки похожи на горячих коней: когда они спокойны, то слушаются и шелковой уздечки, но если им что-нибудь не нравится или кажется подозрительным — скажем, вокруг слишком много вооруженных людей — их не удержит и стальная узда.

— Я буду осторожен и в этом случае и во всех остальных,— сказал император.— А теперь позвони в серебряный колокольчик, пусть слуги оденут меня.

— Еще одно слово, пока мы здесь одни,— сказал Агеласт.— Не соблаговолит ли твое императорское величество поручить мне управление твоим зверинцем, этой коллекцией необычайных существ?

— Зачем, хотел бы я знать? — спросил император, доставая печать с изображением льва и надписью: «*Vicit Leo ex tribu Judae*»¹ — Вот, возьми, это даст тебе право распоряжаться зверинцем. А теперь будь хоть раз откровенен со своим повелителем — ибо ты лжешь, даже когда говоришь со мной,— поведай мне, какими чарами собираешься ты подчинить себе этих необузданных дикарей?

— Силой обмана,— с глубоким поклоном ответил Агеласт.

— Да, в этом деле ты знаток,— сказал император.— На каких же слабостях этих людей ты собираешься играть?

— На их любви к славе,— ответил философ и, пятясь, вышел из царского покоя в то время, как туда входили слуги, чтобы облачить императора в парадные одеяния.

¹ Победил Лев из колена Иуды (лат.).

ГЛАВА XIV

Уж лучше с меднолобыми глупцами,
С мальчишками мне говорить, чем с теми.
Кто осторожно на меня глядит.
Стал боязлив надменный Бэкингем.

«Ричард III»¹

Расставшись, император и философ отдались беспокойным мыслям по поводу только что закончившегося разговора. Мысли свои они выражали отрывочными фразами и восклицаниями, но мы изложим их более связно, чтобы читателю стала ясна степень взаимного уважения этих двух людей.

— Так, так, — бормотал Алексей чуть слышно, чтобы его не поняли одевавшие его слуги, — так, так, этот книжный червь, этот осколок старой, языческой философии, который вряд ли верит — да простит мне бог! — в истину христианства, столь искусно играет свою роль, что сам император принужден лицемерить в его присутствии. Начал он при дворе как шут, а потом проник во все дворцовые тайны, стал во главе всех интриг, составил вместе с моим зятем заговор против меня, совратил мою гвардию и сплел такую паутину предательств, что моя жизнь в безопасности только до тех пор, пока он верит, будто на императорском троне и вправду сидит такой болван, каким я прикидываюсь, чтобы обмануть его; счастье еще, что мне удастся этим способом усыпить его подозрения насчет моего недовольства им и тем самым отсрочить прямое насилие с его стороны. Но когда пронесется мимо этот неожиданно налетевший шквал крестового похода, неблагодарный кесарь, хвастливый трус Ахилл Татий и пригретая на моей груди змея Агеласт узнают, был ли Алексей Комнин игрушкой в их руках. Если грек сталкивается с греком, здесь уже дело идет не только о том, кто сильнее, но и о том, кто хитрее.

С этими словами император отдал себя в руки слуг, которые принялись облачать его соответственно торжественности события.

— Я ему не доверяю, — говорил себе Агеласт, чьи жесты и восклицания мы также передаем связным языком. — Я не могу ему доверять и не доверяю — он в чем-то переигрывает. До сих пор он во всех своих поступках проявлял ум, свойственный семье Комнинов, а теперь рассчитывает на

¹ Перевод А. Радловой.

эффект, который могут произвести его игрушечные львы на таких проницательных людей, как франки и норманны, и притворяется, что доверяет моему суждению о людях, с которыми он, а не я в течение стольких лет и воевал и поддерживал мирные отношения. Он это делает только для того, чтобы завоевать мое доверие, ибо при этом я подмечал косые взгляды и улавливал отрывистые восклицания, которые как бы говорили: «Агеласт, император тебя знает и не верит тебе». Однако заговор, насколько можно судить, развивается успешно и не раскрыт, и, если я попытаюсь отступить, я погибну. Еще некоторое время надо протянуть интригу с франком, а при первой возможности с помощью этого храбреца заставить Алексея сменить корону на монашескую келью или на еще более тесную обитель. И тогда, Агеласт, тогда пусть тебя вычеркнут из числа философов, если ты не сумеешь сбросить с трона этого самодовольного и расточительного кесаря и не станешь царствовать вместо него, подобно второму Марку Антонию, пока мудрость твоего правления, непривычная для империи, у кормила которого давно стоят тираны и сластолюбцы, не изгладит воспоминания о том, каким путем ты захватил власть. За работу, Агеласт, будь деятелен и осторожен. Время требует этого, и приз стоит того, чтобы за него бороться.

Размышляя таким образом, Агеласт с помощью Диогена облачился в чистую и простую одежду, в которой всегда появлялся при дворе, столь мало подобающую претенденту на престол и столь отличную от роскошного облачения Алексея.

Между тем граф Парижский и его супруга в отведенных для них покоях надевали лучшие наряды, какие они на всякий случай захватили с собой в это путешествие. Даже во Франции Роберта редко видели в шляпе, украшенной длинными перьями, и широком плаще с развевающимися полами — обычном одеянии рыцарей в промежуточных между войнами. Сейчас он был закован в великолепные доспехи, и только голова с волнистыми кудрями оставалась непокрытой. Латы были богато отделаны серебром, которое выгодно оттеняло отливавшую синим дамасскую сталь. На ногах были шпоры, сбоку меч, на груди висел треугольный щит с *fleurs-de-lys semées*¹ прародительницами тех лилий, которые, уменьшившись потом в число до трех, заставляли трепетать всю Европу, пока в наше время на них не обрушилось столько превратностей судьбы.

¹ Разбросанными по нему цветами лилий (франц.).

Огромный рост графа Роберта как нельзя лучше соответствовал его одеянию, которое людей невысоких превращало в карликов и толстяков. Лицо графа, суровое и замкнутое, выражавшее благородное презрение ко всему, что могло поразить и потрясти обычного человека, прекрасно гармонировало с его сильной, безукоризненно сложенной фигурой. Графиня была одета менее воинственно, однако ее платье, недлинное и удобное, было рассчитано на то, чтобы в случае необходимости не стеснять движений. Верхняя часть ее одеяния состояла из нескольких облегающих туник; юбка, достигавшая лодыжек, богато и со вкусом расшитая, довершала наряд, который мог бы украсить современную даму. Ее локоны покрывал легкий стальной шлем, однако отдельные пряди выбивались из-под него и окаймляли лицо, смягчая красоту, которая иначе могла бы показаться слишком строгой. Поверх платья был накинут великолепный темно-зеленый бархатный плащ с капюшоном, щедро отделанный кружевом по краям и швам и такой длинный, что волочился по полу. С пояса, изяшно затканного золотом, свешивался богато украшенный кинжал — единственное оружие, которое эта воинственная женщина на сей раз взяла с собой.

Графиня гораздо дольше занималась туалетом, как сказали бы мы сейчас, чем граф, который, подобно мужьям всех эпох, отпускал тем временем полусутопливые полуворчливые замечания по поводу медлительности женщин, попусту тратящих на одевание драгоценные часы. Но когда графиня Бренгильда появилась из внутреннего покоя, где она наряжалась, во всем блеске своего очарования, супруг, по-прежнему влюбленный в нее, прижал ее к груди, и, пользуясь своими привилегиями, поцеловал красавицу жену. Бренгильда попрекнула его за легкомыслие, однако вернула ему поцелуй, после чего начала раздумывать, как они найдут дорогу в тот покой, где их ждал император.

Но ей недолго пришлось ломать себе голову над этим вопросом: раздался легкий стук в дверь, и на пороге появился Агеласт, которому император поручил провести церемонию представления благородных чужеземцев, ибо считалось, что он лучше других знает обычаи франков. Далекий звук, напоминавший рыканье льва или глухой удар современного гонга, возвестил о начале церемонии. Черные рабы, составлявшие немногочисленную, как уже упоминалось, стражу, стояли, одетые в парадные белые с золотом одежды, держа в одной руке обнаженные сабли,

а в другой факелы из белого воска, освещавшие дорогу графу и графине по переходам, которые вели в тайный приемный зал.

Дверь в эту «*sanctum sanctorum*»¹ была ниже обычной — хитрость, изобретенная каким-то приверженным правилам царедворцем для того, чтобы заставить франка с его высоким шлемом наклониться, являясь перед очи императора. Когда она распахнулась и в глубине зала Роберт увидел императора, сидящего на троне и озаренного светом, который преломлялся в драгоценных камнях на его одеянии, сверкавших миллионами искр, он резко остановился и потребовал, чтобы ему объяснили, почему он должен проходить под столь низкими сводами. Агеласт только сделал жест в сторону императора, отводя тем самым вопрос, на который он не мог ответить, а немой слуга, словно прося прощения за свое молчание, открыл рот и показал, что у него нет языка.

— Святая дева! — воскликнула графиня. — Что же совершили эти несчастные сыны Африки, чтобы заслужить наказание, повлекшее за собой столь страшную судьбу?

— Сейчас, надо полагать, они будут отомщены, — произнес граф раздраженным тоном, в то время как Агеласт с поспешностью, приличествующей времени и месту, прошел в дверь с поклонами и коленопреклонениями, не сомневаясь, что франк последует за ним и, таким образом, должен будет склониться перед императором. Однако граф, сильно рассерженный, ибо он догадывался, что эта история с дверью отнюдь не случайна, круто повернулся и вошел в зал спиной; лицом к императору он оборотился, лишь дойдя до середины зала, где к нему присоединилась графиня, вошедшая более пристойным образом. Алексей, приготовившийся самым любезным образом ответить на предполагаемое приветствие графа, оказался в еще более неудобном положении, чем днем, когда непреклонный франк уселся на императорский трон.

Вокруг стояли военачальники и вельможи, и, хотя здесь были только самые избранные, все же их собралось больше, чем обычно, ибо это был не совет, а прием. Все они изобразили на лицах смешанное чувство неудовольствия и смущения, которое должно было наилучшим образом соответствовать смятению Алексея. Хитрое же лицо полуитальянца-полунорманна Боэмунда Тарентского выражало неслыханное ликование и насмешку.

Несчастье тех, кто слаб или, быть может, робок, заклю-

¹ Святая святых (лат.).

чается в том, что в подобных случаях они вынуждены бывают изо всех сил жмуриться, словно не в состоянии глядеть на то, за что не могут отомстить. Алексей подал знак немедленно начать церемонию большого приема. В ту же секунду львы Соломона, которые были перед этим подновлены, подняли головы, стали трясти гривами и махать хвостами. И тут граф Роберт вышел из себя. Он с самого начала был рассержен обстановкой приема, а теперь счел рычание этих хитрых машин сигналом к нападению. Он не знал, да и не хотел знать, были ли эти львы, на которых он сейчас смотрел, действительно царями лесов, или людьми, превращенными в животных, механизмами, сделанными искусным фокусником, или чучелами — детищами премудрого натуралиста. У него была только одна мысль: эта опасность достойна его храбрости. Ни минуты не колеблясь, он подскочил к ближайшему льву, который словно приготовился к прыжку, и громовой его окрик прозвучал не менее грозно, чем рыкание зверя:

— Берегись, собака!

В ту же секунду он ударил кулаком в стальной перчатке по голове зверя с такой силой, что она разлетелась вдребезги, а на ступеньки трона и ковер посыпались колесики, пружины и другие части механизма, приводившие в действие это игрушечное страшилище.

Глядя на то, что вызвало в нем такую ярость, граф Роберт не мог не устыдиться своей вспышки. Еще более смутился он, когда Боэмунд, стоявший возле императора, подошел к нему и сказал на языке франков:

— Граф Роберт, ты совершил поистине храброе деяние, освободив византийский двор от чудовища, которым издавна пугали непослушных детей и непокорных варваров!

Ничего нет убийственнее для любого иступленного порыва, чем насмешка.

— Зачем же тогда,— сказал граф Роберт, густо покраснев,— они показали мне эти свои пугала? Я не ребенок и не варвар.

— В таком случае обратись как положено разумному человеку к императору,— сказал Боэмунд.— Скажи ему что-нибудь в извинение своего поступка, пусть он увидит, что наше самообладание еще не окончательно улетучилось вместе со здравым смыслом. И послушай меня, пока я могу что-то сказать тебе: и ты и твоя супруга должны точно следовать моему примеру за ужином!

Эти слова, сказанные многозначительным тоном, сопровождались взглядом не менее многозначительным.

Боэмунд столько лет общался с греческим императором в мирное и в военное время, что мнение его пользовалось большим весом среди других крестоносцев; последовал его совету и граф Роберт. Он повернулся к императору и даже отвесил ему нечто вроде поклона.

— Прощу простить меня,— сказал он,— за то, что я сломал твою позолоченную игрушку; но поистине эта страна так изобилует всякими чудесами магии и устрашающими изделиями искусных фокусников, что трудно отличить правду от лжи и обыденное от сверхъестественного.

Император, несмотря на хладнокровие, всегда отличавшее его, и мужество, в котором не могли ему отказать его соотечественники, принял эти извинения несколько растерянно. Печальную вежливость, с которой он выслушал извинения графа, правильное всего было бы сравнить с вежливостью современной дамы, когда неловкий гость разбивает дорогую чашку из китайского фарфора. Он пробормотал что-то насчет этих механизмов, издавна хранившихся в императорской семье и сделанных по образцу львов, некогда стоявших на страже трона мудрого царя израильского. На это граф со свойственной ему грубоватой простотой сказал, что вряд ли мудрейший из правителей мира снизошел бы до того, чтобы пугать своих подданных или гостей поддельным рычанием деревянных львов.

— Впрочем,— добавил он,— я уже достаточно наказан за то, что слишком поспешно принял это пугало за живое существо, ибо повредил отличную стальную перчатку о его деревянный череп.

После недолгого разговора, главным образом на ту же тему, император предложил перейти в пиршественный зал. Предводительствуемые мажордомом, франкские гости в сопровождении всех, кто присутствовал на приеме, за исключением императора и членов его семьи, проследовали через лабиринт покоев, каждый из которых был заполнен чудесами природы и искусства — для того, видимо, чтобы окончательно убедить чужеземцев в богатстве и величии императора, собравшего столько удивительных вещей. Процессия двигалась с умышленной медлительностью, чтобы дать время Алексею переменить облачение, ибо этикет не разрешал ему появляться дважды перед зрителем в одних и тех же одеждах. Он воспользовался этим и вызвал к себе Агеласта, а для того, чтобы беседа их осталась тайной, приказал переодевать себя немymi рабам.

Алексей Комнин сильно гневался, хотя монарший сан приучил его скрывать свои чувства от подданных и делать вид, что он выше тех человеческих страстей, которые

в действительности были ему присущи. Поэтому он торжественно и даже недовольно спросил:

— По чьей недопустимой оплошности этот коварный полуитальянец-полунорманн Боэмунд был допущен на прием? Поистине, если есть в армии крестоносцев человек, способный открыть глаза молодому глупцу и его жене на то, что скрывается за пышной внешностью, которая, как мы надеялись, должна была произвести на них впечатление, то именно граф Тарентский, как он себя величает.

— Если мне дозволено говорить, не расставаясь с жизнью,— сказал Агеласт,— на его присутствии особенно настаивал старый Михаил Кантакузин. Но граф Боэмунд сегодня же ночью возвращается в свой лагерь.

— Вот именно,— возразил Алексей,— возвращается, чтобы сообщить Готфриду и остальным крестоносцам, что один из самых храбрых и почитаемых рыцарей вместе со своей женой задержаны в качестве заложников в нашей императорской столице. После этого они могут поставить нас перед угрозой немедленной войны, если мы не освободим этих людей.

— Если ты так считаешь, государь,— сказал Агеласт,— ты можешь отпустить графа Роберта и его жену: пусть вернутся в лагерь вместе с италонорманном.

— Вот как? — воскликнул император.— И отказаться от всех выгод этой затеи, подготовка к которой потребовала от нас стольких затрат и, будь наше сердце подобно сердцу прочих смертных, стоила бы бесчестных тревог и волнений? Нет, нет, надо немедленно сообщить крестоносцам, которые еще находятся на этом берегу, что принятие присяги отменяется и что завтра на рассвете они должны собраться на берегу Босфора. Пусть флотоводец, если ему дорога жизнь, к полудню переправит всех крестоносцев до единого на тот берег. И пусть устроит там роскошное угощение, пусть ничего не жалеет, чтобы им не терпелось перебраться туда. И тогда, Агеласт, мы, надо надеяться, справимся с этой новой опасностью, либо подкупив продажного Боэмунда; либо бросив вызов крестоносцам. Их силы разделены, и большая их часть вместе с предводителями находится на восточном берегу Босфора. А теперь пора на пир! Ибо переодевание наше завершено подобающим образом, согласно закону, установленному нашими предками и гласящему, что наше явление подданным должно быть подобно явлению иконы, несомой священниками.

— И клянусь жизнью,— сказал Агеласт,— установлено это не из прихоти, а для того, чтобы император, подчи-

няясь правилам, переходящим от отца к сыну, всегда выглядел как существо сверхъестественное: скорее образ святого, нежели обычный человек.

— Мы это знаем, добрый наш Агеласт,— с улыбкой ответил император.— Известно нам также, что для многих наших подданных, напоминающих поклонников Ваала в священном писании, мы до такой степени уподобились иконе, что они присваивают себе налоги, собираемые в провинциях империи от нашего имени и для нашего пользования. Но не будем больше говорить об этом, сейчас неподходящее время.

На этом тайное совещание окончилось, и Алексей ушел — правда, только после того, как приказ о переправе крестоносцев был должным образом составлен и подписан священными чернилами императорской канцелярии.

Тем временем гости императора были введены в зал, убранный, подобно всем дворцовым покоем, с большим вкусом и пышностью; исключение составлял лишь стол, за которым должно было происходить пиршество, ибо великолепные блюда из драгоценных металлов с изысканными яствами не стояли на нем, а передвигались вдоль него на специальных подставках, которые можно было опускать и поднимать, чтобы одинаково удобно было и сидящим дамам и возлежащим мужчинам.

Вокруг стола застыли богато одетые чернокожие рабы. Главный мажордом Михаил Қантакузин золотым жезлом указал чужеземным гостям их места и знаками предупредил, что до особого сигнала садиться нельзя.

Верхний конец пиршественного стола уходил под арку, с которой спускался муслиновый, расшитый серебром занавес. Мажордом не спускал с него глаз и, как только занавес слегка заколыхался, поднял жезл; все замерли в ожидании.

Таинственный занавес словно сам собой поднялся, открыв трон, стоявший на восемь ступенек выше стола и украшенный с неслыханной роскошью; на этом троне за маленьким столиком из слоновой кости, отделанной серебром, сидел Алексей Комнин в облачении, совершенно отличном от его дневных одежд и до того великолепном, до того затмевавшем все прежние, что становилось понятным, почему его подданные падали ниц перед столь ослепительным зрелищем. Его супруга, дочь и зять, склонив головы, стояли позади него; с величайшим смирением по знаку императора они спустились со ступенек и присоединились к остальным гостям, а затем, несмотря на свое высокое положение, сели со всеми за пиршественный стол, как им

указал мажордом. Таким образом, никто не мог сказать, что он разделяет трапезу с императором или сидит с ним за одним столом, хотя все ели в его присутствии и он время от времени приглашал их угощаться и веселиться. Блюда с нижнего стола на верхний стол не подавали, однако, вина и наиболее изысканные кушанья, появлявшиеся перед императором словно по волшебству и предназначенные, видимо, лично для него, то и дело по его приказанию подносили тому или иному гостю, которого Алексей хотел почтить своим вниманием; особенно выделял он франков.

Поведение Боэмунда во время пиршества было очень примечательно.

Граф Роберт, следивший за ним после недавних его слов и нескольких многозначительных взглядов, брошенных уже во время пира, заметил, что этот хитроумный вельможа не притронулся ни к вину, ни к яствам, даже если их приносили ему с императорского стола. Кусочек хлеба, наугад взятый из корзинки, и стакан чистой воды — вот все, чем он подкрепился. В качестве извинения он сослался на рождественский пост, который начинался как раз в ту ночь, а этот пост одинаково блюла и греческая и римская церковь.

— Я не ожидал от тебя, сиятельный Боэмунд, — сказал император, — что ты отвергнешь мое гостеприимство и не разделишь трапезу за моим столом именно тогда, когда ты дал мне ленную присягу в качестве вассального князя Антиохии.

— Антиохия еще не завоевана, — ответил Боэмунд, — а заветы церкви, мой государь и повелитель, следует чтить превыше всего, в какие бы временные соглашения мы ни вступали.

— Ну, а ты, благородный граф? — сказал император, явно догадываясь, что воздержанность Боэмунда вызвана не столько благочестивыми соображениями, сколько подозрительностью. — Это не в нашем обычае, тем не менее мы приглашаем наших детей, наших высокородных гостей и присутствующих здесь сановников выпить всем вместе. Пусть наполнят кубки, именуемые девятью музами! Пусть в них до краев заиграет вино, о котором говорят, что оно предназначено только для священных императорских уст!

По приказу императора кубки были наполнены; они были сделаны из чистого золота, и на каждом красовалось великолепно исполненное изображение одной из муз.

— Уж ты-то, во всяком случае, мой благородный граф Роберт, и ты, прекрасная дама, — сказал император, —

надеюсь, вы без колебания присоединитесь к здравице в честь вашего хозяина?

— Если будет сочтено, что мой отказ вызван недоверием к яствам, которыми нас здесь угощают, то должен заявить, что я такое недоверие считаю ниже своего достоинства,— сказал граф Роберт.— Ну, а если я совершаю грех, пробуя сегодня вино, то он нестрашен и не слишком увеличит бремя других моих грехов, которое я понесу на следующую исповедь.

— Неужели ты и теперь не последуешь примеру твоего друга, сиятельный Боэмунд? — спросил император.

— Пожалуй,— ответил итало-норманн,— мой друг поступил бы осмотрительнее, последовав моему примеру, но пусть он делает так, как подсказывает ему его разум. С меня достаточно одного аромата этого изысканного вина.

С этими словами он перелил вино в другой бокал и принялся с видимым восхищением рассматривать резьбу на кубке и вдыхать аромат, оставшийся после драгоценного напитка.

— Ты прав, сиятельный Боэмунд,— сказал император,— резьба на этом кубке великолепна, она сделана одним из древних греческих граверов. Прославленный кубок Нестора, память о котором сохранил для нас Гомер, был, вероятно, куда вместительней, но вряд ли он мог бы сравниться с этими по ценности материала и по необычайной красоте обработки. Пусть каждый из моих гостей-чужеземцев примет на память обо мне кубок, из которого он пил или мог бы пить, и пусть поход против неверных будет столь благоприятным, сколь того заслуживают смелость и отвага крестоносцев!

— Я принимаю твой дар, могущественный император,— сказал Боэмунд,— только для того, чтобы загладить кажущуюся неучтивость моего отказа выпить во здравие твоего величества, на которую меня толкнуло благочестие, и для того, чтобы показать, что мы расстаемся добрыми друзьями.

При этом он низко поклонился императору, который ответил ему улыбкой, в которой была немалая доля сарказма.

— А я,— сказал граф Парижский,— взяв на свою совесть грех и приняв тост твоего императорского величества, прошу разрешить мне не брать на себя другой вины и не лишать твой стол этих редчайших кубков. Мы осушим их за твое здоровье, ибо иначе воспользоваться ими мы не можем.

— Владетельный Боэмунд может,— сказал император.— Они будут отправлены ему после того, как вы великодушно осушите их. А для тебя и твоей прекрасной графини у нас есть другой прибор, количество кубков в котором равно числу граций, а не муз Парнаса. Но я слышу, что зазвонил колокол; он напоминает нам о том, что время отойти ко сну, дабы набраться сил для завтрашних трудов.

Гости разошлись. Боэмунд тут же покинул дворец, не забыв захватить с собой кубки с музами, хотя он и не был поклонником этих богинь. Коварный грек добился своего: ему удалось если не поссорить Боэмунда с графом Робертом, то, во всяком случае, вызвать некоторое их недовольство друг другом: Боэмунд понимал, что граф считает его поведение низким и скарредным, а граф был теперь еще менее склонен следовать его советам.

ГЛАВА XV

Граф Парижский и его супруга остались на эту ночь в императорском Влахернском дворце. Им отвели смежные покои, но общаться друг с другом они не могли, так как дверь между их спальнями была на ночь заперта на ключ и закрыта на засов. Их несколько удивила такая предосторожность. Однако им объяснили это странное обстоятельство необходимостью уважать рождественский пост. Само собой разумеется, ни у графа, ни у его супруги не было и тени опасения, что с ними может что-нибудь случиться. Их слуги Марсиан и Агата помогли своим хозяевам раздеться и ушли, чтобы отыскать и себе место для отдыха в специально отведенных помещениях.

Минувший день был полон интересных событий, волнений и суматохи; помимо того, предназначенное для императорских уст священное вино — правда граф Роберт отхлебнул только один глоток, но зато отнюдь не маленький — оказалось, быть может, более крепким, чем привычный для него нежный и ароматный сок гасконских лоз. Во всяком случае, ему показалось, когда он проснулся, что, судя по времени, которое он проспал, в комнате уже должно быть совсем светло, а между тем в ней царил непроглядный мрак. Несколько удивленный, он внимательно осмотрелся, но не смог различить ничего, кроме двух красных точек, сверкавших в темноте, подобно глазам дикого зверя, свирепо взирающего на свою добычу. Граф вскочил с ложа, чтобы схватиться за оружие — необходимая предосторожность на тот случай, если окажется, что это действительно дикий зверь, вырвавшийся на свободу. Но не успел он подняться, как раздался глухой рык, какого граф прежде никогда не слышал, словно исходивший из тысячи чудовищных глоток одновременно, и, как аккомпанемент к нему, слышался лязг железных цепей: страшный зверь прыгнул к кровати, однако цепь не дала ему допрыгнуть. Раскаты рева становились все громче, все оглушительней, они разносились, должно быть, по всему дворцу. Зверь был сейчас на много ярдов ближе, чем в ту минуту, когда граф впервые увидел его сверкающие глаза, но насколько ближе и какое расстояние разделяло их, рыцарь не мог определить. Граф Роберт слышал — более того, казалось, даже ощущал на своем лице дыхание зверя; ему чудилось, что его незащищенное тело находится не более чем в двух-трех ярдах от скрежещущих клыков, от когтей, вырывавших куски дерева из дубового пола. Граф Парижский был не только одним из храбрейших

людей того времени, когда храбрость была достоинством каждого, у кого в жилах текла хотя бы капля благородной крови, но и потомком Карла Великого. И все-таки он был смертный человек и поэтому нельзя сказать, что без трепета встретил столь неожиданную и необычную опасность. Но он не потерял самообладания, не впал в панику — нет, он просто сознавал, что над ним нависла страшная угроза, и напряг все силы, чтобы спасти жизнь, если к тому будет малейшая возможность. Он отодвинулся как можно дальше на своем ложе, уже переставшем быть ложем отдыха, и, таким образом, оказался на несколько футов дальше от горящих глаз, которые смотрели на него так пристально, что, несмотря на редкую отвагу, он уже видел в своем взбудораженном воображении ужасную картину того, как тело его рвут, кромсают, терзают окровавленные челюсти хищного зверя. Вдруг в голове у него мелькнула утешительная мысль: быть может, все это — опыт, проверка, устроенная философом Агеластом или его владыкой императором для того, чтобы испытать доблесть, которой так хвастались крестоносцы, и наказать за бессмысленное оскорбление, нанесенное накануне Алексею.

«Как это справедливо сказано: «Не трогай льва в его логове», — подумал он с тоской. — Быть может, в эту минуту какой-нибудь подлый раб раздумывает, достаточно ли я уже намучился и не пора ли ему отпустить цепь, сдерживающую зверя. Но пусть приходит смерть: никто никогда не сможет сказать, что граф Роберт встретил ее мольбой о пощаде или воплями боли и ужаса».

Он повернулся лицом к стене и стал мужественно ожидать смерти, которая, казалось ему, должна вот-вот наступить.

Все его мысли до сих пор вращались, естественно, вокруг него самого. Слишком близка и чудовищна была опасность, чтобы он мог думать о чем-либо другом, остальные соображения оказались отодвинутыми мыслью о надвигающейся гибели. Но стоило ему взять себя в руки, как им овладел страх за графиню. Что происходит с ней сейчас? Если такому страшному испытанию подвергли его, то что угрожает ей, женщине, существу более слабому телом и духом? По-прежнему ли она в нескольких ярдах от него, как вчера вечером, когда они ложились спать, или же варвары, придумавшие для него столь жестокое пробуждение, воспользовались их доверчивостью и подвергли ее такой же злодейской пытке или обошлись с ней еще более вероломно? Спит она или бодрствует, и как она может спать, когда совсем рядом раздается этот ужасный рев,

сотрясающий все вокруг? Он решил окликнуть ее, предупредить, если это возможно, об опасности, чтобы она ответила, не входя в помещение, где находился его страшный гость.

Дрожащим голосом, словно боясь, что чудовище услышит, он позвал жену:

— Бренгильда! Бренгильда! Нам угрожает опасность! Проснись и ответь мне, но не вставай!

Ответа не было.

— Что со мной случилось? — пробормотал граф.— Я зову Бренгильду Аспрамонтскую, как младенец зовет заснувшую няньку, и все это только потому, что в одной комнате со мной находится дикая кошка! Стыдись, граф Парижский! Ты заслуживаешь того, чтобы у тебя отняли оружие и шпоры! Эй! — громко крикнул он, хотя голос его по-прежнему дрожал.— Бренгильда, мы в осаде, нас окружают враги! Ответь мне, но не двигайся с места.

Хриплое рычанье его чудовищного стража было ему единственным ответом. Этот рев, казалось, говорил: «Оставь надежду», и тогда истинное отчаяние охватило рыцаря.

— Быть может, я все еще недостаточно громко кричу, чтобы она узнала о моем несчастье. Эй! Бренгильда, любимая моя!

И тут до него донесся глухой и скорбный голос, словно исходящий из могилы:

— Кто этот несчастный, который надеется, что живые ответят ему в обители мертвых?

— Я христианин и благородный рыцарь из Французского королевства, — ответил граф.— Еще вчера под моим началом было пять сотен храбрейших среди французов, а значит, и среди всех смертных, а теперь я здесь, в крошечной тьме, и не могу даже разглядеть тот угол, где лежит дикий тигр, готовый прыгнуть и растерзать меня.

— Ты можешь служить примером, — прозвучал ответ.— И далеко не последним, превратностей судьбы. Я, страдающий здесь уже третий год, я тот самый могущественный Урсел, который соперничал с Алексеем Комнином за обладание короной Греции и был предан своими союзниками. Лишенный зрения — высшей радости человека, — я живу в склепе, вблизи от диких животных, населяющих эти подвалы, и слышу их ликующий рев, когда они утоляют свой яростный голод несчастными жертвами, подобными тебе.

— А не слышал ли ты, — спросил граф, — как вчера сюда ввели гостей — рыцаря и его супругу, — под звуки му-

зыки, напоминавшей свадебный марш? О Бренгильда! Неужели и ты, такая молодая и прекрасная, предательски обречена на столь чудовищную смерть?

— Не думай,— ответил тот, кто назвал себя Урселом,— что греки балуют диких зверей столь благородной добычей. Для врагов — а врагами они называют не только подлинных своих неприятелей, но и всех, кого боятся или ненавидят,— у них есть темницы, двери которых никогда уже не откроются; раскаленные прутья, которыми они выжигают глаза; львы и тигры, когда им хочется быстро покончить со своими пленниками,— но все это только для мужчин. А для женщин, если они молоды и прекрасны, правители этой страны находят место в своих спальнях и в постелях. Их не заставляют, как в стане Агамемнона, носить воду из аргивского колодца, их любят и им поклоняются те, в чьи руки они попали волею судьбы.

— Такая судьба никогда не постигнет Бренгильду! — воскликнул граф Роберт.— Ее муж еще жив, чтобы помочь ей, а если он умрет, она сумеет последовать за ним, не запятнав памяти обоих.

Узник промолчал: наступила короткая пауза, потом он спросил:

— Чужеземец, что это за шум?

— Я ничего не слышу,— ответил граф Роберт.

— А я слышу,— сказал Урсел.— Меня жестокосердно лишили зрения, зато другие мои чувства обострились.

— Пусть тебя не тревожит этот шум, мой товарищ по несчастью,— ответил граф.— Молчи и жди, что произойдет.

Неожиданно в темнице вспыхнул тусклый, дымный, красноватый свет. Дело в том, что рыцарь вспомнил о кремне и труте, которые он обычно носил с собой; стараясь как можно меньше шуметь, он зажег факел и быстро поднес его к тонкому муслиновому занавесу у кровати, мгновенно вспыхнувшему. В ту же минуту рыцарь вскочил с ложа. Тигр,— а зверь оказался тигром,— испугавшись пламени, отпрянул назад, насколько ему позволяла цепь, забыв обо всем, кроме этого огня, наводившего на него ужас. В ту же секунду граф Роберт схватил тяжелую дубовую скамью — другого наступательного оружия у него не было — и, целясь в сверкающие, еще недавно казавшиеся столь жуткими глаза, в которых сейчас отражалось пламя, метнул ее в них с такой нечеловеческой силой, с какой мечет камни бездушная машина. Он так точно и своевременно прицелился, что снаряд попал прямо в зверя. Череп тигра — вероятно, было бы преувеличением

сказать, что этот зверь был крупнейшим представителем своей породы,— раскололся от удара, и с помощью кинжала, на счастье оставшегося с ним, французский граф прикончил чудовище, удовлетворенно глядя, как оно скалит пасть и в смертельной агонии вращает глазами, только что внушавшими трепет.

Оглядевшись вокруг при свете разожженного им огня, граф убедился, что находится совсем не в том помещении, в котором отошел ко сну накануне; трудно было представить себе более разительный контраст между обстановкой вчерашней его спальни и этим полуобгоревшим муслиновым занавесом над кроватью, массивными голыми стенами, похожими на тюремные, и деревянной скамьей, которая сослужила ему полезную службу.

Однако у нашего рыцаря не было времени раздумывать обо всем этом. Он поспешно затушил огонь, который, впрочем, пожрал уже почти все, что мог, и, при свете факела, принялся осматривать помещение в поисках выхода. Вряд ли нужно упоминать о том, что он не увидел двери в комнату Бренгильды; это еще раз утвердило его в мысли, что люди, разлучившие их вчера вечером под предлогом благочестивых соображений, на самом деле задумали учинить страшное насилие над одним из них или над обоими. С ночными приключениями, выпавшими на долю графа Роберта, мы уже познакомились; победа над ужасным врагом внушила ему робкую надежду, что Бренгильда, столь добродетельная и доблестная, не поддастся ни проискам коварства, ни грубой силе до тех пор, пока он не найдет путь к ее спасению.

«Я должен был с большим вниманием прислушаться вчера к предостережениям Боэмунда,— подумал граф.— Ведь он прямо дал мне понять, что вино в кубке отравлено. Но да падет позор на голову этого скупого негодяя! Как мог я подумать, что он подозревает такое злодейство? Ведь вместо прямых, подобающих мужчине слов, он по равнодушию своему или из корысти допустил, чтобы коварный деспот подсыпал мне в вино сонное зелье».

— Эй, чужеземец! — донесся до него голос.— Ты жив, или тебя убили? Что означает этот удушливый запах гари? Бога ради, ответь человеку, глаза которого, увы, уже никогда ничего не увидят!

— Я свободен,— отозвался граф,— а чудовище, которое должно было пожрать меня, испустило дух. Как мне жаль, друг мой Урсел — ты ведь так назвал свое имя? — что ты не был свидетелем этой битвы; она доставила бы тебе удовольствие, даже если бы через минуту ты вновь

потерял зрение, и дала бы бесценный материал любому, кто взял бы на себя задачу написать историю моих подвигов.

Отдав, таким образом, дань тщеславию, всегда отличавшему его, граф, не теряя времени, принялся отыскивать выход из темницы, ибо только таким путем он мог вызволить свою графиню. В конце концов он нашел в стене дверь, но она была заперта.

— Я нашел выход,— крикнул граф.— Он как раз в той стене, откуда доносится твой голос. Но как мне отпереть эту дверь?

— Я доверяю тебе свою тайну,— ответил Урсел.— Хотел бы я, чтобы так же легко отпирались все замки, которые держат нас в неволе. Подтяни изо всех сил дверь кверху и толкни ее от себя, тогда задвижки придутся против желобков в стене и дверь откроется. Мне так хотелось бы увидеть тебя, и не только потому, что ты храбрый человек и, значит, на тебя приятно смотреть, но и потому, что тогда я убедился бы, что не обречен на вечный мрак!

Пока Урсел говорил, граф собрал свои доспехи — они все были в сохранности, исчез только его меч Траншфер — и попытался, следуя указаниям слепца, открыть дверь. Пока он просто налегал на нее, у него ничего не получалось, но когда, поднатужившись, он приподнял ее, то с удовлетворением убедился, что она, хотя и с трудом, но поддается. Желобки в стене были выдолблены так, что задвижки вышли из своих гнезд, и теперь можно было без ключа, сильным толчком, открыть узкую дверь. Рыцарь переступил порог, держа в руках доспехи.

— Я слышу тебя, о чужестранец,— сказал Урсел,— и знаю, что ты вошел в мою темницу. Три года втайне от тюремщиков я трудился, выдалбливая эти желобки, соответствующие гнездам, которые держат засовы. Быть может, мне придется перепилить двадцать таких засовов, прежде чем я выберусь на волю. Но что ждет меня, даже если у меня хватит сил завершить эту работу? И все же, поверь мне, благородный чужестранец, я рад, что помог таким образом тебе выйти из твоей одиночной темницы, ибо, если небо не поможет нам в нашем стремлении к свободе, мы сможем утешать друг друга, пока тиран не отнимет у нас жизнь.

Граф Роберт бросил взгляд кругом и содрогнулся при мысли, что человек способен еще говорить об утешении, находясь в этом склепе. В нем было не более двенадцати квадратных футов, низкий свод опирался на толстые стены

из камней, тщательно пригнанных друг к другу. Кровать, грубая скамья, похожая на ту, которую Роберт только что запустил в голову тигра, такой же грубо сколоченный стол — вот и вся обстановка этой кельи. На большом камне над кроватью высечены скупые, но страшные слова: «Зедекия Урсел. Заключен здесь в мартовские дни в год от рождения Христова... Умер и похоронен здесь...» Для даты смерти было оставлено свободное место. Сам узник казался бесформенной грудой грязного тряпья. Волосы, давно не стриженные и не чесанные, лохматыми прядями падали ему на лицо, переплетаясь с огромной бородой.

— Взгляни на меня, — сказал узник, — и радуйся, что глаза твои еще видят, до какого жалкого состояния может довести бессердечный тиран своего ближнего, лишив его надежды и в этой жизни и в будущей.

— Неужели, — спросил граф Роберт, у которого от ужаса кровь застыла в жилах, — у тебя хватило мужества на то, чтобы столько времени долбить каменные плиты, в которые закреплены эти задвижки?

— Увы, — ответил Урсел, — а что еще мог делать слепец? Я должен был чем-нибудь занять себя, чтобы сохранить разум. Это немалый труд, на него у меня ушло три года; не удивляйся, что я посвятил этому все свое время, у меня ведь не было других занятий. Вероятно, в моей темнице все равно не отличить дня от ночи, но отдаленный соборный колокол говорил мне об уходящих часах, и я трагил эти часы, перетирая камень о камень. Но когда дверь открылась, я убедился, что она ведет в еще более глухую келью, чем моя. И тем не менее я рад, потому что это соединило нас, дало тебе возможность войти в мою темницу, а мне подарило товарища по несчастью.

— Думай о чем-нибудь более радостном, — прервал его граф Роберт, — думай о свободе, думай о мести! Я не могу поверить, что такое предательство останется безнаказанным, иначе мне придется признать, что небо не столь справедливо, как об этом говорят священники. Кто приносит еду в твою темницу?

— Приходит страж, — ответил Урсел, — который, по моему, не знает греческого языка; во всяком случае, он никогда не заговаривает со мной и не отвечает на мои вопросы. Он приносит мне кусок хлеба и кувшин воды — этого достаточно, чтобы поддержать мою жалкую жизнь в течение двух дней. Поэтому умоляю тебя, вернись к себе: страж не должен догадываться, что мы сообщаемся друг с другом.

— Мне непонятно, — сказал граф Роберт, — каким об-

разом варвар — если только это варвар — проникает в мою темницу, не проходя через твою. Но все равно, я уйду во внутреннюю или внешнюю келью, не знаю, как уж ее назвать, однако ты можешь быть уверен, что стражу придется кое с кем схватиться, прежде чем он выполнит свои обязанности. Тем временем считай, что ты не только слеп, но и нем, и помни, что даже если мне предложат свободу, я не забуду того, кто делил со мной горести.

— Увы,— отозвался старик,— я слушаю твои обещания, как если бы это был шелест утреннего ветерка, говорящий мне, что солнце вот-вот встанет, хотя я и знаю, что мне никогда его не увидеть. Ты один из тех необузданных и неунывающих рыцарей, которых Западная Европа вот уже сколько лет шлет к нам для свершения невозможного, и поэтому твои слова о том, что ты освободишь меня, внушают мне не больше надежды, чем мыльные пузыри, пускаемые детьми.

— Думай о нас лучше, старик,— сказал граф Роберт.— Верь, я умру, но не покорюсь и не потеряю веры в то, что еще соединюсь с моей любимой Бренгильдой.

С этими словами он направился в свою келью и поставил дверь на место таким образом, чтобы дело рук Урсела, которое поистине можно было совершить только за три года заключения, не заметил страж.

— Не повезло мне,— сказал он, вновь входя в свою темницу, ибо стал уже так называть про себя помещение, где был прикован тигр, который должен был его растерзать,— не повезло мне, что моим товарищем по тюрьме оказался не мужчина, молодой и сильный, а дряхлый, слепой и раздавленный несчастьем старик. Но да будет воля божья! Я не брошу беднягу, который томится здесь, хотя он и не способен помочь мне в бегстве, а скорее может мне помешать. Однако прежде чем я погашу факел, надо проверить, нет ли в стене другой двери, кроме той, которая ведет к слепцу. Если нет, то следует предположить, что меня спустили сюда сверху, через отверстие в потолке. Этот кубок с вином, эта муза, как они ее называют, больше пахла лекарственным снадобьем, чем вином, которое пьют за здоровье веселого собутыльника.

Он тщетно осмотрел стены, после чего потушил факел, чтобы захватить его, кто войдет к нему, в темноте и врасплох. По этим же соображениям он оттащил в дальний угол труп тигра и прикрыл его обгорелым тряпьем, на котором спал, поклявшись себе, что если ему повезет и он благополучно выберется из этой западни — а его отважное сердце

не допускало сомнений в этом,— то изображение тигра будет красоваться у него на шлеме.

«А что, если эти колдуны и слуги ада напустят на меня дьявола, что я тогда буду делать? — подумал граф.— Это вполне возможно; пожалуй, я напрасно потушил факел. Впрочем, что за пустое ребячество со стороны рыцаря, посвященного в часовне Владычицы сломанных копий,— делать различие между темным и светлым помещениями! Пусть они приходят, пусть чертей будет столько, сколько может вместить эта келья, и тогда посмотрим, сумею ли я встретить их так, как подобает христианскому рыцарю. Я всегда почитал пресвятую деву, и, уж конечно, она сочтет, что я принес достаточную жертву, согласившись хотя бы на короткое время расстаться с моей Бренгильдой из уважения к рождественскому посту,— а ведь это и привело к роковой разлуке. Нет, я не боюсь тебя, нечистая сила, и сохраню этот полуобгоревший факел до случая, когда он понадобится».

Он отшвырнул факел к стене и спокойно уселся в углу, ожидая новых событий.

В голове у него теснились мысли. Он не сомневался, что Бренгильда сохранит ему верность, знал, что она сильная и смелая женщина,— в этом граф и черпал главное свое утешение; какую бы страшную опасность ни рисовало ему воображение, он тут же обретал спокойствие, говоря себе: «Она чиста, как небесная роса, и небо не покинет свое творение».

ГЛАВА XVI

О шимпанзе, ты нам живой упрек
И злое издевательство над нами!
Как можем мы смеяться над тобою,
Когда в тебе, как в зеркале кривом,
Себя мы видим, нашу спесь и злобу?

Неизвестный автор

Граф Роберт Парижский, спрятавшись за полуобгоревшей кроватью так, что его можно было обнаружить, лишь внезапно и сильно осветив это укрытие, тревожно ждал, не зная, откуда и каким образом появится тюремный страж, приносящий узникам пищу. Впрочем, ждать пришлось недолго: вскоре граф увидел и услышал сигналы, с несомненностью говорившие о приближении стража.

Сначала показалась полоска света — очевидно, наверху открылась опускаемая дверь, — затем кто-то крикнул по англосаксонски:

— А ну, прыгай, не задерживайся! Прыгай, друг Сильвен! Покажи свою ловкость, почтеннейший!

В ответ раздался странный голос, хриплый и клокочущий; кто-то на непонятном графу Роберту языке как бы протестовал против полученного приказа.

— Ах так, сударь! — произнес первый голос. — Тебе угодно препираться со мной? Ну, коли твоя милость так обленилась, придется дать тебе лестницу, да еще и пинка в придачу, чтобы ты соизволил поторопиться!

Вслед за тем огромное существо, напоминавшее по очертаниям человека, соскочило через опускаемую дверь вниз, несмотря на то, что стены темницы были не менее четырнадцати футов в высоту. Эта исполинская фигура, футов семи ростом, держала в левой руке факел, а в правой — клубок тонкого шелка, который при спуске размотался, не порвавшись, хотя ясно было, что он никак не мог выдержать тяжесть такого громадного тела. Таинственное существо весьма ловко встало на ноги и, как бы отскочив от земли, подпрыгнуло кверху чуть ли не до самого потолка. При этом прыжке факел погас; однако необыкновенный страж начал вертеть им над головой с такой невероятной быстротой, что факел опять воспламенился. Его обладатель, видимо, на это и рассчитывал, но, желая проверить, добился ли он своего, осторожно поднес левую руку к пламени. Последствия этого поступка оказались неожиданными для странного существа — оно взвыло от

боли и, помахивая обожженной рукой, что-то жалобно забормотало.

— Осторожней, Сильвен! — пожурил его по англосаксонски тот же голос. — Ну что ты там, Сильвен? Делай свое дело. Отнеси слепому еду, да не балуйся, не то я перестану посылать тебя одного.

Таинственное существо — назвать его человеком было бы, пожалуй, опрометчиво — вместо ответа страшно оскалило зубы и погрозило кулаком, но тем не менее принялось разворачивать какой-то сверток и шарить по карманам своей одежды, — подобия куртки и панталон — в поисках, очевидно, связки ключей. Вытащив ее наконец, оно извлекло вслед за нею из кармана ломоть хлеба. Подогрев один из камней в стене, оно с помощью кусочка воска прилепило к нему факел, осторожно отыскало дверь в темницу старика и, выбрав нужный ключ, открыло ее. Затем оно нащупало в проходе ручку насоса и наполнило водой кувшин, который держало в руке. Вернувшись с огрызками позавчерашнего хлеба и остатком воды в другом кувшине, оно, как бы забавы ради, сунуло корку в рот, но тут же, скорчив ужасную гримасу, швырнуло ее на пол. Тем временем граф Парижский с немалой тревогой следил за неведомым животным. Сначала он принял это существо, которое по своим размерам превосходило человека, так страшно гримасничало и с такой сверхъестественной ловкостью прыгало, за самого сатану или по меньшей мере за одного из подвластных ему чертей, чьи обязанности и должность в этом мрачном месте разумелись сами собой. Но голос стража наводил скорее на мысль о человеке, отдающем приказание дикому животному, которое он приручил и подчинил своей власти, нежели о колдуне, заклинающем злого духа.

«Стыд и позор мне, — подумал граф, — если я допущу, чтобы обыкновенная обезьяна помешала мне выбраться на свет и свободу, — а это похожее на дьявола животное, видимо, просто обезьяна, хотя она и вдвое крупнее тех, которых мне доводилось встречать. Надо последить за ней; может быть, мохнатый рыцарь вызволит меня из подземелья».

Между тем животное, обшаривая темницу, обнаружило в конце концов мертвого тигра, дотронулось до него и со странными ужимками начало тормошить труп; оно как бы жалело тигра и удивлялось его гибели. И вдруг его, по видимому, осенило мысль, что зверя кто-то убил; граф Роберт с ужасом увидел, как оно снова разыскало в связке ключ и бросилось ко входу в темницу Урсела так стреми-

тельно, что, вздумай оно задушить старика, это мстительное намерение было бы исполнено раньше, чем франку удалось бы вмешаться. Но тут животное как будто сообразило, что злосчастный Урсел не мог убить тигра и что виновный укрывается где-то по соседству.

Продолжая тихо ворчать и что-то бормотать себе под нос, это устрашающее существо, чей облик был так похож на человеческий и вместе с тем так несхож с ним, стало красться вдоль стен, сдвигая с места все, что могло, по его мнению, скрыть от него человека. Широко расставив руки и ноги, оно зорко вглядывалось в каждый угол, освещая его факелом и стараясь найти убийцу.

Теперь, думается мне, вспомнив о находившемся поблизости зверинце Алексея, читатель уже понял, что удивительное существо, своим видом так смутившее графа, принадлежало к той гигантской разновидности обезьян, — а может быть, к каким-то животным, еще ближе стоящим к людям, — которых, насколько мне известно, натуралисты именуют орангутангами. Это создание отличается от прочих своих собратьев сравнительно большей понятливостью и послушанием; обладая присущим всему его племени даром подражания, оно пользуется им не только для передразнивания, но и для того, чтобы в чем-то усовершенствоваться и чему-то научиться — желание, совершенно не свойственное его родичам. Его способность перенимать знания поистине удивительна, и, возможно, его удалось бы совсем приручить, поместив в благоприятные условия, если бы чья-нибудь научная любознательность дошла до того, чтобы создать ему таковые.

В последний раз орангутанга видели, если мы не ошибаемся, на острове Суматра — это было очень большое и сильное животное, семи футов роста. Оно погибло, отчаянно защищая свою ни в чем не повинную жизнь от охотничьего отряда европейцев, которые могли бы, как нам кажется, лучше использовать свое умственное превосходство над бедным уроженцем лесов. Возможно, что именно это существо, встречавшееся редко, но запоминавшееся навсегда, и породило древнее верование в бога Пана, в сатиров и фавнов. Если бы не отсутствие дара речи — а вряд ли какой-нибудь представитель этого семейства обладал им, — можно было бы предположить, что сатир, виденный святым Антонием в пустыне, принадлежал именно к этому племени.

Вот почему у нас есть все основания доверять летописям, свидетельствующим о том, что в зверинце Алексея Комнина был орангутанг, совершенно ручной и проявляв-

ший такую степень разумности, какой, пожалуй, еще никогда не приходилось встречать у обезьян. Предпослав эти объяснения, мы можем продолжать теперь наше повествование.

Орангутанг большими шагами бесшумно продвигался вперед; когда он поднимал факел повыше, франк видел на стене тень, повторявшую сатанинские очертания огромной фигуры и страшных конечностей. Граф Роберт не спешил покинуть свое укрытие и вступить в схватку, исход которой трудно было предугадать. Меж тем обитатель лесов все приближался. При мысли о столь необычной, удивительной опасности, возраставшей с каждым шагом обезьяны, сердце графа забилося так сильно, что, казалось, это биение эхом отдалось по всей темнице. Наконец орангутанг подошел к кровати и уставился на графа своими свирепыми глазами. Пораженный встречей не меньше самого Роберта, он одним прыжком отскочил назад шагов на пятнадцать, непроизвольно вскрикнув от страха, а затем на цыпочках снова двинулся вперед, изо всех сил вытягивая руку, в которой держал факел, словно желая защитить себя и наиболее безопасным образом разглядеть то, что его так напугало. Граф Роберт схватил обломок кровати, достаточно большой, чтобы заменить дубинку, и угрожающе замахнулся на лесного жителя.

Воспитание этого бедного существа — как и большинства существ в нашем мире — не обошлось, очевидно, без побоев, память о которых была не менее свежа, чем память об уроках, заученных с их помощью. Граф Роберт сразу же понял это и, видя, что получил некоторое, неожиданное для себя преимущество над врагом, не замедлил им воспользоваться. Он воинственно выпрямился и с победоносным видом двинулся на него, угрожая ему дубинкой так же, как стал бы угрожать противнику на турнире своим страшным Траншфером. Орангутанг, видимо, испугался и начал отступать не менее осторожно, чем прежде наступал. Впрочем, он не совсем отказался от сопротивления: сердито и враждебно пробормотав что-то, он стал размахивать факелом, как бы намереваясь ударить крестоносца. Однако граф Роберт твердо решил, что, пока противник находится во власти страха, надо захватить его врасплох и, если можно, лишить того естественного превосходства над человеком в силе и ловкости, которое давала ему его необычайная величина. Мастерски владея своим оружием, граф занес дубинку над головой животного с правой стороны, но потом, внезапно изменив направление удара, изо всех сил хватил его по левому виску

и сбил с ног; в ту же секунду он уперся коленом в грудь обезьяны и обнажил кинжал, собираясь ее убить.

Орангутанг, до сих пор никогда не видевший оружия, которым ему угрожали, ухватился за кинжал и одновременно попытался вскочить и опрокинуть противника. Эта попытка чуть было ему не удалась: он уже встал на колени и, вероятно, одержал бы верх в борьбе, но тут граф, стремительно выхватив у животного кинжал, тяжело поранил ему лапу. Когда обезьяна увидела это острое оружие у своего горла, она поняла, что жизнь ее в руках врага. Перестав сопротивляться, она позволила снова опрокинуть себя на спину, жалобно и горестно вскрикнув; в этом грудном звуке было нечто человеческое, вызвавшее к состраданию. Здоровой лапой она прикрыла глаза, как бы не желая видеть приближающуюся смерть.

Несмотря на свою страсть к бранным подвигам, граф Роберт в обычных условиях был человеком спокойным и мягким; особенную доброту проявил он ко всем бессловесным тварям. У него мелькнула мысль: «Зачем отнимать у несчастного чудовища жизнь? Ведь ему не познать иного существования... А может быть, это какой-нибудь принц или рыцарь, которого силой волшебства заставили принять столь уродливое обличье, чтобы он помогал сторожить подземелье и хранить тайну связанных с ним удивительных приключений? Не преступно ли будет убить его после того, как он сдался на милость победителя так безоговорочно, как только мог это сделать в своем новом обличье? Если же это и в самом деле дикое животное, то, быть может, оно способно чувствовать какую-то признательность? Я ведь слышал балладу менестрелей об андрокле и льве. Мне надо быть с ним настороже — вот и все».

И граф встал, позволив подняться и орангутангу. Животное, по-видимому, поняло это проявление милосердия — оно начало бормотать, тихо и просительно, как бы умоляя пощадить его и выражая благодарность за великодушие. Увидев кровь, капающую из лапы, оно заплакало и с испуганной физиономией, в которой теперь благодаря ее печальному, страдальческому выражению было еще больше сходства с человеческим лицом, стало ожидать решения своей участи от этого могущественного существа.

Сумка, которую рыцарь носил под доспехами, была не очень вместительна, тем не менее в ней хранились склянка с целительным бальзамом, к которому ее обладателю приходилось нередко прибегать, немного корпии и сверточек холста. Вынув все это, рыцарь сделал знак животному, чтобы оно протянуло ему раненую лапу. Обитатель лесов

повиновался, хотя робко и не слишком охотно; смачивая рану бальзамом и накладывая повязку, граф Роберт в то же время сурово объяснял пациенту, что поступает, возможно, очень дурно, используя для животного бальзам, предназначенный для высокородных рыцарей, и что, если оно вздумает отплатить неблагодарностью за оказанную помощь, он, граф Парижский, вонзит в него по рукоять тот самый кинжал, остроту которого оно уже испытало на себе.

Сильвен внимательно смотрел на графа Роберта, словно понимая обращенные к нему слова; затем, что-то бормоча на своем обезьяньем языке, он склонился до земли, поцеловал ноги рыцаря и обнял его колени, как бы давая клятву в вечной благодарности и преданности. Когда граф подошел к кровати и в ожидании, пока снова откроется опускаемая дверь, стал надевать доспехи, животное уселось рядом с ним, тоже глядя на дверь и как бы терпеливо ожидая, чтобы она открылась.

Прошло около часа, затем наверху послышался легкий шум; орангутанг тотчас дернул франка за плащ, словно привлекая его внимание к тому, что должно произойти. Кто-то свистнул несколько раз, потом послышался уже знакомый графу голос:

— Сильвен! Сильвен! Где ты там запропастился? Сейчас же иди сюда, не то, клянусь распятием, я проучу тебя, ленивое животное!

Бедное чудище, как назвал бы его Тринкуло, казалось, прекрасно поняло смысл угрозы — оно еще теснее прижалось к графу и жалобно заскулило, точно моля о заступничестве. Хотя граф Роберт почти не сомневался в том, что животному непонятна человеческая речь, тем не менее он воскликнул:

— Я вижу, приятель, ты научился не хуже всех здешних царедворцев просить о дозволении сказать слово и не лишиться при этом жизни! Не бойся, бедняга, я заступлюсь за тебя.

— Эй, Сильвен! — снова раздался голос. — С кем это ты там болтаешь? Уж не с дьяволом ли или с призраком какого-нибудь убитого узника? Говорят, их много в здешних темницах. Или ты беседуешь со слепым стариком, с этим мятежником греком? А может, и в самом деле, правда то, что о тебе болтают — будто ты способен разумно говорить, когда захочешь, а бормочешь да бубнишь бог весть что только из страха, как бы тебя не послали работать? Ах ты, ленивый мошенник! Так и быть, спущу тебе лестницу, чтобы ты мог взобраться наверх, хотя она нужна

тебе не больше, чем галке, которая собирается взлететь на колокольню собора святой Софии¹. Ну ладно, лезь наверх,— с этими словами страж опустил лестницу в дверь,— я не собираюсь утруждать себя и спускаться за тобой, но, если ты принудишь меня это сделать, клянусь святым Суизином, плохо тебе придется! Вылезай, будь умником, и обойдемся на сей раз без плети.

Его красноречие, видимо, произвело впечатление на орангутанга: освещенный тусклым светом гаснущего факела, он печально поглядел на графа, как бы прощаясь с ним, и побрел к лестнице — с такой же охотой, с какой осужденный преступник идет на казнь. Однако стоило графу бросить на него гневный взгляд и погрозить страшным кинжалом, как понятливое животное сразу же отказалось от своего намерения и, крепко стиснув руки, подобно человеку, принявшему твердое решение, вернулось обратно и встало позади графа — правда, напоминая при этом дезертира, которому не очень-то приятно встретиться на поле боя со своим прежним командиром.

Терпение стража вскоре истощилось и, утратив надежду на добровольное возвращение Сильвена, он решил отправиться за ним в подземелье. Он спускался, сжимая в одной руке связку ключей, а другой держась за перекладины лестницы; на голове у него было нечто вроде потайного фонаря такой формы, что его можно было надевать наподобие шляпы. Не успел страж ступить на пол, как его обхватили могучие руки графа Парижского. В первый момент тюремщик подумал, что на него напал взбунтовавшийся Сильвен.

— Ты что это, бездельник! — крикнул он. — Отпусти меня, не то придет твой смертный час.

— Это настал твой смертный час! — воскликнул граф, сознавая свое превосходство над противником, менее ловким, чем он, и к тому же застигнутым врасплох.

— Измена! Измена! — завопил страж, услышав знакомый голос и поняв, что на него напал кто-то чужой. — Эй, ты там, наверху! На помощь! На помощь! Хирвард! Варяг! Англосакс, или как ты еще зовешься, дьявол тебя возьми!

Но тут железная рука графа Роберта сдавила ему горло и заглушила крики. Противники рухнули на пол, тюремщик оказался внизу, и Роберт Парижский, силой обстоятельств вынужденный действовать без промедления,

¹ Ныне — крупнейшая мечеть в столице Оттоманской империи. (Прим. автора.)

вонзил кинжал в горло несчастного. В ту же секунду раздалось бряцание оружия, и по приставной лестнице спустился старый наш знакомец Хирвард. Фонарь, скатившийся на землю, освещал залитого кровью стража и чужеземца, охватившего его в смертельном объятии. Хирвард поспешил на помощь товарищу и, напав на графа врасплох точно так же, как за минуту до этого последний напал на стража, прижал франка к земле лицом вниз.

Граф Роберт слыл одним из сильнейших людей того воинственного времени, но и варяг был не слабее; если бы Хирвард не получил несомненного преимущества, подмяв противника под себя, трудно было бы предсказать исход этой схватки.

— Сдавайся, как у вас принято говорить, на милость победителя,— воскликнул варяг,— иначе умрешь от моего кинжала!

— Французские графы не сдаются, да еще бродячим рабам вроде тебя,— ответил Роберт, догадавшись, кто его противник.

И он отбросил варяга так неожиданно, так резко, так стремительно, что почти вырвался из его рук; однако Хирвард, ценой огромного напряжения сил, сохранил свое преимущество и уже занес над графом кинжал, чтобы навсегда положить конец этому единоборству. Но тут раздался громкий, отрывистый, какой-то нечеловечески-жуткий хохот. Кто-то, крепко схватив поднятую руку варяга, одновременно стиснул ему шею и повалил его на спину, дав французскому графу возможность вскочить на ноги.

— Умри, негодяй! — крикнул варяг, сам не зная, кому угрожает.

Орангутанг, который, очевидно, сохранил самые ужасные воспоминания о человеческой доблести, тут же обратился в бегство и, взлетев вверх по лестнице, предоставил своему покровителю и Хирварду самим решать, на чьей стороне останется победа.

Обстоятельства, казалось, вынуждали их к отчаянной борьбе: оба были высоки ростом, сильны и храбры, оба закованы в броню и вооружены только кинжалами — роковым, убийственным орудием нападения. Они стояли друг против друга, и каждый мысленно примерялся к другому, прежде чем решиться нанести удар, на который в случае промаха мог последовать гибельный ответ. Пока длилась эта страшная пауза, в опускной двери показался свет, и на противников глянула дикая, испуганная физио-

номия орангутанга: он низко опустил в люк вновь зажженный факел, стараясь осветить им темницу.

— Дерись храбро, приятель,— сказал граф,— мы теперь не одни: этот почтенный муж решил произвести себя в судьи нашего поединка.

Несмотря на грозившую ему опасность, варяг поднял голову; его так поразила странная, перепуганная физиономия обезьяны, на которой был написан страх, смешанный с любопытством, что он не удержался от смеха.

— Наш Сильвен из тех, кто готов освещать факелом бурную пляску, но ни за что не согласится принять в ней участие.

— А есть ли вообще необходимость исполнять нам эту пляску?

— Никакой, если мы оба этого не хотим. Думается мне, что у нас нет оснований для того, чтобы драться в таком месте и при таком свидетеле. Ведь ты, если не ошибаюсь, тот самый франк, которого бросили вчера вечером в помещение, где почти рядом с кроватью был прикован тигр?

— Да, тот самый,— ответил граф.

— А где же зверь, с которым ты должен был сразиться?

— Лежит вон там, только теперь он уже не страшнее лани, на которую когда-то охотился.— И граф указал на мертвого тигра.

Осветив зверя уже описанным потайным фонарем, Хирвард стал рассматривать его.

— И это дело твоих рук? — удивленно спросил он графа.

— Да, моих,— равнодушно ответил тот.

— И ты убил стражника? Моего товарища?

— Во всяком случае, смертельно ранил.

— Не согласишься ли ты ненадолго заключить перемирие, чтобы я мог осмотреть его раны?

— Разумеется; будь проклята та рука, что нанесет удар из-за угла честному противнику.

Не требуя дальнейших ручательств и проникшись полным доверием к графу, варяг осветил фонарем и принялся исследовать рану стража, первым явившегося на поле боя; судя по одеянию умирающего тюремщика, он состоял в одном из тех отрядов, которые назывались отрядами Бессмертных. Тюремщик был в агонии, но еще мог говорить.

— Значит, ты все-таки пришел, варяг... И я погибаю теперь лишь из-за твоей медлительности или из-за предательства... Молчи, не возражай! Чужеземец нанес мне

удар повыше ключицы... Если бы я еще пожил на свете или чаще встречал тебя, я сделал бы то же самое, чтобы навсегда стереть воспоминание о некоем происшествии у Золотых ворот... Я слишком хорошо владею кинжалом, чтобы не знать, к чему приводит такой удар, нанесенный вдобавок сильной рукой... Да, мой конец близок, я это чувствую... Воин отряда Бессмертных станет теперь, если только священники не лгут, действительно бессмертным. Лук Себаста из Митилен сломался раньше, чем опустел его колчан!

Алчный грек откинулся на руки Хирварда. Застонав в последний раз, он расстался с жизнью. Варяг опустил тело наземь.

— Не знаю, что и делать, — сказал он. — Я, конечно, не обязан лишать жизни храброго человека — даже если он враг моего народа — только за то, что он прикончил безбожного злодея, втайне замышлявшего убить меня самого. Да и не приличествует представителям двух народов драться в таком месте и при таком освещении. Прекратим этот спор, благородный рыцарь, и отложим нашу встречу до того времени, когда нам удастся освободить тебя из влахернской темницы и вернуть друзьям и сподвижникам. Если я, безвестный варяг, окажу тебе в этом содействие, надеюсь, ты согласишься потом встретиться со мною в честном бою и скрестить оружие, по моему ли выбору или по твоему — мне это безразлично.

— Если как друг или как враг ты окажешь помощь также и моей жене — она тоже заточена где-то в этом негостеприимном дворце, — будь уверен, что каковы бы ни были твое звание, твоя родина и твое положение, Роберт Парижский протянет тебе правую руку в знак дружбы, если ты захочешь, или поднимет ее против тебя в честном, открытом бою; и это будет бой, свидетельствующий не о ненависти, а об истинном уважении. Клянусь тебе в этом душой Карла Великого, моего предка, и храмом моей покровительницы, пресвятой Владычицы сломанных копий...

— Довольно, — ответил Хирвард. — Я всего лишь бедный изгнанник, но обязан помочь твоей супруге так же, как если бы был высокорожденным рыцарем. Честное и доблестное деяние для нас еще более священно, когда оно связано с участью беззащитной и страдающей женщины.

— Мне, разумеется, следовало бы молчать и не обременять твоего великодушия новыми просьбами, но если судьба и была к тебе сурова, не дав появиться на свет

в благородной рыцарской семье, зато провидение наградило тебя доблестным сердцем, которое — увы! — не так уж часто встречается у тех, кто составляет цвет рыцарства. В этой темнице прозябает — я не смею сказать «живет» — слепой старик; вот уже три года все, что происходит за стенами тюрьмы, покрыто для него завесой мрака. Он питается хлебом и водой, ему не с кем перемолвиться словом, разве лишь с угрюмым стражем, и если смерть может явиться в образе избавительницы, то именно в этом образе она явится к незрячему старцу. Что ты ответишь мне? согласишься ли помочь этому бесконечно несчастному человеку, дабы он воспользовался, быть может, единственным случаем обрести свободу?

— Клянусь святым Дунстаном, ты слишком уж верен своему обету защищать несправедливо обиженных! Тебе самому угрожает смертельная опасность, а ты хочешь еще увеличить ее, вступаясь за всех обездоленных, с которыми судьба сталкивает тебя на твоем пути.

— Чем горячее мы будем заступаться за несчастных, — сказал Роберт Парижский, — тем большего благоволения мы заслужим от наших милосердных святых и от доброй Владычицы сломанных копий — ведь она с такой скорбью взирает на все страдания и невзгоды людей, кроме тех, что приключились с ними на поле брани. Прошу тебя, отважный англосакс, не томи меня, согласишься исполнить мою просьбу. На твоем лице написаны и чистосердечие и ум, и я с полным доверием отправляюсь с тобой на розыски моей возлюбленной супруги; а как только мы освободим ее, она станет нашим бесстрашным помощником при освобождении других.

— Будь по-твоему. Идем искать графиню Бренгильду. Если же, вызволив ее, мы окажемся столь сильными, что сможем вернуть свободу слепому старцу, но не такой я трусливый и жестокосердный человек, чтобы этому воспрепятствовать.

ГЛАВА XVII

Не странно ль, что во мраке серных копей,
Где честолюбие, таясь, хранит
Запасы грозных молний, вдруг любовь
Взрыв производит факелом в тот миг,
Когда влюбленный сам того не ждет.

Неизвестный автор

Около двенадцати часов того же дня Агеласт встретился с начальником варяжской стражи Ахиллом Татием среди тех самых развалин египетского храма, где, как мы уже рассказывали, беседовал с философом Хирвард. Сошлись они в совершенно различном расположении духа: Татий был мрачен, задумчив, уныл, а философ хранил равнодушное спокойствие, снискавшее ему — заслуженно, пожалуй, — прозвище Слона.

— Ты заколебался, Ахилл Татий, — сказал философ, — заколебался после того, как принял мужественное решение преодолеть все преграды на пути к величию! Ты напоминаешь мне беспечного мальчишку, который сначала пустил воду на мельничное колесо, а потом, когда оно завертелось, так испугался, что уже не посмел воспользоваться мельницей.

— Ты несправедлив ко мне, Агеласт, очень несправедлив, — ответил аколит. — Если уж на то пошло, я больше похож на моряка, который, отправляясь в плавание и, быть может, навсегда покидая берег, невольно бросает на него горестный взгляд.

— Возможно, ты прав, доблестный Татий, но, ты уж меня прости, об этом надо было думать раньше. Внук гунна Альгурика должен был взвесить все «за» и «против», прежде чем протянуть руку к короне своего господина.

— Тише, бога ради, тише, — озираясь, сказал Татий, — не забывай, что тайна эта известна только нам двоим. Если о ней узнает кесарь Никифор, что станется тогда с нами и с нашим заговором?

— Тела наши, видимо, попадут на виселицу, — ответил Агеласт, — а души расстанутся с ними, дабы постичь тайну, разгадку которой ты до сих пор принимал на веру.

— Но если мы знаем, какая нам грозит опасность, разве нам не следует быть особенно осторожными?

— Осторожными мужами — согласны, но не трусливыми детьми!

— И у каменных стен есть уши, — понизив голос, возразил главный телохранитель. — Я читал, что у тирана

Дионисия было такое ухо, с помощью которого можно было подслушивать все тайные разговоры в сиракузской темнице.

— Это ухо и посейчас в Сиракузах. Или ты боишься, о мой простодушный друг, что оно за одну ночь перенеслось сюда, как по верованию латинян, перенесся в Лорето дом пресвятой девы?

— Нет, но в таком важном деле любая предосторожность уместна.

— Знай же, о самый осторожный из соискателей престола и самый осмотрительный из военачальников, что кесарь, не допускающий, очевидно, даже мысли о существовании других претендентов, кроме него самого, считает свое избрание чем-то само собой разумеющимся — вопрос только в сроках. Поскольку же все само собой разумеющееся не требует особого внимания, он предоставил защиту своих интересов в этом предприятии тебе и мне, а сам отдался во власть безрассудному сластолюбию. Знаешь, в кого он так влюбился? В нечто среднее между мужчиной и женщиной: по чертам лица, стану и отчасти по одежде это существо женского пола, но если судить по остальным подробностям одеяния, по всем повадкам и обычаям, оно — клянусь в этом святым Георгием! — полное подобие мужчины.

— Ты, верно, говоришь об амазонке, жене того сурового франка с железными ручищами, который вчера вдребезги разбил кулаком золотого Соломонова Льва? Да, в лучшем случае эта любовная история кончится сломанными костями!

— Это более правдоподобно, чем перелет Дионисиева уха из Сиракуз сюда в одну ночь! — сказал Агеласт. — Однако теперь полагает, будто его воображаемая красота сводит с ума всех гречанок, отсюда и его самонадеянность.

— Он настолько самонадеян, что ведет себя отнюдь не так, как подобает кесарю, который к тому же рассчитывает стать императором.

— А тем временем я обещал ему устроить встречу с его Брадамантой. Как бы только она не вознаградила кесаря за нежное прозвище *Zoe kai psuche*¹, разлучив его любвеобильную душу с его несравненной особой!

— И за это, насколько я понимаю, ты получишь от него все полномочия, какие необходимы нам для удачного завершения заговора? — спросил Ахилл Татий.

— Такого благоприятного случая, конечно, упускать

¹ Жизнь и душа (греч.). (Прим. автора.)

нельзя,— ответил Агеласт.— Этот приступ любви или безумия ослепил его; поэтому мы можем, не привлекая внимания к заговору и не вызывая недоброжелательных толков, повести дело так, как надобно нам. Правда, подобный поступок не совсем сообразуется с моими годами и доброй славой, но, поскольку он будет способствовать превращению достойного телохранителя в главу государства, я не считаю зазорным для себя устроить нашему так называемому кесарю свидание с прекрасной дамой, которую он так жаждет. Ну, а как у тебя подвигаются дела с варягами,— ведь они должны стать исполнителями нашего плана?

— Далеко не так хорошо, как хотелось бы, но все же кое-кого я смог убедить, и десятков шесть воинов держат мою сторону. Я не сомневаюсь, что, как только кесарь будет устранен, они потребуют избрания Ахилла Татия!

— А тот храбрец, который присутствовал при чтениях, твой Эдуард, как окрестил его Алексей?

— Его согласием мне не удалось заручиться, и я очень об этом сожалею, ибо соратники его высоко ценят и охотно пошли бы за ним. Сейчас я отправил его дополнительным стражем к этому меднолобому графу Парижскому, которого он, вероятно, убьет,— ведь они оба питают непреодолимую страсть к поединкам.

А если потом крестоносцы вздумают объявить нам из-за этого войну, достаточно будет выдать им нашего варяга, объяснив, что он — единственный виновник преступления, на которое его толкнула ненависть к графу... Скажи мне, после того, как все будет подготовлено, как и когда мы расправимся с императором?

— Об этом придется посоветоваться с кесарем,— ответил Агеласт.— Хотя блаженство, на которое он надеется сегодня, не более вероятно, чем повышение в сане, которого он ожидает завтра, и хотя думает он лишь о том, как бы добиться успеха у графини, а не о том, чтобы воссесть на престол, все же нам, для ускорения нашего предприятия, следует обращаться с ним как с главою заговора. Мое же мнение, доблестный Татий, таково: завтра Алексей будет в последний раз держать бразды правления.

— Дай мне знать обо всем как можно скорее, чтобы я вовремя предупредил наших сообщников: они приведут к дворцу восставших горожан и Бессмертных, которые заодно с нами... И, главное, мне нужно отослать на дальние сторожевые посты тех варягов, которым я не доверяю.

— Можешь положиться на меня: как только я поговорю с Никифором Вриеннием, ты сразу получишь самые

точные сведения и указания. Позволь задать тебе один лишь вопрос: что мы будем делать с женой кесаря?

— Отправим ее в такое место, где мне уже никогда не придется слушать ее исторические сочинения. Если бы не эти ежевечерние муки с ее проклятыми чтениями, я был бы настолько великодушен, что сам занялся бы ее судьбой и научил отличать настоящего императора от этого Вриенния, который так много мнит о себе.

На этом они расстались, причем и взгляд главного телохранителя и его осанка стали куда более величественными, чем в начале беседы.

Агеласт посмотрел ему вслед с презрительной усмешкой.

— Этот жалкий глупец не видит пылающего факела, который не преминет его испепелить. Ничтожный человек, он не научился ни действовать, ни думать, ни дерзать; даже нищие его мысли — если можно назвать их мыслями, настолько они нищи, — плод чужого ума! И он надеется провести пылкого, надменного, гордого Никифора Вриенния! Если это ему и удастся, то лишь с помощью чужой изворотливости и, уж конечно, чужой отваги. И Анна Комнин, это воплощение остроумия и таланта, не соединит свою судьбу с таким тупым чурбаном, как этот полуварвар. Нет, она получит в супруги истинного грека, овладевшего всеми науками, которые процветали во времена величия Рима и славы Греции. Монарший престол становится особенно притягательным, если его можно разделить с женщиной, чьи знания позволят ей надлежащим образом уважать и ценить ученость императора.

Горделиво выпрямившись, он сделал несколько шагов, но затем, словно ощутив угрызения совести, добавил вполголоса:

— Но если Анне суждено стать императрицей, тогда Алексей должен умереть — надеяться на его согласие нельзя... Ну что ж... Какое значение имеет смерть обыкновенного человека, если она возводит на престол философа и летописца? И разве властители империи интересовались когда-нибудь, при каких обстоятельствах и от чьей руки пали их предшественники?.. Диоген! Эй, Диоген!

Раб явился не сразу, и Агеласт, замороженный видениями своего будущего величия, успел прибавить еще несколько слов:

— Пустяки! Раз уж мне все равно придется, как утверждают священники, держать ответ перед богом за многие мои деяния, добавим к их числу и это... Можно расправиться с императором самыми различными способа-

ми, а самому остаться при этом в тени. Даже если внимательный взор и разглядит на наших руках пролитую нами кровь, все равно чела нашего она не запятнает!

Тут вошел Диоген.

— Перевезли Французскую графиню? — спросил философ.

Раб кивнул головой.

— Как она отнеслась к переезду?

— Довольно благосклонно, когда узнала, что это было сделано по твоему распоряжению, господин. Сперва она пришла в ярость из-за того, что ее разлучили с мужем и задержали во дворце, и учинила расправу над дворцовыми рабами — говорят, будто нескольких она даже зарубила. Но надо полагать, что они просто насмерть перепугались. Она тотчас узнала меня, а когда я передал ей предложение укрыться в твоём жилище и жить там, пока тебе не удастся освободить ее супруга, она тут же согласилась, и я перевез ее в потайной домик в садах Венеры.

— Превосходно, мой верный Диоген! — воскликнул философ. — Ты подобен тем восточным духам, которые покорны словам заклęcia: стоит мне только выразить желание, как оно уже исполнено!

Низко поклонившись, раб удалился.

«Но понимаешь ли ты, раб, — подумал Агеласт, — что слишком много знать — опасно? Если меня в чем-нибудь заподозрят, я окажусь во власти Диогена, ибо ему известны почти все мои тайны...»

Его размышления прервал троекратный стук по одной из стоявших снаружи статуй; статуи эти были прозваны поющими, потому что стоило к ним прикоснуться, как они начинали звенеть.

— Это стучит кто-то из наших друзей; кому же, однако, вздумалось прийти так поздно?

Он коснулся посохом статуи Изиды, и в храм вошел кесарь Никифор Вриенний в греческой одежде, красиво уложенные складки которой говорили о желании ее владельца выгодно подчеркнуть свою внешность.

Лицо Агеласта приняло выражение суровой сдержанности.

— Надеюсь, государь, — обратился он к кесарю, — ты пришел известить меня о том, что, поразмыслив, решил не встречаться сейчас с французской графиней и отложить беседу с ней до той поры, когда наш заговор будет успешно завершен хотя бы в главной своей части?

— Нет, философ, — ответил кесарь, — мое решение, однажды принятое, уже не зависит от воли обстоятельств.

Я благополучно завершил немало трудных дел и, поверь мне, готов к новым деяниям. Благосклонность Венеры — награда за подвиги Марса; и я лишь тогда поклонюсь богу войны, служение которому сопряжено с такими трудами и опасностями, когда заранее буду уверен, что меня увенчают веткой мирта — символом расположения его прекрасной возлюбленной.

— Прости меня за дерзость, государь, — возразил Агеласт, — но подумал ли ты о том, что самым опрометчивым образом подвергаешь опасности не только империю, но и свою жизнь, а вместе с ней и мою и жизнь всех тех, кто присоединился к нашему смелому замыслу? И ради чего ты идешь на такой риск? Ради весьма непрочной благосклонности полуженщины-полудьяволицы, которая в обоих своих обличьях может погубить наш план: примет она твое поклонение или, оскорбясь, отвергнет, для нас то и другое одинаково губительно. Если она пойдет навстречу твоим желаниям, то потом захочет удержать своего возлюбленного подле себя, дабы избавить его от участия в опасном заговоре; а если она, как полагают, любит своего мужа и верна обету, данному перед алтарем, нетрудно представить себе, какую ненависть ты вызовешь в ней домогательствами, которые она уже сурово отвергла однажды.

— Оставь, старик! Ты впадаешь в детство; при всех твоих познаниях ты забыл изучить то, что наиболее достойно изучения — прекрасную половину рода человеческого. Подумай, какое впечатление должен произвести на женщину влюбленный, если звание у него не простое, наружность не отталкивающая и к тому же он может жестоко отомстить ей за отказ! Полно, Агеласт, перестань каркать и предвещать беду, точно ворон на горелом дубе. Произнеси лучше пышную речь — а ты это умеешь — на тему о том, что робкому влюбленному никогда не удавалось завладеть прекрасной дамой и что престола достоин лишь тот, кто умеет вплетать мирты Венеры в лавровый венок Марса. Открой-ка мне потайной ход, который соединяет эти удивительные развалины с теми рощами, что подобны рощам Кипра или Наксосу.

— Пусть будет так, как тебе угодно! — с подчеркнуто глубоким вздохом сказал философ.

— Эй, Диоген! Поди сюда! — громко позвал кесарь. — Уж если тебя призывают на помощь, значит богиня коварства где-то близко... Ступай, открой потайной ход. Да, мой верный негр, богиня коварства недалеко, и стоит стукнуть камнем, как она ответит на зов.

Негр вопросительно посмотрел на своего господина, и тот взглядом подтвердил приказ кесаря. Подойдя к полуразрушенной стене, покрытой вьющимися растениями, Диоген осторожно отвел в сторону зеленые побеги. Открылась потайная дверца, неровно заложенная сверху донизу большими квадратными камнями. Раб вынул их и аккуратно сложил рядом с дверью, как бы намереваясь установить их потом обратно.

— Оставайся здесь и охраняй дверь,— приказал ему Агеласт,— не впускай никого, кроме тех, что подадут тебе условный знак, иначе заплатишься жизнью. Оставляя эту дверь незаложенной в такое время дня опасно.

Диоген подобострастно приложил руку сначала к мечу, затем к голове, словно давая клятву в верности до гроба — так рабы изъявляли обычно свою покорность велениям господина. Затем он зажег небольшой светильник, вынул ключ и, открыв внутреннюю деревянную дверь, собрался было войти в нее.

— Постой, друг Диоген,— остановил его кесарь.— Тебе не нужен светильник — ты ведь не собираешься искать здесь честного человека, а если и собираешься, то поиски твои будут тщетны. Прикрой дверь растениями и, как тебе уже приказал твой господин, не отходи от нее до нашего возвращения, чтобы прохожие не любопытствовали, куда эта дверь ведет.

Отступив, раб вручил светильник кесарю, и Агеласт, ведомый лучом света, двинулся вслед за Никифором Вриннием по длинному, узкому, сводчатому проходу, щедро снабженному отдушинами и далеко не столь запущенному, как это можно было предположить, глядя на него снаружи.

— Я не войду с тобой ни в сады, ни в домик Венеры,— сказал Агеласт,— потому что слишком стар, чтобы поклоняться ей. Ты и без меня отлично знаешь дорогу, августейший кесарь, ибо ходил по ней уже много раз и, если не ошибаюсь, прогулки эти были тебе весьма приятны.

— Тем более я буду признателен верному Агеласту,— возразил кесарь,— который готов пренебречь бременем преклонных лет, чтобы услужить юному пылу своих друзей!

ГЛАВА XVIII

Вернемся теперь во влахернскую темницу, где волей случая был заключен временный союз между храбрым варягом и графом Робертом Парижским, обладавшими большим сходством характеров, чем каждый из них согласился бы признать. Варяг отличался теми естественными, непритворными добродетелями, какими сама природа одаривает отважных людей, не знающих страха и всю жизнь стремящихся навстречу опасности. Что касается графа, то наряду с храбростью, великодушием и страстью к приключениям — качествами, присущими настоящему воину, — он еще обладал добродетелями, отчасти существующими в действительности, отчасти вымышленными, которыми дух рыцарства наделял в его стране людей высокого звания. Одного можно было уподобить алмазу в том виде, в каком его добыли в россыпях, еще не отшлифованному и не оправленному; другой напоминал отделанный ювелиром драгоценный камень; искусно отграненный и вставленный в богатую оправу, камень этот, может быть, и утратил частицу своей первоначальной прелести, но зато стал, с точки зрения знатока, более ярким и блистательным, чем в то время, когда он, выражаясь языком гранильщиков, находился *en brut*¹. В одном случае ценность была искусственно увеличенной, в другом — более естественной и подлинной. Таким образом, обстоятельства породили временное содружество двух людей, чьи натуры были так близки по самой своей сути, что их разделяло лишь воспитание, привившее, однако, обоим стойкие предубеждения, которые легко могли породить между ними вражду. Варяг повел разговор с графом в тоне столь бесцеремонном, что он смахивал на грубость, и хотя Хирвард говорил так в простоте душевной, его новоиспеченный соратник вполне мог бы почувствовать себя задетым. Особенно оскорбительным в манерах варяга представлялось унаследованное им от предков-саксов дерзкое пренебрежение титулами тех, к кому он обращался, весьма неприятное франкам и норманнам, которые уже обзавелись феодальными привилегиями и упорно цеплялись за них, за всю мишуру геральдики и за рыцарские права, почитая их исключительной принадлежностью своего сословия.

Надо сказать, что хотя Хирвард не слишком высоко ценил эти отличия, он в то же время склонен был восхищаться как могуществом и богатством Греческой империи,

¹ В сыром, необработанном виде (франц.).

которой служил, так и величием императорской власти, воплощенной для него в Алексее Комнине; это величие варяг приписывал заодно и греческим военачальникам, поставленным Алексеем над варягами, особенно же Ахиллу Татию. Хирвард знал, что Татий трус, и догадывался, что он негодяй. Но император жаловал наградами варягов вообще, и Хирварда в частности, именно через главного телохранителя, а тот умел представить эти милости как некий более или менее прямой результат своего посредничества. Он слыл энергичным заступником варягов, когда им случалось повздорить с воинами из других отрядов, был снисходителен и щедр, каждому воздавал должное, и если пренебречь такой малостью, как храбрость, которая никак не являлась его сильной стороной, то лучшего начальника нельзя было и пожелать. Помимо того, наш друг Хирвард был особо отмечен главным телохранителем, принимал участие в его тайных вылазках и посему разделял ту — выражаясь хоть и грубовато, но образно — собачью привязанность, которую питала к этому новому Ахиллу большая часть его приспешников.

Их отношение к начальнику можно, пожалуй, определить как приязнь настолько сильную, насколько это бывает возможным при полнейшем отсутствии уважения. Поэтому в составленный Хирвардом план освобождения графа Парижского входила такая доля верности императору и его аколиту, или главному телохранителю, которая не помешала бы оказанию помощи несправедливо пострадавшему франку.

В соответствии с этим планом варяг вывел графа из-под сводов влахернского подземелья, все запутанные ходы которого он отлично знал, ибо в последнее время Татий неоднократно назначал его туда на стражу, считая, что такая осведомленность может в дальнейшем сослужить службу заговорщикам. Когда они выбрались наружу и отошли на значительное расстояние от мрачных дворцовых башен, Хирвард без обиняков спросил графа Парижского, знает ли он философа Агеласта. Граф ответил отрицательно.

— Послушай, рыцарь, ты же сам себе вредишь, играя со мной в прятки,— сказал Хирвард.— Ты не можешь его не знать. Я сам видел вчера, что ты у него обедал.

— Ах, у этого ученого старца? Я не знаю о нем ничего такого, что стоило бы скрывать или в чем стоило бы признаваться. Непонятный он человек — полугерольд-полусхут...

— Полусводник и полный мошенник,— дополнил ва-

ряг.— Он прикидывается добряком, чтобы потворствовать чужим порокам; болтает о философии, чтобы оправдать свое безбожие и развращенность; разыгрывает необыкновенную преданность императору, чтобы лишить этого слишком доверчивого государя жизни и престола или, если его замыслу помешают, чтобы предать своих простодушных сообщников и довести их до гибели.

— И, зная все это, ты не выводишь его на чистую воду? — спросил граф Роберт.

— Будь спокоен: пока еще Агеласт достаточно силен, чтобы расстроить любой мой замысел, направленный против него, но придет время — а оно уже не за горами, — когда император увидит, что это за человек, и тогда держись, философ, не то варвар собьет тебя с ног, клянусь святым Дунстаном! Мне только хотелось бы вырвать из его когтей безрассудного друга, который верит его лживым речам!

— Но какое отношение к этому человеку и его заговорам имею я? — спросил граф.

— Немалое, хотя сам ты ничего об этом не знаешь. Заговор Агеласта поддерживает не кто иной, как кесарь, которому больше всех надлежало бы хранить верность императору; но с тех пор как Алексей создал должность себастократора — лица, по сану своему стоящего ближе к престолу, чем даже кесарь, Никифор Вриенний стал проявлять недовольство и раздражение. Трудно сказать, однако, когда он присоединился к затее двуличного Агеласта. Я знаю только, что тот давно уже сорит деньгами, потакая таким путем всем порокам и расточительности кесаря: ведь философ настолько богат, что может это себе позволить. Он подстрекает кесаря пренебречь женой, хотя она и дочь императора, сеет разлад между ним и царской семьей. И если Никифор утратил былую славу разумного человека и хорошего военачальника, то произошло это потому, что он следовал советам лукавого царедворца.

— Но что мне до всего этого? — сказал франк. — Пусть Агеласт будет кем угодно, верным слугой или угодливым корыстолюбцем, я и мои близкие не настолько связаны с его государем, Алексеем Комнином, чтобы вмешиваться в дворцовые интриги.

— Вот тут ты как раз ошибаешься, — со свойственной ему прямоотой сказал варяг. — Если эти интриги затрагивают счастье и добродетель...

— Клянусь смертью тысячи великомучеников! — воскликнул франк. — Гнусные интриги и происки рабов не могут бросить даже тень подозрения на благородную

графиню Парижскую! Да пусть выступят свидетелями все твои сородичи, все равно я не поверю, что хоть одна грешная мысль коснулась моей жены!

— Прекрасно сказано, доблестный рыцарь! — заметил англосакс. — Такой супруг, как ты, придется по вкусу константинопольцам — они любят доверчивых слепцов. При нашем дворе у тебя найдется немало последователей и подражателей...

— Слушай, приятель, — прервал его франк, — оставим пустые разговоры и пойдем поищем уединенное местечко в этом бестолковом городе, где можно было бы закончить дело, которое нам пришлось прервать.

— Будь ты хоть герцогом, а не графом, все равно я в любую минуту готов продолжить наш поединок. Подумай однако, какой это будет неравный бой! Если я паду, никто обо мне не заплачет, но принесет ли моя смерть свободу твоей жене, если графиня находится в заточении, обелит ли она ее честь, если эта честь запятнана? Не станет единственного человека, который, пренебрегая опасностью, хочет тебе помочь, хочет соединить тебя с женой и снова поставить во главе твоего войска, — вот и все, чего ты добьешься.

— Я был неправ, признаюсь, — сказал граф Парижский, — глубоко не прав; но будь осторожен, друг мой, сочетая имя Бренгильды Аспрамонтской со словом «бесчестие». Вместо того, чтобы вести этот ненужный разговор, скажи мне лучше, куда мы направимся?

— В Агеластовы сады Венеры; они уже недалеко, но я уверен, что туда существует какой-то более короткий путь, чем тот, которым мы идем; иначе как объяснить, что Агеласт, едва успев покинуть свои чудесные сады, уже оказывается в мрачных развалинах храма Изиды или во Влахернском дворце?

— А почему ты решил, что мою жену насильно удерживают в этих садах, и давно ли она там?

— Со вчерашнего дня, — ответил Хирвард. — Я сам и, по моей просьбе, кое-кто из моих товарищей внимательно наблюдали за кесарем и твоей супругой, и мы отлично видели и его пылкие домогательства и ее гневное сопротивление, которому Агеласт из дружеских чувств к Никифору решил, видимо, положить предел, разлучив вас обоих с крестоносцами. По замыслу этого достопочтенного мудреца, жена твоя, подобно многим женщинам до нее, будет иметь счастье жить в его садах, меж тем как ты навеки поселишься во влахернской темнице.

— Негодяй! Почему ты не сказал мне об этом вчера?

— А ты полагаешь, что я мог так просто покинуть свой пост, чтобы сообщить это все человеку, которого считал тогда злейшим своим врагом? Тебе следовало бы возблагодарить небо за стечение обстоятельств, которое пробудило во мне желание стать твоим другом и помочь тебе, а ты вместо этого говоришь со мной столь неподобающим тоном!

Граф Роберт понимал, насколько справедливы слова варяга, но ему трудно было совладать со своей неистовой натурой, неизменно побуждавшей его вымещать гнев на том, кто оказывается у него по рукой.

Но тут они подошли к месту, которое жители Константинополя называли Садами философа. Хирвард надеялся, что сможет в них проникнуть, ибо знал какую-то часть условных знаков Ахилла Татия и Агеласта с тех самых пор, как встретился со старцем среди развалин храма Изиды. Разумеется, заговорщики не полностью посвятили Хирварда в свою тайну, тем не менее, полагаясь на его привязанность к главному телохранителю, спокойно доверили ему некоторые сведения, вполне достаточные для того, чтобы человек, наделенный такой острой проницательностью, как англосакс, со временем догадался и обо всем остальном. Граф Роберт со своим спутником остановились перед сводчатой дверью в высокой глухой стене, и англосакс уже собрался было постучать, как вдруг его осенила новая мысль:

— А что, если нам откроет дверь этот негодяй Диоген? Нам придется убить его, не то он убежит и выдаст нас. Ничего не поделаешь, иначе нельзя, тем более что он получит по заслугам,— у этого мерзавца на совести немало кровавых преступлений.

— Но убить его должен ты,— заявил граф Роберт.— Он ближе по положению к тебе, чем ко мне, и я не намерен осквернять имя Карла Великого кровью черного раба.

— И не нужно, избави бог; но если к нему придут на выручку, придется и тебе вступить в это дело, не то меня одолеют в неравном бою.

— Неравный бой быстро превратится в *melée* — в общую схватку, и уж тогда, поверь мне, я не стану медлить, ибо смогу сражаться, не роняя чести.

— В этом я не сомневаюсь,— ответил варяг,— однако мне кажется странным такое понимание чести, которое запрещает человеку защищаться или нападать на противника, пока он не узнает всей его родословной.

— Пусть тебя это не смущает,— сказал граф Роберт.— Правда, законы рыцарства очень строги, но если

вопрос стоит так: сражаться или не сражаться,— ответ обычно бывает утвердительным.

— Тогда попробуем постучать, посмотрим, какой злой дух явится на это заклятие.

Варяг постучал особым образом, и дверь отворилась внутрь. На пороге стояла карлица-негритянка; седина ее волос странно противоречила темной коже и широкой усмешке, свойственной этому племени. Внимательный наблюдатель, присмотревшись к ее лицу, понял бы, что это существо исполнено злобы и способно радоваться чужим горестям.

— Скажи мне, Агеласт сейчас...— начал было варяг, но она прервала его, указав на тропинку, исчезающую в зеленом сумраке. Англосакс и франк сделали уже несколько шагов, когда негритянка буркнула им вслед:

— Ты принадлежишь к посвященным, варяг, но подумай, прежде чем брать кого-нибудь с собой; может статься, тебя и самого плохо примут.

Хирвард подтвердил кивком, что понял ее, и они тут же скрылись из виду. Дорожка плавно вилась по тенистому саду, разбитому на восточный манер; даже в полуденный зной здесь было прохладно и легко дышалось благодаря пышным цветочным клумбам, зарослям цветущих кустов и густым кронам высоких деревьев.

— Сейчас нам надо быть особенно осторожными,— понизив голос до шепота, сказал Хирвард,— потому что лань, за которой мы охотимся, скорее всего укрылась тут. Дай-ка лучше я пойду первым: ты слишком встревожен, чтобы сохранять хладнокровие, а оно всегда необходимо тому, кто отправляется в разведку. Спрячься за тем дубом и, как только услышишь шаги, забудь о всех причудах своей чести и лезь под кусты, под землю, куда хочешь. Если голубки пришли к согласию, Агеласт, надо думать, ходит дозором, чтобы им никто не помешал.

— Дьявольщина! — вскричал взбешенный франк.— Этого быть не может! Владычица сломанных копий, отними лучше жизнь у твоего слуги, но не подвергай его такой пытке!

Тем не менее он понимал, что необходимо держать себя в руках, поэтому безропотно пропустил варяга вперед, но ни на минуту не спускал с него глаз.

Сделав несколько шагов, граф увидел, что Хирвард проскользнул к домику, стоявшему неподалеку от того места, где они расстались. Подойдя вплотную к одному из окон, почти полностью затененных разросшимися цветущими кустами, варяг сперва заглянул в него, а потом

прижался к нему ухом. Графу показалось, что лицо его друга выразило сосредоточенный интерес, и ему страстно захотелось поскорее узнать то, что, несомненно, уже стало известно варягу.

Поэтому он стал красться вперед, вдоль того же навеса из переплетенной листвы, который скрывал от посторонних глаз Хирварда; граф двигался так неслышно, что дотронулся до руки англосакса прежде, чем тот его заметил.

Почувствовав прикосновение и думая, что это кто-то чужой, Хирвард круто повернулся, вне себя от гнева. Однако, увидев франка, он только пожал плечами, как бы выражая снисходительную жалость к столь необузданному нетерпению, и отступил в сторону, предоставив графу возможность самому заглянуть в щель в оконной раме, такую маленькую, что ее не заметил бы изнутри самый острый глаз. Слабый свет, проникавший в эту обитель наслаждений, должен был поощрять те чувства, в честь которых и воздвигались храмы Венеры. Сквозь стекло видны были картины и скульптурные группы, подобные тем, что украшали дом у водопада, но наводившие на более игривые мысли, чем в этом первом их приюте. Спустя немного времени дверь отворилась, и в комнату вошла графиня, в сопровождении своей прислужницы Агаты. Благородная дама опустилась на ложе, а прислужница, молодая и очень красивая девушка, скромно остановилась поодаль, в тени, наполовину скрывавшей ее лицо.

— Что ты думаешь о столь подозрительном друге, как Агеласт, и о столь любезном враге, как человек, которого здесь называют кесарем? — спросила графиня.

— Я полагаю, что под личиной дружбы старик таит ненависть, а кесарь выдает за любовь к отечеству, не позволяющую ему отпустить врагов на свободу, слишком пылкое чувство к своей прекрасной пленнице.

— За это чувство кесарь будет наказан так же сурово, как если бы он на деле, а не только на словах был моим лютым врагом. О мой верный, мой благородный супруг! Когда б ты знал, каким тяжким испытаниям они подвергли меня, ты преодолел бы все преграды, чтобы поспешить мне на помощь!

— Если ты мужчина, как можешь ты мне советовать слушать все это и оставаться в бездействии? — шепнул граф Роберт своему спутнику.

— Я мужчина, — возразил англосакс, — и ты мужчина, но сколько ни складывай, нас всего лишь двое; а стоит, вероятно, кесарю свистнуть или Агеласту закричать, как сюда сбежится не меньше тысячи головорезов, с которыми

нам не справиться, даже если бы мы не уступали в смелости Бевису из Шемптона... Молчи и не шевелись. Советую тебе это не потому, что опасаюсь за свою жизнь,— ты видишь, я не очень-то ее ценю, раз я согласился принять участие в такой диковинной затее, да еще с таким сумасбродным товарищем, как ты,— а потому, что хочу спасти тебя и твою жену, которая, судя по всему, столь же добродетельна, сколь прекрасна.

— Сначала коварный старик ввел меня в заблуждение,— продолжала меж тем графиня Бренгильда, обращаясь к прислужнице.— Он прикинулся таким высоконравственным, таким ученым, таким честным и правдолюбивым, что я отчасти поверила ему; но стоило мне открыть его сговор с презренным кесарем, глянец сразу стерся и отвратительная сущность этого старика предстала передо мной во всей своей неприглядности. Но все же, если я смогу с помощью хитрости или притворства провести этого первейшего из обманщиков — ибо других средств защиты он меня лишил,— я не побрезгую этим оружием, и еще неизвестно, кто из нас окажется хитрее!

— Слышишь? — сказал графу Парижскому варяг.— Твоя благоразумная супруга соткет отменную паутину, не вздумай только порвать ее своим нетерпением. В делах такого рода я всегда предпочту мужской доблести женскую хитрость! Не будем вмешиваться до тех пор, пока не увидим, что наша помощь необходима и для спасения графини и для удачного завершения нашего предприятия!

— Аминь,— произнес граф Парижский.— Но не надейся, мой благоразумный сакс, что я соглашусь уйти отсюда, не отомстив гнусному кесарю и мнимому философу, если тот действительно носит личину...— Граф невольно повысил голос, и варяг без всяких церемоний зажал ему рот рукой.— Ты позволяешь себе слишком много! — сказал граф, но все эти слова он произнес шепотом.

— Еще бы! — ответил Хирвард.— Когда горит дом, я не задумываюсь над тем, какой водой я тушу пожар — простой или ароматичной!

Тут франк вспомнил, в каком положении он находится, и хотя манера сакса просить извинения не совсем удовлетворила его, он тем не менее замолчал. В это время раздался какой-то шум, графиня прислушалась и изменилась в лице.

— Агата! — воскликнула она.— Мы с тобой — словно рыцари на поле брани, и, как видишь, наш противник приближается. Уйдем в соседнюю комнату: эта встреча несет мало радости, постараемся хоть немного ее оттянуть.

И, открыв дверь позади ложа, на котором раньше сидела Бренгильда, обе женщины вышли в комнату, служившую чем-то вроде прихожей.

Не успели они скрыться, как с другой стороны тотчас же, словно в театральном представлении, появились кесарь и Агеласт. Они по всей видимости слышали последние слова Бренгильды, ибо кесарь вполголоса произнес:

— *Militat omnis amans, habet et sua castra Cupido*¹. Итак, наша прекрасная противница отвела свои войска. Ну что ж, стало быть она начала готовиться к бою, когда врага еще не было видно. На сей раз, Агеласт, тебе не придется упрекать меня в том, что я поторопился с любовной атакой и лишил себя удовольствия, которое получаешь от преследования. Клянусь, я буду вести наступление так осторожно, словно плечи мои отягощены бременем лет, разделяющих нас с тобой, ибо я сильно подозреваю, что этот злобный завистник, зовущийся Временем, выщипал все перья из крыльев, подаренных тебе Купидоном.

— Ты ошибаешься, могущественный кесарь,— ответил старик,— не Время, а Благоразумие вырывает из крыльев Купидона лишние перья, оставляя ему ровно столько, сколько надобно для плавного и устойчивого полета.

— Ты, однако, летал более стремительно, когда накапливал эти доспехи, этот арсенал Купидона, из коего ты великодушно позволил мне подобрать оружие или, вернее, пополнить личное снаряжение.

И кесарь окинул взглядом драгоценные камни, золотую цепь, браслеты и другие украшения, сверкавшие на его новом великолепном одеянии, надетом после прихода в сады и выгодно оттенявшем его весьма красивую внешность.

— Я счастлив,— ответил Агеласт,— что среди безделок, которые я уже не ношу теперь, да и в молодые лета носил очень редко, ты нашел какую-то малость, могущую подчеркнуть твою природную красоту. Помни только о нашем условии: все мелочи, составившие часть твоего одеяния в этот знаменательный день, уже не могут быть возвращены их ничтожному владельцу — они должны остаться собственностью той высокой особы, которую однажды украсили.

— На это я не могу согласиться, мой достойный друг,— сказал кесарь.— Я знаю, что ты относишься к этим вещцам как истый философ, то есть ценишь в них лишь связанные с ними воспоминания. Вот, например, этот

¹ Всякий влюбленный — солдат, и есть у Амура свой лагерь (лат.). (Перевод Г. Шмакова).

большой перстень с печатью — по твоим словам, он принадлежал Сократу; стало быть, при взгляде на него, ты сразу начинаешь благодарить небо за то, что твоей философии никогда не докучала какая-нибудь Ксантиппа. А вот эти застёжки в былые времена, расстегиваясь, открывали взорам прелестную грудь Фрины; теперь же они принадлежат тому, кто не больше способен отдать дань ревниво охраняемым ими красотам, чем циник Диоген. А эти пряжки...

— Не расточай передо мной своего остроумия, любезный юноша или, вернее, благородный кесарь,— сказал несколько уязвленный Агеласт.— Прибереги свое красноречие, оно тебе еще весьма понадобится.

— Не беспокойся за меня. Но пора уже нам, с твоего соизволения, блеснуть тем, чем нас одарила природа и что предоставил нам наш дорогой, досточтимый друг... О-о! — воскликнул кесарь, когда дверь внезапно распахнулась и перед ним появилась графиня,— наши желания предупреждены...

Никифор с глубоким почтением склонился перед Бренгильдой, которая внесла кое-какие изменения в свой наряд, чтобы придать ему еще больше великолепия, и вышла из той комнаты, куда недавно удалилась.

— Приветствую тебя, благородная госпожа,— сказал кесарь.— Я пришел принести извинения за то, что задержал тебя, отчасти против твоей воли, в этом удивительном уголке, где ты очутилась весьма неожиданно для себя.

— Не отчасти,— возразила графиня,— а полностью против моего желания, ибо я не хочу расставаться с моим супругом, графом Парижским, и его соратниками, крестоносцами, вставшими под его знамена.

— Не сомневаюсь, что таковы были твои чувства, когда ты покидала Запад,— вмешался Агеласт,— но неужели, прекрасная графиня, эти чувства не изменились теперь? Ты оставила берега, обагрённые людской кровью, которая льется там по любому поводу, и приехала в такие края, где прежде всего думают о людском благоденствии и неустанно о нем пекутся. Там, на Западе, особенно почитают представителей и представительниц рода человеческого, которые умеют жестоко тиранить других людей, и делать их несчастными, а в нашем мирном государстве мы венчаем цветами остроумных юношей и прелестных женщин, которые умеют составить счастье любящего их человека.

— Однако же, достопочтенный философ, столь искусно восхваляющий ярмо наслаждений, ты противоречишь все-

му, что мне было внушено с детства,— сказала графиня.— В стране, где меня вскормили, не следуют твоему учению, и браки у нас заключаются, как у льва со львицей,— то есть только тогда, когда женщина признает превосходство и силу мужчины. Наши правила таковы, что любая девушка, даже простого происхождения, сочтет для себе унижительным выйти замуж за человека, еще не прославившегося бранными подвигами.

— И все же, благородная графиня, даже умирающий вправе питать хотя бы слабую надежду,— ответил кесарь.— О, если б можно было уповать на то, что боевые подвиги завоюют привязанность, которая скорее была украдена, чем честно завоевана, сколько нашлось бы охотников принять участие в соревновании, где победителю обещана столь прекрасная награда! Нет подвига, который показался бы слишком трудным во имя достижения такой цели! Нет человека, который, обнажив меч ради этой награды, не дал бы тем самым клятву вложить его в ножны лишь тогда, когда сможет гордо воскликнуть: «Я уже заслужил то, чего еще не обрел!»

Надеясь, что последние слова кесаря произвели впечатление на Бренгильду, Агеласт поспешил усилить их действие, добавив:

— Вот видишь, графиня, огонь рыцарской доблести пылает в груди у греков не менее жарко, чем у жителей Запада.

— О, еще бы! — ответила Бренгильда.— Я ведь слышала о прославленной осаде Трои: малодушный негодяй, похитив жену у благородного человека и испугавшись встречи с оскорбленным мужем, стал под конец виновником не только гибели своих многочисленных сограждан, но и разрушения родного города со всеми его богатствами, после чего умер как жалкий трус, оплаканный лишь своей недостойной любовницей. Вот видите, как толковали законы рыцарства ваши предки!

— Ты не права, прекрасная дама,— сказал кесарь.— Только развращенный азиат мог совершить то, что совершил Парис, а отомстили за его преступление мужественные греки.

— Ты преисполнен учености, но я поверю твоим словам, лишь если ты сможешь мне показать такого греческого рыцаря и храбреца, который при взгляде на герб и девиз моего мужа не задрожит от страха!

— Я полагаю, это не так уж трудно сделать,— ответил кесарь.— Быть может, меня испортили лестью, но все же до сих пор я считал, что могу скрестить оружие с противни-

ком куда более опасным, чем тот, кто по прихоти судьбы добился брака с Бренгильдой Аспрамонтской.

— Это легко проверить,— сказала графиня.— Вряд ли ты будешь отрицать, что мой муж, разлученный со мной с помощью какой-то бесчестной уловки, все еще находится в твоей власти, и по первому твоему знаку может предстать перед тобой. Я не прошу для него никаких доспехов, кроме тех, в которые он облачен, никакого оружия, кроме его доброго меча Траншфера; сразись с ним тут или на какой-нибудь другой, столь же тесной арене, и ежели он отступит, или запросит пощады, или падет мертвым к твоим ногам — Бренгильда станет наградой победителю! Господи! — воскликнула она, опускаясь на ложе.— Прости меня за то, что я преступно позволила себе даже помыслить о таком конце: ведь это все равно что усомниться в непогрешимости твоего правосудия!

— Позволь мне, однако, подхватить эти драгоценные слова, прежде чем их унесет ветер! — воскликнул кесарь.— Позволь мне надеяться, что тот, кому небо ниспошлет силу для победы над высокородным графом Парижским, унаследует любовь Бренгильды; само солнце, поверь, не опускается к месту своего отдохновения с такой быстротой, с какой я поспешу на этот поединок!

— Клянусь небом,— взволнованно шепнул Хирварду граф,— как можешь ты требовать от меня, чтобы я стоял здесь и терпеливо слушал этого презренного грека, который удрал бы с арены, едва заслышав звенящее прощание Траншфера с ножами, а тут смеет бросать мне вызов в мое отсутствие и пытается объясняться в любви даме *par amour*! ¹ Да и Бренгильда, сдается мне, позволяет, вопреки своему обыкновению, чересчур много вольностей этому болтливому щеголю! Клянусь распятием, я ворвусь туда, предстану перед ними и так отвечу хвастуну, что он надолго запомнит!

— Придется тебе подчиниться голосу рассудка, пока я с тобой,— ответил варяг, единственный слушатель этой пламенной речи.— Вот когда мы расстанемся, тогда уж пусть бес странствующего рыцарства, который имеет над тобой такую власть, сажает тебя к себе на плечи и мчит куда ему заблагорассудится.

— Ты груб и жесток,— сказал граф, сопровождая свои слова презрительным взглядом.— Ты не только бесчеловечен, но у тебя даже нет врожденного чувства чести или стыда. Самое жалкое животное не станет покорно подпу-

¹ Здесь — моего сердца (франц.).

скать другого к своей подруге. Бык всаживает в соперника рога, пес пускает в ход зубы, и даже робкий олень свирепеет и бодается.

— На то они и животные, — возразил варяг, — и самки их тоже лишены стыда и рассудка и не знают святости сердечного выбора. Но неужели ты не видишь, граф, что твоя бедная, всеми покинутая супруга стремится сохранить тебе верность и избегнуть сетей, которыми ее опутали коварные люди? Клянусь душами праотцев, она так тронула меня своим хитроумием, сквозь которое проглядывают истинная чистота души и преданность, что если не найдется у нее лучшего рыцаря, я сам охотно подниму алебарду в ее защиту!

— Благодарю тебя, мой добрый друг, — сказал граф, — благодарю так сердечно, словно ты действительно оказался единственным заступником прекрасной дамы, предмета поклонения многих благородных вельмож и госпожи многих могущественных вассалов. И не просто благодарю, а более того — прошу у тебя прощения за то, что нанес тебе такую обиду.

— Мне нечего тебе прощать, ибо нельзя обижаться на то, что сказано в запальчивости. Тсс, они снова заговорили.

— Как ни странно, — заметил, расхаживая по комнате, кесарь, — но мне сейчас почудилось — нет, я почти уверен, Агеласт, — что слышал голоса где-то совсем близко от дома!

— Быть этого не может, — сказал Агеласт, — но все же пойду посмотрю.

Увидев, что Агеласт направляется к выходу, варяг подал франку знак, и они припали к земле под кущей вечнозеленого кустарника, где их невозможно было разглядеть. У философа была старческая поступь, но зоркие глаза, и, пока он не вернулся в дом, закончив свой безрезультатный обход, друзья лежали, соблюдая полное молчание и боясь пошевелиться.

— Знаешь, мой славный варяг, — сказал граф, — прежде чем снова занять наш наблюдательный пост, я должен тихонько признаться тебе, что никогда не устоял бы против огромного искушения размозжить голову старому лицемеру, если б только этому не препятствовала моя честь. И как мне хочется, чтобы ты, человек, свободный от ее запретов, не только возымел подобное желание, но и осуществил его!

— Было у меня такое желание, но я подавил его, чтобы не подвергать опасности нас и особенно графиню.

— Благодарю тебя еще раз за доброе к ней отношение,— сказал граф Роберт.— Если уж нам придется в конце концов помериться силами, что весьма вероятно, я отнесусь к тебе как к достойному противнику и честно пощажу тебя, ежели дело обернется не в твою пользу.

— Я тебе весьма признателен,— последовал ответ,— но только, ради бога, помолчи теперь, а уж потом поступай как знаешь.

Прежде чем граф и варяг вернулись к окну, собеседники в доме, полагая, что никто их не подслушивает, заговорили снова с еще большим жаром, чем прежде, хоть и вполголоса.

— Не пытайся меня уверить, что ты не знаешь, где сейчас мой супруг, и что ты не властен над его судьбой,— сказала графиня.— В чьих же еще интересах изгнать или убить мужа, как не того, кто делает вид, будто восхищается женой?

— Ты несправедлива ко мне, прекрасная Бренгильда,— ответил ей кесарь,— и забываешь, что отнюдь не я держу бразды правления этого государства, что император — мой тесть Алексей, а женщина, называющая себя моей супругой, дьявольски ревниво следит за каждым моим шагом. Как же мог бы я повелеть, чтобы твоего мужа и тебя лишили свободы? Граф Парижский при всех нанес императору оскорбление, вот за это ему и решили отомстить, то ли хитро обманув его, то ли открыто применив к нему силу. Я же виновен только в том, что пал жертвой твоих чар. Лишь благодаря уму и искусству мудрого Агеласта мне удалось извлечь тебя из бездны, в которой ты, несомненно, погибла бы. Не плачь, прекрасная Бренгильда,— участь графа Роберта нам еще не известна, но все же, поверь мне, ты поступишь мудро, если перестанешь надеяться на возвращение графа и изберешь себе более надежного покровителя.

— Более надежного покровителя мне никогда не найти, даже если бы я смогла выбирать среди рыцарей всего света!

— Моя рука,— сказал, приняв воинственную позу, кесарь,— решила бы этот вопрос, когда бы человек, которого ты столь высоко ценишь, был на свободе и ходил по земле.

— Ты...— пристально глядя на него, воскликнула Бренгильда, и лицо ее запылало от негодования,— ты... нет, бесполезно называть тебя твоим настоящим именем... однако, придет день, и мир узнает, что ты такое и чего ты стоишь... Слушай меня внимательно: Роберт Парижский

погиб или томится в заточении. Он не может вступить с тобою в поединок, о котором ты якобы мечтаешь, но тут стоит Бренгильда из рода Аспрамонте, законная супруга славного графа Роберта Парижского. Еще ни один смертный не одолел ее в бою, за исключением доблестного графа, и если ты так горюешь, что не можешь вызвать ее мужа, то, конечно, не станешь возражать, если вместо него биться с тобой будет она!

— Как, благородная графиня, ты сама собираешься сразиться со мной? — спросил удивленный кесарь.

— Да, сражусь с тобой, со всей Греческой империей, с каждым, кто посмеет утверждать, что с Робертом Парижским поступили по закону и бросили в темницу справедливо.

— А условия те же, как если бы граф сам вышел на поле боя? — спросил кесарь. — Побежденный сдается душой и телом на милость победителя?

— Пусть будет так, — ответила графиня, — я иду на это. Но если не я, а мой противник будет повержен во прах, благородному графу Роберту должны вернуть свободу и отпустить с надлежащими почестями.

— Согласен, — сказал кесарь, — если только это будет в моей власти.

Но тут низкий, рокошующий звук, похожий на удар современного гонга, прервал их разговор.

ГЛАВА XIX

Хотя варяга и графа Роберта в любую минуту могли заметить, они продолжали стоять так близко от окна, что, если и недослышали каких-то слов, однако ничего существенного из разговора не упустили.

— Он принял ее вызов? — спросил граф Парижский.

— Принял, и очень охотно, — ответил Хирвард.

— В этом я не сомневаюсь, — сказал крестоносец, — ибо он не знает, как искусно может владеть оружием женщина; для меня исход поединка решает очень многое, но, видит бог, я согласился бы, чтобы он решал еще больше, настолько я уверен в Бренгильде! Клянусь Владычицей сломанных копий, я хотел бы, чтобы каждая борозда на моих землях, каждое мое отличие, начиная с титула графа Парижского и кончая ремешком этих шпор, зависели от исхода честного боя между вашим кесарем, как он у вас зовется, и Бренгильдой Аспрамонтской!

— Твоя уверенность великодушна и отнюдь не опрометчива; но не следует забывать, что кесарь — сильный и к тому же красивый мужчина, что он прекрасно владеет оружием и, главное, не так строго, как ты, относится к законам чести. Есть много способов увеличить свои преимущества и ослабить противника; по мнению кесаря, эти способы не нарушают равенства в поединке, хотя, быть может, благородный граф Парижский или даже безвестный варяг мыслят иначе. Но прежде всего дозволю увести тебя в какое-нибудь безопасное место: ведь твое бегство скоро обнаружат, если уже не обнаружили. Шум, который мы слышали, говорит о том, что в сад прибыл кто-то из заговорщиков, и на этот раз не по любовным делам. Я выведу тебя другой дорогой, не той, которой мы шли сюда. Есть у меня один план, более благоразумный, чем твой, но ты на него, вероятно, не согласишься...

— Какой же? Говори.

— Отдать свой кошелек, даже если он составляет все твое имущество, какому-нибудь бедному лодочнику, чтобы он перевез тебя через Геллеспонт, немедленно принести жалобу Готфриду Бульонскому, а заодно тем друзьям, которые у тебя есть среди крестоносцев, и уговорить их, что будет тебе совсем нетрудно, вернуться с многочисленным отрядом в Константинополь; пусть они пригрозят, что сейчас же начнут военные действия, если император откажется вернуть свободу твоей супруге, обманом ее лишенной, и своей властью предотвратят этот нелепый, противоестественный поединок.

— И ты хочешь, чтобы я попросил крестоносцев воспрепятствовать честному поединку? Ты думаешь, Готфрид Бульонский отложит священный поход из-за столь недостойного повода, а графиня Парижская согласится принять помощь, которая спасет ей жизнь, но навеки запятнает честь, ибо эта помощь предполагает отказ от вызова, во всеуслышание и при свидетелях сделанного самой же графиней? Никогда!

— Стало быть, я неправ; видимо, мне не придумать ничего такого, что не противоречило бы твоим сумасбродным убеждениям. Вы только поглядите на этого человека — противник завлек его в ловушку, чтобы он не мог помешать коварным козням, которые направлены против его жены и угрожает ее жизни и чести, а он считает необходимым вести себя с этими убийцами из-за угла так, будто они — честные люди!

— Все это горькая правда, но слово мое свято; дать его недостойному или вероломному врагу, быть может, очень неосторожно, но нарушить его потом — значит совершить бесчестное дело, и такого позора мне уже никогда не смыть со своего щита.

— Значит, ты ставишь честь своей жены в зависимость от исхода столь неравного боя?

— Да простят тебя всевышний и все святые угодники за подобную мысль! — воскликнул граф Парижский. — Я пойду смотреть на этот бой с такой же твердой верой, хоть и не с такой легкой душой, с какой всегда смотрел, как ломаются копья. Если же несчастье или предательство — потому что в честном бою такой противник не может победить Бренгильду Аспрамонтскую! — вынудят меня выйти на арену, я назову кесаря негодяем, ибо другого имени он не заслуживает, обнародую его коварство, обращусь ко всем благородным сердцам, и тогда... Бог всегда на стороне правого!

Хирвард покачал головой.

— Все это было бы еще возможным, — помолчав, сказал он, — если бы поединок происходил в присутствии твоих соотечественников или, на худой конец, если бы поле боя охраняли варяги. Но предательство так привычно для греков, что, право же, они сочтут поведение своего кесаря вполне простительной и естественной военной хитростью, внушенной владыкой Купидоном и заслуживающей улыбки, а не порицания или кары!

— Если эти люди способны смеяться над подобными шутками, пусть небо откажет им в поддержке даже в минуту их самой тяжелой нужды, когда мечи ломаются у них

в руках, а их жены и дочери, схваченные безжалостными варварами, будут тщетно взывать о помощи!

Хирвард поглядел на своего спутника, чьи горящие щеки и сверкающие глаза свидетельствовали о большом волнении.

— Я вижу, что ты принял решение,— сказал он.— Что ж, пусть его по праву можно назвать героическим безрассудством, но жизнь уже давно стала горька изгнаннику-варягу. Утро поднимает его с безрадостного ложа, на которое он лег вечером, исполненный отвращения к себе, наемнику, проливающему кровь в чуждых ему битвах. Он мечтал отдать жизнь за благородное дело, и вот оно представилось ему — вершина благородства и чести. Вязнется оно и с моим замыслом спасти императора; падение его неблагодарного зятя только облегчит мою задачу.— Он посмотрел на Роберта.— Ты, граф, заинтересован в этом деле больше всех, и поэтому я согласен подчиниться тебе, но позволь мне все-таки время от времени помогать тебе советами, быть может не очень возвышенными, но зато здравыми. Взять, к примеру, твое бегство из влахернской темницы — ведь оно скоро станет известным. Осторожность требует, чтобы я первый сообщил об этом, иначе подозрение падет на меня. Где ты собираешься укрыться? Помни, искать тебя будут всюду и весьма старательно.

— Что ж, ты очень обяжешь меня такими советами,— ответил граф,— и я буду признателен тебе за каждую ложь, которую тебе придется измыслить и произнести ради моего спасения. Прошу тебя лишь об одном: пусть этих выдумок будет поменьше — ведь я сам никогда такой монеты не чеканил.

— Позволь мне, граф, прежде всего сказать тебе, что ни один рыцарь, когда-либо носивший меч, не почитал правду так, как почитает ее вот этот бедный воин, если, конечно, он имеет дело с честными людьми; но если игру ведут нечисто, если обманом убаюкивают бдительность и сонным зельем одурманивают чувства, то поверь мне: тот, кто ничем не брезгует, лишь бы надуть меня, напрасно будет ждать, что я, которому платят такой негодной монетой, дам взамен лишь неподдельное, имеющее законное хождение золото. Пока что тебе нужно укрыться в моем бедном жилище, в варяжских казармах,— никому и в голову не придет искать тебя там. Возьми мой плащ и иди за мной; сейчас мы выберемся из садов Агеласта, и ты сможешь спокойно следовать за мной, как подчиненный за начальником,— никакие подозрения на тебя не

падут; да будет тебе известно, благородный граф, что на нас, варягов, греки не решаются смотреть слишком долго и пристально!

Они дошли до калитки, в которую впустила их негритянка; Хирвард достал ключ, открывавший дверь со стороны сада,— ему, видимо, разрешалось выходить самому из владений философа, хотя войти туда без содействия привратницы он не мог. Выбравшись на свободу, они прошли через город окружным путем; граф молча, не пытаясь возражать, следовал за Хирвардом до самых варяжских казарм.

— Поторапливайтесь,— сказал им часовой,— все уже обедают.

Хирвард был очень доволен этим сообщением: он боялся, что его спутника, чего доброго, остановят и начнут допрашивать. Он прошел боковым коридором к своему жилищу и ввел графа в маленькую комнату, спальню своего оруженосца, после чего, попросив у графа Роберта прощения за то, что ему придется ненадолго отлучиться ушел, заперев дверь снаружи,— по его словам, он сделал это для того, чтобы туда никто не заглянул.

Демону подозрений было нелегко завладеть таким прямодушным человеком, как граф Роберт, но все же запертая дверь навела франка на мрачные мысли.

«Так ли уж честен этот человек,— подумал граф,— на которого я полностью положился, несмотря на то, что в его положении мало кто из наемников оказался бы достойным такого доверия? Ничто не мешает ему доложить начальнику стражи, что пленный франк, граф Роберт Парижский, чья жена вызвала кесаря сразиться с ней не на жизнь, а на смерть, убежал из влахернской темницы сегодня утром, но в полдень снова попался и сидит в заточении, на сей раз — в казармах варяжской стражи. Каким оружием буду я защищаться, если меня найдут здесь эти наемники? Все, что может сделать человек, я сделал, милостью нашей Владычицы сломанных копий. Я вступил в единоборство с тигром и прикончил его, я убил тюремного стража и укротил его помощника — это гигантское свирепое существо. Мне удалось, видимо, привлечь на свою сторону варяга; но все это еще не дает мне оснований надеяться, что я смогу долго выстоять против десятка этих откормленных наемников, да еще когда во главе их стоит такой здоровенный молодчик, как мой недавний спутник. Нет, Роберт, стыдись! Подобные мысли недостойны потомка Карла Великого. С каких это пор ты снисходишь до того, что подсчитываешь своих противников? И давно ли ты

сделался таким подозрительным? Человек, который справедливо гордится тем, что неспособен на обман, не имеет права относиться с недоверием к другим людям. У варяга открытый взгляд, он отменно хладнокровен в минуты опасности, а говорит так прямо и откровенно, как не станет говорить предатель. Если уж он обманщик, стало быть, лицемерна сама природа, ибо на его лице начертаны правдивость, искренность и смелость».

Размышляя о странности своего положения и стараясь побороть растущие недоверие и сомнения, граф Роберт вдруг почувствовал, что давно уже ничего не ел; в его сердце, и без того охваченном тревогой и страхами, начало закрадываться еще одно — куда более прозаическое — подозрение: не намереваются ли они сперва подорвать его силы голодом, а уже потом нагрянуть сюда и расправиться с ним?

Имели под собой почву эти подозрения или они были несправедливы, мы узнаем, если последуем за Хирвардом после того, как он вышел из своего жилища. Пообедав наспех, но с таким видом, будто очень проголодался и целиком поглощен едой, и избавившись с помощью этой уловки от неприятных расспросов и вообще от праздной болтовни, он сослался на свои обязанности и, покинув товарищей, быстро зашагал к Ахиллу Татию, жившему в тех же казармах. Ему открыл дверь раб-сириец; зная, что Хирвард — любимец главного телохранителя, он низко ему поклонился и сказал, что господин ушел, но, если Хирвард хочет его видеть, он найдет его в Садах философа, принадлежащих мудрецу Агеласту и потому так прозванных.

Хирвард тут же повернул обратно и, избрав благодаря своему знанию Константинополя кратчайший путь, подошел, на сей раз в одиночестве, к двери в садовой ограде, в которую утром проник с графом Робертом. В ответ на тот же условный сигнал появилась та же негритянка и, когда Хирвард спросил, здесь ли Ахилл Татий, сердито ответила:

— Ты же был тут утром, удивительно, как ты его не встретил; надо было дожждаться его, если у тебя к нему дело. Я знаю, что главный телохранитель справлялся о тебе вскоре после твоего прихода.

— Тебя это не касается, старуха, — сказал варяг. — В своих поступках я отчитываюсь перед начальником, а не перед тобой.

И он вошел в сад. Миновав тенистую дорожку, которая вела к домику Венеры — так назывался домик, где происходил подслушанный им разговор между кесарем

и графиней Парижской,— он подошел к простому строению, которое всем своим скромным и непритязательным видом как бы говорило о том, что здесь нашли себе приют учёность и философия. Варяг прошел под окнами, тяжело топая ногами — он рассчитывал привлечь, таким образом, внимание либо Ахилла Татия, либо его сообщника Агеласта, в зависимости от того, кто окажется поблизости. Услышал его шаги и отозвался на них Татий. Дверь открылась, в проеме показался высокий плюмаж, сильно наклоненный вперед, дабы его обладатель мог переступить порог, и осанистая фигура главного телохранителя появилась в саду.

— Что случилось, наш верный страж? — спросил он.— С какой вестью явился ты к нам в такое время дня? Ты наш добрый друг, мы высоко ценим тебя как воина,— очевидно, ты должен сообщить нам нечто очень важное, раз ты пришел сам и в такой неурочный час!

— Дай бог, чтобы вести, принесенные мною, заслуживали благосклонного приема!

— Так скорее сообщи мне их,— воскликнул главный телохранитель,— независимо от того, хороши они или плохи! Перед тобой человек, которому неведом страх.

Тем не менее встревоженный взгляд, устремленный на воина, то и дело меняющийся цвет лица, дрожь в руках, поправлявших перевязь меча,— все говорило о таком состоянии духа, которое совсем не вязалось с вызывающим тоном грека.

— Смелее, мой верный воин,— продолжал он.— Я жду твоих вестей и готов к худшему.

— Я буду краток: сегодня утром ты назначил меня начальником дозора во влахернскую темницу, куда вечером посадили буйного графа Парижского...

— Помню, помню. Дальше.

— Когда я отдыхал в одном из помещений над темницей, мое внимание привлекли странные крики, доносившиеся снизу. Я поспешил туда, чтобы узнать, в чем дело, и был очень удивлен, когда заглянул вниз: хотя разглядеть, что там происходит, было трудно, все же я понял, что это хнычет и жалуется на какое-то увечье лесной человек, то есть животное, прозванное Сильвенем и обученное нашими воинами англосаксонскому языку, чтобы оно помогало им нести сторожевую службу. Я спустился с факелом в темницу и увидел, что кровать, на которой спал узник, обгорела, у тигра, привязанного на расстоянии прыжка от нее, размозжена голова, Сильвен распростерт на земле и корчится от боли и страха, а узник исчез. Судя

по всему, запоры открыл несший со мной стражу митиленский воин, когда он в обычное время собрался спуститься в темницу; я был очень встревожен и, продолжая поиски, нашел его наконец, но уже мертвого: у него было перерезано горло. Очевидно, в то время когда я обыскивал темницу, этот самый граф Роберт, по своему дерзкому нраву вполне способный на такое дело, удрал по той же лестнице и через ту же дверь, которыми я воспользовался при спуске.

— Почему же ты, обнаружив измену, не поднял сразу тревогу? — спросил главный телохранитель.

— Я побоялся сделать это без твоего приказа. Если бы я поднял тревогу, пошли бы толки, и все это привело бы к такому тщательному расследованию, что открылись бы дела, способные бросить тень даже на самого главного телохранителя.

— Ты прав, — еле слышно произнес Ахилл Татий, — все же мы не можем дольше скрывать побег столь важного узника, иначе нас сочтут его сообщниками. Где же, по твоему, мог укрыться этот злосчастный беглец?

— Я надеялся, что твоя мудрость подскажет мне это.

— А не переправился ли он через Геллеспонт, чтобы добраться до своих соотечественников и сподвижников?

— К сожалению, это вполне возможно. Если граф обратился за помощью к кому-нибудь, хорошо знающему страну, тот, несомненно, посоветовал бы ему именно это.

— Ну тогда нечего мне бояться, что он сразу же возвратится сюда во главе отряда мстительных франков, эта опасность пока что нам не грозит: ведь император строго повелел вчера, чтобы те корабли и галеры, которые перевезли крестоносцев через Геллеспонт, вернулись обратно, оставив на берегах Азии всех паломников, дабы они продолжали следовать к назначенной цели. К тому же все они, вернее — их вожди, дали перед отплытием обет, что, вступив на путь, ведущий в Палестину, не сделают ни шага назад.

— В таком случае, мы не ошибемся, если предположим одно из двух: либо граф Роберт находится на восточной стороне пролива, лишенный возможности вернуться сюда со своими соратниками и отомстить за дурное обращение с ним, и, следовательно, о нем можно больше не думать; либо он скрывается где-нибудь в Константинополе, без друзей и соратников, которые могли бы, став на его сторону, подстрекать его к открытому заявлению о якобы нанесенной ему обиде; мне кажется, что в любом случае будет не очень разумно приносить во дворец известие о побеге — оно только встревожит двор и даст императору повод ко

всякого рода подозрениям. Впрочем, невежественному варвару не подобает рассуждать о том, как должен вести себя доблестный и просвещенный Ахилл Татий; мудрый Агеласт, сдастся мне, будет тебе более подходящим советчиком.

— Нет, нет, нет,— горячо, но вполголоса запротестовал главный телохранитель,— хоть мы с философом и друзья, да еще связанные взаимными клятвами, но если дойдет до того, что кому-то из нас придется бросить к ногам императора голову другого, не посоветуешь же ты мне принести в жертву свою, когда у меня нет еще ни одного седого волоса! Лучше я умолчу об этой беде и дам тебе взамен все полномочия и строжайшее предписание разыскать графа Роберта Парижского, живого или мертвого, посадить его в ту особую темницу, которую охраняют одни лишь варяги, и, как только это будет сделано, известить меня. У меня есть немало способов приобрести дружбу франка, избавив с помощью варяжских алебард его жену от опасности. Кто может справиться у нас в столице с моими варягами?

— Когда речь идет о правом деле — никто! — ответил Хирвард.

— Ты так считаешь? А что ты, собственно, хочешь этим сказать? А-а, понимаю: тебе хочется получить законное и по всей форме составленное разрешение твоего начальника на все, что тебе понадобится предпринять; так должен думать каждый преданный долгу воин, а я, как твой начальник, обязан удовлетворить твою щепетильность. Ты получишь письменный приказ, дающий тебе право разыскать и взять под стражу чужеземного графа, о котором мы говорили. И знаешь что, любезный друг,— нерешительно добавил Ахилл Татий,— хорошо было бы, если бы ты сразу начал или, вернее, продолжил эти поиски. Посвящать нашего друга Агеласта в то, что произошло, не стоит, покуда у нас не явится большая необходимость в его советах. А теперь иди к себе в казармы! Я постараюсь что-нибудь придумать, если Агеласт полюбопытствует, зачем ты приходил,— а полюбопытствует он обязательно; ведь он стар и подозрителен... Иди в казармы и действуй так, как если б уже имел все письменные полномочия. Ты их незамедлительно получишь, когда я вернусь к себе...

Варяг поспешно отправился в казармы.

«Странное дело,— думал он,— посмотришь, как дьявол помогает тем, кто вступил на путь лжи, и сам станешь навеки плутом. Я солгал — или по крайней мере отошел от правды,— так, как не лгал еще ни разу в жизни, и что же?

Мой начальник чуть ли не навязывает мне приказ, который снимает с меня ответственность и поощряет во всем, что я сделал и собираюсь сделать. Если бы нечистый дух всегда так покровительствовал своим подданным, им не пришлось бы на него жаловаться, а честным людям нечего было бы удивляться многочисленности его поклонников. Но говорят, он рано или поздно покидает их! А посему — сгинь, сатана! Если я и притворился, будто ненадолго стал твоим слугой, то намерения мои были при этом вполне честные и христианские».

Погруженный в такие мысли, варяг случайно обернулся и вздрогнул от изумления, увидев какое-то существо, более крупное, чем человек, и иначе сложенное, к тому же сплошь, не считая лица, заросшее красновато-коричневой шерстью; его безобразная физиономия выражала печаль и тоску; одна лапа была обвязана тряпкой, и весь его страдальческий, измученный вид говорил о том, какую боль причиняла ему рана. Хирвард был настолько поглощен своими размышлениями, что ему вначале почудилось, будто перед ним появился дьявол, им самим же и вызванный, но когда он оправился от испуга, то узнал своего знакомого Сильвена.

— А-а, старый друг! — воскликнул варяг. — Очень хорошо, что ты убежал в такое место, где сможешь вволю подкрепиться плодами. Только знаешь что — постарайся никому не попадаться на глаза, послушайся дружеского совета!

В ответ на это лесной житель что-то пролопотал.

— Понимаю, — сказал Хирвард, — ты будешь держать язык за зубами, и в этом я скорее поверю тебе, чем большинству моих двуногих собратьев, которые вечно обманывают или убивают друг друга.

Не успела обезьяна скрыться из виду, как Хирвард услышал пронзительный вопль; затем женский голос стал звать на помощь. Звуки этого голоса, видимо, крайне поразили варяга, ибо он забыл о грозившей ему самой опасности и бросился на помощь кричавшей женщине.

ГЛАВА XX

Идет, идет, стройна и молода!
И верность и любовь идут сюда.

Хирварду чедолго пришлось искать на тенистых дорожках ту, что звала на помощь,— почти сразу какая-то женщина кинулась прямо к нему в объятья, по-видимому напуганная Сильвенем, который гнался за ней по пятам. Увидев замахнувшегося секирой Хирварда, орангутанг сразу остановился; издав вопль ужаса, он скрылся в густой листве деревьев.

Избавившись от обезьяны, Хирвард окинул пристальным взглядом спасенную им женщину. В ее красочном одеянии преобладал бледно-желтый цвет; туника того же тона плотно, наподобие современного платья, облегла высокую и очень стройную фигуру. Сверху был накинут плащ из тонкого сукна; прикрепленный к нему капюшон во время стремительного бега откинулся назад, открыв свободно и красиво уложенные косы. Этот природный головной убор обрамлял лицо, искаженное страхом перед воображаемой опасностью, смертельно бледное, но даже и в эту минуту необыкновенно прекрасное.

Хирварда словно громом поразило. Так не одевались ни гречанки, ни итальянки, ни франкские женщины; наряд был подлинно англосакский, а с ним у Хирварда было связано бесчисленное множество нежных воспоминаний детства и юности. Это происшествие показалось варягу чудом. В Константинополе, правда, жили женщины их племени, соединившие свою судьбу с варягами; отправляясь в город, они часто надевали национальный наряд, потому что звание и нравы их мужей обеспечивали им уважение, которым не всегда пользовались гречанки или чужеземки того же сословия. Но почти всех их Хирвард знал в лицо. Впрочем, раздумывать было некогда: он сам находился в опасности, да и женщине она могла грозить. Во всяком случае, благоразумие требовало покинуть эту довольно людную часть садов; поэтому, не теряя ни минуты, варяг понес находившуюся в полуобморочном состоянии саксонку в более укромный уголок; по счастью, Хирвард знал, где его можно было найти. Дорожка под тенистым зеленым сводом, петляя, вела к искусственному гроту, выстланному ракушками, мхом и обломками шпата; в глубине его виднелась гигантская статуя полулежащего бога рек с его обычными атрибутами: чело увенчивали водяные лилии и осока, а огромная рука покоилась на

пустой урне. Позе статуи соответствовала и надпись: «Я сплю — не буди меня».

— Проклятый идол! — воскликнул Хирвард, который в меру своей цивилизованности был ревностным христианином.— Будь ты хоть из дерева, хоть из камня, но я разбужу тебя, глупый чурбан, не постесняюсь!

С этими словами он ударил секирой по голове спящего божества и так сдвинул кран фонтана, что вода полилась на сосуд.

— И все же ты не такой уж плохой идол, если посылаешь эту освежающую влагу, столь необходимую моей бедной соотечественнице! — заметил варяг.— Придется тебе, с твоего позволения, уступить ей и часть твоего ложа!

И Хирвард опустил свою прекрасную, все еще не пришедшую в сознание соплеменницу на пьедестал статуи речного бога. Ее лицо снова привлекло внимание варяга; в сердце его возродилась надежда, но такая трепетная и робкая, как слабо мерцающий свет факела, который может и разгореться и мгновенно угаснуть. В то же время он машинально пытался всеми известными ему способами вернуть сознание прелестному существу, лежавшему перед ним. Чувства его при этом можно было уподобить чувствам мудрого астронома: неторопливый восход луны сулит ему возможность вновь созерцать небеса, для него, христианина,— обитель блаженства и для него, философа,— источник знаний. Кровь прилила к щекам девушки, она ожила, и память возвратилась к ней даже раньше, чем к изумленному варягу.

— Пресвятая дева! — воскликнула она.— Неужто я действительно испила последнюю каплю страданий и ты соединяешь здесь после смерти своих верных почитателей? Отвечай, Хирвард, если ты не пустой плод моего воображения, отвечай! Скажи мне, быть может, мне только во сне приснилось это огромное чудовище?

Звуки ее голоса вывели англосакса из оцепенения.

— Приди в себя, Берта, моя дорогая,— сказал он,— и приготовься выдержать все, что тебе еще предстоит увидеть и что скажет твой Хирвард, который еще жив. Это отвратительное животное и вправду существует — не надо, не пугайся, не ищи, куда бы спрятаться: даже твоя нежная ручка может усмирить его одним взмахом хлыста. И не забудь, что я здесь, Берта! Или тебе нужен другой телохранитель?

— Нет, нет! — воскликнула она, схватив руку вновь обретенного возлюбленного.— Теперь я тебя узнаю!

— Разве ты узнала меня лишь теперь?

— Раньше я только надеялась, что это ты,— потупив глаза, призналась девушка,— но сейчас уверилась — я вижу этот след, оставленный кабаньим клыком!

Хирвард хотел дать Берте время прийти в себя от неожиданного потрясения и лишь после этого посвятить ее в события, которые могли вызвать у нее новые тревоги и страхи. Он не прерывал ее, когда она припоминала все обстоятельства охоты на ужасного зверя, в которой участвовали оба их клана. Запинаясь, Берта рассказывала о том, как молодежь и старики, мужчины и женщины разили дикого кабана тучами стрел, как ее собственная, меткая, но пущенная слабой рукой стрела тяжело ранила его; не забыла она и того, как обезумевший от боли зверь ринулся на нее, причинившую ему такие муки, как он уложил на месте ее лошадь и убил бы ее самое, если бы Хирвард, который никак не мог принудить своего коня приблизиться к чудовищу, не соскочил на землю и не бросился между кабаном и Бертой. В яростной схватке кабан был в конце концов убит, но Хирвард получил глубокую рану в лоб; рубец от этой раны и рассеял туман, окутывавший память спасенной им девушки.

— Ах, чем стали мы друг для друга с того дня? И чем будем теперь, в чужой стране? — воскликнула она.

— На этот вопрос только ты и в состоянии ответить, моя Берта; и если ты можешь честно сказать, что осталась той же Бертой, которая поклялась в любви Хирварду, тогда, поверь, грешно было бы думать, что небо опять свело нас лишь для того, чтобы снова разлучить.

— Не знаю, Хирвард, хранил ли ты верность так же свято, как я; дома и на чужбине, в неволе и на свободе, в горе и в радости, в довольстве и в нужде я никогда не забывала, что обручилась с Хирвардом у камня Одина.

— Не вспоминай больше об этом нечестивом обряде: он не мог принести нам добра.

— Такой ли уж он был нечестивый? — спросила Берта, и непрошенные слезы навернулись на ее большие голубые глаза.— Ах, как сладостно было мне думать, что после этого торжественного обета Хирвард стал моим!

— Выслушай меня, Берта, дорогая,— взяв ее за руку, сказал Хирвард.— Мы были тогда почти детьми, и наш обет, сам по себе невинный, был ложным потому, что мы дали его перед немым истуканом, изображавшим того, кто при жизни был кровожадным и жестоким волшебником. Но как только представится возможность, мы повторим свои клятвы перед подлинно святым алтарем и наложим на себя должную епитимью за наше невежественное поклоне-

ние Одину, дабы снискать милость истинного бога; он, и только он, поможет нам преодолеть все бури и невзгоды, которые еще ожидают нас.

Пусть же они беседуют о своей любви, чисто, безыскусно и увлекательно, а мы ненадолго покинем их и расскажем читателю в нескольких словах о том, как сложилась судьба каждого из них в годы, протекавшие между охотой на кабана и встречей в садах Агеласта.

Уолтеоф, отец Хирварда, и Ингельред, родитель Берты, объявленные вне закона, вынуждены были собирать свои все еще непокоренные кланы то в плодородном Девоншире, то в темных, дремучих лесах Хэмпшира, но всегда в таких местах, где можно было услышать призывные звуки рога прославленного Эдрика Лесовика, давнишнего предводителя восставших саксов. Эти вожди были последними из храбрецов, защищавших независимость англосаксов; подобно своему предводителю Эдрику, они звались лесовиками, ибо, когда их набеги встречали сильное сопротивление, они уходили в леса и жили охотой. Таким образом, они сделали шаг назад по пути прогресса и стали больше похожи на своих дальних предков германцев, чем на непосредственных, более просвещенных предшественников, достигших до битвы при Гастингсе довольно высокого уровня образования и цивилизации.

В народе снова начали оживать старинные поверья; так, среди юношей и девушек возродился обычай обручаться перед каменными кругами, посвященными, как предполагалось, Одину, в которого они, впрочем, уже давно перестали искренне верить, в противоположность своим предкам-язычникам.

И еще в одном отношении эти поставленные вне закона люди быстро вернулись к характерному укладу жизни древних германцев. Условия их существования были таковы, что молодежь обоих полов волей-неволей проводила много времени вместе, ранние же браки или другие, менее постоянные связи могли привести к слишком быстрому росту клана, а это, в свою очередь, затруднило бы не только добывание пищи, но и оборону. Поэтому законы лесовиков строго запрещали заключать брак, если жениху еще не исполнилось двадцати одного года. В результате помолвки стали частым явлением среди молодежи, и родители не препятствовали им, при условии, что влюбленные женятся только тогда, когда жених достигнет совершеннолетия. Юношей, нарушивших этот закон, награждали позорным эпитетом «подлый» — это было такое оскорбительное клеймо, что нередко люди предпочитали покончить

с собой, чем жить в подобном бесчестии. Однако среди этого приученного к воздержанию и самоотречению народа такие нарушители закона встречались очень редко, и когда женщина, которой в течение стольких лет поклонялись как святыне, становилась главой семьи и попадала в объятия так долго ожидавшего ее любящего супруга, ее почитали как нечто более возвышенное, чем просто предмет временного увлечения; понимая, как высоко ее ценят, она старалась всеми своими поступками доказать, что достойна такого отношения.

Не только родители, но и все члены обоих кланов сочли после охоты на кабана, что само небо благословляет союз между Хирвардом и Бертой, и встречи их поощрялись в той же степени, в какой их самих влекло друг к другу. Юноши избегали приглашать БERTY на пляски, и, если она присутствовала на празднестве, девушки отказывались от своих обычных женских ухищрений и не старались удерживать подле себя Хирварда. Влюбленные протянули друг другу руки через отверстие в камне, именовавшемся в те времена алтарем Одина, хотя в последующие века ученые стали относить его к эпохе друидов, и вознесли молитву о том, чтобы, в случае, если кто-нибудь из них нарушит обет, судьба пронзила изменника двенадцатью мечами, которые во время обряда сверкали в руках двенадцати юношей, и чтобы она навлекла на него столько несчастий, сколько не смогли бы перечесть ни в прозе, ни в стихах двенадцать девушек с распущенными волосами, стоявшие вместе с юношами вокруг обрученных.

Факел англосакского Купидона в течение нескольких лет горел так же ярко, как и в то время, когда был зажжен впервые. И тем не менее наступила пора, когда нашим влюбленным пришлось пройти сквозь испытание бедой, хоть и не накликаемой вероломством кого-либо из них. Прошли годы, и Хирвард начал с волнением подсчитывать месяцы и недели, отделяющие его от союза с нареченной, которая тоже стала менее робка и не так упорно уклонялась от излиятий чувств и нежных ласк того, кто вскоре должен был назвать ее своею. В это время у Вильгельма Рыжего созрел план полного истребления лесовиков, известных своей неукротимой ненавистью и беспокойным свободолюбием, слишком часто нарушавших спокойствие его королевства и пренебрегавших его законами о лесах. Он собрал своих норманских воинов и присоединил к ним отряд подчинившихся ему саксов. С этими превосходящими силами он и обрушился на отряды Уолтеофа и Ингельреда, которым не оставалось ничего иного, как отправить

женщин и тех, кто не мог носить оружие, в монастырь ордена святого Августина, где настоятелем был их родич Кенельм, а затем вступить в бой и оправдать свою древнюю славу, сражаясь до последнего дыхания. Оба злосчастных вождя пали смертью храбрых, и Хирвард с братом едва не разделили их участь; однако случилось так, что некоторые из обитавших по соседству саксов пробрались на поле боя, где победители оставили только добычу для коршунов и воронов, и нашли там обоих юношей, еще подававших слабые признаки жизни. Хирварда и его брата знали и любили многие, поэтому за ними ухаживали до тех пор, пока их раны не зажили и к ним не вернулись силы. Только тогда услышал Хирвард скорбные вести о гибели отца и Ингельреда. Следующий его вопрос был о невесте и ее матери. Бедные поселяне могли сообщить ему очень немного. Кое-кого из женщин, укрывшихся в монастыре, норманские рыцари и знатные вельможи захватили в рабство, остальных же, вместе с приютившими их монахами, выгнали вон, а обитель разграбили и сожгли дотла.

Еле оправившись от такого удара, Хирвард, рискуя жизнью — ибо саксы-лесовики были вне закона, — отправился собирать сведения о дорогих ему существах. Он хотел узнать о судьбе Берты и ее матери от тех несчастных, что еще бродили возле монастыря, словно опаленные пчелы, кружащие у разрушенного улья. Но они были так удручены собственными бесчисленными несчастьями, что им ни до кого не было дела; они сообщили ему лишь о несомненной гибели жены и дочери Ингельреда; их воображение подсказало им столько душераздирающих подробностей кончины обеих женщин, что Хирвард отказался от всякой мысли продолжать поиски, явно безнадежные и бесцельные.

Всю жизнь молодому саксу внушали неприязнь к норманнам, как к врагам его племени; естественно, что в качестве победителей они не стали ему милее. Вначале он мечтал пересечь пролив и сразиться с ненавистным врагом на его собственной земле, но быстро оставил эти безрассудные мысли. Судьбу его решила встреча с немолодым паломником, который знал — или делал вид, что знал, — его отца и был уроженцем Англии. Этот человек был переодетым варягом, хитрым и ловким вербовщиком, щедро снабженным деньгами. Ему не стоило большого труда уговорить до предела отчаявшегося Хирварда вступить в варяжскую гвардию Алексея Комнина, сражавшуюся в то время с норманнами — таким именем вербовщик,

понимавший состояние духа Хирварда, назвал отряды Роберта Гискара, его сына Боэмунда и других искателей приключений, с которыми император вел войну в Италии, Греции и Сицилии. Помимо того, путешествие на Восток предоставляло несчастному Хирварду возможность совершить паломничество к святым местам, дабы искупить свои грехи. Вербовщик заполучил и его старшего брата, поклявшегося не разлучаться с Хирвардом.

Братья слыли такими храбрецами, что хитрый вербовщик счел их весьма удачным приобретением; из его памятной записки, где были перечислены свойства обоих воинов и рассказана их история — результат безрассудной словоохотливости старшего брата, — и почерпнул Агеласт сведения о семье Хирварда и обстоятельствах его жизни, которыми он воспользовался при первой тайной встрече с варягом, чтобы доказать ему свою удивительную осведомленность. Этим маневром он привлек на свою сторону многих из братьев Хирварда по оружию; читателю нетрудно догадаться, что хранение памятных записок было доверено Ахиллу Татию, а тот, во имя общих целей, сообщал их содержание Агеласту, который и прослыл, таким образом, среди этих невежественных людей мудрецом, обладающим необыкновенными познаниями. Однако простодушная вера и честность Хирварда помогли ему избежать ловушки.

Так сложилась судьба Хирварда; а что касается судьбы Берты, то она послужила предметом беседы влюбленных, страстной и переменчивой, как апрельский день, беседы, которая перемежалась теми нежными ласками, какими позволяют себе обмениваться чистые душой влюбленные при неожиданной встрече после разлуки, грозившей затянуться навеки. Эту историю можно передать в нескольких словах. Когда шел грабеж монастыря, один старый норманский рыцарь захватил в качестве добычи Берту. Пораженный ее красотой, он определил ее в прислужницы к своей дочери, едва вышедшей из детского возраста; то был свет его очей, единственное дитя от любимой жены, дарованное их супружескому ложу уже в преклонные годы. Графиня Аспрамонтская, будучи значительно моложе рыцаря, естественно, управляла своим супругом, а их дочь, Бренгильда, управляла ими обоими.

Следует заметить, что графу Аспрамонтскому хотелось бы внушить своей юной наследнице склонность к более женственным забавам, чем те, которые зачастую подвергали ее жизнь опасности. О прямом запрете нечего было и думать, это добрый старик знал по опыту. Влияние

и пример подруги немного постарше возрастом могли бы принести некоторую пользу; с этой целью рыцарь и захватил юную Берту среди царившей во время грабежа всеобщей сумятицы. До смерти перепуганная девушка цеплялась за мать; граф, в чьем сердце было больше человечности, чем обычно кроется под стальными панцирями, тронутый горем матери и дочери, решил, что первая может оказаться полезной прислужницей его супруге, и взял под свое покровительство обеих; расквитавшись с воинами, которые стали оспаривать у него добычу, с одними — мелкой монетой, с другими — ударами своего копья, — он спас обеих женщин.

Вскоре после этого добрый рыцарь возвратился в свой замок, и так как он был человеком строгих правил и примерных нравов, чарующая красота пленницы и более зрелые прелести ее матери не помешали им в полной безопасности добраться до его фамильной крепости — замка Аспрамонте — и при этом сохранить честь. Все наставники, каких он сумел раздобыть, были собраны в замке и начали обучать юную Берту всему, что положено знать женщине; делалось это в надежде, что ее госпожа Бренгильда также возымеет желание приобрести эти познания. Пленница действительно стала необыкновенной искусницей по части музыки, рукоделия и прочих женских занятий, известных в те времена, однако ее молодая госпожа продолжала хранить любовь к воинским забавам, что несказанно огорчало ее отца, но поощрялось матерью, ибо та сама была склонна в юности к таким развлечениям.

Обращались с пленницами хорошо. Бренгильда очень привязалась к юной англосаксонке; она ценила ее не так за умелые руки, как за ловкость в охоте и военных играх, к которым Берта была приучена со времен своей вольной юности.

Госпожа Аспрамонтская тоже была добра к обеим пленницам, но в одном отношении она проявила мелочное тиранство. Она вбила себе в голову, получив при этом поддержку старого, уже впадающего в детство, отца духовника, что саксы — язычники или по меньшей мере еретики, и потребовала от супруга, чтобы невольницы, которые должны были прислуживать ей и ее дочери, заслужили это право, вторично приняв крещение.

Хотя мать Берты понимала всю ложность и несправедливость обвинения в язычестве, она была достаточно умна, чтобы подчиниться необходимости, и получила по всем правилам, у алтаря, имя Марты, на которое и отзывалась потом до конца своих дней.

Но Берта проявила в этом случае твердость характера,

не соответствовавшую ее, в общем, послушному и кроткому нраву. Она смело отказалась как заново вступить в лоно церкви, к которой по своему внутреннему убеждению уже принадлежала, так и переменить имя, данное ей в купели. Тщетно приказывал ей старый рыцарь, тщетно угрожала госпожа, тщетно советовала и молила мать. Когда последняя, беседуя с ней наедине, настойчиво потребовала от нее ответа, Берта открыла ей причину, о которой та до сих пор и не подозревала.

— Я знаю,— заливаясь слезами, сказала Берта,— что отец скорее умер бы, чем допустил, чтобы меня подвергли такому оскорблению; и кто убедит меня в том, что обеты, данные англосаксонке Берте, будут соблюдены, если ее заменит француженка Агата? Они могут выгнать меня, могут убить, но если сын Уолтеофа встретится опять с дочерью Ингельреда, он найдет ту Берту, которую знал в хэмпширских лесах.

Все уговоры были напрасны; молодая девушка стояла на своем, и, чтобы сломить ее упорство, госпожа Аспрамонтская заявила под конец, что больше не позволит ей прислуживать юной госпоже и выгонит из замка. Заранее готовая к этому, Берта почтительно, но твердо сказала, что ей будет очень тяжело и горько расстаться с молодой госпожей, но она скорее станет просить милостыню, называясь своим собственным именем, чем малодушно отречется от веры своих отцов и назовет ее ересью, приняв веру франков. Но в ту минуту, когда госпожа Аспрамонтская собиралась отдать приказ об изгнании Берты, в комнату вошла ее дочь.

— Пусть тебя не останавливает мое появление, госпожа,— сказала эта неустрашимая молодая особа,— ведь твой приказ распространяется не только на Берту, но и на меня. Если она перейдет через подъемный мост замка Аспрамонте в качестве изгнанницы, перейду его вместе с нею и я, лишь бы она перестала плакать — даже все мои капризы не могли исторгнуть до сих пор ни единой слезы из ее глаз. Она станет моей оруженосицей и телохранительницей, а бард Ланселот будет следовать за нами с моим копьем и щитом.

— Солнце еще не успеет скрыться за горизонтом, как ты вернешься из этого нелепого похода,— сказала мать.

— С помощью всемогущего ни закат солнца, ни его восход не увидят нашего возвращения в замок,— возразила ей наследница имени графов Аспрамонте,— пока рог славы не донесет до самых далеких краев имена Берты и ее госпожи Бренгильды! Приободришь, Берта, моя милоч-

ка, — продолжала она, взяв за руку свою прислужницу. — Если небо и оторвало тебя от родины и нареченного, оно дало тебе друга и сестру, с которой навеки будет связана твоя добрая слава.

Госпожа Аспрамонтская пришла в замешательство. Она знала, что ее дочь способна совершить безумный поступок, о котором только что объявила, и что ни она, ни ее супруг не смогут этому помешать. Поэтому она безучастно слушала все, что говорила своей дочери почтенная англосаксонка, бывшая Урика, ныне Марта.

— Дитя мое, — говорила та, — если ты знаешь цену чести, добродетели, безопасности и признательности, ты не станешь так упорно сопротивляться воле твоего господина и твоей госпожи; последуй совету матери, которая и старше тебя и опытнее. А ты, моя дорогая юная госпожа, не давай повода своей матушки думать, что страсть к военным игрищам, в которых ты отличаешься, убила в твоём сердце дочернюю любовь и заставила забыть о присущей твоему полу скромности. — Она остановилась, чтобы посмотреть, какое впечатление произвел ее совет на обеих девушек, и затем продолжала: — Поскольку они обе упрямятся, госпожа, дозволю мне предложить выход, который, мне кажется, удовлетворит твоим желаниям, придется по вкусу моей своевольной, упрямой дочери и будет соответствовать добрым намерениям ее великодушной повелительницы.

Госпожа Аспрамонтская кивком разрешила ей продолжать.

— Нынешние англосаксы, моя дорогая госпожа, не язычники и не еретики; в отношении дней празднования пасхи, как и в других спорных вопросах, они смиренно повинуются папе римскому; это хорошо известно нашему доброму епископу, ибо он не раз укорял тех слуг, которые называли меня старой язычницей. Но наши имена непривычны для франков, и, быть может, в их звучании есть что-то языческое. Если от моей дочери не станут требовать, чтобы она заново подвергалась обряду крещения, она даст согласие отказаться от своего англосаксонского имени, куда она находится в твоём почтенном доме. Так будет положен конец спору, который — да простят мне эти слова! — слишком незначителен для того, чтобы нарушить спокойствие в замке. Я могу поручиться, что моя дочь, в благодарность за снисхождение к ее неуместной шепетильности, станет вдвое усерднее прислуживать молодой госпоже.

Госпожа Аспрамонтская была очень рада этому пред-

ложению, которое позволяло ей уступить в споре, почти не унизив своего достоинства.

— Если наш высокочтимый епископ одобрит такое решение, я чинить препятствий не буду,— сказала она.

Прелат дал свое одобрение тем охотнее, что ему сообщили, как искренне желает этого юная наследница. Мир в замке был восстановлен, и Берта обещала отзываться на имя Агаты, хотя и не признала его своим настоящим именем.

Этот спор имел несомненным следствием одно обстоятельство — любовь Берты к молодой госпоже достигла высшего предела. Проявляя слабость, свойственную верным слугам и почтительным друзьям, она старалась во всем угодить Бренгильде и тем самым поощряла ее воинственные наклонности, которые отличали молодую графиню от других женщин даже в те времена, а в наш век прославили бы ее, как Дон-Кихота в женском обличьи. Берта не заразилась от нее этой страстью, но, обладая силой, ловкостью и твердой волей, с готовностью брала на себя иной раз роль оруженосицы при госпоже — искательнице приключений; поскольку же она с детства привыкла видеть, как наносят удары, льется кровь и умирают люди, то спокойно относилась к опасностям, которым подвергалась ее госпожа, и очень редко надоедала ей нравоучениями, разве уж когда эти опасности были чрезмерно велики. Благодаря такой уступчивости Берта обрела право давать советы в тех случаях, когда в них возникала надобность, и так как преподносились они с самыми лучшими намерениями и всегда своевременно, то влияние ее на госпожу все усиливалось, чего, вероятно, не произошло бы, если б она вела себя иначе.

Берта так же коротко сообщила варягу о кончине рыцаря Аспрамонтского, о романтическом браке ее молодой госпожи с графом Парижским, об участии их обоих в крестовом походе и о последующих происшествиях, с которыми читатель уже знаком.

Хирвард не все уловил из ее рассказа о последних событиях, ибо между ним и его невестой возникло небольшое недоразумение. Когда Берта призналась, что она в своем девичьем простодушии упорно отказывалась изменить имя, боясь, что это повлияет на их взаимные обеты, Хирвард не мог не оценить такой любви и прижал девушку к груди, запечатлев на ее губах благодарный поцелуй. Однако Берта сразу же вырвалась из его объятий, и лицо ее залила краска — впрочем, не столько гнева, сколько стыда.

— Довольно, довольно, Хирвард, — строго произнесла она. — Это я могу еще простить — ведь наша встреча была столь неожиданной; но в будущем нам нельзя забывать, что каждый из нас, вероятно, последний в своем роду; я не хочу, чтобы люди говорили, будто Хирвард и Берта пренебрегли обычаями своих предков. Хоть мы и одни здесь, но помни: тени наших отцов витают над нами, они следят за тем, как мы себя ведем во время встречи, которую, быть может, они же и устроили!

— Ты плохо обо мне думаешь, Берта, если считаешь, что я способен забыть наш общий долг, нарушить заповеди всевышнего и веления наших отцов как раз в ту минуту, когда мы должны так горячо благодарить небо. Сейчас нам надо подумать о том, каким образом мы сможем встретиться снова, если расстанемся... А расставание, видимо, неизбежно.

— Не говори так! — воскликнула несчастная Берта.

— Так велит судьба, — ответил Хирвард, — но разлука будет недолгой; клянусь тебе своим мечом и алебардой, что острие не так верно рукояти, как я буду верен тебе!

— Но почему же ты тогда покидаешь меня, Хирвард? Почему не поможешь мне освободить мою госпожу?

— Твою госпожу! Стыдись! Как можешь ты называть так простую смертную!

— Но она действительно моя госпожа, и мы связаны тысячью нежных уз, которые так же нельзя расторгнуть, как нельзя не ответить признательностью на доброту.

— А какая ей грозит опасность? — спросил Хирвард. — Чего хочет эта несравненная графиня, которую ты называешь своей госпожой?

— В опасности и ее честь и ее жизнь. Она обязалась помериться силами с кесарем, а этот недостойный злодей постарается, конечно, воспользоваться своими преимуществами во время поединка, который, как ни грустно мне это говорить, видимо, окажется роковым для моей госпожи.

— Почему ты так думаешь? Если верить людям, эта графиня выходила победительницей из многих единоборств с более грозными противниками, чем кесарь.

— Люди не лгут, — сказала молодая девушка, — но ты забываешь, что это происходило в краю, где верность слову и честь не пустой звук, как — увы! — в Греции. Поверь мне, я отнюдь не из девичьего страха снова надела наш национальный наряд, а потому, что, говорят, он вызывает уважение у жителей Константинополя. Я направляюсь сейчас к предводителям крестоносцев, чтобы известить их об опасности грозящей благородной даме,

и воззвать к их человеколюбию, к их вере, к почитанию чести и ненависти к бесчестию, дабы они оказали ей помощь в столь трудную минуту; но теперь, когда мне была ниспослана радость встречи с тобой, все уладится, все будет хорошо — я вернусь к своей госпоже и скажу, кого я видела.

— Погоди еще минутку, мое вновь обретенное сокровище, дай мне все хорошенько обдумать. Эта франкская графиня считает саксов пылью, которую ты сметаешь с подола ее платья. Саксы для нее язычники и еретики. Она посмела превратить в рабыню тебя, свободнорожденную англосаксонку! Меч ее отца по самую рукоять обагрен кровью англосаксов, быть может — кровью Уолтеофа и Ингельреда! К тому же она проявила самонадеянную глупость, присвоив себе и воинственный характер и трофеи, которые по праву должны принадлежать другому полу. И нам нелегко будет найти кого-нибудь, кто стал бы биться вместо нее; ведь все крестоносцы переправились в Азию, туда, где собираются сражаться, и, по приказу императора, никому из них не будет дозволено вернуться на наш берег.

— О боже! — воскликнула Берта. — Как нас меняет время! Сын Уолтеофа, которого я знавала храбрецом, готовым помочь человеку в беде, смелым и великодушным... Таким я представляла его себе во время разлуки! Но вот я снова встретила его, и он оказался расчетливым, холодным и себялюбивым!

— Молчи, девушка! — сказал варяг. — Прежде чем судить о человеке, надо его узнать. Графиня Парижская такова, как я сказал, и тем не менее пусть она смело выходит на арену: когда трижды прозвучит зов трубы, ей ответит другая труба, возвещающая о том, что благородный супруг графини пришел сразиться с кесарем вместо нее; если же он не сможет прибыть — я сам выйду на арену в благодарность за доброту к тебе графини.

— Это правда? Правда? — воскликнула девушка. — Вот слова, достойные сына Уолтеофа, достойные истинного сакса! Пойду скорее домой и утешу свою госпожу; и если действительно воля божья предопределяет победу правого в поединке, то уж на этот раз справедливость обязательно восторжествует! Но ты дал мне понять, что граф здесь, что он на свободе; она начнет меня расспрашивать...

— Достаточно будет, если ты скажешь, что у ее мужа есть друг, который постарается защитить его от его же собственного сумасбродства и неразумия, то есть не друг, но человек, который никогда не был и не будет на стороне

его врагов. А теперь прощай, давно утраченная, давно любимая!..

Больше он не успел ничего сказать — молодая девушка, тщетно пытавшаяся несколько раз выразить свою благодарность, бросилась в объятия возлюбленного и, несмотря на проявленную незадолго до этого стыдливость, запечатлела на его губах поцелуй как выражение признательности, для которой не смогла найти слов.

Они расстались. Берта вернулась к своей госпоже в домик, откуда недавно вышла с таким волнением и страхом, а Хирвард направился к калитке, где его задержала негритянка-привратница; она поздравила красавца варяга с успехом у прекрасного пола, намекнув, что была в некотором роде свидетельницей его встречи с молодой англосаксонкой. Золотая монета, оставшаяся у него от недавних щедрот, заставила ее придержать язык, и, выйдя наконец из Садов философа, наш воин побежал обратно в казармы, чувствуя, что давно уже пришло время накормить графа Роберта, который целый день ничего не ел.

Всем известно, что, поскольку голод не связан с какими-либо приятными или возвышенными ощущениями, ему обычно сопутствует крайнее раздражение и угнетенность. Поэтому неудивительно, что граф Роберт, так долго просидевший в одиночестве и с пустым желудком, встретил Хирварда весьма нелюбезными словами, безусловно неуместными в данном случае и оскорбительными для честного варяга, который неоднократно рисковал в этот день жизнью ради графини и самого графа.

— Однако, приятель,— сказал граф подчеркнуто сдержанным и надменно-холодным тоном, как это всегда делают люди высшего сословия, недовольные теми, кого считают ниже себя,— радушный же ты хозяин, нечего сказать! Конечно, это не столь уж важно; однако, сдается мне, не каждый день случается, чтобы граф христианнейшего королевства обедал за одним столом с наемником, поэтому можно было бы оказать ему если не широкое, то хотя бы должное гостеприимство!

— А мне сдается,— возразил варяг,— о христианнейший граф, что когда люди твоего высокого звания волею судьбы становятся гостями мне подобных, они должны быть всем довольны и, не осуждая хозяев за скупость, понимать, что если обед появляется на столе не чаще одного раза в сутки, винить следует только обстоятельства!

Хирвард хлопнул в ладоши, и в комнату вошел его

слуга Эдрик. Гость Хирварда удивленно взглянул на это новое лицо, нарушившее их уединение.

— За него я ручаюсь,— пояснил Хирвард и обратился к слуге с вопросами: — Какое угощение ты можешь предложить благородному графу, Эдрик?

— Всего лишь холодный паштет, изрядно пострадавший при встрече с тобой за завтраком, господин.

Оруженосец принес большой паштет, который подвергся утром столь свирепой атаке, что граф Роберт Парижский, привыкший, как и все знатные норманны, к более утонченной и изысканной сервировке, заколебался, не уверенный, что голод одержит в нем верх над брезгливостью; однако при ближайшем рассмотрении вид паштета, его запах и к тому же двадцатичасовой пост убедили графа, что паштет превосходен и что на поданном ему блюде сохранились еще непочатые куски. Поборов наконец свои сомнения, граф предпринял смелый набег на эти остатки, а затем, сделав передышку, отхлебнул из стоявшей перед ним заманчивой бутылки доброго красного вина; этот крепкий напиток заметно усилил его расположение к Хирварду, пришедшее на смену выраженному ранее недовольству.

— Клянусь небом, мне следует стыдиться, что у меня так мало той самой учтивости, которой я учу других! — сказал граф.— Я, словно мужлан-фламандец, пожираю припасы своего щедрого хозяина, даже не попросив его сесть за его собственный стол и отведать его собственное отличное угощение!

— В таком случае не стану тягаться с тобой в учтивости,— ответил Хирвард и, запустив руку в паштет, принялся весьма проворно уничтожать разнообразное содержимое, зажатое у него в ладони. Граф в это время встал из-за стола, отчасти потому, что ему претили дурные манеры Хирварда, хотя тот, только теперь пригласив Эдрика принять участие в атаке на паштет, показал тем самым, что, сообразно своим понятиям, он все-таки проявил в какой-то мере уважение к гостю. С помощью оруженосца он начисто опустошил блюдо. Между тем граф Роберт собрался наконец с духом и задал вопрос, который рвался у него с губ с той самой минуты, как Хирвард возвратился домой:

— Скажи мне, любезный друг, сумел ли ты узнать что-нибудь новое о моей несчастной жене, о моей верной Бренгильде?

— Новости у меня есть, но будут ли они тебе приятны, суди сам. Узнал я вот что: как тебе известно, она должна

сразиться с кесарем, но условия этого поединка могут показаться тебе странными; и все же она, не колеблясь, приняла их.

— Каковы же эти условия? Думаю, что мне они покажутся менее странными, чем тебе.

Но хотя граф старался говорить спокойно, глаза его засверкали и пылающее лицо выдало все, что происходило в его душе.

— Ты сам слышал, что твоя супруга и кесарь померятся силами на арене; если графиня победит, она, конечно, останется женой благородного графа Парижского; если она будет побеждена, она станет наложницей кесаря Никифора Вриенния.

— Да оградят ее от этого ангелы небесные и пресвятые угодники! — воскликнул граф Роберт. — Если они допустят, чтобы восторжествовало такое вероломство, никто не сможет обвинить нас, если мы усомнимся в их святости!

— Думается мне, что мы ничем себя не опозорим, — ты, и я, и наши друзья, окажись они у нас, если из предосторожности явимся в то утро на место поединка во всеоружии. Победу или поражение предопределяет судьба, но мы должны убедиться, насколько честно будет вестись бой с таким благородным противником, как прекрасная графиня: ты сам теперь знаешь, что в Греческой империи эти правила иногда нарушаются самым подлым образом.

— При этом условии и заранее объявив, что я не вмешуюсь в бой — разумеется, честный, — даже если моей супруге будет грозить смертельная опасность, я согласен отправиться туда, коль скоро ты сумеешь мне в этом помочь, мой храбрый сакс. — Помолчав, граф добавил: — Но только ты должен обещать мне, что не известишь ее о присутствии супруга и тем более не укажешь ей на него в толпе воинов. О, ты не знаешь, как легко при виде любимого человека мы утрачиваем мужество как раз в ту минуту, когда оно нам особенно необходимо!

— Мы постараемся устроить все так, как хочется тебе, чтобы ты не смог больше ссылаться на всякие нелепые сложности; уверяю тебя, дело само по себе настолько сложно, что нечего запутывать его причудами рыцарской гордости. Сегодня вечером надо еще многое успеть; пока я буду заниматься делами, тебе лучше сидеть здесь, в той одежде и с той едою, какую тебе сможет раздобыть Эдрик. И не бойся, что сюда заглянут соседи: мы, варяги, умеем уважать чужие тайны, каковы бы они ни были.

ГЛАВА XXI

Но за милейшим зятем, за аббатом,
За этой всей достопочтенной шайкой,
Как гончий пес, сейчас помчится смерть.
Погоню, дядя, отряди немедля,
Пускай их ищут в Оксфорде и всюду.
Ах, только бы их разыскать смогли —
Изменников сотру с лица земли.

*«Ричард II»*¹

С этими словами Хирвард оставил графа у себя в комнате и отправился во Влахернский дворец. После первого, описанного нами, появления Хирварда при дворе его часто вызывали туда не только по распоряжению царевны Анны, любившей расспрашивать варяга про обычаи его родины, а затем записывать своим напыщенным слогом его ответы, но и по прямому приказу самого императора, который, как и многие правители, предпочитал получать всевозможные сведения от лиц, занимавших при дворе самое неприметное положение. Подаренный царевной перстень не раз заменял варягу пропуск; он уже так примелькался дворцовым рабам, что стоило ему показать это кольцо старшему из них, как варяга тотчас же провели в небольшой покой, расположенный неподалеку от уже упоминавшегося нами храма муз. В этой комнате сидели император, его супруга Ирина и их ученая дочь Анна Комнин; все они были одеты очень просто, да и сама комната напоминала по убранству обычное жилище почтенных горожан, за исключением того, что на дверях в качестве занавесей висели пуховые одеяла, дабы никто не мог подслушивать у замочных скважин.

— А вот и наш верный варяг! — сказала императрица.

— Мой руководитель и наставник во всем, что касается нравов этих закованных в сталь людей; мне ведь необходимо иметь о них правильное представление, — сказала царевна Анна.

— Надеюсь, государь, ни твоя супруга, ни твоя вдохновенная музами дочь не лишние здесь и могут выслушать вместе с тобой то, что сообщит этот храбрый и преданный нам человек? — спросила императрица.

— Моя дражайшая жена и моя возлюбленная дочь, до сих пор я не хотел обременять вас тягостной тайной; я скрывал ее в глубине души, ни с кем не разделяя своей глубокой печали и тревоги. Особенно ты, моя благородная

¹ Перевод М. Донского.

дочь, будешь потрясена прискорбным известием, ибо в твоём сердце должно теперь поселиться презрение к тому, кого до сих пор ты обязана была уважать,— ответил император.

— Пресвятая дева! — воскликнула царица.

— Соберись с духом,— сказал император,— и помни, что ты порфирородная царица и явилась на свет не для того, чтобы оплакивать нанесенные твоему отцу обиды, а для того, чтобы мстить за них: не забывай, что священная особа императора, чье величие бросает отблеск и на твое чело, должна быть стократ важнее для тебя, чем даже тот, кто делит теперь с тобой ложе.

— К чему ты клонишь, государь? — с трудом сдерживая волнение, спросила Анна Комнина.

— У меня есть основания полагать, что кесарь платит неблагодарностью за все мои милости, в том числе и за ту, что сделала его членом моего семейства и возвела в мои нареченные сыновья. Он действует заодно с кучкой изменников; достаточно назвать их имена, чтобы вызвать из преисподней самого сатану,— столь желанной добычей будут для него эти люди.

— Неужели Никифор оказался способен на это? — спросила изумленная и растерянная Анна.— Никифор, который так часто называл мои глаза своими путеводными звездами! Неужели он мог так поступить — ведь он час за часом слушал историю подвигов моего отца и уверял меня, будто не знает, что его поражает больше — красота слога или героизм этих деяний! У нас были с ним одни мысли, одни взгляды, одно любящее сердце! Ах, отец, не может он быть таким лживым! Вспомни о храме муз!

«Ну, что касается храма,— подумал Алексей,— я счел бы его единственным оправданием этому предательству. Приятно отведать меда, но если объешься им, он вызывает только отвращение...»

— Дочь моя,— сказал он вслух,— будь мужественной: нам самим не хотелось верить постыдной правде, но изменники переманили на свою сторону нашу стражу; ее начальника, благодарного Ахилла Татия, вкупе с таким же предателем Агеластом тоже вовлекли в заговор, для того чтобы они помогли заточить нас в темницу или убить. Несчастливая Греция! В тот самый момент, когда ей так нужны отеческие заботы и покровительство, неожиданный жестокий удар должен был лишить ее отца!

Тут император пролил слезу — потому ли, что ему жалко было своих подданных, потому ли, что жалко было себя,— этого мы не знаем.

— Государь,— сказала Ирина,— не слишком ли ты мешкаешь? Мне думается, нужно немедленно принять меры против такой грозной опасности.

— А я бы сказала, с твоего дозволения, матушка, что отец слишком поторопился в нее поверить,— возразила царевна.— При всей отваге и смелости нашего варяга, его свидетельства, сдается мне, недостаточно, чтобы усомниться в чести твоего зятя, в неоднократно доказанной верности храброго начальника твоей стражи, в глубоком уже, добродетели и мудрости величайшего из твоих философов...

— Но достаточно, чтобы убедиться в самонадеянности нашей слишком ученой дочери,— прервал ее император,— которая полагает, что ее отец не способен сам судить о таком важном для него деле. Скажу тебе одно, Анна: я знаю каждого из них и знаю, насколько им можно доверять; честь твоего Никифора, верность и храбрость главного телохранителя, добродетель и мудрость Агеласта — все это покупал мой кошелек. И останься он столь же полным, а рука — столь же сильной, как раньше, ничто не изменилось бы. Но подул холодный ветер, бабочки улетели, и я должен встретить бурю один, без всякой поддержки. Ты говоришь, мало доказательств? Их вполне достаточно, раз я вижу опасность; то, что сообщил мне этот честный воин, совпадает с моими собственными наблюдениями. Отныне он станет во главе варягов, он будет именоваться главным телохранителем вместо изменника Татия, а за этим еще многое может последовать...

— Позволь мне сказать, государь,— произнес молчавший до сих пор варяг.— В твоей империи многие достигли высокого звания благодаря падению своих начальников, но моя совесть не позволит мне идти таким путем к могуществу, тем более что я снова обрел друга, с которым был давно разлучен, и мне вскоре понадобится твое высочайшее разрешение покинуть эти края, где у меня останутся тысячи врагов, и провести свою жизнь, как проводят ее многие мои соотечественники, под знаменами короля Вильгельма Шотландского...

— Расстаться с тобой, неоценимый воин! — воскликнул с жаром император.— Где еще я найду такого верного бойца, сторонника и друга?

— Я высоко ценю твою доброту и щедрость, мой благородный повелитель, но дозволь обратиться к тебе со смиренной просьбой,— называй меня моим собственным именем и обещаю лишь одно: не гневаться за то, что из-за меня ты перестал доверять твоим слугам. Я очень опечален

тем, что мои донесения несут угрозу и благодетелю моему Ахиллу Татию, и кесарю, который, думается, желал мне добра, и даже Агеласту; но дело не только в этом: я достаточно хорошо знаю, государь, что нередко те, кого ты сегодня осыпаешь самыми драгоценными выражениями твоей милости, завтра оказываются пищей воронов и галок. А мне, признаться, совсем не хотелось бы, чтобы люди рассказывали потом, будто я, англосакс, только для этого вступил на греческую землю!

— Мы, конечно, будем называть тебя твоим собственным именем, любезный Эдуард, — сказал император, пробормотав про себя: «О небо! Опять я забыл, как зовут этого варвара!» — но только до тех пор, пока не найдем другого звания, такого, которое будет достойно нашего доверия к тебе. И загляни тем временем в сей свиток, — в нем, я думаю, находятся все подробности заговора, которые нам удалось узнать, а потом передай его этим женщинам — они, видно, будут сомневаться в опасности, угрожающей императору, до тех пор, пока заговорщики не вонзят ему в грудь кинжалы!

Выполняя приказ императора, Хирвард пробежал глазами свиток, подтвердил кивком головы правильность того, что было в нем написано, и передал его Ирине. Прочитав несколько строк, императрица пришла в такое смятение, что даже не смогла ничего объяснить дочери и только взволнованно сказала ей:

— Читай! Читай и суди сама о признательности и любви твоего кесаря!

Царевна Анна очнулась от глубокой, все поглощающей скорби и посмотрела на указанные строки в свитке с вялым любопытством, быстро перешедшим, однако, в напряженный интерес. Она вцепилась в свиток, как сокол в добычу, глаза ее засверкали от негодования; затем раздался возглас, подобный крику разъяренной птицы:

— О предатель, кровожадный, двуличный предатель! Так вот чего ты хочешь! Да, да, отец! — вскочив, гневно воскликнула она. — Обманутая царевна не поднимет своего голоса в защиту Никифора, не отведет от изменника заслуженной кары! И он думал, что ему будет дозволено развестись с порфирородной царевной и, быть может, убить ее, едва он произнесет пренебрежительную фразу римлян: «Верни ключи, отныне ты не хозяйка в моем доме!»¹ Разве женщину, в жилах которой течет кровь

¹Лаконичная формула развода у римлян. (Прим. автора.)

Комнинов, можно подвергнуть такому же унижению, как домоправительницу ничтожнейшего из римских граждан?

При этих словах она досадливо смахнула слезы, хлынувшие у нее из глаз; ее обычно столь прекрасное, кроткое лицо исказилось от бешенства. Хирвард смотрел на нее с неприязнью, к которой примешивались и страх и сочувствие. Она же снова начала бушевать: природа, одарив ее немалыми способностями, наделила ее в то же время бурными страстями, неведомыми холодно-честолюбивой Ирине и коварному, двуличному, увертливому императору.

— Он за это поплатился! — кричала царица. — Жестоко поплатится! Лицемерный, хитрый, вкрадчивый изменник! И ради кого? Ради мужеподобной дикарки! Кое-что я уже заметила на пиру у того старого глупца! И все же если кесарь, этот недостойный человек, рискнет вступить с ней в поединок, значит он более опрометчив, чем я думала. Ты полагаешь, отец, он настолько безумен, что решится опозорить нас явным пренебрежением? И неужели ты не отомстишь ему?

«Так! — подумал император. — Эту трудность мы преодолели; теперь наша дочь понесется вскачь с горы к своей мести, и ей скорее понадобятся узда и мундштук, чем хлыст! Если бы все ревнивые женщины в Константинополе так неудержимо предавались своей ярости, наши законы, подобно Драконовым, были бы написаны не чернилами, а кровью!»

— Слушайте меня! — сказал он громко. — Ты, жена, и ты, дочь, и ты, любезный Эдуард, вы узнаете сейчас — только вы трое и узнаете, — каким образом я намерен провести государственный корабль через эти мели. Прежде всего постараемся представить себе, что намерены предпринять изменники, и тогда нам станет ясно, как надобно им противодействовать. Вероломный начальник варяжской стражи — увы! — совратил кое-кого из своих подчиненных, раздувая в них гнев на якобы нанесенные им обиды. Часть варягов, по обдуманному заранее плану, будет расставлена на постах вблизи нашей особы; предатель Урсел, как предполагает кое-кто из них, умер, но если б это и было верно, одного его имени достаточно, чтобы собрать его старых соратников, участвовавших вместе с ним в мятеже; у меня есть возможность умиротворить их, но о ней я пока умолчу. Значительная часть Бессмертных, также поддавшись совратителям, должна поддержать горсточку вероломных варягов, которые, согласно замыслу заговорщиков, нападут на нашу особу. Но небольшие изменения в расстановке сторожевых постов, на которые

ты, мой верный Эдуард, или... э... э... как там тебя зовут... на которые ты, повторяю, будешь иметь полномочия, нарушат планы заговорщиков и окружают их преданными нам людьми с таким расчетом, чтобы можно было без труда уничтожить этих негодяев.

— А поединок, государь? — спросил сакс.

— Ты не был бы истинным варягом, если б не задал этого вопроса, — благосклонно кивнув ему, сказал император. — Что касается поединка, его затеял кесарь, и я постараюсь, чтобы эта опасность не миновала Никифора. Он обесчестит себя, если откажется сразиться с этой женщиной, как ни странно само по себе такое сражение; однако, чем бы оно ни кончилось, заговорщики неизбежно попытаются поднять на нас руку, но так же неизбежно и то, что они встретят готовых к бою, хорошо вооруженных противников и потонут в собственной крови.

— Моя месть не нуждается в этом, — заявила царица, — да и тебе, государь, не помешает, если графине будет оказана защита.

— Меня это не касается, — ответил император. — Она явилась сюда со своим мужем незванная. Он дерзко вел себя в моем присутствии, и каков бы ни был конец его безрассудного предприятия, он заслуживает его наравне со своей женой. По правде говоря, я хотел только припугнуть его этими зверьми, которых сии невежественные люди считают исчадиями ада, а его жену — немного встревожить необузданной пылкостью влюбленного грека, — этим и ограничилась бы моя маленькая месть. Но теперь, когда цель достигнута, можно, пожалуй, взять его супругу под наше покровительство.

— Что за жалкая месть! — сказала императрица. — Ты уже не так молод, у тебя есть жена, которая имеет право рассчитывать на некоторое внимание, и тем не менее ты думал испугать такого красавца, как граф Роберт, тем, что собирался соблазнить его супругу-амазонку!

— Прошу прощения, возлюбленная Ирина, эту роль в комедии я предоставил моему зятю, кесарю!

Но бедный император, закрыв в какой-то степени один шлюз, тем самым открыл другой, откуда хлынул еще более бурный поток.

— Как ты позоришь свою мудрость, государь! — воскликнула Анна Комнин. — Какой стыд! При таком уме и такой бороде заниматься столь неприличными затеями! Ведь ты расстраиваешь чужое счастье, и к тому же счастье твоей собственной дочери! Никто не посмел бы раньше сказать, что кесарь Никифор Вриенний заглядывается не

только на свою супругу, но и на других женщин! А теперь сам император научил его этому и вовлек в такую сеть интриг и предательства, что Никифор стал злоумышлять против жизни своего тестя!

— Дочь моя! Дочь моя! Надо родиться от волчицы, чтобы поносить своего отца в столь трудную минуту, когда весь его досуг должен быть посвящен мыслям о защите своей жизни! — вскричала императрица.

— Тихо, женщины, прекратите эти бессмысленные вопли! — остановил их Алексей. — Дайте мне возможность доплыть до спокойной гавани и не мешайте глупыми речами. Видит бог, не такой я человек, чтобы поощрять не только подлинно дурные дела, но даже слабый намек на них!

Произнеся эти слова, он набожно перекрестился и вздохнул. Однако императрица Ирина, выправившись во весь рост, встала перед ним и сказала с такой горечью в голосе и взгляде, какую может породить лишь долго скрываемая и внезапно прорвавшаяся наружу супружеская ненависть:

— Как бы ты ни закончил это дело, Алексей, но лицемером ты прожил жизнь, лицемером и умрешь!

Изобразив на своем лице благородное негодование, она выплыла из комнаты, знаком приказав дочери сопровождать ее.

Император в замешательстве поглядел ей вслед, но быстро овладел собой и обратился к Хирварду тоном оскорбленного величия:

— Ах, мой милый Эдуард (это имя так прочно укоренилось в его памяти, что вытеснило менее благозвучное — Хирвард), видишь как оно бывает даже у сильных мира сего: в трудные для него минуты император точно так же встречает непонимание, как самый последний горожанин; мне хотелось бы убедить тебя — настолько я тебе доверяю! — что моя дочь Анна Комнин пошла характером больше в меня, нежели в мать. Ты видишь, с какой благочестивой верностью она чтит недостойные узы, но я надеюсь вскоре разорвать их и с помощью Купидона заменить другими, не столь тягостными. Я надеюсь на тебя, Эдуард. Случай предоставляет нам счастливую возможность, которой мы должны воспользоваться, — ведь на поле боя соберутся сразу все изменники. Подумай тогда, что на тебя, как говорят на своих турнирах франки, обращены глаза прекрасной дамы. Проси какой угодно награды, и я с радостью дам ее тебе, если только это будет в моей власти.

— Награда мне не нужна, — довольно холодно сказал

варяг.— Больше всего я хочу заслужить надпись на надгробном камне: «Хирвард был верен до конца». Но я все же попрошу у тебя такое доказательство твоего высочайшего доверия, которое, быть может, поразит тебя.

— В самом деле? Скажи нам в двух словах, чего же ты просишь?

— Дозволения отправиться в лагерь герцога Бульонского и просить его быть свидетелем этого необычайного поединка.

— Иными словами, чтобы он вернулся со своими неистовыми крестоносцами и разграбил Константинополь под предлогом свершения правосудия? Ты, по крайней мере, откровенен, варяг!

— Нет, клянусь небом! — воскликнул Хирвард.— Герцог Бульонский прибудет лишь с таким отрядом рыцарей, какой может понадобиться для защиты графини Парижской, если с ней обойдутся нечестно.

— Я готов согласиться даже на это; но если ты, Эдуард, не оправдаешь моего доверия, ты утратишь право на все, что я по-дружески обещал тебе, и, кроме того, навлечешь на себя вечное проклятие, которого заслуживает изменник, с лобзанием предающий ближнего.

— Что касается твоей награды, государь, я отказываюсь от всяких притязаний на нее. Когда корона снова укрепится на твоем челе, а скипетр — в руке, тогда, если я буду жив и ты сочтешь мои скромные заслуги достойными благодарности, я буду молить тебя о дозволении покинуть твой двор и вернуться на свой далекий родной остров. И не считай, что если у меня будет возможность совершить предательство, то я неизбежно его совершу. Ты узнаешь, государь, что Хирвард так же верен тебе, как твоя правая рука верна левой.

И с глубоким поклоном он удалился.

Император посмотрел ему вслед; взгляд его выражал недоверие, смешанное с восхищением.

«Я согласился на то, о чем он просил,— думал Алексей,— дал ему возможность погубить меня, если он к этому стремится. Стоит ему шепнуть одно только слово, и все неистовое полчище крестоносцев, которое я укротил ценой такого количества лжи и еще большего количества золота, вернется, чтобы предать Константинополь огню и мечу и засыпать солью пепелище. Я сделал то, чего дал зарок никогда не делать,— поставил на карту царство и жизнь, доверившись человеку, рожденному женщиной. Как часто я говорил себе — да что там, клялся! — что никогда не соглашусь на такой риск, и все же, шаг за шагом, шел на

него. Странно, но во взгляде и в речах этого человека я вижу такое прямодушие, которое меня покоряет, а главное, что уж совсем непостижимо,— мое доверие к нему растет по мере того, как он становится все более независимым. Я, как искусный рыболов, закидывал ему удочки со всевозможными приманками, даже такими, которыми не пренебрег бы и монарх, и он не попался ни на одну из них, а теперь вдруг проглотил, можно сказать, голый крючок и берется служить мне без всякой пользы для себя. Неужели это свехутонченное предательство? Или то, что люди называют бескорыстием? Если счесть этого человека изменником... еще не поздно, он еще не перешел моста, не миновал дворцовой стражи, которая не знает ни колебаний, ни ослушания. Но нет... Тогда я останусь совсем один, без друга, без наперсника... А-а, я слышу... наружные ворота открылись, опасность, несомненно, обострила мой слух... они закрываются... Жребий брошен. Он на свободе, и судьба Алексея Комнина целиком зависит теперь от ненадежной верности наемника-варяга!»

Император хлопнул в ладоши; появился раб; Алексей приказал подать вина. Он выпил, и на душе у него стало легче.

— Я принял решение,— сказал он,— и теперь спокойно дождусь того, что принесет мне рок: спасения или гибели.

Сказав это, император удалился в свои покои, и больше в эту ночь его никто не видел.

ГЛАВА XXII

Но чу! Труба трубит, зовет
на смертный бой.

Кэмбел

Взволнованный возложенными на него важными делами, варяг шел по озаренным луною улицам, время от времени останавливаясь, чтобы как-то удержать пронесившиеся в голове мысли и хорошенько в них разобраться. Мысли эти наполняли его то радостью, то тревогой; каждой сопутствовал смутный рой видений, который, в свою очередь, прогоняли совсем другие думы. Это был один из тех случаев, когда человек заурядный оказывается неспособным нести неожиданно обрушившееся на него бремя, а в том, кто обладает недюжинной силой духа и лучшим из небесных даров — здравым смыслом, основанном на самообладании, пробуждаются дремавшие в нем таланты, которые он заставляет служить своей цели, подобно смелому и опытному всаднику, управляющему добрым скакуном.

Когда Хирвард, уже не первый раз за этот вечер остановился, погрузившись в раздумье, и отзвук его по-военному четких шагов умолк, ему послышалось, будто где-то вдали заиграла труба. Варяг удивился: эти звуки на улицах Константинополя в такой поздний час возвещали о каком-то необычном событии, так как все передвижения войск производились по особому приказу и ночной распорядок вряд ли мог быть нарушен без важной причины. Вопрос был только в том, какова эта причина.

Неужели восстание началось неожиданно и совсем не так, как рассчитывали заговорщики? Если эта догадка верна, значит его встреча с нареченной после стольких лет разлуки была лишь обманчивым вступлением к новой, на сей раз вечной разлуке. Или же крестоносцы, люди, чьи поступки трудно предугадать, внезапно взялись за оружие и возвратились с того берега, чтобы напасть на город врасплох? Такое предположение казалось наиболее вероятным: у крестоносцев скопилось так много поводов для недовольства, что теперь, когда они впервые собрались все вместе и получили возможность рассказать друг другу о вероломстве греков, у них родилась мысль об отмщении,— это было вполне правдоподобно, естественно и, может быть, даже справедливо.

Однако услышанные варягом звуки больше походили на обычный военный сигнал к сбору, чем на нестройный

рев рогов и труб, непрерывно возвещающий о взятии города, где ужасы штурма еще не уступили места суровой тишине, подаренной наконец несчастным горожанам победителями, уставшими от резни и грабежа. А так как Хирварду в любом случае надобно было знать, что все это означает, он свернул на широкую улицу, проходившую вблизи казарм, откуда, казалось, шли эти звуки; впрочем, Хирвард все равно направлялся туда, только по другому поводу.

Военный сигнал, видимо, не очень поразил жителей этой части города. В лунном свете спокойно спала улица, пересеченная гигантскими тенями башен собора святой Софии, превращенного неверными, после того как они завладели Константинополем, в свое главное святилище. Вокруг не было ни души, а те обитатели, которые выглядывали на секунду из дверей или решетчатых окон, быстро удовлетворив свое любопытство, снова исчезали в доме, закрывшись на все засовы и задвижки.

Хирварду невольно вспомнились предания, которые рассказывали старейшины его клана в дремучих лесах Хэмпшира; в них говорилось об охотниках-невидимках, с шумом мчавшихся на незримых лошадях с незримыми собаками по лесным чащам Германии в погоне за неведомой добычей. Вот такие же звуки, вероятно, и разносились во время этой дикой скачки по населенным призраками лесам, внушая ужас тем, кто их слышал.

— Стыдись! — подавляя в себе суеверный страх, сказал Хирвард. — Ты мужчина, тебе так много доверено, на тебя возлагают столько надежд, а ты предаешься ребяческим фантазиям!

И он пошел дальше, вскинув алебарду на плечо; подойдя к первому же человеку, отважившемуся выглянуть из дверей, он осведомился у него о причине, заставившей военные трубы зазвучать в столь необычный час.

— Не обессудь, господин, право, я ничего не знаю, — сказал горожанин; ему, видно, не очень-то хотелось оставаться на улице и, вступив в разговор, отвечать на дальнейшие расспросы. Это был тот самый склонный к рассуждениям о политике житель Константинополя, с которым мы познакомились в начале нашего повествования; поспешив войти в дом, он покончил тем самым с беседой.

Следующим, кого увидел Хирвард, был борец Стефан, вышедший из дверей, украшенных листьями дуба и плюща в честь недавно одержанной им победы. Он стоял не двигаясь, отчасти потому, что был уверен в своей физической силе, отчасти повинувшись своему грубому, мрачному

нраву, который у людей подобного рода часто принимают за подлинную храбрость. Его льстивый почитатель Лисимах прятался за широкими плечами борца.

Проходя мимо Стефана, Хирвард задал ему тот же вопрос:

— Ты не знаешь, почему сегодня так поздно трубят?

— Тебе это лучше знать, — угрюмо ответил борец, — судя по твоей алебарде и шлему: ведь это ваши трубы, а не наши нарушают первый сон честных людей.

— Негодяй! — бросил ему варяг таким тоном, что борец вздрогнул от неожиданности. — Но когда звучит эта труба, воину некогда наказывать дерзость по заслугам.

Грек так стремительно бросился обратно в дом и начал запира́ть двери, что в своем отступлении едва не сбил с ног художника Лисимаха, внимательно прислушивавшегося к разговору.

Когда Хирвард подошел к казармам, доносившиеся оттуда звуки труб умолкли, но не успел он войти в ворота обширного двора, как эта музыка снова обрушилась на него с ужасающей силой, почти оглушив своей пронзительностью, несмотря на то, что он давно к ней привык.

— Что это все означает, Ингельбрехт? — спросил он у варяга-дозорного, который расхаживал у входа с алебардой в руках.

— Объявление о вызове и поединке. Странные дела происходят у нас, приятель. Неистовые крестоносцы покусили греков и заразили их своим пристрастием к турнирам, словно собаки, которые, как я слышал, заражают друг друга бешенством!

Хирвард ничего ему не ответил и поспешил подойти к толпе своих соратников, собравшихся во дворе и кое-как вооруженных, а то и вовсе безоружных, ибо они выскочили прямо из постелей и теперь теснились вокруг своих трубачей, явившихся в полном параде. Тот, кто возвещал своим гигантским инструментом особые указы императора, тоже был на месте; музыкантов сопровождал небольшой отряд вооруженных варягов во главе с самим Ахиллом Татием. Товарищи Хирварда расступились, давая ему дорогу; подойдя ближе, он увидел, что в казармы явилось шестеро императорских глашатаев; четверо из них (по два одновременно) уже оповестили всех о воле императора; теперь последние двое должны были сделать это в третий раз, как было заведено в Константинополе при объявлении указов государственной важности. Завидя своего наперсника, Ахилл Татий тотчас же подал ему знак — по-видимому,

начальник хотел поговорить с варягом после оповещения. Трубы отгремели, и глашатай начал:

— Именем светлейшего, божественного монарха Алексея Комнина, императора Священной Римской империи! Выслушайте волю августейшего государя, которую он доводит до сведения своих подданных, всех вместе и каждого в отдельности, какого бы рода и племени они ни были, какую бы веру ни исповедовали. Да будет всем известно, что на второй день от сего числа наш возлюбленный зять, высокочтимый кесарь, намерен сразиться с нашим заклятым врагом Робертом, графом Парижским, по случаю дерзости, учиненной названным графом, посмевающим на глазах у всех сесть на императорский трон, а также сломать в нашем высочайшем присутствии редкостные образцы искусства, украшающие наш трон и называемые издревле львами царя Соломона. И дабы ни один человек в Европе не осмелился сказать, что греки отстали от жителей других стран в каком-либо из воинственных упражнений, принятых христианскими народами, упомянутые благородные противники, отказавшись прибегать к помощи обмана, волшебства или магических чар, вступая в поединок, трижды сразятся друг с другом острыми копьями и трижды — отточенными мечами; судьей будет августейший император, который и решит спор по своей милостивой и непогрешимой воле. И да покажет бог, на чьей стороне правда!

Трубы снова оглушительно заревели, возвещая конец церемонии. Затем, отпустив своих воинов, глашатаев и музыкантов, Ахилл подозвал к себе Хирварда и негромко осведомился, не слыхал ли тот чего-нибудь нового о пленнике, графе Роберте Парижском?

— Ничего, кроме того, что сказано в вашем оповещении, — ответил варяг.

— Значит, ты думаешь, что оно сделано с ведома графа?

— Видимо, так. Только он сам и может дать согласие на поединок.

— Увы, мой любезный Хирвард, ты очень простодушен, — сказал главный телохранитель. — Наш кесарь возымел дикую мысль помериться своим слабым умом с умом Ахилла Татия. Этот неслыханный глупец тревожится за свою честь и не желает, чтобы люди подумали, будто он вызвал на поединок женщину или получил вызов от нее. Поэтому вместо ее имени он поставил имя ее супруга. Если тот не явится на место поединка, кесарь, якобы бросивший вызов графу, купит себе победу дешевой ценой, поскольку

некому будет помериться с ним силами, и потребует графиню в качестве пленницы, добытой его грозным оружием. Это послужит сигналом к всеобщей свалке; император будет либо убит, либо схвачен и отправлен в темницу при его собственном Влахернском дворце, где его ждет участь, которую в своем жестокосердии он уготовил стольким людям...

— Но... — начал было варяг.

— Но... но... но... — прервал его военачальник. — Но ты дурак, вот что! Разве ты не понимаешь, что сей доблестный кесарь хочет избежать рискованного сражения с графией, надеясь, в то же время, что все вообразят, будто он жаждет схватиться на арене с ее мужем? Наше дело устроить так, чтобы во время поединка участники восстания были во всеоружии и могли сыграть предназначенную им роль. Проследи только за тем, чтобы наши верные сторонники оказались рядом с императором, отделив его от тех услужливых вояк, которые всюду суют свой нос и могут прийти ему на помощь. Тогда, с кем бы ни сражался кесарь, с мужем или с женой, и независимо от того, состоится ли вообще поединок, переворот увенчается успехом, и вместо Комнинов на константинопольский престол воссядут Татии. Ступай, мой верный Хирвард. И не забудь, что пароль повстанцев — «Урсел, чье имя любовно хранит память людей, хотя сам он, как говорят, уже давно погребен во влахернском подземелье».

— А кто был этот Урсел, о котором я слышал такие противоречивые толки? — спросил варяг.

— Соискатель престола наравне с Алексеем Комнином, добрый, смелый и честный; его соперник одержал над ним победу не столько благодаря ратному искусству или отваге, сколько благодаря хитрости. Думаю, что он умер во влахернской темнице, но когда и как, вряд ли кто-нибудь знает. Однако пора тебе идти и заняться делом, любезный Хирвард! Поговори с варягами, подбодри их. Постарайся привлечь на нашу сторону кого сможешь. Среди так называемых Бессмертных и недовольных горожан многие готовы примкнуть к восстанию и пойти за теми, кому мы поручим открыть действия. С помощью всевозможных уловок Алексей всегда избегал народных соборищ; но теперь это ему не удастся: он не может без урона для своей чести уклониться от присутствия на поединке, на котором должен выступать судьей. Возблагодарим же Меркурия за красноречие, которое убедило императора оповестить всех о поединке, хоть он и не сразу на это решился!

— Значит, ты видел его сегодня вечером? — спросил варяг.

— Видел ли я его? Разумеется, видел. Если б эти трубы заиграли по моему велению, но без его ведома, звуки их сдули бы мне голову с плеч.

— Я, видимо, разминулся с тобой во дворце, — сказал Хирвард, и сердце его при этом забилося так на самом деле.

— Я слышал, что ты был там: ты приходил за последними приказаниями того, кто пока еще мнит себя властителем. Конечно, если бы я увидел, как ты смотришь в глаза коварному греку прямым, открытым, якобы честным взглядом, обманывая его именно этим своим простодушием, я не удержался бы от смеха, зная, как непохоже то, что написано на твоём лице, на то, что затаено в сердце.

— То, что мы таим в сердце, известно одному богу, и я призываю его в свидетели моей верности данному обещанию — я исполню то, что на меня возложено.

— Вот это славно, мой честный англосакс! — сказал Ахилл. — Прошу тебя, позови моих рабов, пусть снимут с меня доспехи; сбрось и ты с себя свое простое снаряжение, да помни при этом, что теперь оно пригодится не более двух раз, — судьба уготовила для тебя более подходящее одеяние!

Опасаясь, что голос выдаст его, Хирвард оставил без ответа эту льстивую речь; он отвесил глубокий поклон и ушел к себе.

Не успел он переступить порог, как граф Роберт обратился к нему с веселым и громким приветствием, не боясь, что его могут услышать, хотя, казалось бы, ему не следовало забывать об осторожности.

— Ты слышал, друг Хирвард? — спросил граф. — Слышал их оповещение? Этот греческий барашек вызывает меня трижды скрестить с ним острое копье и отточенный меч. Странно только, что он не счел более безопасным для себя помериться силами с моей супругой. Может быть, он думает, что крестоносцы не допустят такого поединка? Но — клянусь Владычицей сломанных копий! — он, вероятно, не знает, что людям Запада слава о доблести их жен не менее дорога, чем их собственная. Всю ночь я думал о том, какие мне надеть доспехи, как мне раздобыть коня, и не будет ли для этого кесаря довольно чести, если я выберу один лишь Трансфер против любого его оружия, наступательного и оборонительного!

— Я, во всяком случае, позабочусь, чтобы у тебя было все, что может понадобиться, — ответил Хирвард. — Ты не знаешь греков!

ГЛАВА XXIII

Варяг расстался с графом Парижским лишь после того, как тот передал ему свой перстень с печатью, усеянной «расщепленными копьями» (как гласит геральдика), и гордым девизом «Мое еще не сломлено». Запасшись этим символом доверия, Хирвард должен был теперь сообщить вождю крестоносцев о предстоящем важном событии и попросить у него от имени Роберта Парижского и графини Бренгильды такой отряд западных рыцарей, какой мог бы обеспечить строгое и честное соблюдение турнирных правил как при устройстве арены, так и в ходе поединка. Обязанности Хирварда не позволяли ему самому отправиться в лагерь Готфрида; и, хотя доверия заслуживали многие из варягов, среди непосредственных подчиненных Хирварда не было никого, на чей ум и сообразительность можно было бы полностью положиться в столь непривычном для них деле. Не зная, как выйти из затруднительного положения, Хирвард погрузился в раздумье и скорее бессознательно, чем с определенным намерением, забрел в сады Агеласта, где судьба снова уготовила ему встречу с Бертой.

Не успел Хирвард поделиться с ней своими заботами, как преданная прислужница Бренгильды уже приняла решение.

— Видно, придется мне взять на себя это опасное дело,— сказала она.— Впрочем, так оно и должно быть! Моя госпожа в самые свои беззаботные дни предложила покинуть ради меня отчий дом; ну, а теперь я ради нее пойду в лагерь франкского вельможи. Он человек почтенный и богобоязненный христианин, а его воины — благочестивые паломники. Женщине, которая идет к таким людям и с таким поручением, бояться нечего.

Однако варягу были слишком хорошо известны нравы, царящие в военных лагерях, чтобы отпустить туда красавицу Берту одну. Поэтому он дал ей в провожатые старого воина, вполне надежного, ибо он очень был привязан к Хирварду за многолетнюю доброту к нему и доверие; подробно рассказав девушке о просьбе, которую ей надлежало передать, и попросив ждать его на рассвете за оградой, он опять вернулся в казарму.

Едва забрезжила заря, как Хирвард уже был на том месте, где накануне расстался с Бертой; его сопровождал достойный воин, попечению которого он намеревался поручить девушку. Варяг быстро и благополучно довел их обоих до гавани и посадил на паром; на их пропуске

в Скутари стояла подделанная подпись негодяя заговорщика Ахилла Татия, якобы разрешившего им проезд, причем указанные там приметы совпадали с приметами Осмунда и его юной подопечной; рассмотрев пропуск, перевозчик охотно принял обоих на борт.

Утро было чудесное; вскоре глазам путешественников открылся город Скутари, блиставший, как и ныне, архитектурой самых различных стилей, которой, при всем ее фантастическом своеобразии, нельзя было отказать в красоте. Здания горделиво вздымались среди густых рощ, где кипарисы перемежались с другими деревьями-великанами, сохранившимися, вероятно, потому, что они росли на кладбищах и чтились как стражи мертвых.

В описываемое нами время еще одно разительное обстоятельство придавало особую красоту этому зрелищу. Большая часть смешанного войска, которое пришло отвоевать у неверных святые места в Палестине и сам гроб господень, раскинула лагерь примерно в миле от Скутари. Палаток у крестоносцев почти не было (только самые могущественные из их предводителей жили в шатрах), и воины построили себе шалаши, украшенные листьями и цветами, что придавало им приятный для глаза вид; развевавшиеся высоко над ними флаги и знамена с различными девизами говорили о том, что здесь собрался цвет европейского рыцарства. Незычный многоголосый гул, напоминавший жужжание потревоженного пчелиного роя, доносился из лагеря крестоносцев до самого Скутари; время от времени в это гудение вплетался резкий звук какого-то музыкального инструмента или пронзительный визг не то испуганных, не то веселящихся детей и женщин.

Наконец путники благополучно сошли на берег; когда они приблизились к одним из ворот лагеря, оттуда вылетела стремительная кавалькада пажей и оруженосцев, объезжавших рыцарский и своих собственных лошадей. Всадники подняли такой шум, громко переговариваясь, поднимая коней в галоп, заставляя их делать курбеты и вставать на дыбы, что, казалось, они приступили к своим обязанностям задолго до того, как окончательно протрезвились после ночной попойки. Завидя Берту и ее спутников, они подскакали к ним с криками: «*Al'erta! Al'erta! Roba de guadagno, cameradi*»,¹ выдававшими их итальянское происхождение.

Собравшись вокруг юной англосаксонки и ее провожа-

¹ Что означает: «Внимание! Внимание! Эй, друзья, тут есть чем поживиться!» (Прим. автора).

того, они продолжали кричать с такими интонациями, что Берта затрепетала от страха. Все они спрашивали, что ей нужно в их лагере.

— У меня дело к вашему предводителю, господа мои,— ответила Берта.— Я должна передать ему тайное известие.

— Кому это? — спросил начальник отряда, красивый юноша лет восемнадцати, чей рассудок был, повидимому, более здравым, чем у остальных, или не так затемнен винными парами.— Кто из наших вождей тебе нужен?

— Готфрид Бульонский.

— В самом деле? — сказал тот же паж.— А кто-нибудь менее высокопоставленный тебе не подойдет? Посмотри на нас: все мы молоды и довольно богаты. Герцог Бульонский стар, и если у него водится золото, он не станет проматывать его подобным образом.

— Но у меня есть некий залог, который удостоверяет, что я послана к Готфриду Бульонскому,— ответила Берта.— Не думаю, чтобы герцог поблагодарил тех, кто помещает мне пройти к нему.— Показав маленькую коробочку, в которой хранился перстень с печатью графа Парижского, она продолжала: — Я доверю ее тебе, если ты пообещаешь не открывать ее и поможешь мне пройти к благородному вождю крестоносцев.

— Обещаю,— сказал юноша,— и, если герцог пожелает, ты будешь допущена к нему.

— Твой утонченный итальянский ум не помешал тебе попасться в ловушку, о Эрнест Апулийский! — сказал один из всадников.

— Глупый ты горец, Полидор! — ответил Эрнест.— В этом деле, возможно, кроется нечто такое, что недоступно ни твоему разуму, ни моему. И девушка и один из ее провожатых одеты как варяги из императорской стражи. Может статься, у них поручение от императора, а на Алексея это как раз похоже — доверить его таким посланцам. Поэтому проводим их с честью к шатру военачальника.

— С удовольствием,— сказал Полидор.— Голубоглазые девчонки хороши, но мне не нравится, как потчует и наряжает наш предводитель тех, кто не устоял перед искушением.¹ И все-таки, чтобы не оказаться таким же глупцом, как мой приятель, я сперва хочу узнать, кто эта

¹ Если кто-либо из крестоносцев оказывался виновным в проступках против нравственности, его обмазывали смолой и вываливали в перья. Это наказание ошибочно считается изобретением более поздних времен. (Прим. автора).

красотка, которая явилась напомнить благородным принцам и благочестивым паломникам, что и они когда-то не были чужды людским слабостям?

Берта подошла к Эрнесту и шепнула ему на ухо несколько слов. Тем временем Полидор и другие веселые юнцы не переставали отпускать вслух непристойные замечания и остроты; хотя эти шуточки как нельзя лучше рисуют грубость молодых людей, мы все же не будем приводить здесь. Однако они в некоторой степени поколебали мужество юной англосаксонки; ей пришлось набраться решимости, прежде чем обратиться к этим юношам:

— Если у вас есть матери, господа мои, если у вас есть милые сестры, которых вы готовы защитить от бесчестия своей кровью, если вы любите и почитаете те святыя места, которые поклялись освободить от неверных, сжальтесь надо мной, и небо пошлет вам удачу во всех ваших замыслах!

— Не бойся, девушка,— сказал Эрнест,— я беру тебя под свою защиту, а вы, друзья, повинуйтесь мне. Пока вы тут горланили, я, каюсь, нарушил свое обещание и взглянул на врученный мне девушкой предмет; если ту, которой он доверен, кто-нибудь обидит или оскорбит, Готфрид Бульонский строго накажет виновного, уверяю вас!

— Ну, раз ты ручаешься за это, приятель, я сам берусь довести сию молодую особу со всем почетом и в неприкосновенности до шатра герцога Готфрида,— сказал Полидор.

— Принцы скоро соберутся там на совет,— добавил Эрнест.— А что касается того, что я сказал, то за каждое свое слово я готов поручиться головой. Я теперь о многом догадываюсь, но мне кажется, эта рассудительная девица сама сумеет все сказать.

— Да благословит тебя небо, доблестный рыцарь! — воскликнула Берта.— Да ниспошлет оно тебе храбрость и удачу! Не утруждай себя больше ничем, только помоги мне благополучно добраться до вашего вождя Готфрида.

— Мы тратим попусту время,— соскочив с коня, сказал Эрнест.— Ты не изнеженная восточная красавица и справишься, вероятно, со смиренной лошадкой.

— Конечно, справлюсь,— ответила Берта; завернувшись в свой воинский плащ, она без всякой поддержки вскочила на норовистого коня с такой же легкостью, с какой коноплянка взлетает на розовый куст.— А теперь, господин, так как мое дело и вправду не терпит отлагательств, я буду тебе очень благодарна, если ты незамедлительно проводишь меня к шатру Готфрида Бульонского.

Приняв любезное предложение молодого апулийца, Берта имела неосторожность расстаться со стариком варягом; однако намерения юноши были вполне честные, и, указывая ей путь среди палаток и шалашей, он довел ее до самого шатра прославленного вождя крестоносцев.

— Придется тебе здесь немного обождать под охраной моих друзей,— сказал апулиец (несколько любопытных пажей отправились вместе с ними, желая знать, чем кончится дело),— а я пойду к герцогу Бульонскому за дальнейшими приказаниями.

Возразить на это было нечего, и Берте только и оставалось, что восхищенно разглядывать шатер, подаренный в приступе щедрости и великодушия греческим императором вождю франков. На высокие позолоченные шесты в виде копий была натянута тяжелая ткань из шелковых, бумажных и золотых нитей. Стража, окружавшая шатер, состояла из суровых старых воинов, в большинстве своем оруженосцев и телохранителей знатных военачальников, возглавлявших крестовый поход; им можно было доверить охрану высокого собрания, не боясь, что они разболтают то, что случайно услышат. Их лица хранили строгое и серьезное выражение, как бы говорившее о том, что они отметили себя знаком креста не из пустой любви к военным приключениям, а во имя важной и возвышенной цели. Один из них остановил итальянца и спросил, какое дело привело его на совет крестоносцев, уже начавшийся в шатре. Паж в ответ назвал себя: «Эрнест Отрантский, паж принца Танкреда», и заявил, что ему надо оповестить герцога Бульонского о девушке, которая хочет передать лично ему одно известие.

Тем временем Берта скинула верхний плащ и оправила свою одежду на англосакский манер. Не успела она это сделать, как вернулся паж принца Танкреда, чтобы проводить ее в совет. По данному Эрнестом знаку она последовала за ним, а остальные юноши, удивленные видимой легкостью, с какой она получила доступ к герцогу, отошли от шатра на почтительное расстояние и принялись обсуждать удивительное утреннее приключение.

Меж тем посланница вступила в шатер, являя приятную смесь стыдливости, сдержанности и отважной решимости во что бы то ни стало исполнить свой долг. На совет собралось около пятнадцати предводителей крестоносцев во главе с Готфридом. Герцог Бульонский был высок и крепко сложен; он достиг того возраста, когда люди, несколько не утратив твердости и настойчивости, обычно приобретают вместе с тем мудрость и осмотрительность,

незнакомые им в юношеские годы. Во всем его облике сочетались благоразумие и смелость, подобно тому как в его кудрях соседствовали черные пряди и серебристые нити.

Танкред, благороднейший из христианских рыцарей, сидел неподалеку от него вместе с Гуго, графом Вермандуа, звавшимся обычно Великим Графом, себялюбивым и коварным Боэмундом, могущественным Раймондом Прованским и другими предводителями крестоносцев; все они были закованы в броню.

Берта, стараясь сохранить присутствие духа, с робкой грацией подошла к Готфриду, вручила ему возвращенный молодым пажом перстень и, низко поклонившись, проговорила:

— Готфрид, герцог Бульонский, властитель Нижней Лотарингии, глава святого дела, именуемого крестовым походом, и вы, равные ему, его доблестные соратники и спутники, почитаемые под разными титулами, к вам обращаюсь я, скромная английская девушка, дочь Ингельреда, хэмпширского землевладельца, который стал вождем Лесовиков, или свободных англосаксов, подчинявшихся прославленному Эдрику. Я прошу о доверии как предъявительница врученного вам подлинного перстня, посланного графом Робертом Парижским, который занимает среди вас не последнее место...

— И является нашим достойнейшим союзником,— глядя на перстень, сказал Готфрид.— Большинству из вас, благородные рыцари, знакома, вероятно, эта печать — поле, усеянное обломками расколотых копий.

Перстень пошел по рукам, и почти все присутствующие его признали.

После слов Готфрида девушка продолжила свою речь:

— Я обращаюсь от его имени ко всем истинным крестоносцам, соратникам Готфрида Бульонского, и особенно к самому герцогу,— ко всем, повторяю кроме Боэмунда Тарентского, которого он считает недостойным своего внимания...

— Что? Это я недостойн его внимания? — воскликнул Боэмунд.— Что ты хочешь этим сказать, девушка? Впрочем, граф Парижский сам даст мне ответ!

— С вашего дозволения, рыцарь Боэмунд, не даст,— возразил Готфрид.— Наши правила запрещают нам вызывать на поединки друг друга, и если дело не будет улажено самими противниками, оно должно быть разрешено на этом высоком совете.

— Кажется, я догадываюсь теперь, в чем тут дело,— заявил Боэмунд.— Граф Парижский зол на меня, он в яро-

сти оттого, что я дал ему накануне нашего ухода из Константинополя добрый совет, а он пренебрег им и не пожелал последовать ему...

— Все это станет ясным после того, как мы выслушаем его послание,— прервал Боэмунда герцог Бульонский.— Скажи нам, девушка, что просил сообщить граф Роберт Парижский, и тогда мы попробуем разобраться в этом пока еще непонятном нам деле.

Вкратце изложив предшествовавшие события, Берта заключила свою речь следующими словами:

— Поединок должен состояться завтра, часа через два после восхода солнца, и граф просит благородного герцога Бульонского дозволить пятидесяти французским копьеносцам быть свидетелями этой встречи, дабы она прошла честно и достойно, согласно всем правилам, которые, как полагает граф, вряд ли будет соблюдать его противник. Если же какой-нибудь молодой или доблестный рыцарь пожелает по собственной воле присутствовать на означенном поединке, граф сочтет это присутствие за честь, но тем не менее просит, чтобы имя этого рыцаря непременно было названо в числе тех вооруженных крестоносцев, которые придут на поединок; это число, проверенное самим герцогом Готфридом, не должно превышать пятидесяти копий, достаточных для требуемой защиты; большее же число их может навести греков на мысль о подготовке к нападению, и тогда снова возобновятся распри, сейчас, по счастью, утихшие.

Не успела Берта закончить свое сообщение и с большим изяществом поклониться собранию, как крестоносцы начали перешептываться; этот шепот перешел затем в оживленный разговор.

Несколько пожилых рыцарей и высокопоставленных духовных лиц, вошедших к этому времени в шатер, чтобы принять участие в совете, решительно настаивали на соблюдении данного им торжественного обета не делать ни шага назад на пути к Палестине, особенно теперь, когда они уже приблизились к своей святой цели. Молодые же рыцари, напротив, воспылали негодованием, услышав, в какую ловушку попал их соратник, и лишь немногим из них казалось возможным пропустить турнир, который должен был состояться неподалеку, да еще в стране, где подобные зрелища крайне редки.

Готфрид сидел, подперев голову рукой; видно было, что он находится в большом затруднении. Он уже стерпел столько обид, лишь бы сохранить мирные отношения с греками, что порвать с ними теперь считал весьма неблагоприятным.

зумным; при этом пришлось бы пожертвовать всем, чего он добился путем множества тягостных уступок Алексею Комнину. С другой стороны, как человек чести, он должен был отплатить за оскорбление, нанесенное графу Роберту Парижскому, который благодаря жившему в нем истинно рыцарскому духу стал любимцем всего войска. Кроме того, дело касалось и прекрасной дамы, к тому же очень храброй,— любой из рыцарей-крестоносцев чувствовал себя обязанным в силу своего обета поспешить к ней на помощь. И когда Готфрид заговорил, он прежде всего посоветовал на то, как трудно в этом случае принять решение и как мало у них времени, чтобы все обдумать.

— Да позволит мне герцог Бульонский сказать, что я был рыцарем до того, как стал крестоносцем, и дал обет рыцарства раньше, чем отметил свое плечо этим священным символом,— возвысил голос Танкред,— а обет, произнесенный первым, должен быть первым и выполнен. Поэтому я наложу на себя епитимью за то, что отсрочу исполнение второго обета, дабы соблюсти главный долг рыцаря и прийти на помощь прекрасной даме, попавшей в беду и оказавшейся в руках людей, которые ведут себя столь постыдно и по отношению к ней и по отношению к нашему войску, что их с полным правом можно назвать вероломными негодяями!

— Если мой родич Танкред умерит свой пыл,— сказал Боэмунд,— а вы, благородные рыцари, соблаговолите, как это порою уже случалось, прислушаться к моим словам, я, кажется, подскажу вам, каким образом можно, не нарушив обета, помочь нашим сподвижникам, попавшим в беду. Я вижу, кое-кто посматривает на меня с подозрением,— может быть, это вызвано той грубостью, с какой сей неистовый, а в этих обстоятельствах попросту безумный молодой воин отказался от моей помощи. Вся моя вина заключается в том, что словом и примером я предостерег его против замышляемого предательства и призвал к умеренности и терпению. Но он пренебрег моим предостережением, не захотел последовать моему примеру и попал в западню, расставленную, можно сказать, перед самым его носом. И все же я думаю, что граф Парижский, опрометчиво оказав мне неуважение, действовал лишь под влиянием своего нрава, ставшего из-за всех этих невзгод и злоключений безрассудным, вернее — просто бешеным. Однако я не сержусь на него и даже готов, с дозволения герцога и всего совета, поспешить с пятьюдесятью копьеносцами к месту поединка; и так как каждому копьеносцу положена свита в десять воинов, наша численность возра-

стает до пятисот человек; с таким отрядом я, несомненно, смогу освободит графа и его супругу.

— Твое предложение благородно, и к тому же ты подаешь пример милосердного забвения обид, которое подобает всякому, кто входит в наше христианское войско,— сказал герцог Бульонский.— Но ты позабыл о главной трудности, брат Боэмунд,— о том, что мы поклялись ни разу не обращать наших шагов вспять на этом священном пути!

— Если сию клятву можно обойти, наш долг велит нам сделать это,— возразил Боэмунд.— Разве мы такие неопытные наездники и наши кони так плохо объезжены, что мы не сможем заставить их пятиться до самой пристани в Скутари? Таким же образом они взойдут и на суда; а в Европе, где наша клятва уже не будет нас связывать, мы спасем графа и графиню Парижских, и наш обет перед лицом небес останется ненарушенным.

Шатер огласился дружными криками:

— Многая лета благородному Боэмунду! Да падет позор на наши головы, если мы не поспешим, на помощь столь доблестному рыцарю и столь прекрасной даме, когда мы можем это сделать, не нарушив обета!

— Мне кажется, мы скорее обходим, чем решаем вопрос,— сказал Готфрид,— но такие обходы допускались самыми учеными и самыми строгими служителями церкви; и я, не колеблясь, принимаю предложение Боэмунда — ведь если бы враг напал на нас с тыла, мы были бы вынуждены обратиться вспять.

Кое-кто из числа членов совета, особенно духовные лица, склонны были думать, что торжественную клятву, связывающую крестоносцев, надо соблюдать буквально. Однако, по мнению Петра Пустынника — он тоже заседал в совете и пользовался там большим влиянием,— «точное следование обету повело бы к ослаблению военной мощи крестоносцев, потому оно недопустимо, и незачем придерживаться буквального толкования клятвы, если ее можно искусно обойти».

Он даже предложил сам поехать, пятясь на своем осле, и хотя Готфрид Бульонский отговорил его от этого, не желая, чтобы Петр стал посмешищем в глазах язычников, тот произвел своими доводами такое впечатление на рыцарей, что они, уже перестав сомневаться в возможности подобной езды, стали бурно спорить о том, кому достанется честь принадлежать к отряду, который доберется до Константинополя, станет свидетелем поединка и вернет крестоносцам целыми и невредимыми храброго графа Парижского, в чьей победе никто не сомневался, и его супругу-амазонку.

Этим спорам Готфрид тоже положил конец, самолично избрав пятьдесят рыцарей, составивших отряд. В него вошли представители разных стран; командование отрядом было возложено на молодого Танкреда Отрантского. Хотя Боэмунд настойчиво хотел принять участие в освобождении графа Роберта, Готфрид отказал ему, под предлогом, что его знание этих краев и их жителей крайне необходимо совету для составления плана похода на Сирию. На самом же деле Готфрид опасался, что корыстолюбивый Боэмунд, искусный в военном деле и очень ловкий человек, очутившись во главе отдельного отряда, при первом удобном случае попытается укрепить собственное могущество и владения, позабыв о священных целях крестового похода. Входявшие в отряд молодые рыцари были главным образом озабочены тем, как достать хорошо обьезженных коней, которые легко и послушно совершат маневр, избавляющий всадников от нарушения обета. Наконец отряд был полностью составлен и получил приказание собраться в тылу, иными словами — на восточной границе лагеря. Тем временем Готфрид передал Берте послание к графу Парижскому, в котором, слегка пожурив его за недостаточную осторожность в общении с греками, извещал, что посылает ему на помощь отряд в пятьдесят копьеносцев с соответствующим числом оруженосцев, пажей, вооруженных всадников и лучников, всего пятьсот человек, под командованием храброго Танкреда. Готфрид также сообщал графу, что посылает ему латы из лучшей миланской стали и надежного боевого коня, которыми просит воспользоваться на поединке, — Берта не преминула рассказать герцогу о том, что граф нуждается в рыцарском снаряжении. К шатру тут же привели коня в полном боевом уборе, закованного в сталь и нагруженного доспехами для графа. Готфрид сам вложил повод в руку Берты.

— Не бойся, можешь смело довериться этому коню, он смирный и послушный, но вместе с тем быстроногий и неустрашимый. Садись на него и старайся держаться поближе к благородному Танкреду Отрантскому — он будет верным защитником девушки, которая проявила сегодня столько сметливости, мужества и верности.

Берта низко поклонилась; ее щеки запылали от похвал человека, чьи таланты и достоинства пользовались всеобщим признанием и снискали ему высокое положение предводителя войска, в которое входили самые отважные и самые прославленные военачальники христианских стран.

— А это что за люди? — спросил Готфрид, завидя стоявших поодаль спутников Берты.

— Один из них паромщик, который перевез меня сюда, а другой — старик варяг, данный мне в телохранители.

— Вряд ли будет благоразумно дозволить им сопровождать тебя — ведь они могут воспользоваться здесь своими глазами, а затем на том берегу развязать языки, — сказал вождь крестоносцев. — Пусть они ненадолго останутся тут. Жители Скутари не сразу поймут наши намерения, а мне хотелось бы, чтобы принц Танкред и его спутники сами объявили о своем прибытии.

Берта передала своим провожатым повеление военачальника крестоносцев, умолчав о том, что побудило его к этому; паромщик начал возмущаться жестокостью людей, лишаящих его заработка, а Осмунд стал жаловаться, что ему не позволяют вернуться к его обязанностям. Но Берта, по приказу Готфрида, все же рассталась с ними, заверив их, что они вскоре будут на свободе. Оставшись одни, они начали развлекаться, каждый по-своему. Паромщик пошел разглядывать все, что было ему в диковинку, а Осмунд, приняв тем временем от одного из слуг предложение позавтракать, занялся бутылкой такого славного красного вина, что оно примирило бы его и с худшей долей.

Пятьдесят копьеносцев с вооруженной свитой, всего пятьсот человек, входивших в отряд Танкреда, подкрепившись, успели облачиться в доспехи и сесть на коней еще до наступления знойной полуденной поры. После ряда маневров, совершенно непонятных скутарийским грекам, которые с любопытством смотрели на приготовления отряда, всадники выстроились по четверо в ряд и одну колонну, а затем все одновременно начали осаживать своих коней назад. Это движение было привычным и для всадников и для коней, и зрителей вначале оно не так уж удивило; но когда отряд крестоносцев все тем же способом вошел в Скутари, жители города начали догадываться, в чем тут дело. Когда же Танкред и еще несколько человек, чьи лошади были особенно хорошо обьежены, достигли гавани, захватили галеру, на которую ввели своих коней, и, несмотря на сопротивление портовой стражи, отчалили от берега, в городе поднялось невообразимое волнение.

Другим всадникам пришлось гораздо труднее, ибо они не привыкли долго двигаться столь необычным аллюром; поэтому многие рыцари, проехав, пятясь, несколько сот ярдов, решили, что этого вполне достаточно для соблюдения обета и, поскакав в город уже обычным образом, без дальнейших церемоний овладели несколькими судами, которые, несмотря на приказ греческого императора, оста-

лись на азиатском берегу пролива. С менее искусными наездниками произошли несчастные случаи; хотя и в ту эпоху и существовала поговорка, что нет ничего смелее слепой лошади, но вследствие такого способа передвижения, когда ни всадник, ни конь не видели, куда они едут, несколько лошадей упало, другие налетели на опасные препятствия, в результате чего всадники пострадали гораздо больше, чем при обычном походе.

Упавшим грозила также опасность нападения со стороны греков; по счастью, Готфрид, поборов свои религиозные сомнения, послал к ним на выручку отряд крестоносцев, который быстро справился со своей задачей. Большей части спутников Танкреда удалось, как они и рассчитывали, сесть на суда, и в конце концов отстало не более сорока человек. Однако, чтобы завершить путешествие, даже принцу Отрантскому, не говоря уже о его спутниках, пришлось заняться отнюдь не рыцарским делом, а именно взяться за весла. Это оказалось для них тяжким испытанием — мешали и ветер, и сильное течение, и собственная неопытность. Сам Готфрид с тревогой следил с соседнего холма за их продвижением вперед и был весьма опечален, видя, с каким трудом они плыли; все это еще осложнялось необходимостью держаться всем вместе, поэтому даже те суда, которые могли бы двигаться сравнительно быстро, замедляли ход, поджидая менее поворотливые и с неловким экипажем. Но все же они продвигались вперед, и глава крестоносцев не сомневался, что отряд благополучно достигнет другого берега до захода солнца.

Наконец он удалился со своего наблюдательного поста, а вместо него остался бдительный страж, которому велено было немедленно сообщить, как только суда причалят к противоположному берегу. Если это произойдет еще засветло, воин разглядит их невооруженным глазом, а если уже стемнеет, принц Отрантский зажжет сигнальные огни; в случае, если отряд встретит сопротивление греков, огни следовало расположить в особом порядке, для обозначения грозящей отряду опасности.

Затем Готфрид вызвал к себе греческие власти Скутари и объяснил им, что ему необходимо иметь наготове столько судов, сколько они сумеют предоставить; на этих судах он намеревался в случае надобности переправить через пролив мощное войско для поддержки тех, кто ранее отплыл в Константинополь. Только после этого он поскакал обратно в лагерь; шедший оттуда гул, более громкий, чем обычно, потому что множество людей вело там шумные споры о событиях минувшего дня, смешивался с глухим рокотом бурливого Геллеспонта.

ГЛАВА XXIV

Все подготовлено. Отсеки мины
Полны горючим. Как песок, безвредно
Оно по виду, но одна лишь искра
Так может изменить его природу,
Что тот, кто должен мину подвести,
Страшится разбудить ее не меньше
Того, чью крепость взрыв сметет с земли.

Неизвестный автор.

Когда небеса внезапно темнеют и дышать становится тяжело, все бессловесные твари чувствуют, что надвигается буря, которая сулит им беду. Птицы улетают в лесную чащу, дикие звери, движимые инстинктом, прячутся в самые глухие дебри, а домашние животные проявляют свой страх перед близкой грозой необычным поведением, говорящим об их тревоге и ужасе.

И человек, если поощрять и развивать в нем врожденные способности, может, по-видимому, в таких случаях, наподобие низших тварей, предчувствовать близость бури. Возможно, мы слишком усердно развиваем наш разум — так усердно, что он полностью глушит и подавляет те естественные инстинкты, которыми наделила нас сама природа, дабы предостеречь от грозящей опасности.

Однако кое-что от этой восприимчивости в нас сохранилось и по сей день; смутные чувства, возвещающие нам, подобно вещим сестрам, всяческие горести и невзгоды, омрачают нам, как внезапное облако.

В тот роковый день, который предшествовал поединку кесаря с графом Парижским, по Константинополю ходили самые противоречивые и в то же время зловещие слухи. Кое-кто говорил, что вот-вот вспыхнет тайно готовящийся мятеж; другие утверждали, будто над обреченным городом будут развеваться знамена войны; что касается повода к ней и предполагаемого неприятеля, тут мнения расходились. По словам одних, варвары из пограничной Фракии — венгры, как их называли, — и куманы двинулись внутрь страны, намереваясь захватить город врасплох; по другим сведениям, турки, которые обосновались в те времена в Азии, решили предупредить нападение крестоносцев на Палестину, предприняв со свойственной им быстротой один из своих бесчисленных набегов не только на западных паломников, но и на христиан Востока.

Были и другие, более близкие к правде слухи, будто сами крестоносцы, по многим причинам недовольные Алексеем Комнином, решили обрушиться на столицу и сверг-

нуть императора или покарать его; гнев этих свирепых людей, обладавших такими странными повадками, мог привести к последствиям, которые заранее приводили в ужас встревоженных горожан. Короче говоря, все были убеждены, что на столицу надвигается страшная опасность, хоть и не сходились во мнениях относительно подлинных причин, породивших ее; эта уверенность до некоторой степени подтвердилась передвижениями войск. Варяги, равно как и Бессмертные, постепенно скапливаясь, занимали ключевые позиции в городе; под конец обитатели Константинополя увидели целую флотилию галер, гребных и транспортных судов Танкреда и его спутников; суда эти вышли из Скутари и попытались занять такое положение в узком проливе, чтобы течение отнесло их прямо к константинопольской гавани.

Сам Алексей Комнин был поражен неожиданным появлением крестоносцев. Но, поговорив с Хирвардом, на которого решил полностью положиться, зайдя при этом так далеко, что отступление стало уже невозможным, император успокоился; к тому же отряд западных рыцарей был слишком мал и не мог замышлять такую дерзость, как нападение на его столицу. Как он небрежно объяснил своим приближенным, вряд ли можно было предполагать, что возвестившая о поединке труба, прозвучав столь близко от лагеря крестоносцев, не вызвала хотя бы у некоторых рыцарей естественного стремления выяснить причину этого события и поглядеть на исход боя.

У заговорщиков тоже возникли затаенные страхи при виде маленькой эскадры Танкреда. Агеласт верхом на муле отправился к берегу моря, на то место, которое теперь зовется Галатой. Там он встретил старика, перевозившего Берту в Скутари, — Готфрид отпустил его на свободу, движимый как презрением, так и желанием отвлечь его рассказами внимание константинопольских заговорщиков. Понукаемый настойчивыми расспросами Агеласта, паромщик сообщил, что, насколько он понимает, этот отряд отправлен по настоянию Боэмунда и находится под начальством его родича Танкреда, чье прославленное знамя развевалось на головном судне. Это ободрило Агеласта — плетя свои интриги, он вошел в тайные сношения с коварным и весьма алчным князем Антиохийским. Философ задался целью получить от Боэмунда отряд крестоносцев, который принял бы участие в заговоре и послужил мятежникам подкреплением. Правда, Боэмунд ему не ответил, но, судя по рассказу паромщика и по тому, что в проливе появилось судно, украшенное знаменем Танкре-

да, родича Боэмунда, философ решил, что его предложения, подарки и обещания соблазнили корыстолюбивого итальянца и что Боэмунд направил сюда этот отряд, дабы оказать ему, Агеласту, содействие.

Собравшись уезжать и повернув мула, Агеласт чуть было не столкнулся с человеком, который был так же старательно закутан и, по-видимому, так же стремился остаться неузнанным, как сам философ. Однако Алексей Комнин — ибо это был император — узнал Агеласта — если не по чертам лица, то по фигуре и движениям; не удержавшись, Алексей мимоходом прошептал на ухо философу известные строки, которые метко определяли разнообразие познания мнимого мудреца:

Grammaticus, rhetor, geometres, pictor, aliptes,
Augur, schoenobates, medicus, magus; omnia novit.
Grcilus esuriens in coelum, jusseris, ibit.¹

Услышав голос императора, Агеласт вздрогнул от неожиданности, но сразу же овладел собой, хоть у него и возникло подозрение, что его предали; не обращая внимания на сан собеседника, он ответил цитатой, которая, в свою очередь, должна была возбудить в Алексее не меньшую тревогу. Ему пришли на ум те самые слова, с какими якобы тень Клеоники обратилась к убившему ее тирану:

Tu cole justitiam; teque atque alios manet ultor.²

Эти слова и вызванные ими воспоминания заставили императора внутренне содрогнуться; однако он пошел дальше, ничего не ответив, словно и не слышал их.

«Наверно, грусный заговорщик окружен своими сообщниками, иначе он не рискнул бы обратиться ко мне с такой угрозой,— подумал Алексей.— А может быть, тут кроется нечто более страшное: ведь Агеласт уже стоит одной ногой в могиле — не обрел ли он удивительный дар пророчества? Быть может, он говорит теперь не столько по собственному разумению, сколько повинуюсь странному наитию, которое и продиктовало ему этот ответ? Неужели и впрямь, исполняя свой императорский долг, я стал таким

¹ Он и философ и врач, математик он и ваятель,
Канатоходец, авгур, чародей и все, что угодно.
Жадному греку позволь, так он и на небо полезет (лат.).

Строки из Ювенала, которым подражал Джонсон в своем «Лондоне»:

Француз, освоив курс земных наук,
Пойдет хоть в ад — расширить знаний круг. (Прим. автора).

² Будь справедлив, над тобой и над всеми бодрствует мститель (лат.).

грешником, что предостережение злосчастной Клеоники, обращенное к тому, кто совершил над ней насилие, а потом убил ее, приложимо ко мне? Нет, не думаю. Без справедливой строгости я не мог бы сохранить за собой престол, куда небу было угодно возвести меня и где я должен держать себя как подобает монарху и правителю страны. Мне кажется, что людей, к которым я проявил милосердие, ничуть не меньше, чем тех, кто понес за свою вину заслуженную кару. Но каким бы заслуженным ни было это наказание, осуществлялось ли оно всегда законным и справедливым образом? Вряд ли моя совесть в состоянии ответить на столь прямой вопрос; да и есть ли на свете человек, даже если в добродетели он не уступает самому Антонину, который, будучи облечен властью и занимая такое высокое положение, тем не менее бестрепетно выслушал бы намек, таившийся в словах предателя? *Tu sole justitiam* — «Будь справедлив...», *Teque atque alios manet ultor* — «И тебе и другим угрожает мститель». Поеду к патриарху! Сейчас же поеду к нему... Покаюсь перед ним в грехах, он мне их отпустит, и я получу право провести последний день своего царствования, зная, что я невинен или по крайней мере прощен... А ведь это редко выпадает на долю тех, кого судьба так вознесла».

И он направился ко дворцу патриарха Зосимы, которому мог спокойно открыться, ибо тот уже давно считал Агеласта тайным врагом церкви и приверженцем древних языческих учений. На государственных советах они всегда выступали друг против друга, и Алексей не сомневался, что, посвятив патриарха в тайну заговора, приобретет в его лице верного и надежного помощника в борьбе с изменниками. Он тихо свистнул, и в ответ на этот сигнал к нему тотчас подъехал доверенный слуга, незаметно сопровождавший его на некотором расстоянии.

Алексей Комнин поехал к патриарху — быстро, однако не настолько, чтобы привлечь на улицах чье-либо внимание. По дороге ему не раз приходила на ум угроза Агеласта, и совесть напоминала о слишком многих событиях его царствования; хотя их можно было оправдать необходимостью — обычной отговоркой всех тиранов, но они вполне заслуживали жестокого возмездия, которое так долго откладывалось.

Когда показались величественные башни, украшавшие фасад патриаршего дворца, Алексей свернул в сторону от высоких ворот, въехал в небольшой двор, спешил и, передав мула своему прислужнику, остановился перед какой-то дверью с низким сводом и скромным архитравом,

которая, судя по ее неказистому виду, не могла вести во дворец. Однако когда Алексей постучал, ему открыл священник, хотя и невысокого чина; как только император назвал себя, он, низко склонившись, впустил его и провел во внутренние покои. Там Алексей потребовал тайного свидания с патриархом, и его проводили в библиотеку Зосимы, где престарелый патриарх принял императора с глубоким почтением; впрочем, после того, что поведал ему Алексей, все другие чувства сменились у него изумлением и ужасом.

Многие приближенные и особенно некоторые члены семьи считали религиозность Алексея просто ханжеством, но эти строгие судьи несправедливо приписывали ему это отвратительное свойство. Разумеется, он понимал, какую поддержку оказывает ему доброе отношение духовенства, и всегда был готов идти на жертвы ради церкви или отдельных священнослужителей, хранящих верность престолу; хотя обычно Алексей приносил эти жертвы, имея в виду какие-нибудь политические выгоды, сам он все же считал их проявлениями благочестивых чувств и приписывал своей набожности те поблажки и уступки, которые по сути дела являлись плодами вполне мирской политики. Он смотрел на эти меры, словно человек, страдающий косоглазием и видящий вещи по-разному, в зависимости от того, каким глазом ему случается на них взглянуть.

Исповедуясь перед патриархом, император признался в прегрешениях, совершенных им за время своего царствования, должным образом оценивая свои проступки против нравственности, обнажая их суть и отбрасывая те внешние обстоятельства, которые в свое время ему самому казались смягчающими. Патриарх был весьма удивлен, узнав истинную подоплеку многих придворных интриг, которые представлялись ему совсем в другом свете до той минуты, когда признания императора либо вполне оправдывали его поведение, либо лишали его всяческого оправдания. В целом чаша весов, несомненно, больше склонялась в сторону Алексея, чем это казалось патриарху прежде, когда он глядел на дворцовые интриги издали,— ведь обычно министры и царедворцы, шумно одоблив на совете самые недостойные действия самодержца, затем распускают слухи о таких преступных его замыслах, какие ему и не снились. Многие люди, павшие, по общему мнению, жертвой личной ненависти или подозрительности императора, на самом деле были убиты или лишены свободы лишь потому, что, останься они в живых или на воле, и монарху, и самому государству постоянно грозила бы опасность.

Зосима также узнал — может быть, он подозревал об этом и раньше, — что Греческую империю, безгласную как всякая деспотия, часто сотрясают глухие подземные толчки, говорящие о том, что в недрах ее кроется вулкан. И в то время как мелкие провинности или проявления открытого недовольства императором были редки и строго наказывались, тайные и самые коварные заговоры против жизни и власти Алексея замышляли люди, которые ближе всех стояли к его особе; хотя он зачастую знал об этих заговорах, воспользоваться своей осведомленностью он решался лишь тогда, когда дело близилось к развязке.

Патриарх с изумлением выслушал подробный рассказ об измене кесаря и его сообщников — Агеласта и Ахилла Татия; особенно поразила его ловкость, с какой императору, знавшему о существовании такого опасного заговора у себя в стране, удалось в то же время отразить другую опасность, грозившую ему со стороны крестоносцев.

— На сей раз мне очень не посчастливилось, — сказал император, когда патриарх намекнул ему на то, как он удивлен. — Если бы я был уверен в собственных войсках, я мог бы занять любую из двух вполне мужественных и честных позиций в отношении этих неистовых западных воителей: я мог бы, святейший отец, использовать золото, уплаченное Боэмунду и другим его корыстным соратникам, на открытую поддержку западного христианского воинства и благополучно переправить крестоносцев в Палестину, избавив их от потерь, которые и так предстоят им в борьбе с неверными; их успех был бы, по существу, моим успехом, а латинское королевство в Палестине, охраняемое воинами, закованными в сталь, обратилось бы в надежную и непреодолимую преграду между империей и сарацинами. Или же, если б это было сочтено более приличествующим достоинству империи и святой церкви, на которой ты властвуешь, мы могли бы сразу с оружием в руках встать на защиту наших границ от полчищ, управляемых таким множеством вождей, да еще несогласных между собою и идущих на нас с такими двусмысленными намерениями. Если первый рой этой саранчи, под началом Вальтера Голяка, как они его звали, пострадал от венгров и был полностью уничтожен турками — ведь об этом все еще напоминают груды костей на наших рубежах, — то, уж конечно, всем объединенным войскам Греческой империи было бы нетрудно во второй раз рассеять саранчу, хоть бы ею и предводительствуют все эти Готфриды, Боэмунды и Танкреды.

Патриарх молчал; не любя, вернее — ненавидя крестоносцев за их принадлежность к латинской церкви, он все

же сомневался, чтобы греческие войска могли победить их в сражении.

— Во всяком случае,— правильно истолковав его молчание, продолжал Алексей,— если б я оказался побежденным, я пал бы на поле боя, как подобает греческому императору, и не был бы вынужден прибегать к таким низким уловкам, как нападение из-за угла и ссылки на то, что это, дескать, были неверные; а преданные защитники Греции, погибшие в никому не известных стычках, достойно пали бы в борьбе за своего императора и свою страну, что было бы лучше и для них и для меня. При нынешних обстоятельствах, я сохраняюсь в памяти потомков как коварный тиран, который вовлекал своих подданных в роковые междоусобицы ради сохранения своей ничтожной жизни. Но эти преступления, патриарх, лежат не на моей совести, а на совести мятежников, вынудивших меня своими кознями прибегнуть к таким средствам... Что же ожидает меня в будущей жизни, святой отец? И каким предстану я перед потомством, я, виновник стольких бедствий?

— О твоей будущей жизни, государь, печется святая церковь,— ответил патриарх,— а ей дана власть вязать и разрешать. Средства, коими ты можешь ее умиливать, весьма многочисленны; я уже разъяснял, чего она может по справедливости ожидать от тебя после твоего покаяния и отпущения тебе грехов.

— Я полностью пойду навстречу святой церкви и не оскорблю тебя сомнениями в могуществе ее заступничества перед небесами,— сказал император.— Но и в этом мире благосклонность церкви может очень помочь мне в столь трудное для меня время. Если мы правильно понимаем друг друга, добрейший Зосима, проповедники и святые отцы должны громогласно вступить за меня, и пользу из прощения церкви я должен извлечь до того, как надо мной ляжет надгробный камень.

— Разумеется, но для этого тебе надобно строго соблюдать поставленные мною условия.

— А память обо мне в истории? — спросил Алексей.— Как сохранить ее незапятнанной?

— В этом, государь, ты должен положиться на любовь и склонность к словесному творчеству твоей высокоученой дочери, царевны Анны.

Император покачал головой.

— Этот злосчастный кесарь, вероятно, рассорит нас,— сказал он.— Не могу же я простить такого неблагодарного мятежника только потому, что моя дочь пылает к нему страстью как истая женщина. И кроме того, добрейший

Зосима, я сомневаюсь, чтобы потомство приняло на веру творение такого историка, как моя дочь. Какой-нибудь Прокопий, какой-нибудь философствующий раб, подышающий с голоду на чердаке, дерзнет описать жизнь императора, к которому он не смеет приблизиться; и хотя главное достоинство его труда заключено в том, что он содержит такие подробности, какие никто не отважится обнародовать при жизни монарха, стоит тому умереть — и все поверят в их подлинность.

— Тут, государь, я не могу ни облегчить твою участь, ни защитить тебя. Но если твою память несправедливо очернят в земной юдоли, тебе это будет безразлично, ибо ты, надеюсь, будешь в это время наслаждаться высшим блаженством, которое не сможет омрачить ни один праздный клеветник. Единственный же путь избежать подобной клеветы в нашем мире — это самому написать историю своих деяний, пока ты пребываешь в живых. Я уверен, что ты сумеешь найти законные оправдания поступкам, которые иначе могут показаться достойными осуждения.

— Поговорим о чем-нибудь другом, — сказал император, — и, поскольку нам сейчас грозит такая опасность, позаботимся о настоящем и предоставим грядущим поколениям самим судить обо всем. Какие же, по-твоему, обстоятельства, святой отец, позволяют заговорщикам так смело взывать к греческому народу и воинам?

— Из всех событий, которые произошли при твоём правлении, государь, особенное негодование народа вызвало заключение во влахернскую темницу Урсела, сдавшегося, как говорят, лишь после твоего обещания сохранить ему жизнь и свободу. По слухам, он умер там голодной смертью. Его отвага, щедрость и другие любезные народу качества до сих пор любовно хранятся в памяти жителей столицы и воинов из отрядов Бессмертных.

— И это, святой отец, ты считаешь главным поводом для народного возмущения? — пристально глядя на своего духовника, спросил император.

— Я убежден, что одно его имя, смело произнесенное и вовремя повторенное, послужит призывом к страшному и кровавому бунту, на что и рассчитывают заговорщики.

— Хвала всевышнему! Против этого я могу принять меры. Доброй ночи, святой отец! Верь мне: все, начертанное на свитке и подписанное моей рукой, будет свято выполнено. Только с этим не надо торопиться — такой дождь благодетельный, сразу пролившийся на церковь, заставит людей заподозрить, что поведение, священнослужителей вызвано сделкой между патриархом и императором,

а не искупительной жертвой грешника, замаливающего свои преступления. Это повредит и мне и тебе, святой отец!

— Мы предоставим тебе отсрочку по твоему усмотрению, государь. Надеюсь, ты не забудешь, что сделка — если можно ее так назвать — была заключена по твоей просьбе и что щедрости в отношении церкви означают для тебя ее поддержку и отпущение грехов.

— Справедливо, совершенно справедливо, — сказал император, — и я этого не забуду. Еще раз прощай и помни о том, что я тебе сказал. Сегодня ночью, Зосима, император должен трудиться как раб, если он не хочет снова стать безвестным Алексеем Комнином, которому к тому же негде будет приклонить голову.

С этими словами он простился с патриархом, весьма довольным выгодами, которые выговорил для церкви и которых тщетно добивались его предшественники. Поэтому он и решил поддержать шатающийся трон Алексея.

ГЛАВА XXV

У звезд свои пути. Стрела и пуля
Летят в определенном направленье.
Все — каждый кустик, каждая букашка —
Начертанному следует уделу.

Старинная пьеса

После описанной выше встречи с императором Агеласт, принявший все меры, которые, по его мнению, должны были обеспечить успех заговора, вернулся в садовый домик, где все еще томилась супруга графа Парижского; при ней была лишь старуха Векселия, жена того воина, что провожал Берту в лагерь крестоносцев, — добросердечная девушка потребовала, чтобы во время ее отсутствия графине прислуживала какая-нибудь женщина, дочь или жена варяжского воина. Весь день Агеласту приходилось играть роль честолюбивого политика, своекорыстного соглашателя, скрытного, искусного заговорщика; как бы для того, чтобы исчерпать список своих разнообразных ролей в человеческой драме, он решил изобразить лукавого софиста и тем самым оправдать, хотя бы для видимости, пути, которыми он пришел к богатству и высокому положению, а теперь надеялся достичь высот императорского престола.

— Прекрасная графиня, — обратился он к Бренгильде, — по какому поводу ты окутала покрывалом скорби свое прелестное лицо?

— Что же, по-твоему, я чурбан, камень, бесчувственное создание, которое мирится с унижениями, с пленом, опасностями и горем, не выказывая при этом самых естественных человеческих чувств? Ты воображаешь, что свободную, как дикий сокол, женщину можно держать в оскорбительной неволе и она останется равнодушной к бесчестью, благосклонной к его виновникам! И ты думаешь, что я приму утешения — и от кого! — от тебя, одного из тех, кто так искусно и так вероломно опутал меня гнусной паутиной предательства.

— Если тебя и опутали, то, во всяком случае, без моего участия! — воскликнул Агеласт. — Хлопни в ладоши, призови раба, дабы он исполнил любое твоё желание, и если он откажется повиноваться тебе, лучше бы ему совсем не родиться на свет! Если бы я, заботясь о твоей безопасности и чести, не согласился стать ненадолго твоим стражем, это звание присвоил бы себе кесарь, а его намерения тебе

известны, и ты, вероятно, догадываешься, какими способами он стал бы их осуществлять. Так зачем же ты плачешь, как ребенок, из-за того только, что тебя временно держат в почетном заключении,— ведь прославленное оружие твоего супруга положит ему конец не позднее завтрашнего полудня!

— Как ты не понимаешь, ты, человек, у которого так много красивых слов и так мало честных мыслей,— сказала графиня,— что я привыкла полагаться на собственную силу и мужество, и мне нестерпимо стыдно быть обязанной освобождением не своему мечу, а чужому, пусть даже это будет меч моего супруга.

— Тебя вводит в заблуждение гордыня — этот главный порок женщин,— ответил философ.— Подумай, какую кичливую заносчивость ты проявляешь, отказываясь от своего долга жены и матери и подражая тем безумным сумасбродкам, которые, подобно задиристым мужчинам, жертвуют всем, что есть достойного или полезного, ради неистового, безрассудного желания показать свою храбрость? Поверь мне, прекрасная графиня, подлинная суть добродетели в том, чтобы занимать свое место в обществе, украшать его, воспитывать детей и доставлять радость мужчинам; все остальное не только ничего не прибавит к твоим приятным качествам, но, напротив, превратит тебя в ненавистное пугало.

— Ты выдаешь себя за философа,— сказала графиня,— и, мне кажется, тебе следовало бы знать, что слава, возлагающая венок на могилу героя или героини, куда прекрасней всех суетных удовольствий, за которыми гонятся заурядные люди. Один час жизни, отданный рыцарским подвигам и исполненный благородного риска, стоит многих лет благопристойного и жалкого прозябания, в котором нет места ни почету, ни известности и которое во всем подобно струйке сонных болотных вод.

— Дочь моя,— подойдя ближе к графине, сказал Агеласт,— мне обидно видеть тебя во власти заблуждений, которые легко рассеять, если немного вдуматься в них. Мы тешим себя мыслью — люди ведь так тщеславны,— что некие существа, более могущественные, чем простые смертные, днем и ночью только тем и заняты, что оценивают совершенные в нашем мире добрые и злые дела, решают исход сражений и судьбы государств согласно своим понятиям о праведном и неправедном, или, вернее, согласно тому, что мы считаем их понятиями. Язычники Греции, известные своей мудростью и прославленные своими деяниями, рассказывали людям недалеким о том, что якобы

существуют Юпитер и его пантеон, где разные боги ведают разными добродетелями и пороками, управляя земной судьбой и будущим блаженством тех, кто отмечен либо этими добродетелями, либо этими пороками. Но истинно ученые и мудрые мужи древности отвергали такое упрощенное толкование и хотя поведением своим старались не оскорблять народных верований, однако, будучи разумными людьми, с глазу на глаз со своими учениками доказывали нелепость выдумок о Тартаре и Олимпе, пустоту учения о самих богах и бессмысленность упований простолюдинов на бессмертие, которым будто бы обладают существа, смертные по самой своей сути — и по телесному своему строению и по духовному складу. Некоторые из этих мудрых и добродетельных мужей, не отрицая возможного бытия богов, в то же время считали, что они заботятся о людях не больше, чем о бессловесных животных. Веселая, радостная, беспечная жизнь, подобная той, какую избрали бы себе последователи Эпикура, — вот и все, что они оставляли на долю богам, в которых тем не менее верили. Другие, более смелые или последовательные, полностью отрицали существование этих, по-видимому, совершенно бесцельных божеств, утверждая, что если никакие сверхъестественные явления не открывают нам их бытия и атрибутов, стало быть никаких богов нет и быть не может.

— Замолчи, нечестивец! — воскликнула графиня. — Перед тобой не слепая ревнительница гнусной языческой веры, которую ты мне сейчас так подробно излагал. Да будет тебе известно, что хоть я и заблуждалась иногда, но все же я — верная дочь церкви, и этот крест на моем плече — неопровержимое свидетельство тех обетов, которые я дала во имя святой цели! Советую тебе быть столь же осторожным, сколь ты хитер, ибо если ты вздумаешь поднять на смех или осудить мою веру, то, не найдя для ответа достойных слов, я, не колеблясь, отвечу тебе острием кинжала.

— Я не собираюсь настолько злоупотреблять твоим терпением, чтобы тебе пришлось прибегнуть к таким доводам, прекрасная графиня, — отступив подальше от Бренгильды, сказал Агеласт. — Однако, не дерзая что-либо говорить в высших и всеблагих силах, управляющих, по твоему разумению, нашим миром, я, наверно, не обижу тебя, если упомяну о трусливых, суеверных толкованиях того, что маги называют Началом Зла. Разве в какой-нибудь религии встречалось еще такое низменное, почти смехотворное существо, как сатана христиан? Туловище и ноги козла, уродливые черты, выражающие самые гнус-

ные страсти; могуществом он почти равен богу, а в то же время умом не превышает самую бессмысленную из низших тварей. Кто же он такой, этот второй после господ бога властитель рода человеческого, этот бессмертный дух, мелочно злобный и завистливый, как мстительный старик или старуха...

Тут Агеласт внезапно оборвал свою речь. В комнате висело большое зеркало; он мог видеть в нем Бренгильду и всю смену выражений на ее лице, хоть она и отвернулась от него, возмущенная учением, которое он ей проповедовал. Философ, разумеется, не отрывал глаз от зеркала; каково же было его удивление, когда он внезапно увидел в нем физиономию, которая вынырнула из-за занавеси и сверкающими глазами уставилась на него; эта физиономия, казалось, могла принадлежать только сатане, измышленном воображении монахов, или языческому сатиру.

Удивительное существо привлекло внимание и Бренгильды, решившей, что перед нею сам дьявол.

— Послушай, старик! — воскликнула она. — Неужели твои нечестивые слова и еще более нечестивые мысли вызвали сюда дьявола? Если так, прогони его немедленно, или, клянусь нашей Владычицей сломанных копий, тебе придется сполна узнать, на что способна франкская женщина в присутствии самого сатаны и тех, кто уверяет, будто умеет его вызывать! Без нужды я драться не хочу, но, если мне придется вступить в бой с таким устрашающим противником, никто не посмеет сказать, что Бренгильда его испугалась!

Удивленный и испуганный, Агеласт обернулся, чтобы разглядеть того, чье диковинное отражение он увидел в зеркале. Однако существо, кем бы оно ни было, сразу же исчезло за занавесом, где, видимо, скрывалось, и только через несколько минут в зеркале на том же месте вновь появилась его насмешливая и в то же время мрачная физиономия.

— Клянусь богами!.. — воскликнул Агеласт.

— В которых ты до сих пор не верил, — вставила графиня.

— Клянусь богами, это же Сильвен! — повторил оправившийся от испуга философ. — Сильвен, удивительное подобие человека — его, говорят, привезли к нам из Тап-робаны. Ручаюсь, он тоже верит в веселого бога Пана или в отжившего свой век Сильвена! Непосвященным он внушает ужас, но перед философом отступает, как невежество перед знанием!

С этими словами он одной рукой отдернул занавес, за

которым животное спряталось, когда залезло в окно из сада, а другой угрожающе замахнулся посохом, говоря:

— Это что еще такое, Сильвен? Что ты себе позволяешь? Вон отсюда!

И он ударил обезьяну; к несчастью, удар пришелся по раненой лапе и вызвал в ней острую боль. Дикая ярость обуяла орангутанга, и на мгновение он забыл свой страх перед человеком: с бешеным глухим ревом набросился он на философа и свирепо сжал ему горло мускулистыми лапами. Извиваясь и корчась, старик пытался вырваться, но тщетно. Сильвен не выпускал добычу, все крепче сжимая горло философа и не намереваясь освободить его, пока тот не расстанется с жизнью. Еще несколько злобных воплей и диких гримас, еще одно усилие могучих лап, и страшная схватка, которая не длилась и пяти минут, закончилась.

Агеласт лежал мертвый на полу, а его убийца Сильвен, отскочив от тела, спасся бегством через окно, как бы в ужасе от содеянного. Потрясенная графиня замерла на месте, не зная, что и подумать: при ней свершился божий суд, но кто покарал грешника — потусторонний ли мститель или обыкновенное земное существо? Ее новая прислужница Векселия удивилась не меньше графини, хоть орангутанг был ей хорошо известен.

— Это очень сильное животное, госпожа, — объяснила она, — оно похоже на человека, но только больше и сильнее; зная об этом, оно иногда проявляет враждебность к людям. Я слышала от варягов, будто оно из императорского зверинца. Лучше нам убрать отсюда тело этого несчастного и спрятать его где-нибудь в саду, в кустах. Сегодня вечером его, наверно, не хватятся, а завтра произойдут другие события, и заниматься Агеластом уже никто не станет...

Графиня Бренгильда согласилась; она была не из тех пугливых женщин, что боятся одного вида мертвецов.

Агеласт, доверяя слову графини, позволял ей и ее прислужнице свободно ходить по саду, во всяком случае в той части его, которая прилегала к дому. Поэтому они спокойно вынесли вдвоем мертвое тело и без особого труда спрятали его в самых густых зарослях росшего в саду кустарника.

Когда они вернулись к своему жилищу, вернее — к месту заточения, графиня, обращаясь то ли к самой себе, то ли к Векселии, сказала:

— Меня это очень опечалило, и не потому, что низкий нечестивец заслужил небесной кары как раз в ту минуту,

когда кощунствовал и богохульствовал, а потому, что люди могут усомниться в мужестве и чести несчастной Бренгильды,— ведь его убили, когда он был наедине с нею и ее прислужницей, и никто не был свидетелем удивительного конца старого богохульника. О благословенная Владычица сломанных копий, покровительница Бренгильды и ее супруга! — взмолилась она.— Ты знаешь, что, каковы бы ни были мои грехи, душа моя не запятнана вероломством; тебе я вверяю свою судьбу и надеюсь на твое мудрое и всеблагое заступничество!

Обе женщины вернулись в дом незамеченными, и графиня закончила этот богатый событиями вечер благочестивыми и смиренными молитвами.

ГЛАВА XXVI

Я спою Вам, как пленилась
Англичанином испанка.
Был наряд ее богатый
Жемчугами изукрашен.
Она, благочестива и мила,
Происхожденья знатного была.

Старинная баллада

Мы оставили Алексея Комнина в ту минуту, когда он очистил свою совесть, покаявшись патриарху, и тот твердо обещал ему отпущение грехов и покровительство греческой церкви. Он простился с Зосимой, издав несколько радостных восклицаний, столь невнятных, однако, что трудно было уловить их смысл. Вернувшись во Влахернский дворец, император тотчас же спросил, где его дочь; ему сказали, что она в той комнате, отделанной мрамором дивной резьбы, которая дала Анне и другим представительницам ее рода право горделиво именоваться *Porphyrogenita*, что значит «порфирородная». Лицо царевны было затуманено тревогой; при виде отца Анна открыто предалась безутешной скорби.

— Дочь моя,— с не свойственной ему резкостью и суровостью обратился к ней император, не проявляя ни малейшего сочувствия к ее горю,— если ты не хочешь, чтобы глупый сумасброд, с которым ты связана брачными узами, предстал перед народом как чудовищный, неблагодарный предатель, уговори его покориться и смиренно просить о помиловании, полностью признав все свои преступления, иначе, клянусь венцом и скипетром, он расстанется с жизнью! Я не стану щадить тех, кто, подобно моему вероломному зятю, стремится к своей гибели, дерзко бросая мне вызов и поднимая знамя бунта!

— Чего же ты хочешь от меня, отец? Неужели ты ждешь, что я обагрю руки кровью этого несчастного? Или ты жаждешь отомстить еще более кроваво, чем мстили древние боги, каравшие всех, кто восставал против их божественной власти?

— Ты ошибаешься, дочь моя,— сказал император.— Подумай лучше о том, что я, твой любящий отец, даю тебе последнюю возможность спасти своего безумного супруга от вполне заслуженной смерти!

— Всевышний знает, отец, что я не стану спасать жизнь Никифора за счет твоей жизни; но ведь он был отцом моих детей, хоть их и нет больше на свете; женщины

не забывают таких уз, даже если судьба их разорвала. Позволь мне только надеяться, что злосчастный преступник получит возможность искупить свои заблуждения; поверь не я буду виной, если он опять станет вынашивать чудовищные предательские замыслы, которые сейчас обратились против него самого.

— Тогда иди за мной, дочь моя,— сказал император,— и да будет тебе известно, что тебе одной я открываю свою тайну, от которой в ближайшее время будут зависеть и моя жизнь и мой престол, и помилование твоего мужа.

И он быстро надел на себя одежду дворцового раба, приказав дочери подобрать подол платья, и взять в руки зажженный светильник.

— Куда мы пойдем, отец? — спросила Анна Комнин.

— Не задавай пустых вопросов. Меня зовет туда мой рок, а тебе предначертано освещать мне путь. Знай только — и напиши потом, если дерзнешь, в своей книге,— что даже если его намерения не таят в себе ничего другого, Алексей Комнин не без тревоги спускается в эту страшную темницу, построенную его предками. Храни молчание и, если мы встретим кого-нибудь из обитателей подземелья, не говори ни слова и не обращай внимания на его облик.

Пройдя через лабиринт дворцовых покоев, они вышли в большой зал, через который Хирвард проходил в тот первый вечер, когда его допустили в так называемый храм муз. На стены зала, выложенные, как мы уже говорили, черным мрамором, падал тусклый свет. В одном конце стоял небольшой алтарь, где курился фимиам; в его дыму смутно виднелось как бы выступавшее из стены изваяние двух человеческих рук.

В другом конце зала маленькая железная дверь вела к узкой винтовой лестнице, по форме напоминавшей глубокий колодец; она была очень крута. Император торжественно подал дочери знак следовать за ним и начал спускаться вниз по неровным и слабо освещенным узким ступенькам; тот, кто сходил по ним в дворцовое подземелье, обычно прощался с дневным светом. Император и его дочь миновали ряд дверей, которые, очевидно, вели в различные ярусы подземелья; оттуда доносились приглушенные крики и стоны, привлекая в свое время внимание Хирварда. Император как бы не замечал этих проявлений людских страданий; отец с дочерью прошли три этажа, или яруса, темницы, прежде чем добрались до самого низа строения; основанием ему служила грубо обтесанная скала; на ней покоились стены и своды из прочного неотполированного мрамора.

— Здесь, как только задвинутся засовы и повернутся ключи в замках, навсегда гибнут все людские надежды и ожидания,— сказал Алексей Комнин.— Но пусть не вечно так будет; пусть мертвые воскреснут и обретут свои права, а обездоленные узники снова будут притязать на жизнь под солнцем. Если я не смогу умолить небо прийти мне на помощь, можешь быть уверена, что я не останусь тем жалким животным, каким я позволял себя считать и, более того, запечатлеть в твоём историческом труде; нет, я лучше бесстрашно выйду навстречу толпам, стоящим на пути к моему спасению. Ничего ещё не ясно, кроме того, что я буду жить и умру императором; а ты, Анна, должна знать: если твои хваленые дарования и красота имеют какую-нибудь силу, сегодня они должны прийти на помощь твоему отцу, от которого ты их получила.

— Что ты хочешь этим сказать, государь? Пресвятая дева! Таково твоё обещание сохранить жизнь злосчастному Никифору!

— Я своё обещание выполняю,— ответил Алексей.— Именно этим благодеянием я и занят сейчас. Но не думай, что я ещё раз пригрею у себя на груди змею, которая едва не ужалила меня, и притом смертельно. Нет, дочь моя, я уготовил тебе более достойного супруга, способного поддержать и защитить права твоего августейшего отца, и не вздумай противодействовать мне. Погляди на эти стены — они из мрамора, хоть и неотполированного, и не забывай, что можно не только родиться в мраморных стенах, но и умереть!

Никогда прежде Анна не видела своего отца в столь грозном расположении духа. Ей стало страшно, хотя она сама не знала отчего.

— О, почему здесь нет моей матери! — воскликнула она.

— Напрасно ты пугаешься, Анна, и напрасно кричишь,— сказал император.— Я принадлежу к людям, которые в обычных условиях почти не имеют собственных желаний и считают себя в долгу перед теми, кто, подобно моей жене и дочери, освобождает их от необходимости судить обо всем самим. Но когда мощные валы угрожают судну, тогда к кормилу становится кормчий, и, уверяю тебя, он не дозволит ничьей менее опытной руке прикоснуться к рулю и не допустит, чтобы его жена и дочь, к которым он был снисходителен в лучшие времена, противились его воле, пока он ещё может её проявлять. Ты понимаешь, надеюсь, что я готов был в доказательство своего расположения к безвестному варягу отдать тебя ему, не спраши-

вая, ни откуда он родом, ни чья кровь течет в его жилах. Тебе, возможно, придется услышать, как я буду сулить тебя в жены человеку, который провел под этими сводами три года и который станет кесарем вместо Никифора, если мне удастся убедить его жениться на моей дочери и унаследовать вместе с ней корону, взамен того чтобы погибать от голода в темнице.

— Я трепещу, слушая твои слова, отец; неужели ты станешь доверять человеку, испытавшему на себе твою жестокость? Неужели ты допускаешь, что тот, кого ты лишил зрения, способен искренне примириться с тобой?

— Не беспокойся,— сказал Алексей,— он будет моим или никогда не узнает, что значит снова быть самим собой. А ты, дочь моя, помни: если я пожелаю, ты завтра же либо станешь женой этого узника, либо удалишься в монастырь с самым суровым уставом и навсегда расстанешься с миром. Поэтому молчи, жди своей участи и не надейся, что твои мольбы изменят ее, как бы горячи они ни были.

Закончив этот странный разговор, который император вел в совершенно необычном и устрашающем для его дочери тоне, он зашагал дальше; по дороге он открывал одну за другой накрепко запертые двери, а царица, следуя за ним неверной поступью, освещала ему путь, терявшийся во мраке. Наконец они дошли до входа в темницу, где был заточен Урсел; несчастный лежал на полу в беспредельном отчаянии — все его надежды, оживленные было неукротимой доблестью графа Парижского, снова рухнули. Он обратил свои незрячие глаза в ту сторону, откуда до него донесся лязг засовов, а затем стук шагов.

— Вот это что-то новое в моей темнице,— сказал он.— Сюда идет мужчина, поступь у него тяжелая и решительная, а с ним женщина или ребенок, едва касающийся земли. Ты принес мне смерть? Я слишком долго пробыл здесь, чтобы не обрадоваться ей, поверь!

— Нет, не смерть я несу тебе, благородный Урсел,— слегка изменив голос, произнес император.— Жизнь, свободу, все дары этого мира кладет император Алексей к ногам своего доблестного противника; он надеется, что долгие годы счастья и могущества, а также владычества над немалой частью империи быстро сотрут воспоминания о влахернской темнице.

— Это невозможно,— со вздохом ответил Урсел.— Человеку, глазам которого не светит солнце даже в полуденный час, нечего ждать от самой счастливой перемены обстоятельств!

— Ты сам не очень в это веришь,— сказал император.— Мы постараемся доказать, что к тебе питают чувства поистине добрые и великодушные, и ты будешь вознагражден за свои страдания, когда поймешь, что изменить твой удел куда легче, чем тебе кажется. Сделай над собой усилие, попытайся проверить, не видят ли твои глаза горящего светильника...

— Делай со мной все, что тебе заблагорассудится,— сказал Урсел.— У меня нет сил возражать тебе, нет и твердости духа, дабы мужественно встретить твою жестокость. Нечто вроде слабого света я различаю, но что это — действительность или воображение — сказать не могу. Если ты пришел вывести меня из этой могилы, укрывающей похороненных заживо, пусть вознаградит тебя бог, а если ты, прикрываясь низким обманом, хочешь лишить меня жизни, мне остается вручить свою душу всевышнему и просить отпущения только у него, ибо он узрит злодеяние, даже если оно прячется в самых темных закоулках!

Волнение почти лишило Урсела чувств; он упал на свое жалкое ложе и не произносил ни слова, пока Алексей снимал с него цепи, которые сковывали его так долго, что, казалось,рослись с ним.

— В этом деле, Анна, одной твоей помощи недостаточно,— сказал император.— Конечно, хорошо было бы нам самим, совместными усилиями, вынести его на воздух — не очень-то разумно открывать тайны этой темницы непосвященным. И все же тебе придется пойти наверх, дитя мое; неподалеку от лестницы ты найдешь Эдуарда, нашего храброго и достойного доверия варяга,— скажи, что я велел ему прийти сюда и помочь нам. Пришли также нашего опытного лекаря Дубана.

Он говорил теперь с дочерью куда мягче, чем прежде, и дрожащая, полузадохшаяся, еле живая от ужаса царица немного успокоилась. Спотыкаясь на ходу, но уже ободренная тоном, каким были отданы приказания, она поднялась по лестнице, которая вилась внутри этого адского колодца. Когда Анна была уже у самого выхода, между светильником и дверью в зал возникла тень чьей-то высокой и сильной фигуры. Чуть ли не до смерти напуганная грозившей ей судьбой — стать супругой такого жалкого страшилища, как Урсел, царица поддалась минутной слабости; вспомнив об ужасном выборе, перед которым поставил ее Алексей, она подумала, что, если уж на то пошло, красивый и храбрый варяг, спасший царскую семью от неминуемой опасности, гораздо больше подходит ей в мужа, чем странное, отвратительное существо, извле-

ченное со дна влахернской темницы хитроумной политикой ее отца.

Мы отнюдь не утверждаем, что бедная Анна Комнин, робкая, но не бесчувственная женщина, согласилась бы на требование отца, если б жизнь ее теперешнего мужа, Никифора Вриенния, не была в смертельной опасности; но император, несомненно, намеревался пощадить кесаря лишь при одном условии: брак его с Анной должен быть расторгнут, чтобы можно было соединить ее с более верным и искренне привязанным к своему тестю человеком. Царевна вовсе не была расположена взять во вторые мужья варяга, однако в эту минуту ей грозила опасность, и спастись можно было только с помощью каких-то решительных действий,— может статься, потом она сможет избавиться и от Урсела и от варяга, не лишая их помощи ни отца, ни самой себя. Во всяком случае, безопаснее всего было бы привлечь на свою сторону молодого воина, чья врешность делала эту задачу приятной для красивой женщины. Строить планы завоеваний так естественно для представительницы прекрасного пола, что мысль, промелькнувшая у Анны при виде тени варяга, сразу и полностью овладела ее воображением в ту минуту, когда, удивленный внезапным появлением царевны на Ахероновой лестнице, Хирвард с глубоким поклоном подошел к ней и, преклонив колено, подал руку, чтобы помочь благородной даме выбраться из мрачного колодца.

— Дорогой Хирвард,— с необычным для нее оттенком задушевности воскликнула царевна,— как я рада, что могу прибегнуть к твоей защите в эту ужасную ночь! У меня такое чувство, что места, где я сейчас побывала, созданы для людей самым властителем ада!

Владевшая царевной тревога и обычная для красивых женщин непринужденность, с какой они, словно перепуганные голубки, ищут укрытия от опасности на груди сильных и храбрых, могут послужить оправданием нежному обращению Анны к Хирварду; сказать по правде, если б он ответил ей в том же тоне, что при всей его верности, вполне могло случиться, не встретить он перед этим Берту, дочь Алексея была бы не так уж оскорблена. Обессиленная всем пережитым, она позволила себе склонить голову на широкую грудь англосакса и даже не пыталась взять себя в руки, хотя этого требовали ее пол и сан. Хирварду пришлось, бестрастно и почтительно, как и надлежит простому воину, говорящему с царской дочерью, спросить ее, не надо ли позвать прислужницу; на это царевна слабым голосом сказала: «Нет».

— Нет, нет,— повторила она,— я должна выполнить наказ отца, и притом без свидетелей; он знает, что может быть спокоен за меня, пока я с тобой, Хирвард. Я совсем ослабела, и если тебе это в тягость, посади меня на мраморные ступени, и я скоро приду в себя.

— Избави бог, разве я могу подвергать опасности твое драгоценное здоровье, госпожа! Я вижу, тебя ищут твои прислужницы — Астарта и Виоланта... Дозволь мне позвать их, а я буду охранять тебя, если ты не можешь вернуться в свои покои, хотя мне кажется, там тебе будет легче привести в порядок ^{тв} ^{ийи} расстроенные чувства.

— Делай то, что находишь нужным, варвар,— уже менее томно сказала царица: она была слегка уязвлена, быть может потому, что считала присутствие на сцене двух *dramatis personae*¹ вполне достаточным и не желала видеть на ней никого другого; затем, как бы вспомнив внезапно о данном ей поручении, она приказала варягу немедленно отправиться к ее отцу.

В таких случаях даже мелочи не проходят незамеченными для заинтересованных лиц. Англосакс почувствовал, что царица сердится, но чем это было вызвано — тем ли, что она, можно сказать, очутилась в его объятиях, или тем, что молодые прислужницы едва не увидели столь странное зрелище,— он не знал и не пытался угадать; перекинув через плечо сверкающую алебарду, никогда ему не изменявшую и погубившую не одного турка, он отправился в мрачное подземелье к Алексею.

Астарта и ее спутница были посланы на розыски Анны императрицей Ириной; они обошли все дворцовые покои, где царица имела обыкновение проводить время. Императрица сказала девушкам, что царица нужна ей безотлагательно, но они так и не нашли дочь Алексея. Однако во дворцах ничто не остается незамеченным, и посланницам Ирины в конце концов сообщили, что их госпожа проследовала вместе с императором в темницу по той мрачной лестнице, которую прозвали колодцем Ахерона из-за ее сходства с пропастью, ведущей, по верованиям древних, в подземное царство. Прислужницы направились туда; об остальном мы уже вам поведали. Хирвард счел необходимым сказать им, что их августейшей госпоже стало дурно после того, как она, выйдя наверх, внезапно очутилась на свежем воздухе. Царица постаралась побыстрее отделаться от девушек, заявив, что сейчас же отправится к императрице. На прощание она свысока кивнула

¹ Действующих лиц (лат.).

Хирварду, умерив, впрочем, свою надменность ласковым и дружеским взглядом. В одном из покоев, через которые она проходила, несколько дворцовых рабов дожидались распоряжений императора; Анна обратилась к одному из них почтенному, искусному во врачевании старику, и вполголоса торопливо приказала ему направиться на помощь к ее отцу в глубь Ахеронова колодца, прихватив с собой саблю. Услышать — значило, разумеется, повиноваться, и Дубан — так звали старика — ответил лишь жестом, выразившим готовность немедленно исполнить распоряжение. Анна Комнин тем временем поспешила в материнские покои; она застала императрицу одну со своими служанками.

— Выйдите отсюда, девушки, — приказала Ирина, — и не впускайте ко мне никого, даже если придут от самого императора. А ты, Анна Комнин, закрой дверь; раз ревнивые мужчины не позволяют нам прибегать к помощи засовов и замков, чтобы запереться у себя в комнате, считая это своей привилегией, воспользуемся хотя бы теми возможностями, которые у нас есть. И помни: твой долг по отношению к отцу священен, но еще более священен он по отношению ко мне, женщине, как и ты; к тому же я действительно могу, даже в буквальном смысле, назвать тебя плотью от плоти и кровью от крови своей. Верь мне, отцу твоему не понять чувства женщины. Ни он, ни какой-либо другой мужчина в целом мире не способен представить себе, как больно может сжиматься сердце, бьющееся в женской груди. Да, Анна, мужчинам ничего не стоит разорвать нежнейшие узы любви, разрушить здание семейного благополучия, в котором заключены все помыслы женщины, ее радость, ее горе, ее любовь и отчаяние. Поэтому доверься мне, дочь моя! Я спасу одновременно и корону твоего отца и твое счастье. Твой супруг вел себя дурно, недостойно, но он мужчина, Анна, и, называя его так, я одновременно называю все его врожденные слабости: способность к бессмысленному вероломству, постыдной супружеской неверности, сумасбродству и непоследовательности. Эти пороки присущи всему его полу. А потому ты должна обращать внимание на его проступки лишь для того, чтобы прощать их.

— Прости меня, госпожа, — возразила Анна, — но ты советуешь порфирородной царевне вести себя так, словно она — женщина, которая ходит по воду к деревенскому колодцу, да и той это вряд ли пристало. Всех, кто меня окружает, учили должным образом почитать мое царственное происхождение; когда Никифор Вриенний ползал

на коленях, вымаливая руку твоей дочери, а потом получил ее от тебя, он не столько заключил со мной брачный союз, сколько наложил на себя ярмо моего господства. Он сам навлек на себя свой жребий, и никакое искушение не может оправдать его, как оно оправдало бы преступника, стоящего не столь высоко; если отцу угодно, чтобы за совершенное кесарем преступное деяние его лишили жизни, изгнали или заточили в темницу, Анна Комнин не сочтет нужным вступить за него, ибо она оскорблена больше всех членов царской семьи, хотя и остальные имеют много веских оснований жаловаться на вероломство кесаря.

— Я согласна с тобой, дочь моя,— ответила императрица,— что твоим родителям очень трудно простить измену Никифора и ничто, кроме великодушия, не может быть у них основанием для того, чтобы его пощадить. Но ты совсем в другом положении, ты была его нежной, любящей женой; сравни же вашу прежнюю близость с предстоящей кровавой переменой — следствием и завершением всех его преступных дел. У него такой облик, такое лицо, что, жив он или мертв, женщине трудно его забыть. Как тяжело тебе будет думать, что его прощальные слова услышал лишь грубый палач, что его стройная шея покоилась на плахе, что его речи, которые были для тебя слаще музыки, уже никогда больше не прозвучат!

Этот настойчивый призыв к милосердию оказал немалое действие на Анну, отнюдь не равнодушную к обаянию своего супруга.

— Зачем ты мучишь меня, матушка? — жалобно сказала она.— Напрасно ты думаешь, что нужно беречь мою память,— ведь если бы я хоть что-нибудь забыла, мне было бы легче пережить эти ужасные минуты. Но я должна думать не о внешности Никифора, а о его душевных свойствах, которые гораздо важнее; тогда я смогу примириться со жребием, вполне им заслуженным, и беспрекословно подчинюсь воле отца...

— Который прикажет тебе связать свою судьбу с безвестным проходимцем,— подхватила императрица,— чье умение интриговать и наущничать дало ему возможность по несчастному стечению обстоятельств оказать услугу императору, обещавшему ему в награду руку Анны Комнин!

— Почему ты такого плохого мнения обо мне, госпожа? — спросила царица.— Как и всякая гречанка, я знаю способ избавиться от бесчестья; ты можешь быть спокойна — тебе никогда не придется краснеть за свою дочь.

— Ты ошибаешься,— прервала ее императрица,— я буду краснеть за тебя, и если ты, проявив неумолимую жестокость, осудишь некогда любимого мужа на постыдную смерть, и если, обнаружив его ослепление, которому я даже не нахожу имени, ты заменишь кесаря низко-рожденным варваром-северянином либо жалким существом, вырвавшимся из влахернской темницы!

Царевна с изумлением увидела, что ее мать проникла во все самые сокровенные замыслы императора, который любыми средствами старался отстоять свою власть в эти трудные дни. Она не знала, что Алексею и его августейшей супруге, жившим в примерном для людей их сана согласии, случилось все же по некоторым щекотливым поводам спорить между собой; подзадоренный мнимым недоверием Ирины, император проговорился о многих своих намерениях, о которых он умолчал бы, если бы не был выведен из себя.

Нарисованная матерью картина близкой гибели кесаря взволновала царевну, да оно и не могло быть иначе; но еще больше задело и оскорбило ее то, что императрица приписывала ей желание сразу же найти кесарю преемника — пусть даже человека сомнительной репутации и даже недостойного. Какими бы соображениями она ни руководствовалась, остановив свой выбор на Хирварде, они утратили смысл после того, как этот союз был представлен ей в такой неприглядном и унижительном виде; кроме того, не следует забывать, что женщины почти инстинктивно отрицают зарождающееся расположение к какому-нибудь почитателю и редко признаются в нем добровольно, если только этому не благоприятствуют время и обстоятельства. Поэтому Анна, пылко взывая к небу, клялась, что обвинения Ирины несправедливы.

— Беру тебя в свидетели, пресвятая дева, владычица небесная! — восклицала она. — Беру вас в свидетели, святые угодники и великомученики, пуще нас самих охраняющие чистоту наших помыслов, что нет у меня страстей, в которых я не посмела бы признаться. Если бы спасение Никифора зависело от моих молитв, направленных к богу, и просьб, обращенных к людям, я презрела бы все обиды, которые он мне нанес, и жизнь его длилась бы вечно, как вечно живут те, кого небо вознесло к себе, избавив от смертных мучений на земле!

— Ты даешь смелую клятву, Анна Комнин,— сказала императрица.— Постарайся же сдержать свое слово, ибо честность его подвергнется испытанию!

— Испытанию? — повторила принцесса. — Разве судьбу кесаря решаю я? Он мне не подвластен...

— Сейчас ты все поймешь, — внушительно сказала императрица; подведя Анну к занавесу, который скрывал стенную нишу, служившую чем-то в роде шкафа для хранения платья, она отдернула его, и перед царевной предстал злосчастный Никифор Вриенний, полуодетый и сжимающий в руке обнаженный меч. Анна считала его своим врагом; вспомнив некоторые свои планы, направленные против него, которые родились у нее в это смутное время, и увидя его теперь так близко, да еще с оружием в руках, она тихо вскрикнула.

— Возьми себя в руки, — сказала императрица. — Если этого несчастного найдут здесь, он падет жертвой не только твоей губительной мести, но и твоих пустых страхов.

Эти слова, видимо, подсказали Никифору, как ему следует себя вести: опустив меч и упав перед царевной на колени, он протянул к ней руки, моля о пощаде.

— Чего ты просишь у меня? — сказала Анна, поняв по его смиренной позе, что сила на ее стороне. — Чего ты просишь, ты, который проявил черную неблагодарность, предал любовь, нарушил торжественные клятвы, разорвал, как паутину, нежнейшие природные узы? Что ты можешь сказать мне, не покраснев от стыда?

— Не думай, Анна, что сейчас, в эту роковую минуту я стану лицемерить, спасая свою жалкую, обещенную жизнь, — ответил ей муж. — Я только хочу расстаться с тобой без вражды и умиловать небо; хоть я и отягощен многими проступками, но все же надеюсь быть допущенным в горнюю обитель, ибо только там я найду красоту и достоинства если не превосходящие твои, то хотя бы равные им...

— Ты слышишь, дочь моя? — спросила Ирина. — Он молит лишь о прощении; ты можешь сейчас уподобиться божеству; в твоей власти сохранить ему жизнь и простить нанесенные тебе обиды.

— Ты ошибаешься, госпожа, — возразила Анна. — Не мне надлежит прощать его и тем паче освобождать от наказания. Ты учила меня стараться быть такой, какой я должна предстать грядущим поколениям; что же скажут они обо мне, эти грядущие поколения, если им изобразят меня как бесчувственную дочь, которая простила человека, замышлявшего убить ее отца, простила только потому, что он был ее неверным мужем?

— Вот видишь, августейшая государыня! — воскликнул кесарь. — Как же мне не отчаиваться! Нет, напрасно

я не пролил свою кровь, чтобы смыть пятна отцеубийства и неблагодарности! Я ведь объяснял, что невиновен в самом непростительном из деяний, которые мне приписывают, в намерении отнять жизнь у богоподобного императора! Я поклялся всем самым святым для человека, что хотел лишь ненадолго отстранить Алексея от утомительного управления государством и поместить его в такое место, где он мирно наслаждался бы довольством и покоем, в то же время продолжая править страной и передавая через меня свою священную волю... Ведь так уже бывало и прежде, бывало не раз!

— Как ты слеп! — возразила Анна. — Ты был так близок к престолу — и все же составил себе такое ложное представление об Алексее Комнине... Как мог ты подумать, что он согласился бы стать куклой, с помощью которой ты властвовал бы над империей? Ты забываешь, какая кровь течет в жилах Комнинов! Мой отец встретил бы измену с оружием в руках, и только смерть твоего благодетеля позволила бы насытиться твоему преступному честолюбию!

— Ты вольна так думать, Анна, — ответил кесарь. — Я не желаю более защищать свою жизнь — она не имеет и не должна иметь для меня цены! Призови стражу и вели умертвить злосчастного Вриенния, раз он стал ненавистен некогда любившей его Анне Комнин. Не бойся, я не стану сопротивляться, когда меня возьмут под стражу, твои глаза не увидят ни стычки, ни убийства... Никифор Вриенний не кесарь больше: он кладет к стопам своей повелительницы и супруги единственное жалкое оружие борьбы с той заслуженной участью, какую она пожелает ему уготовить.

Он бросил к ногам царевны меч; Ирина же, рыдая или притворяясь, будто рыдает, с горечью воскликнула:

— Мне случалось читать описание подобных сцен, но я никогда не думала, что моя родная дочь сыграет главную роль в одной из них; неужели в ее душе, которую все восторженно считали обителью Аполлона и муз, не найдется места для скромных, но столь приятных женских добродетелей — милосердия и сострадания, которые гнездятся в сердцах даже самых бедных поселянок? Неужели твои таланты и знания не только придали тебе блеск, но и сделали тебя твердой, как сталь? Если так, в тысячу раз лучше отречься от них и сохранить взамен кротость — лучшее украшение женского сердца и домашнего очага. Беспощадная женщина более чудовишна, чем та, которую сделали бесполой другие страсти!

— Чего же ты хочешь от меня? — спросила Анна. — Ты прекрасно знаешь: пока существует этот дерзкий и жестокий человек, жизнь моего отца в опасности. Я уверена, что он до сих пор питает свои предательские замыслы. Если он способен так обманывать женщину, как обманул меня, он и впредь может вынашивать вероломные планы и замышлять убийство своего благодетеля!

— Анна, ты ко мне несправедлива! — Вриенний вскочил и, прежде чем она успела опомниться, запечатлел на ее губах поцелуй. — Клянусь этим последним нашим поцелуем, если я и бывал подвержен безумию, в душе я никогда не изменял той, что превосходит всех талантами, званиями и красотой!

Царевна покачала головой, хотя сердце ее уже значительно смягчилось.

— Ах, Никифор! Так говорил ты некогда и, быть может, так думал! Но кто или что будет мне теперь порукой в правдивости твоих слов?

— Твои таланты и твоя красота, — ответил Никифор.

— А если тебе этого мало — твоя мать поручится за него, — добавила Ирина. — И не думай, что ее ручательства ничего не стоят в этом деле. Она — твоя мать и жена Алексея Комнина и как никто на свете жаждет, чтобы могущество и слава ее супруга и дочери возрастали; она видит сейчас возможность проявить великодушие, снова спаять воедино императорскую семью и построить правление государством на такой основе, которая будет незыблемой, если только на свете существуют честность и признательность!

— Значит, мы должны безоговорочно доверять этой честности и признательности, раз таково твое желание, госпожа, — сказала Анна, — хотя я настолько хорошо изучила науки и знаю свет, что прекрасно понимаю, сколь опрометчиво такое доверие! Но если даже мы обе и отпустим Никифору его прегрешения, последнее слово все же останется за императором — только он может простить и помиловать кесаря.

— Не бойся Алексея, — возразила ее мать, — он говорит твердо и уверенно, но если ему не удастся тотчас же исполнить задуманное, на неизменность его решения можно полагаться не больше, чем на льдинку во время оттепели!

— Значит, я должна выдать тайну, которую мне доверил отец? — спросила Анна. — Выдать тому, кто еще так недавно был его заклятым врагом?

— Не называй это предательством, — сказала Ири-

на,— ибо в писании сказано: не предай ближнего своего, тем паче родного отца и отца империи. Но в евангелии от святого Луки сказано также, что преданы будете и родителями, и братьями, и свойственниками, и друзьями, а посему, конечно, и дочерьми; этим я хочу сказать, что ты должна открыть нам ровно столько из тайн твоего отца, сколько нужно для спасения жизни твоего супруга. Важность этого дела оправдывает то, что в другое время можно было бы назвать проступком.

— Пусть будет так, госпожа. Хотя я, возможно, и слишком быстро дала согласие избавить этого злодея от справедливого суда моего отца, но раз уж я на это пошла, надо, очевидно, сделать все, мне доступное, чтобы спасти ему жизнь. Я оставила отца внизу, у лестницы, прозванной колодцем Ахерона, в темнице, где заключен слепец по имени Урсел.

— Пресвятая дева! — воскликнула императрица.— Ты назвала имя, которое уже давно никто не смеет произносить вслух!

— Неужели император, опасаясь живых, решил воззвать к мертвым? — спросил кесарь.— Ведь Урсел уже три года как умер.

— И тем не менее я говорю правду,— сказала Анна.— Отец только что беседовал с каким-то несчастным узником, которого он называл именно этим именем.

— Тем хуже для меня,— сказал кесарь.— Урсел, разумеется, не забыл, с каким рвением я ратовал против него и за государя; едва он выйдет на свободу, как тотчас же начнет вынашивать планы мести. Против этого надобно принять меры, даже если они умножат предстоящие трудности. Сядьте же, моя добрая, милосердная мать, и ты, моя жена, у которой любовь к недостойному мужу оказалась сильнее ревности и опрометчивой жажды мщения; сядьте и обсудим сообща, что мы можем сделать, дабы, не нарушив долга по отношению к императору, беспрепятственно привести в гавань наше разбитое судно!

Усадив со свойственной ему учтивостью обеих женщин, Никифор примостился между ними; вскоре они уже с живостью обсуждали, какие меры следовало им принять завтра, в первую очередь заботясь о том, чтобы сохранить жизнь кесарю и в то же время спасти Грецию от мятежа, который он же и замыслил. Вриенний отважился намекнуть, что не худо было бы дать пока заговору развиваться по намеченному плану, заверяя, будто он не позволит посягнуть на права Алексея во время открытых схваток; но его влияние на императрицу и ее дочь не было так

велико, чтобы они полностью доверились кесарю. Они просто запретили ему покидать дворец или принимать какое-либо участие в столкновении, которое должно было произойти на следующий день.

— Вы забываете, благородные дамы, что честь обязывает меня выйти завтра на поединок с графом Парижским,— напомнил им кесарь.

— Право, не стоит тебе говорить о своей чести в моем присутствии, Вриенний,— сказала Анна Комнин.— Хотя для западных рыцарей честь и является своего рода Молохом, всепожирающим, кровожадным демоном, однако воины Востока, весьма громогласно и шумно поклоняясь этой богине, куда менее неукоснительно соблюдают ее правила на поле боя — это мне хорошо известно! Не думай, что я, простив тебе такие оскорбления и обиды, соглашусь принять в уплату за них столь фальшивую монету, как честь! Твой ум можно будет по праву называть неизобретательным, если тебе не удастся найти предлог, который удовлетворил бы греков; нет, Вриенний, хорошо это для тебя или плохо, на этот поединок ты не пойдешь: я не соглашусь на твою встречу с графом или с графиней, будь то для боя или для любовной беседы. Одним словом, считай, что ты пленник здесь до тех пор, пока не минует час, назначенный для этой нелепой стычки.

Вполне возможно, что кесарь в глубине души не так уж огорчился столь прямо выраженным решением своей жены по поводу поединка.

— Если ты вознамерилась взять мою честь в свои руки,— сказал он,— я остаюсь у тебя в плену, тем более что не имею возможности противодействовать твоей воле. Когда же я опять обрету свободу, я буду сам распоряжаться своей доблестью и своим копьем.

— Пусть будет так, мой храбрый паладин,— спокойно ответила царица.— Надеюсь, что ни доблесть, ни копье не вовлекут тебя в схватку с кем-либо из этих буйных парижан, будь то мужчина или женщина, и что мы сможем соразмерить высоты, к которым стремится твоя отвага, с учением греческой философии и требованиями нашей милосердной богоматери, а не их Владычицы сломанных копий.

В эту минуту властный стук в дверь прервал это совещание, напугав его участников.

ГЛАВА XXVII

Врач

Утешьтесь, госпожа. Припадки буйства,
Как видите, прошли. Но наводить
Его на мысль о виденном опасно.
Уйдите с ним и более ничем
Сегодня не тревожьте.

«Король Лир»¹

С Алексеем Комнином мы расстались, когда он находился в глубине подземелья; угасал его светильник, а узник, оставшийся на его попечении, был подобен этому светильнику. Сперва Алексей прислушивался к удаляющимся шагам дочери. Затем он начал проявлять нетерпение, мечтая, чтобы Анна поскорее вернулась, хотя за это время она вряд ли успела подняться до верха мрачной лестницы. Вначале император спокойно ждал помощи, за которой послал царевну, но вскоре его стали одолевать смутные подозрения. Может ли это быть? Неужели его жестокие слова заставили Анну изменить свои намерения? Неужели она покинет отца на произвол судьбы в такое трудное для него время и ему уже нечего рассчитывать на помощь, которую он просил прислать?

Несколько минут, потраченных царевной на любезничание с варягом Хирвардом, показались императору часами; он вообразил, будто она пошла за сообщниками кесаря, чтобы, воспользовавшись беззащитностью монарха, они напали на него и привели в исполнение уже наполовину расстроенный замысел.

Это состояние мучительной неуверенности длилось у Алексея довольно долго, но потом он все же немного успокоился, подумав, как, в сущности, мало вероятно, чтобы его дочь, забыв о собственной выгоде, взяла сторону мужа, чье недостойное поведение так глубоко ее оскорбило, и обрекла на гибель того, кто всегда был снисходительным и любящим отцом. Его расположение духа заметно улучшилось; в это время он услышал, что кто-то медленно и с остановками спускается по лестнице; наконец перед ним предстал облаченный в тяжелые доспехи, невозмутимый Хирвард; за ним, задыхаясь и дрожа от холода и страха, шел искусный лекарь, раб Дубан.

— Добро пожаловать, мой славный Эдуард! Добро

¹ Перевод Б. Пастернака.

пожаловать, Дубан! Даже бремя лет бессильно перед твоим врачебным искусством! — воскликнул император.

— Ты слишком добр, государь,— начал было Дубан, однако сильный приступ кашля прервал его речь; то было следствие преклонного возраста, слабого сложения, пронизывающей сырости темницы и трудного спуска по длинной и крутой лестнице.

— Ты не привык посещать больных в таких неприветливых местах,— сказал Алексей.— И все же государственная необходимость вынуждает нас держать в этих мрачных, сырых подземельях многих людей, которые не только по имени, но и на деле являются нашими любезными подданными.

Лекарь продолжал кашлять, быть может для того, чтобы как-нибудь уклониться от утвердительного ответа, и, таким образом, не покривить душой; хотя эти слова были сказаны человеком, который, несомненно, знал, что говорит, все же они мало походили на правду.

— Да, друг Дубан,— продолжал император,— сюда, в этот ящик из прочной, непроницаемой стали, мы сочли нужным заключить грозного Урсела, прославившегося на весь мир военным искусством, политической мудростью, личной храбростью и другими благородными качествами; нам пришлось временно скрыть их во мраке неизвестности, чтобы в подходящий момент — а он как раз сейчас наступил — вернуть их миру в полном блеске. Проверь же его пульс, Дубан, и отнесись к нему как к человеку, который долго жил в суровом заточении, лишенный всех земных благ, а теперь внезапно обретает возможность наслаждаться жизнью и всем, что делает ее для нас столь драгоценной.

— Я приложу все усилия, государь,— ответил Дубан,— но ты должен принять во внимание, что мы имеем дело со слабым, истощенным существом. Здоровье этого человека совсем подорвано, и он может в любую минуту угаснуть, как бледное, трепещущее пламя твоего светильника; жизнь в нашем несчастном больном едва теплится вроде этого ненадежного огонька.

— Надо позвать сюда кого-нибудь из немых дворцовых рабов, мой славный Дубан, ведь они часто помогали тебе в подобных случаях... Или нет, постой! Эдуард, ты попроворнее, чем он; сходи за рабами, пусть захватят носилки, чтобы перенести больного, а ты, Дубан, присмотришь за ним. Вы отнесете его тотчас же в удобное помещение — только чтобы все это делалось в строжайшей тайне; пусть он насладится ванной, словом — прими все меры,

чтобы восстановить его утраченные силы; если только это возможно, он должен присутствовать завтра на поединке.

— Вряд ли у него хватит на это сил после всего, что с ним было,— сказал Дубан.— Судя по его неровному пульсу, с ним очень дурно обращались.

— Тому виной тюремщик, бесчеловечный негодяй,— возразил император.— Он понес бы заслуженное наказание, если бы небо уже не покарало его, да еще столь необычным образом: Сильвен, лесной человек, задушил вчера стража, когда тот хотел расправиться с узником. Да, милый Дубан, один из воинов отряда так называемых Бессмертных чуть не уничтожил этот цвет нашей надежды, который мы вынуждены были на время скрыть от посторонних глаз. Грубый молот разбил бы на куски несравненный бриллиант, если б судьба не предупредила это страшное несчастье!

Пришли вызванные на помощь рабы, и врач, казалось, больше привыкший действовать, чем говорить, распорядился приготовить ванну с целебными травами, объявив, что больного нельзя тревожить до завтрашнего утра, пока солнце не поднимется высоко над горизонтом. Урсела посадили в приготовленную по указанию Дубана ванну, однако он так и не пришел в себя. Затем его перенесли в уютную спальню; огромное окно ее выходило на одну из дворцовых террас, откуда открывался вид на расстилавшийся внизу город. Но все эти манипуляции производились над человеком, который совершенно отупел от страданий и утратил способность к обычным ощущениям, присущим живому существу; лишь после того, как растирание одеревенелых конечностей вернуло больному чувствительность, лекарь возымел надежду, что туман, окутавший мозг несчастного, рассеется.

Дубан охотно исполнил приказания императора и просидел около Урсела до рассвета, всеми средствами врачебного искусства оказывая поддержку природе.

Из помогавших ему немых рабов, которые привыкли исполнять приказы, порожденные не столько милосердием императора, сколько его гневом, Дубан выбрал одного, менее сурового на вид, чем остальные, и по велению Алексея, объяснил ему, что дело, которым ему придется заняться, следует хранить в строжайшей тайне; давно ожесточившегося раба очень удивило, что заботы о больном надлежит скрывать еще усерднее, чем пытки и кровавые убийства.

Больной безучастно относился к этим молчаливым проявлениям внимания; нельзя сказать, чтобы он совсем

не замечал их, но цель их была ему непонятна. После успокаивающей ванны и необыкновенно приятной замены той охапки жестокой, заплесневелой соломы, на которой он валялся годами, ложем из мягчайшего пуха, Урселу дали выпить болеутоляющее снадобье с небольшой примесью опия. Тем самым был вызван целительный сон, естественно восстанавливающий наши силы, и узник погрузился в давно неизведанное им сладостное забытие; оно охватило и мозг его и тело, напряженные черты разгладились, судороги и боли перестали терзать его, и он принял покойное и удобное положение.

Заря уже окрасила горизонт, и утренний ветерок наполнил свежестью и прохладой просторные покои Влахернского дворца, когда легкий стук в дверь разбудил Дубана — его больной спокойно спал, и лекарь позволил себе немного отдохнуть. Дверь открылась, на пороге появился человек в одежде дворцового прислужника; накладная борода, длинная и седая, скрывала лицо императора.

— Как твой больной, Дубан? — спросил Алексей. — Для Греческой империи очень важно, чтобы он чувствовал себя не очень слабым сегодня.

— Все идет хорошо, государь, отменно хорошо; если его сейчас не беспокоить, ручаюсь всем своим ничтожным искусством, что, с помощью средств врачевания, природа восторжествует над сыростью и затхлостью зловонной темницы. Только будь осторожен, государь, не торопись, не заставляй Урсела присутствовать на поединке до того, как он приведет в порядок свои расстроенные мысли и вернет силу рассудку и мышцам.

— Постараюсь обуздать свое нетерпение, — ответил император, — или, вернее, ты будешь обуздывать меня, Дубан. Как ты думаешь, он проснулся?

— Вероятно; но он не открывает глаз и, как мне кажется, противится естественному побуждению встать и оглядеться вокруг.

— Заговори с ним, — приказал император, — и скажи нам, о чем он думает.

— Это, конечно, опасно, но я не смею противиться твоей воле. Урсел! — произнес лекарь, подойдя к постели слепого. — Урсел! Урсел! — громче повторил он.

— Т-сс! Т-сс! — пробормотал больной. — Не нарушай блаженных видений, не напоминай несчастнейшему из смертных, что он должен испытать до дна чашу горестей, которую судьба заставила его пригубить.

— Еще, еще, — шепнул Дубану император, — попробуй

еще раз; мне важно знать, в какой мере он владеет разумом или в какой степени его утратил!

— Но мне не хотелось бы проявлять неуместную и пагубную поспешность, государь: ведь он может по моей вине полностью потерять рассудок и либо опять впасть в безумие, либо оцепенеть, и на сей раз надолго.

— Этого, я, конечно, не требую, — сказал император. — Я обращаюсь к тебе как христианин к христианину и хочу, чтобы мне повиновались лишь в соответствии с божескими и человеческими законами!

Сделав столь торжественное заявление, он умолк, но уже через несколько минут снова стал требовать от Дубана, чтобы тот продолжил свои расспросы.

— Если ты считаешь, государь, что я не в состоянии сам решать, как надобно лечить больного, — сказал Дубан, возгордившись доверием, которое ему вынуждены были оказать, — бери всю ответственность и все хлопоты на себя.

— И возьму, конечно! — ответил император. — Можно ли считаться с опасениями врачей, когда на чашу весов положены судьба государства и жизнь монарха! Встань, благородный Урсел! Прислушайся к голосу, который был тебе некогда хорошо знаком; этот голос снова призывает тебя к славе и власти! Оглянись вокруг, посмотри, с какой радостной улыбкой приветствует мир твое возвращение из темницы к кормилу государства!

— О коварный дьявол! — воскликнул Урсел. — На какие низкие уловки ты идешь, чтобы умножить горести несчастного! Знай, искуситель, что тебе не удалось обмануть меня утешительными видениями минувшей ночи — ванной, ложем, всей твоей райской обители. Нет, скорее тебе удастся рассмешить святого Антония-пустынника, чем заставить мои уста растянуться в улыбке, подобающей лишь тому, кто предан земным утехам!

— И все-таки встань, глупец, — настаивал император. — Твои чувства сами подтвердят существование окружающих тебя благ; а если ты будешь упорствовать в своем неверии, подожди немного, и я приведу с собой существо несравненной прелести, — стоит вернуть тебе зрение хотя бы для того, чтобы ты мог бросить на эту женщину единственный взгляд!

С этими словами он вышел из комнаты.

— Предатель, закоренелый обманщик, не веди сюда никого! — взмолился Урсел. — Не пытайся с помощью призрачной, неземной красоты продлить иллюзию, которая на время позолотила стены моей темницы — для того, веро-

ятно, чтобы погасить во мне последнюю искру рассудка, а затем сменить земной ад на заточение в самом пекле!

«Он, конечно, в какой-то степени повредился в рассудке,— подумал лекарь.— Это часто случается после длительного одиночного заключения. Неужели императору удастся добиться какой-то разумной услуги от человека, так долго пробывшего в этой ужасной темнице?» — Стало быть, ты считаешь,— продолжал он вслух, обращаясь к больному,— что твое вчерашнее освобождение, ванна, все освежающие средства были лишь обманчивым сновидением, а не действительностью?

— Как же может быть иначе? — ответил Урсел.

— Ты боишься, что если, вняв нашим просьбам, ты поднимешься с ложа, то тем самым уступишь напрасному искушению и проснешься потом еще более несчастным, чем прежде?

— Разумеется,— подтвердил больной.

— Что же ты тогда думаешь об императоре, по чьему приказу ты перенес такие тяжкие лишения?

Дубан, возможно, пожалел об этом вопросе, ибо в ту минуту, как он его задал, дверь открылась и в комнату вошел император, ведя под руку свою дочь, одетую просто, но с надлежащим великолепием. Она успела за это время переодеться в белое одеяние, наподобие траурного; главным украшением его была цепь, усеянная бесценными алмазами, которой были перевиты и связаны ее длинные черные косы, доходившие до пояса. Отец застал ее, на смерть испуганную, в обществе кесаря и матери; громовым голосом он одновременно приказал варягам взять под стражу Вриенния, как подозреваемого в измене преступника, а царевне — сопровождать его в спальню Урсела, где она теперь и стояла, полная решимости до последней возможности оказывать поддержку гибнущему мужу, не пытаясь, однако, просить или протестовать до тех пор, пока ей не станет ясно, насколько тверда и неколебима позиция, которую занял ее отец. Впрочем, как бы поспешно ни были составлены планы Алексея, которые так же быстро могли быть расстроены каким-нибудь неожиданным событием, трудно было надеяться, что он согласится сделать то, о чем мечтали обе женщины, то есть простить виновного Никифора Вриенния.

К своему удивлению, а может быть, и неудовольствию, император обнаружил, что больной вместе с лекарем занят обсуждением его собственной особы.

— Не думай, что, хоть я и заточен в этой темнице и со мной обращаются хуже, чем с последним отщепенцем,—

отвечал лекарю Урсел,— хоть я к тому же лишен зрения, этого драгоценного дара небес, и терплю все страдания по воле жестокосердого Алексея, не думай, повторяю, что я считаю его своим врагом; напротив, благодаря ему бедный ослепленный узник научился искать свободы, куда менее ограниченной, чем та, которая существует в нашем жалком мире, и обнимать взором большие горизонты, чем те, что виднеются с высочайших гор по эту сторону могилы. Так неужели я буду причислять императора к своим врагам? Того, кто открыл мне тщету всего земного, ничтожество земных наслаждений и подарил чистую надежду на лучший мир взамен всех бедствий сей юдоли? Нет, конечно!

Когда Урсел начал свою речь, император несколько смутился, но, услышав, что она неожиданно закончилась благоприятно для него — так, по крайней мере, ему было удобно считать,— он принял позу скромного человека, выслушивающего похвалы и вместе с тем изумленного этими похвалами, которыми его щедро награждает великодушный противник.

— Друг мой,— громко сказал император,— как верно ты понял мои намерения; действительно, те познания, которые такие люди, как ты, могут извлекать из своих несчастий, и были целью, когда нам пришлось заточить тебя в темницу и, вследствие неблагоприятных обстоятельств, продержат там гораздо дольше, чем хотелось...

Больной приподнялся на ложе.

— Постой! Я, кажется, начинаю что-то понимать. Да,— пробормотал он,— это тот самый предательский голос, который сначала приветствовал меня как друга, а затем свирепо приказал лишить меня зрения! Удвой свою жестокость, Комнин, усугуби, если можешь, муки моего заточения, но раз уж я не вижу твоего фальшивого, бесчеловечного лица, избавь меня молю, и от звука твоего голоса, более ненавистного мне, чем жабы и змеи, чем все, что есть в природе гнусного и отвратительного!

Он говорил так страстно, что все усилия императора прервать его были напрасны; и сам Алексей, и Дубан, и царевна слышали в его речи гораздо больше неприкрытого, неподдельного негодования, чем они ожидали.

— Подними голову, безрассудный человек,— приказал император,— и обуздай свой язык, не то это дорого тебе обойдется. Посмотри, какую награду я тебе приготовил: она искупит все зло, которое твое безумие приписывает мне!

До сего времени узник упорно не открывал глаз, считая

неясное воспоминание о мелькнувших вчера перед ним бликах света плодом расстроенного воображения, если только они не были созданы чарами какого-то духа-искусителя. Но теперь, когда он ясно увидел осанистую фигуру императора и тонкий стан его прелестной дочери в мягком блеске утренней зари, он воскликнул слабым голосом:

— Я вижу, вижу!

И, снова упав на подушки, лишился чувств, чем сразу заставил Дубана пустить в ход все его укрепляющие снадобья.

— Какое удивительное исцеление! — восклицал лекарь. — Как мне хотелось бы обладать таким чудодейственным средством!

— Глупец! — сказал император. — Неужели ты не понимаешь, сколь просто вернуть человеку то, чего он никогда не лишался! — И, понизив голос, продолжал: — Ему сделали болезненную операцию, и он вообразил, будто его ослепили; свет не проникал к нему в темницу, а если и проникал, то лишь в виде смутных и почти неразличимых отблесков, поэтому духовный и физический мрак, окружавший узника, мешал ему понять, что у него полностью сохранилась та драгоценная способность, которую он якобы потерял. Возможно, ты спросишь, зачем я ввел его в столь необычное заблуждение? Всего лишь затем, чтобы из-за этого его сочли непригодным для управления государством и быстро забыли о нем; в то же время я сохранил ему зрение, оставив себе возможность в случае надобности освободить Урсела и направить его мужество и таланты на службу империи, противопоставив их ловкости других заговорщиков. Этим я и намереваюсь теперь заняться.

— И ты надеешься, государь, на его верность и преданность, несмотря на такое обращение с ним? — спросил Дубан.

— Это мне неизвестно; будущее покажет, насколько я прав, — ответил император. — Я знаю одно; не я буду виновен, если Урсел откажется сменить жалкое существование во мраке на свободу, на долгие годы власти — узаконенной, возможно, союзом с моей дочерью, — и на вечное пользование драгоценным даром зрения, который менее совестливый человек отнял бы у него!

— Если таковы твоё убеждение и желание, государь, я должен помочь этому, а не противодействовать, — сказал Дубан. — Позволь тогда просить тебя и царевну удалиться — мне надо применить средства, которые укрепят столь

сильно пошатнувшийся рассудок и полностью вернут больному исчезнувшее было зрение.

— Дозволяю тебе это, Дубан; но помни: Урсел не может пользоваться полной свободой, пока не согласится отдать себя в мое распоряжение. Да будет вам обоим известно, что хоть я и не намерен ввергнуть его во влахернскую темницу, но если он или кто-то другой от его имени попытается в столь смутные времена возглавить заговор против меня,— клянусь честью рыцаря, как говорят франки, алебарды моих варягов достанут его, где бы он ни был! Передай ему эти мои слова — они относятся не только к нему, но и к тем, кто заинтересован в его судьбе! Пойдем, дочь моя, оставим лекаря с его подопечным. И не забудь, Дубан: как только твой больной будет в состоянии беседовать со мной разумно, ты должен немедленно сообщить мне об этом.

И Алексей вместе со своей прекрасной и ученой дочерью удалился из комнаты.

ГЛАВА XXVIII

Есть сладостная польза и в несчастье:
Оно подобно ядовитой жабе,
Что ценный камень в голове таит
*«Как вам это понравится»*¹

С плоской крыши-террасы Влахернского дворца, куда выходила из спальни Урсела раздвижная стеклянная дверь, открывался один из самых необыкновенных и восхитительных видов на живописные окрестности Константинополя.

Дав растревоженному больному прийти в себя и отдохнуть, лекарь отвел его на эту террасу. Немного успокоившись, Урсел сам попросил позволения снова взглянуть на величественный лик природы и проверить, действительно ли зрение вернулось к нему.

Картина, открывшаяся ему по одну сторону террасы, была мастерским произведением человеческого искусства. Надменный город, украшенный, как подобает мировой столице, пышными зданиями, являл взору ряд сверкающих шпилей и архитектурных ордеров, порою строгих и простых, как, например, те, капители которых уподоблялись корзинам с листьями аканта, или те, где выемки на колоннах были заимствованы у опор, к которым древние греки прислоняли свои копья,— эти формы изящнее в своей простоте, чем все, что позднее сумело изобрести искусство человека. Наряду с несравненными образцами истинно классического древнего зодчества, встречались и здания позднего периода; более современный вкус, пытаясь усовершенствовать старину, соединил в них различные ордера и создал нечто или слишком сложное, или вовсе не подходившее ни под какие каноны. Тем не менее размеры этих зданий сообщали им внушительность; грандиозность их пропорций и внешнего вида произвела бы впечатление на самого взыскательного ценителя архитектуры, хотя его и возмутила бы их безвкусьность. Неисчислимые триумфальные арки, башни, обелиски и шпили — памятники самых разнообразных событий — возносились над городом в причудливом беспорядке; внизу расстилались длинные, узкие улицы столицы, образованные домами горожан; дома эти были различной высоты, но их увенчивали плоские крыши-террасы, сплошь покрытые вьющимися растениями, цветами и фонтанами, и поэтому они казались, если

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

смотреть на них сверху, благороднее и привлекательнее, чем однообразные покатые крыши зданий в северных столицах Европы.

Нам понадобилось некоторое время, чтобы описать зрелище, которое внезапно явилось Урселу и поначалу причинило ему сильную боль. Глазам его давно стало чуждо ежедневное упражнение, прививающее нам привычку выправлять видимые нами картины сообразно знаниям, сообщенным другими чувствами. Представление больного о расстоянии стало таким смутным, что ему показалось, будто все шпили, башенки и минареты, на которые он смотрел, теснясь, надвигаются на него, чуть ли не касаясь его глаз. Вскрикнув от ужаса, Урсел обернулся к другой стороне террасы, где ландшафт был совсем иной. Здесь тоже виднелись башни, колокольни и башенки, только принадлежали они храмам и дворцам, расположенным далеко внизу и отражавшимся в ослепительной водяной глади константинопольской бухты, откуда в город поступало такое обилие товаров, что ее по праву называли Золотым Рогом. Часть этого великолепного залива была окаймлена набережными, на которые большие, горделивые корабли и торговые суда выгружали свои богатства, в то время как поодаль у незамощенного берега гавани галеры, фелюги и другие мелкие суда лениво покачивали парусами, похожими на белоснежные причудливые крылья. Кое-где Золотой Рог был окутан зеленеющим плащом деревьев; это сбегали вниз, останавливаясь лишь у зеркальных вод, сады богатых вельмож и городские парки.

Посреди видневшегося вдали Босфора стояла маленькая флотилия Танкреда, на том самом месте, где она ночью встала на якорь и откуда можно было наблюдать за находившейся напротив пристанью; принц Отрантский предпочел воздержаться от полночной высадки в Константинополе, не зная, как их примут — как друзей или как врагов. Эта отсрочка, однако, дала грекам возможность — то ли по приказу Алексея, то ли по имеющему не меньшую власть распоряжению кого-то из заговорщиков, — подтянуть к гавани шесть военных судов с вооруженным экипажем, снабженных применявшимися греками в ту эпоху боевыми морскими орудиями, и пришвартовать их так, чтобы можно было держать под обстрелом ту часть берега, где предстояло высадиться войску принца.

Приготовления греков несколько удивили доблестного Танкреда, не знавшего, что эти суда предыдущей ночью прибыли в бухту из Лемноса. Впрочем, неожиданная опасность ничуть не поколебала его стойкого мужества.

Этот изумительный вид, от описания которого мы немного отвлеклись, открылся Урселу и лекарю с одной из самых высоких террас Влахернского дворца. Со стороны города ее окаймляла толстая и высокая стена, на которую опиралась покатая крыша более низкого соседнего здания, выступавшая далеко вперед и скрадывавшая высоту; с другой стороны терраса была огорожена только высокой, массивной бронзовой балюстрадой, и взор беспрепятственно устремлялся вниз, к водам бухты, словно в пропасть.

Не успел Урсел перевести взгляд в этом направлении, как сразу вскрикнул, хоть и стоял далеко от края террасы:

— Спаси меня, спаси, если только тебе не поручено исполнить волю императора!

— Да, мне поручено,— сказал лекарь,— но поручено именно спасти тебя и, если можно, полностью исцелить, а не нанести тебе вред или допустить, чтобы повредили другие.

— Тогда спаси меня от самого себя,— взмолился Урсел,— и убереги от головокружительного, безумного желания ринуться в пропасть, к которой ты меня подвел.

— Это опасное ощущение неустойчивости всегда свойственно тем, кто давно не смотрел вниз с большой высоты и к тому же наверху очутился неожиданно. Как бы щедр ни была природа, она не предусмотрела возможности долголетнего перерыва в пользовании органами наших чувств, а затем его внезапного и полного возобновления. Тут необходим какой-то постепенный переход. Неужели ты не веришь, что терраса совершенно безопасна? И ведь мы с этим верным слугой оба тебя поддерживаем,— убеждает его лекарь.

— Верю, конечно, но позволь мне обернуться к той каменной стене. Я не в состоянии смотреть на это непрочное кружево из проволоки — единственную преграду между мной и пропастью.

Так говорил Урсел о бронзовой балюстраде, шести футов в высоту и очень прочной. Весь дрожа, он крепко ухватил за руку лекаря, несмотря на то, что был моложе его и более ловок; он шел, так медленно передвигая ноги, словно они были налиты свинцом, и, дойдя наконец до раздвижной двери, сел на стоявшую возле нее садовую скамью.

— Здесь я и останусь,— сказал он.

— И здесь я передам тебе поручение императора, который ждет твоего ответа,— сказал Дубан.— Как ты увидишь, тебе предстоит самому решить свою судьбу — остаться ли в заточении или обрести свободу,— последнее,

однако, при условии, что ты откажешься от лакомого, но греховного кусочка, зовущегося мексикой, который, не скрою, по воле случая сам идет тебе в руки. Ты знаешь, насколько опасным соперником считал тебя император и сколько ты от него претерпел. Так вот — можешь ли ты простить ему прошлое?

— Дай мне закрыть мою бедную голову плащом,— сказал Урсел,— чтобы она наконец перестала кружиться, и как только ко мне вернется память, ты узнаешь, какие чувства я испытываю.

Он съехал на скамье, закутав голову, как ему хотелось, и, просидев несколько минут в раздумье, заговорил; в его голосе все еще чувствовалась нервная дрожь, вызванная отвращением и ужасом.

— Когда человек впервые испытывает на себе несправедливость и жестокость, они, конечно, вызывают в пострадавшем чувство бурного негодования; ни одна страсть не гнездится в его душе так долго, как естественная жажда мести. И если бы в первый месяц, проведенный мною на ложе горя и мук, мне посулили возможность отомстить жестокому угнетателю, я охотно потратил бы на это весь жалкий остаток своих дней. Но разве можно сравнить страдания, длящиеся неделями или даже месяцами, с страданиями, которые длятся годы! Вначале тело и душа еще сохраняют ту силу, что связывает узника с жизнью и заставляет его трепетать, вспоминая давно ушедшие, но волновавшие когда-то надежды, желания, разочарования и уничтожения. Но по мере того как раны зарубцовываются, они постепенно начинают забываться, а в душе появляются новые, лучшие чувства. Мирские радости и наслаждения становятся чуждыми тому, кого навсегда окутал мрак отчаяния. Должен тебе признаться, мой добрый лекарь, что, как безумный, стремясь к свободе, я в первые месяцы выдолбил довольно большое углубление в толще скалы. Но небо исцелило меня от этих безрассудных помыслов; если я и не дошел до того, чтобы полюбить Алексея Комнина — это невозможно, пока я в здравом уме и памяти,— все же, чем больше я вспоминал собственные проступки, грехи и безумства, тем больше убеждался, что Алексей — всего лишь орудие, с помощью которого небо, чье терпение я истощил, наказало меня за многочисленные прегрешения, и что поэтому злоба моя не должна быть обращена на императора. И я могу тебе сказать теперь, что если только человек, перенесший такое страшное испытание способен понимать, чего он хочет, у меня нет никакого желания ни вступить с Алексеем в борьбу за

трон, ни воспользоваться ценой отказа от своих притязаний каким-либо из его предложений. Пусть за ним остается корона, за которую, как я нахожу, он заплатил больше, чем она стоит.

— Твоя стойкость воистину удивительна, благородный Урсел,— ответил лекарь Дубан.— Если я правильно тебя понял, ты отказываешься от щедрых предложений Алексея и вместо всего, чем он хочет — нет, жаждет тебя одарить,— желаешь вернуться в беспросветный мрак влахернской темницы, чтобы без помехи предаваться там благочестивым раздумьям, которые уже привели тебя к такому необычайному решению?

— Слушай, лекарь,— испуганный этим предложением Дубана, Урсел судорожно передернулся,— кажется, человек с твоими познаниями должен был бы понимать, что ни один смертный — если только судьба не предназначила ему стать святым мучеником — не может предпочесть мрак дневному свету, слепоту — счастью обладать зрением, медленное умирание от голода — насыщению или затхлую темницу — дарованному богом свежему воздуху. Возможно, это и есть подлинная добродетель, но до таких высот мне не подняться. Все, что мне нужно от императора за ту поддержку, какую мое имя принесет ему в трудное для него время,— это разрешение принять постриг в какой-нибудь из прекрасных, богатых обителей благочестия, основанных им из набожности или из страха. Я не хочу оставаться предметом его подозрений, ибо это еще страшнее, чем быть предметом его ненависти. Пусть я буду забыт властью, как я сам позабыл власть имущих, и дойду до могилы незаметным, ничем не стесненным, свободным, хотя бы отчасти зрячим и прежде всего с миром в душе.

— Если ты действительно и от всей души хочешь этого, великодушный Урсел, я сам, не колеблясь, поручусь за полное исполнение твоих благочестивых и скромных желаний,— сказал лекарь.— Но все же подумай — ведь ты снова при дворе, где сегодня можешь добиться того, к чему стремишься, а завтра, если ты пожалеешь об этом отказе и захочешь хоть немного улучшить свое положение, все твои мольбы могут оказаться бесплодными.

— Если так, я выговорю еще одно условие, которое, впрочем, относится только к сегодняшнему дню. Я смиренно попрошу государя избавить меня от мучительных переговоров с ним самим; пусть он удовлетворится моим торжественным обещанием охотно сделать для него все, что ему будет угодно приказать; я же молю только испол-

нить мои скромные желания относительно дальнейшей жизни, которые я уже сообщил тебе,— сказал Урсел.

— Но почему ты опасаясь объявить императору свое согласие, если со своей стороны ты выставляешь такие неслыханно скромные требования? — спросил лекарь.— Боюсь, что император все же будет настаивать на встрече.

— Я не постыжусь открыть тебе правду. Это верно, что я отрекся, или думаю, что отрекся, от того, что священное писание называет житейской гордыней; но древний Адам по-прежнему живет в нас и ведет нескончаемую войну с нашими лучшими душевными свойствами; заключить перемирие с ним трудно, нарушить — очень легко. Вчера вечером я еще не совсем сознавал, что мой враг находится рядом, я с трудом припоминал лживые, ненавистные звуки его голоса, и, тем не менее, сердце мое трепетало в груди, как пойманная птица; так неужели я снова должен беседовать с человеком, который независимо от того, хорош он или плох во всем остальном, был постоянной и ничем не оправданной причиной моих беспримерных бедствий? Нет, Дубан! Опять услышать его голос — значит вызвать к жизни все бурные, мстительные страсти, таящиеся в моем сердце, и хотя, видит бог, помыслы мои вполне чисты, я не могу поручиться за его и свою безопасность, если мне придется выслушивать его словоизлияния!

— Раз уж таково твое расположение духа, я только передам ему твои условия, а ты должен поклясться ему, что будешь строго соблюдать их. Без этого трудно, вернее — невозможно, прийти к соглашению, которого вы оба хотите,— сказал Дубан.

— Аминь! — воскликнул Урсел.— А так как мои намерения честны и я полон решимости не отступаться от них, то да сохранит меня небо от всяких помышлений об опрометчивой мести, старых обидах или новых распрях.

Тут раздался властный стук в дверь спальни; Урсел, избавившийся от головокружения под влиянием более сильных чувств, твердыми шагами вошел в спальню и сел; отведя взгляд в сторону, он ждал человека, который возвестил о своем желании войти,— этот человек оказался самим Алексеем Комнином.

Император появился на пороге; он был в военном снаряжении, как и подобает монарху, собирающемуся присутствовать на турнире.

— Скажи мне, мудрый Дубан,— обратился он к лекарю,— сделал ли наш досточтимый узник выбор между миром и враждой?

— Сделал, государь,— ответил лекарь.— Он решил разделить судьбу той счастливой части человечества, которая посвятила служению императору и сердце и жизнь свою.

— Стало быть, он сегодня окажет мне услугу,— продолжал император,— и усмирит всех, кто попытается подстрекать людей к бунту от его имени и под предлогом нанесенных ему обид?

— Он исполнит все, чего ты от него требуешь, государь,— заверил его Дубан.

— А какую же награду наш верный Урсел ждет от императора за подобные услуги, оказанные в столь трудную минуту? — придав своему голосу самые чарующие интонации, спросил Алексей.

— Только не говорить с ним об этом,— вот и все,— ответил Дубан.— Он хочет лишь, чтобы ваша вражда была забыта и чтобы его приняли в один из учрежденных тобой монастырей, дабы он мог посвятить остаток своей жизни поклонению всевышнему и святым угодникам.

— А он не обманывает тебя, Дубан? — понизив голос, тревожно спросил император.— Клянусь небом, когда я подумаю, из какого мрака его вывели и как он жил в этой темнице, я не могу поверить в такую незлобливость. Он должен повторить мне это сам, чтобы превращение грозного Урсела в существо, столь неспособное к естественным человеческим чувствам, показалось мне более правдоподобным.

— Слушай меня, Алексей Комнин,— сказал узник,— и да будут твои молитвы так же услышаны и приняты небом, как примешь ты с верою мои словам, идущие от самого сердца. Будь твоя империя из чеканного золота, она и то не соблазнила бы меня; а все беды, которые я через тебя претерпел, как бы они ни были велики и жестоки, не вызывают во мне, благодарение богу, ни малейшего желания ответить предательством на предательство! Думай обо мне что хочешь, только никогда больше не вступай со мной в беседу; если ты поместишь меня в самый суровый из твоих монастырей, поверь, строгий устав его, пост и бдения будут куда легче, чем удел тех подданных государя, коих он осыпает милостями и кои обязаны бежать к нему по первому его зову.

— Хоть мне и не положено вмешиваться в столь важные дела,— прервал его лекарь,— но поскольку и благородный Урсел и сам государь оказали мне доверие, должен признаться, что я позволил себе коротко записать те

скромные условия, которые должны соблюсти высокие договаривающиеся стороны *sub crimine falsi*¹.

Император ушел лишь после того, как подробно объяснил Урселу, какие понадобятся от него в этот день услуги. При расставании Алексей обнял бывшего узника с изъявлениями величайшей признательности; Урселу же порадовала вся его стойкость и самообладание, чтобы удержаться и не сказать в самых прямых выражениях, какое отвращение вызывает у него столь пылко обнимающий его человек.

¹ Под страхом обвинения в клятвопреступлении (лат.).

ГЛАВА XXIX

О заговор,
Стыдишься ты показываться ночью,
Когда привольно злу. Так где же днем
Столь темную пещеру ты отыщешь,
Чтоб скрыть свой страшный лик?

Такой и нет.
Уж лучше ты его прикрой улыбкой:
Ведь если ты его не приукрасишь,
То сам Эреб и весь подземный мрак
Не помешают разгадать тебя.

«Юлий Цезарь»¹

Наконец наступило то знаменательное утро, когда должен был состояться объявленный императором поединок между кесарем и Робертом, графом Парижским. Поединки были совершенно чужды складу ума греков, толковавших этот обычай по-иному, чем западные народы, которые считали их торжественным свершением «суда божьего», как говорили латиняне; поэтому горожан сильно волновало событие, свидетелями которого они должны были стать; по Константинополю ходили туманные слухи, связывавшие это необычайное сражение с самыми различными поводами к какому-то всеобщему устрашающему бунту.

По приказу императора для поединка приготовили арену с расположенными друг против друга входами, откуда полагалось выпускать на поле боя участников турнира; обе стороны должны были при этом воззвать к богу, соблюдая тот обряд, который предписывало вероисповедание каждого из противников. Арену устроили на западном берегу пролива. Невдалеке виднелись городские стены, возведенные из камня и известняка в разнообразных архитектурных стилях; в этих стенах было ни более, ни менее как две дюжины ворот: пять выходило в сторону материка, а девятнадцать вело к морю. Зрелище было, да и остается по сей день весьма живописным. Город имеет около девятнадцати миль в окружности; его обступают со всех сторон высокие кипарисы, и кажется, что он вырос прямо в этом величественном лесу; стройные деревья частично загораживают башенки и обелиски, которые в те времена отмечали местоположение многих замечательных христианских храмов, превращенных потом в мусульманские мечети, о чем свидетельствуют пристроенные к ним минареты.

¹ Перевод М. Зенкевича.

Для удобства зрителей арену окружили длинными рядами сидений, полого спускавшимися к ней. Между ними, против центра арены, стоял высокий трон, предназначенный для самого императора и обнесенный отделявшим его от общих галерей деревянным барьером, который, как это сразу было видно опытному глазу, в случае необходимости мог быть использован для обороны.

Длина арены была около шестнадцати ярдов, ширина — ярдов сорок; она была достаточно вместительна, чтобы на ней могли встретиться как конные, так и пешие противники. С самого рассвета из городских ворот потекли толпы греков — жителей Константинополя, спешивших осмотреть арену, подивиться на ее устройство, неодобрительно высказаться об удобствах сооружения и заранее занять себе места. Вскоре явился туда и большой отряд воинов, так называемых Бессмертных. Они без всякого стеснения разместились по обеим сторонам деревянного барьера, который ограждал императорский трон. Некоторые воины позволили себе еще большую вольность — притворяясь, будто их теснит толпа, они подошли вплотную к загородке, как бы намереваясь перелезть через нее и усесться возле трона. Затем показалось несколько старых дворцовых рабов, словно бы для охраны заветного места, отведенного императору и его двору; по мере того как Бессмертные становились все более дерзкими и беспокойными, силы защитников запретного пространства постепенно возрастали.

Кроме главного входа, на императорскую галерею вела еще одна дверь, тщательно замаскированная и очень прочная; в нее вошли какие-то люди, вставшие за местами для приближенных императора. Судя по длинным ногам, широким плечам, плащам, тороченным мехом, и особенно по грозным алебардам, с которыми они не расставались, это, очевидно, были варяги; они не блистали праздничным одеянием, положенным в таких случаях, не было на них и грозных боевых доспехов, но внимательный наблюдатель увидел бы, что и на сей раз они взяли с собой свое обычное оружие. Входя отдельными, разрозненными группами, они присоединялись к дворцовым рабам, помогая им пресекать попытки Бессмертных пробраться к императорскому трону и окружающим его скамьям. Несколько дерзких воинов из отряда Бессмертных, которым удалось перелезть через барьер, были весьма бесцеремонно выброшены оттуда мускулистыми силачами варварами.

Сидевшие на соседних галереях люди, на вид — празднично одетые горожане, оживленно обсуждали эти стычки;

их симпатии явно были на стороне Бессмертных.

— Как не стыдно императору поощрять варваров-британцев и позволять им насильно становиться между ним и когортами Бессмертных, можно сказать — его собственных детей! — говорили они.

Выделявшийся своим гигантским ростом и крепким телосложением гимнаст Стефан заявил не задумываясь:

— Если здесь найдутся еще хоть два человека, которые громко заявят, что Бессмертных несправедливо лишили права охранять особу императора, вот эта рука освободит воинам место возле трона государя.

— Нет, — сказал центурион из отряда Бессмертных, которого мы уже представили читателям под именем Гарпакса, — нет, Стефан, это счастливое время когда-нибудь настанет для нас — о украшение нашего цирка! — но пока оно еще не пришло. Ты знаешь, что в поединке будет участвовать один из этих графов, западных франков; варяги же считают их своими врагами, а посему имеют основание претендовать на охрану арены, и оспаривать у них сейчас это право не совсем удобно. Ох, если б ты был хоть вполовину так умен, как высок, ты понял бы, что плох тот охотник, который вспугнет дичь, прежде чем окружит ее сетями!

Пока отлет недоумленно пялил большие серые глаза, пытаясь понять, что означает этот намек, его дружок, художник Лисимах, встав на цыпочки, с трудом дотянулся до уха Гарпакса и, стараясь придать своему лицу умное выражение, шепнул:

— Можешь мне поверить, доблестный центурион, что этот могучий силач не побежит по ложному следу, как собака, которая потеряла нюх, но и не будет сидеть молча на месте, когда подадут сигнал. Скажи мне, однако, — забравшись на скамью, чтобы оказаться вровень с ухом Гарпакса, и еще понизив голос, добавил он, — не лучше ли было бы поместить отряд храбрых Бессмертных внутри этого деревянного укрепления, чтобы обеспечить успех сегодняшнему предприятию?

— Так оно и было задумано, — сказал центурион, — но эти варяжские бродяги самовольно заняли не положенные им места.

— Но вас же куда больше, чем варваров, — продолжал Лисимах, — почему бы вам не схватиться с ними до того, как эти чужаки получают подкрепление?

— Успокойся приятель, — холодно ответил центурион, — мы сами знаем, как нам поступать. Перейти в наступление слишком рано еще хуже, чем совсем от него

отказаться, и если мы преждевременно подадим сигнал, то не сможем осуществить наш замысел в минуту, действительно подходящую для атаки.

И он отошел к своим воинам, чтобы его беседа с кем-то из замешанных в заговоре горожан не вызвала излишних подозрений.

День разгорался, солнце поднималось выше над горизонтом, а из различных частей города к месту поединка шли все новые и новые люди, движимые не то любопытством, не то другими, более серьезными побуждениями; они торопились занять оставшиеся свободными места вокруг арены. По пути им приходилось подниматься на холм, наподобие мыса вдававшийся в Геллеспонт; широкой своей стороной он примыкал к берегу и возвышался над ним; с этого холма пролив, соединяющий Европу с Азией, был виден гораздо лучше, чем из самого города или с низменности, где находилась арена. Любители зрелищ, спешившие прийти к месту поединка спозаранок, останавливались на холме ненадолго, а то и совсем не останавливались, но люди, которые шли вслед за ними, увидев, что те, кто так спешил поскорее добраться до арены, бесцельно и лениво бродят вокруг нее, начали задерживаться, подстрекаемые естественным любопытством, любовались ландшафтом, отдавая дань его красотам, а потом переводили взгляд на море, пытаясь увидеть там что-нибудь, имеющее отношение к предстоящим событиям. Какие-то шагавшие вразброд моряки первыми заметили флотилию маленьких греческих судов, возглавляемую Танкредом, которая, отплыв от берегов Азии, казалось угрожала пристать в Константинополе.

— Странно,— сказал один из моряков, капитан галеры,— ведь этим судам было приказано вернуться в Константинополь сразу после того, как латиняне высадятся на берег, а они так долго пробыли в Скутари и возвращаются в столицу только теперь, на второй день после отплытия...

— Дай бог, чтобы на них были только наши моряки! — сказал второй моряк.— Мне кажется, что на флагштоках, бушпритах и стеньгах те же или почти те же флаги, которые были развернуты латинянами, когда их, по указу императора, перевозили в Палестину. Эти суда похожи на торговые корабли, которые возвращаются обратно, потому что им не дали разгрузиться в месте назначения!

— Привозить ли такие товары или вывозить — все равно с ними не столь уж приятно иметь дело,— заметил один из ранее упомянутых нами охотников потолковать о политике.— Вон тот большой стяг, которые развеваются

над галерой, идущей впереди других, означает, что на ней находится какой-то вождь, и, видимо, не из последних среди этих графов либо по доблести, либо по знатному происхождению.

А капитан, как бы намекая на тревожные вести, добавил взволнованным голосом:

— Они поднялись так высоко вверх по течению, чтобы прилив отнес их к берегу, минуя этот мыс, где мы стоим; но с какой целью они хотят высадиться так близко от стен города, пусть скажет кто-нибудь поумнее меня!

— Намерения у них, конечно, не из добрых,— ответил его товарищ.— Богатство нашего города прельщает тех, кто беден: железо, которым они владеют, ценится ими лишь потому, что оно дает им возможность приобрести золото, о котором они мечтают.

— Ты прав, братец,— сказал политикан Деметрий.— Но разве ты не видишь, что в заливе у этого мыса, на том самом месте, куда течение несет еретиков, бросили якорь шесть больших кораблей? Они могут не только осыпать врага градом дротиков и стрел, но и метнуть в него со своих глубоких палуб греческий огонь! Если франкская знать будет двигаться к нашей столице, а ведь

...sed et illa propago
Contemptrix Superûm, sâvâque avidissima cãdis,
Et violenta fuit,¹

мы очень скоро станем свидетелями куда более волнующего боя, чем тот, о котором возвестила большая труба варягов. Будь другом, присядем-ка здесь на минутку и посмотрим, чем это кончится.

— Прекрасная мысль, ты очень догадлив, приятель,— ответил Ласкарис (так звали другого горожанина).— Но не опасно ли это будет? Сюда могут долететь метательные снаряды, которыми дерзкие латиняне непременно ответят на греческий огонь, если ты прав и наши корабли действительно обрушат его на них.

— Разумеется, опасно, мой друг,— ответил Деметрий,— но не забудь, что ты говоришь с человеком, уже побывавшим в таких переделках; если сюда полетят снаряды с моря, советую отойти вглубь ярдов на пятьдесят,— тогда верхушка мыса прикроет нас; там обстрел не испугал бы даже ребенка.

¹ ...это отродье

Презирало богов и стремясь к жестоким убийствам,

Было буйно (лат.).

(Перевод А. Фета.)

— Ты мудрый человек, сосед,— сказал Ласкарис.— В тебе храбрость сочетается со знаниями, и ты не станешь зря рисковать чужой жизнью. Другие, например, ради пустяка подвергнут тебя смертельной опасности; а ты, досточтимый друг Деметрий, так хорошо знаком с военным искусством и так заботливо относишься к друзьям, что с тобою может без малейшего риска смотреть на все интересное человек, который хочет — и это неудивительно — остаться целым и невредимым. Однако что же это, пресвятая дева? Что означает этот красный флаг, поднятый сейчас греческим головным кораблем?

— Ты же видишь, сосед,— ответил Деметрий,— сей западный еретик продолжает двигаться вперед, несмотря на то, что наш флагман все время подавал ему знаки остановиться; поэтому он и поднял знамя цвета крови, словно человек, который сжал кулак и грозит: если будешь упорствовать в своих варварских намерениях, плохо тебе придется!

— Правильное предупреждение, клянусь святой Софией! — сказал Ласкарис.— Но что собирается делать наш головной корабль?

— Беги, беги, друг Ласкарис,— воскликнул Деметрий,— не то ты увидишь такое, что вряд ли тебе понравится!

И Деметрий, подавая пример, первый показал пятки и с весьма поучительной быстротой скрылся за гребнем холма; следуя его совету, обратилась в бегство и большая часть зевак, замешкавшаяся, чтобы поглядеть на обещанное болтуном сражение. Испугал Деметрия своим ревом выпущенный имперской эскадрой большой заряд греческого огня; этот огонь, пожалуй, можно скорее всего сравнить с нынешней Конгриновой ракетой, которая несет на себе небольшой крюк или якорек и с ревом рассекает воздух, словно нечистый дух, спешащий выполнить наказ жестокого колдуна; действие зажигательной смеси, употреблявшейся в греческом огне, было столь ужасно, что экипажи атакуемых судов часто отказывались от всякой защиты и поспешно выбирались на берег. Одной из основных частей этой смеси была, по-видимому, нефть или минеральная смола, которую собирают на отмелях Мертвого моря; если она воспламенялась, потушить ее можно было только особым составом, которого, конечно, никогда не было под рукой. Взрыв греческого огня сопровождался густым дымом и страшным грохотом; по словам Гиббона, все вокруг воспламенялось как при полете заряда, так

и при падении.¹ При осадах его бросали вниз с крепостных валов или метали, наподобие наших бомб, в докрасна накаливаемых каменных или железных шарах либо в кудели, обмотанной вокруг стрел и дротиков. Состав греческого огня считался государственной тайной чрезвычайной важности, и около четырех столетий мусульмане тщетно пытались его вывести. Но в конце концов сарацины открыли его и с его помощью заставили крестоносцев отступить, а также одержали победу над греками, у которых он некогда был самым грозным орудием защиты. Конечно, в эти варварские времена люди были склонны к преувеличению, но описание греческого огня крестоносцем Жуанвилем можно считать достоверным. «Он летел по воздуху, — говорит этот славный рыцарь, — будто крылатый дракон величиной в бочку, гремя, как гром, с быстротою молнии рассеивая ночную тьму своим страшным сверканием».

Не только храбрый Деметрий и послушный ему Ласкарис, но и все внимавшие им обратились, как и подобало мужчинам, в бегство, когда греческий флагман дал первый залп; так как другие корабли эскадры последовали его примеру, воздух наполнился чудовищным, наводящим ужас грохотом, а густой дым заволок все небо. Когда бежавшие перевалили через верхушку холма, они увидели моряка, ранее упомянутого нами любителя зрелищ, который удобно расположился в пересохшей канаве, обезопасив себя таким образом от всяких случайностей. Тем не менее он не мог удержаться, чтобы не подразнить политиканов.

— Почему же, друзья, вы не остались на месте, дабы закончить многообещающую беседу о морских и сухопутных сражениях, ведь вам представился для нее такой удачный повод! — воскликнул он, не высовываясь, однако, из канавы. — Право, этот грохот устрашает, но для жизни он неопасен: снаряды направлены в сторону моря, а если какой-либо из этих огнедышащих змиев и залетит случайно на сушу, виной тому будет только оплошность юнги, который проявил в обращении с запальником больше усердия, нежели ловкости!

Из всей речи героя-моряка Деметрий и Ласкарис уловили лишь то, что любая ошибка в направлении огня грозила бы им новой опасностью; они помчались к арене, сопровождаемые обезумевшей от страха толпой, и поспешили распространить весть о том, что вооруженные лати-

¹ Полное описание греческого огня см. у Гиббона, глава III. (Прим. автора.).

няне возвращаются из Азии, собираясь высадиться на берег и, разграбив город, спалить его.

Тем временем этот неожиданный грохот стал таким оглушительным, что все поверили в правдивость принесенного известия, каким бы преувеличенным оно ни показалось вначале. Греческий огонь гремел, не переставая, и после каждого залпа окрестность заволакивалась черными клубами дыма, которые постепенно сгустились в сплошную завесу, застилавшую весь горизонт, как застилает его непрерывный огонь нынешней артиллерии.

Извергавшийся греческими снарядами густой дым совсем скрыл из вида маленькую флотилию Танкреда; судя по багровому свету, который пробивался сквозь эту плотную пелену, одно из ее судов загорелось. Однако латиняне не сдавались, проявляя упорство, достойное из собственной храбрости и славы их знаменитого вождя. Некоторое преимущество у них было — небольшие суда франков имели глубокую осадку, и, кроме того, их окутывал дым, отчего грекам трудно было в них целиться.

Танкред решил воспользоваться этим преимуществом: с помощью лодок и применявшихся в ту пору несложных сигналов, он разослал по своей флотилии приказ всем судам самостоятельно двигаться вперед, невзирая на судьбу остальных; команды должны были высадиться на берег где придется и любым способом. Танкред сам подал своим подчиненным благородный пример; он был на борту надежного судна, в какой-то степени защищенного от греческого огня, ибо оно было почти целиком обито невыделанными шкурами, незадолго до этого вымоченными в воде. На судне находилась сотня храбрых воинов; многие из них принадлежали к рыцарскому сословию, тем не менее они всю ночь занимались низменным трудом — греблей, а теперь взялись за арбалеты и луки — оружие, применявшееся по большей части простолудинами. Вооружив, таким образом, свой экипаж. Танкред направил судно к берегу со всей быстротой, какую могли придать ему ветер, течение и гребцы: применив свое немалое мореходное искусство, он повернул корабль так, чтобы использовать эту скорость, и пролетел, как молния, между лемносскими кораблями, посылая в обе стороны стрелы, дротики и другие метательные снаряды. Обстрел был тем более успешным, что греки, понадеявшись на свой искусственный огонь, не догадались вооружиться еще чем-нибудь; поэтому, когда отважный крестоносец в оплату за их ужасный огонь яростно обрушил на них тучи не менее устрашающих дротиков и стрел, они почувствовали, что

превосходство их не так уж велико, как им казалось, и что, подобно многим другим опасным вещам, их огонь, встреченный безбоязненно, становится куда менее страшным. Да и сами греческие моряки, видя, что неприятельские суда с закованными в сталь латинянами приближаются к ним, убоялись рукопашного боя с таким грозным врагом.

В это время с большого греческого судна повалил дым, и воины услышали голос Танкреда, объявившего, что греческий флагман загорелся из-за неосторожного пользования собственными разрушительными средствами и что единственная их забота теперь — это держаться на почтительном расстоянии от него, чтобы не разделить его участь. Вскоре в самых различных местах горящего судна появились снопы искр и вспышки пламени, как будто огонь намеренно усиливал ужас и смятение, чтобы лишить мужества тех немногих членов экипажа, которые еще выполняли приказы флотоводца и пытались потушить пожар. Зная, какими свойствами обладает их воспламеняющийся груз, греки все больше поддавались панике; было видно, как отовсюду — с бушприта, со снастей, с рей, с бортов — бросался вниз злосчастный экипаж корабля, большей частью меняя смерть от огня на менее ужасную смерть в воде. По распоряжению великодушного Танкреда, его воины перестали уничтожать неприятеля, и так уже подвергавшегося двойной опасности, и вывели свое судно в спокойную часть бухты. Место тут было неглубокое, и они без всякого труда вышли на берег; усилиями всадников большая часть привыкших к повиновению коней была переправлена на берег одновременно с ними. Не теряя ни минуты, предводитель отряда свел в одну фалангу ряды копьеносцев, вначале немногочисленные, но постепенно возраставшие в числе по мере того, как одно судно за другим садилось на мель или, более осмотрительно пришвартовавшись, давало экипажу возможность высадиться прямо на берег и тут же присоединиться к своим.

Меж тем переменявший направление ветер рассеял клубы дыма, открыв взорам пролив и все, что осталось на нем после сражения; кое-где на волнах качались обломки нескольких латинских судов, сожженных в начале боя; их экипаж с помощью других крестоносцев был почти целиком спасен. Ниже по течению виднелось пять судов лемносской эскадры; они неловко, в беспорядке отступали, пытаясь добраться до константинопольской гавани. На том месте, где недавно разыгралось сражение, болтался на якоре греческий флагман, сгоревший до ватерлинии; от его обшивки и искалеченных бимсов все еще поднимался

черный дым. С разбросанных по бухте судов Танкреда высаживались воины; они добирались до берега, как могли, и присоединялись к тем, кто уже стоял под знаменем своего предводителя. На поверхности воды, у самого берега или поодаль от него, плавали какие-то темные предметы: то были обломки судов или обломки, еще более зловещие — бездыханные тела погибших в бою моряков.

Любимец Танкреда, паж Эрнест Апулийский, отнес знамя на берег, как только киль их галеры коснулся песка. Оно было водружено на верхушке того самого холмистого мыса между Константинополем и ареной, где Ласкарис, Деметрий и другие болтуны собрались в начале сражения и откуда они потом сбежали, смертельно напуганные и греческим огнем, и метательными снарядами латинян-крестоносцев.

ГЛАВА XXX

Закованный в доспехи Танкред стоял, поддерживая правой рукой знамя своих предков; окруженный горсточкой соратников, подвижных, как стальные изваяния, он ждал, готовый отразить нападение греков, собравшихся на арене; могли на него напасть и те в большинстве своем вооруженные воины и горожане, которые непрерывным потоком текли из городских ворот. Эти люди, встревоженные множеством слухов об участниках боя и об исходе сражения, намеревались ринуться на Танкреда, выбить знамя из его рук и разогнать охранявшую его почетную стражу. Но если читателю случалось когда-нибудь проезжать верхом по сельской местности в сопровождении породистой собаки, он, вероятно, замечал, какое почтение оказывает благородному животному дворняжка пастуха, считающая себя властителем и стражем уединенной долины; примерно таким же образом повели себя и разъяренные греки, когда они приблизились к небольшому отряду франков. Почуввав появление чужака, дремавшая дворняга сразу просыпается и несется к горделивому пришельцу, шумно объявляя ему войну. Но, подбежав поближе и увидев, как велик и силен противник, она становится похожей на пиратский корабль, который погнался за добычей и вдруг, к своему удивлению и испугу, обнаружил, что на него обращены две батареи пушек вместо одной. Дворняга останавливается, перестает громко тявкать и наконец бесславно возвращается к хозяину, всем своим понурым видом подтверждая полный отказ от схватки.

Точно так же отряды горластых греков, без конца перекликающихся и издающих хвастливые возгласы, спешили из города и бежали с арены, собираясь уничтожить немногочисленных спутников Танкреда. Однако, подойдя ближе к этим воинам, которые сошли на берег и спокойно выстроились под знаменем своего благородного вождя, увидя их недвижные ряды, греки отказались от своего решения тотчас вступить с ними в бой; они шли теперь медленно, неуверенно и чаще оборачивались назад, чем смотрели в лицо противнику; когда же обнаружилось, что тот не вызывает ни малейшего беспокойства, их воинственный пыл окончательно угас.

Твердо и невозмутимо стоя на месте, латиняне время от времени получали небольшое подкрепление, ибо к ним то и дело присоединялись их соратники, которые высаживались вдоль всего побережья; меньше чем через час кресто-

носцы, конные и пешие, собрались, за малыми исключениями, почти в том же составе, в каком вышли из Скутари.

Другой причиной, оберегающей латинян от нападения, было прямое нежелание обеих враждующих частей греческого войска затевать ссору с крестоносцами. Верные императору отряды всех родов оружия, особенно варяги, соблюдали строгий приказ оставаться на своем посту — на арене и в Константинополе, в местах, где обычно собирались горожане; присутствие там варягов было необходимо, чтобы предотвратить готовящееся против Алексея восстание, о котором он был хорошо осведомлен. Поэтому варяги, выполняя волю императора, не позволяли себе недружелюбных выходок против латинян.

Что касается большей части Бессмертных и тех горожан, которые должны были принять участие в задуманном мятеже, наслушавшись приспешников покойного Агеласта, они решили, будто Боэмунд послал этот отряд под командой своего родича Танкреда им на подмогу. Поэтому они тоже воздержались от нападения и не собирались поощрять или направлять тех, кому хотелось бы напасть на неожиданных гостей; впрочем, лишь немногие проявляли столь воинственное намерение, большинство же было радо любому предлогу, чтобы уклониться от стычки.

Меж тем император наблюдал из Влахернского дворца за всем, что происходило на проливе, и был свидетелем полного провала попытки лемносской эскадры преградить с помощью греческого огня дорогу Танкреду и его воинам. Как только Алексей увидел, что головное судно эскадры запылало, озаряя окрестности наподобие маяка, он решил избавиться от злополучного флотоводца и помириться с латинянами, даже если бы для этого пришлось послать им его голову. Когда же, вслед за появлением этих огненных языков, остальные суда эскадры стали сниматься с якоря и отходить, участь бедного Фраорта (так звали флотоводца) была бесповоротно решена.

В эту минуту Ахилл Татий, который поставил себе целью все время следить за императором, прибежал во дворец, прикидываясь сильно встревоженным.

— Государь! Августейший государь! — восклицал он. — Я должен с горестью сообщить тебе печальную весть — множеству латинян удалось выйти из Скутари и переправиться через пролив. Как было решено вчера вечером на имперском военном совете, лемносская эскадра попыталась их остановить. Несколько франкских судов было уничтожено мощными зарядами греческого огня, но большинству удалось прорваться; они продолжали дви-

гаться вперед и сожгли головное судно несчастного Фраорта. У меня есть достоверные сведения, что погиб и он и почти весь его экипаж. Остальные суда снялись с якоря и ушли, отказавшись от защиты Геллеспонта.

— Объясни мне, Ахилл Татий, почему ты принес мне эту тяжкую весть так поздно? Не потому ли, что теперь я уже не могу предотвратить несчастье? — спросил император.

— Прости, августейший государь, это получилось неумышленно, — краснея и запинаясь, пробормотал заговорщик. — Я осмеливаюсь предложить тебе план, с помощью которого можно было бы легко исправить эту маленькую неудачу.

— Каков же твой план? — сухо спросил император.

— С твоего высочайшего соизволения, государь, я сразу же обратил бы против Танкреда и его итальянцев алебарды наших верных варягов, — ответил главный телохранитель. — Им так же просто разделаться с горсточкой добравшихся до берега франков, как земледельцу — со стаей крыс, или мышей, или прочих злокозненных тварей, которые завелись в его амбаре.

— А пока англосаксы будут сражаться за меня, что, по твоему, должен делать я? — поинтересовался император.

Сухой и насмешливый тон, с каким обращался к нему Алексей Комнин, встревожил Ахилла Татия.

— Ты, государь, возглавишь константинопольские когорты Бессмертных, — ответил он. — Готов поручиться, что ты завершишь победу над латинянами; ну, а если исход боя покажется тебе сомнительным, ты станешь во главе этих отборных греческих войск и предотвратишь возможность поражения, впрочем, весьма маловероятного.

— Ты же сам, Ахилл Татий, неоднократно уверял нас, будто эти Бессмертные хранят преступную привязанность к мятежнику Урселу. Как же ты хочешь, чтобы мы доверили нашу защиту их отрядам, в то время как доблестные варяги будут, по твоему плану, сражаться с цветом западного рыцарства? — возразил император. — Ты не подумал о том, как это опасно, мой почтенный аколит?

Ахилл Татий, сильно обеспокоенный этим намеком, который показывал, что император догадывается о его намерениях, согласился, что поспешил предложить план, подвергающий опасности его собственную жизнь, когда надо было думать о том, как обеспечить безопасность августейшего повелителя...

— Благодарю тебя за это, — сказал император, — ты предупредил мои желания, хоть я и не властен сейчас

последовать твоему совету. Несомненно, я был бы рад, если бы латиняне снова переправились на другую сторону пролива, о чем вчера говорилось на совете; но раз уж они выстроились в боевом порядке на наших берегах, лучше откупиться от них золотом и лестью, чем жизнями наших доблестных подданных. Мы все-таки думаем, что пролив они переплыли не потому, что намерения их враждебны, а потому, что не в силах были подавить безумное желание насладиться зрелищем поединка, — им ведь это нужно как воздух. Поэтому я обязываю тебя вместе с протоспафарием отправиться туда, где стоит их знаменосец, и если вождь отряда, именуемый Танкредом, окажется там, узнать у него, зачем он вернулся и по какой причине вступил в бой с Фраортом и лемносской эскадрой? Если он найдет какие-то разумные оправдания своим действиям, мы благосклонно примем их; не для того мы принесли столько жертв во имя сохранения мира, чтобы теперь, когда можно в конце концов избежать такого страшного зла, развязать войну. Изволь поэтому спокойно и учтиво принять те извинения, какие они пожелают принести. Можешь не беспокоиться; одного зрелища этой кукольной комедии, называемой поединком, будет достаточно, чтобы отвлечь сумасбродных рыцарей от всяких других помыслов.

В этот момент в дверь постучали, и в ответ на дозволение войти на пороге появился протоспафарий. Он был облачен в великолепные доспехи, какие носили древние римляне. Выражение его бледного, взволнованного лица, не скрытого забралом, плохо вязалось с воинственным шлемом, гребень которого украшали развевающиеся перья. Протоспафарий выслушал императора без особого воодушевления, поскольку ему дали в спутники главного телохранителя, — как читатель, возможно, помнит, оба военачальника имели в войске своих приверженцев и недолюбливали друг друга. Что касается Ахилла Татия, то в этом объединении его с протоспафарием он усматривал признаки недоверия к себе со стороны императора, отнюдь не сулящие ему безопасности. Но он твердо помнил, что находится во Влахернском дворце, где послушные рабы, не колеблясь, выполнили бы приказ о казни любого придворного. Поэтому обоим военачальникам не оставалось ничего другого, как повиноваться, подобно двум гончим, против воли взятым на одну сворку. Ахилл Татий надеялся только, что успеет благополучно добраться до Танкреда, а к этому времени вспыхнет и успешно завершится восстание: латиняне либо охотно примут в нем участие и окажут ему поддержку, либо равнодушно останутся в стороне.

Отпуская военачальников, Алексей приказал им сесть на коней, как только прозвучит большая труба варягов, возглавить собранный во дворе казармы отряд англосакской стражи и дожидаться дальнейших приказаний.

В этом приказе тоже крылось нечто, напугавшее Ахилла Татия, хотя он сам не мог объяснить себе своих страхов — разве что сознанием собственной вины. Все же он чувствовал, что ему дали это почетное поручение и поставили его во главе варягов с тайной целью лишить возможности располагать собой; теперь он уже не мог поддерживать связь ни с кесарем, ни с Хирвардом, которых считал своими деятельными соучастниками, не зная, что первый в этот момент находится в плену во Влахернском дворце, где Алексей оставил его под стражей в покоях императрицы, а второй был самой надежной опорой Комнина в течение всего этого дня, столь богатого событиями.

Когда мощный рев гигантской трубы варягов разнесся по городу, протоспафарий поспешно повел за собой Ахилла Татия к месту сбора варяжской стражи; по пути он небрежно, как бы между прочим, сказал ему:

— Сегодня император сам командует войсками, так что ты, его представитель, или аколит, не будешь, конечно, давать никаких распоряжений своей страже, кроме исходящих непосредственно от самого государя; на сегодня ты как бы отрешен от должности.

— Очень жаль, что вы решили, будто есть какой-то повод к подобным предосторожностям,— сказал Ахилл.— Я надеялся, что моя честность и верность... но... воля императора для меня священна.

— Таков его приказ,— ответил протоспафарий,— и ты знаешь, чем грозит послушание.

— Если б я не знал, состав нашего отряда напомнил бы мне об этом,— сказал Ахилл.— Я вижу, что в него входит не только большая часть тех варягов, которые непосредственно охраняют престол, но и дворцовые рабы, исполняющие приговоры императора.

На это протоспафарий ничего не ответил. Чем больше присматривался главный телохранитель к своему необычному по численности отряду — почти в три тысячи человек,— тем больше убеждался, что сможет почитать себя счастливым, если ему удастся, с помощью кесаря, Агеласта или Хирварда передать заговорщикам, чтобы они отложили задуманный переворот, против которого император, видимо, принял меры, да еще с такой необыкновенной предусмотрительностью. Ахилл Татий готов был пожертвовать всеми своими мечтами о престоле, которыми он так

недолго убаюкивал себя, лишь бы хоть на мгновение увидеть лазоревый плюмаж Никифора, белый плащ философа или блестящую алебарду Хирварда. Но их нигде не было видно; еще больше не нравилось вероломному аколи-ту то обстоятельство, что куда бы он ни обратил свои взоры, глаза протоспафария и верных дворцовых прислужников немедленно устремлялись в ту же сторону.

Среди окружавших его многочисленных воинов он не находил никого, с кем мог бы обменяться дружеским или понимающим взглядом; его обуял неописуемый ужас, тем более мучительный, что, подобно всякому предателю, он отлично сознавал, как легко могут выдать человека его собственные страхи, когда он окружен врагами. Ахиллу казалось, что с каждой минутой опасность возрастает, и его встревоженное воображение находило все новые и новые подтверждения этому. Он не сомневался уже, что их кто-то выдал — либо один из трех главных заговорщиков, либо кто-нибудь из их подчиненных. Главный телохранитель уже стал подумывать, не стоит ли ему облегчить свою участь, бросившись к ногам императора во всем признавшись. Однако он боялся слишком рано прибегнуть к такому низменному средству спасения своей особы; к тому же император пока отсутствовал, и главный телохранитель оставил при себе тайну, от которой зависела не только его дальнейшая судьба, но и сама жизнь. Он все глубже погружался в пучину тревог и колебаний, меж тем как берега, сулившие ему прибежище, были еще далеки, окутаны туманом, почти недостижимы.

ГЛАВА XXXI

Как? Завтра? О, как скоро! Пощадите!
О, пощадите! Не готов он к смерти.

*Шекспир*¹

В тот момент, когда, терзаемый тревогой, Ахилл Татий гадал о том, как будет разматываться дальше запутанный клубок государственной политики, в так называемом храме муз — зале, где неоднократно происходили вечерние чтения Анны Комнин для тех, кто удостоивался чести слушать ее исторический труд, собрались на тайный совет члены царской семьи. Совет состоял из императрицы Ирины, царевны, императора и патриарха, который как бы играл роль посредника между чрезмерной суровостью и опасной снисходительностью.

— Не говори мне, Ирина, громких слов о милосердии,— сказал император.— Я отказался от справедливой мести своему сопернику Урселу, а какую пользу мне это принесло? Вместо того что бы проявить покорность в ответ на великодушие, благодаря которому глаза его продолжают видеть, а грудь — дышать, этот старый упрямец с трудом поддается уговорам, не желая помочь своему властителю, которому он стольким обязан. Я всегда считал, что зрение и жизнь стоят любых жертв, но теперь мне пришлось убедиться, что для людей они не более чем игрушка. Поэтому не говори мне о признательности, которую будет питать ко мне ваш кесарь, этот неблагодарный щенок. Поверь мне, дочь моя,— обратился он к Анне,— если я последую вашему совету, не только все мои подданные станут смеяться над тем, что я пощадил человека, который так упорно стремился погубить меня, но даже ты сама попрекнешь меня глупой добротой, хотя и требуешь, чтобы я проявил ее сейчас.

— Значит, тебе угодно, государь, предать казни своего злосчастного зятя за то, что он принял участие в заговоре, в который его обманным образом вовлекли гнусный язычник Агеласт и предатель Ахилл Татий? — спросил патриарх.

— Да, таковы мои намерения,— ответил император.— А в доказательство того, что на этот раз я собираюсь не только для виду, как это было с Урселом, но и на самом деле привести в исполнение свой приговор, неблагодарного изменника Никифора проведут с Ахероновой лестницы

¹ Перевод Т. Щепкиной-Куперник.

в большой зал, именуемой Палатой правосудия; там уже все приготовлено для казни, и клянусь, что...

— Не клянись! — прервал его патриарх. — Я запрещаю тебе это именем всевышнего, говорящего моими (хотя и недостойными) устами! Не гаси тлеющего факела, не уничтожай последнего проблеска надежды на то, что ты в конце концов смягчишь приговор заблудшему кесарю, — ибо еще не истекло время, представленное ему для просьбы о помиловании. Прошу тебя, вспомни, как совесть терзала Константина!

— Что ты имеешь в виду, святой отец? — спросила Ирина.

— Пустую выдумку, — ответил за него император. — Право, о ней не стоит вспоминать, да еще патриарху, — это ведь не более чем языческая сказка.

— Но что вы все-таки имеете в виду? — взволнованно настаивали обе женщины, надеясь найти в словах патриарха подкрепление своим доводам; вдобавок их подстрекало любопытство, неизменно бодрствующее в женской душе, даже если ее в это время волнуют чувства куда более бурные.

— Раз уж вы непременно хотите знать, патриарх все вам расскажет, — сдался Алексей. — Но не рассчитывайте, что это глупое предание чем-нибудь поможет вам.

— И все же выслушайте его, — сказал патриарх. — Хотя это предание очень древнее и его относят иногда ко временам язычества, тем не менее оно правдиво повествует о том обете, который дал перед алтарем истинного бога греческий император. То, что я вам сейчас поведаю, — продолжал он, — будет сказанием не только об императоре-христианине, но и об императоре, обратившем в христианскую веру все свое государство, — о том самом Константине, который впервые провозгласил Константинополь столицей. Этому герою, равно отличавшемуся и религиозным рвением и воинской доблестью, небо даровало многократные победы и всевозможные блага; не дало оно ему лишь мира в его семье, к которому люди, наделенные мудростью, стремятся прежде всего. Не только в согласии между братьями было отказано победоносному императору: его взрослый сын, наделенный многими достоинствами и, как утверждала молва, рассчитывавший разделить престол с отцом, внезапно среди ночи был призван к ответу по обвинению в государственной измене. Дозвольте мне не перечислять всех ухищрений, с помощью которых отца заставили поверить в виновность сына. Скажу лишь, что несчастный юноша пал жертвой своей преступной мачехи

Фаусты и что он не снизошел до защиты, когда ему предъявили столь грубое и лживое обвинение. Говорят, что гнев императора еще больше разожгли наушники, сообщившие Константину, что преступник не желает просить о помиловании или доказывать свою непричастность к столь гнусному преступлению.

Но едва невинный юноша был сражен ударом палача, как императору пришлось убедиться в губительной опрометчивости своих действий. В то время он занимался строительством подземной части Влахернского дворца. Дабы потомки знали о его отцовском горе и раскаянии, Константин приказал у верхней площадки лестницы, прозванной колодцем Ахерона, возвести большой зал для свершения казней, и поныне именуемый Палатой правосудия. Сводчатый проход ведет из этого зала в ту обитель скорби, где хранятся топор и другие орудия, предназначенные для казни важных государственных преступников. Со стороны зала портал увенчан мраморным алтарем, на котором прежде высилось отлитое из золота изображение несчастного Криспа с памятной надписью: «Моему сыну, которого я опрометчиво осудил и слишком поспешно казнил». Воздвигая этот памятник, Константин дал обет, что он сам и, когда он умрет, его царственные потомки будут стоять у изваяния Криспа всякий раз, как придется вести на казнь кого-либо из членов императорской семьи и, лишь убедившись в справедливости предъявленного преступнику обвинения, допустят, чтобы он шагнул из Палаты правосудия в обитель смерти.

Время шло, люди чтили память Константина так, словно он был святой, и, благоговая перед ней, окутали покровом забвения историю смерти его сына. Государство не могло позволить себе, чтобы столько звонкой монеты, заключенной в золотом изваянии, пропало втуне; к тому же это изваяние напоминало о тяжелой оплошности такого великого человека. Твои предшественники, государь, употребили металл, из которого оно было отлито, на ведение войны с турками, и лишь туманные церковные и дворцовые предания говорят о скорби и угрызениях совести Константина. Тем не менее, если только у тебя нет важных причин, кои могли бы этому воспрепятствовать, я позволю тебе сказать, государь: ты не проявишь должного почтения к памяти величайшего из твоих предков, если откажешь этому злосчастному преступнику, такому близкому твоему родичу, в праве сказать слово в свою защиту, прежде чем он пройдет мимо алтаря спасения, как обычно называют памятник несчастному сыну Константина, хотя

там уже нет ни сделанной золотыми буквами надписи, ни золотого изваяния царственного страдальца.

В это время с лестницы, так часто упоминавшейся нами, донеслось скорбное песнопение.

— Если я должен выслушать кесаря Никифора Вринения до того, как он минует алтарь спасения, надобно поторопиться, — сказал император. — Эти печальные звуки возвещают, что он приблизился к Палате правосудия.

Обе женщины — и супруга и дочь Алексея — тотчас же начали горячо молить его, чтобы он отменил приговор и, ради сохранения мира в семье и вечной благодарности жены и дочери, внял их заступничеству за несчастного человека, обманом вовлеченного в преступление и невинного в нем душой.

— Что ж, я согласен хотя бы выслушать его, — сказал император, — и тем самым ни в чем не погрешить против святого обета Константина. Однако помните вы, глупые женщины, что Крисп и нынешний кесарь отличаются друг от друга, как вина отличается от невинности, и поэтому судьбы их могут быть столь же несходны, сколь несходны основания для вынесения им приговора. Но я, так и быть, явлюсь преступнику, а ты, патриарх, можешь при этом присутствовать, дабы помочь приговоренному к смерти всем, что ты властен для него сделать; вам же обоим, жене и матери изменника, лучше пойти в церковь и помолиться за душу усопшего, чем омрачать его последние минуты бесплодными причитаниями.

— Алексей, — обратилась к нему императрица Ирина, — заклинаю тебя, умерь свой гнев; мы не можем оставить тебя, когда ты так упорно стремишься пролить кровь, — ведь иначе твои деяния история сочтет достойными времен Нерона, а не Константина.

Император ничего не ответил и направился в Палату правосудия, озаренную ярче, чем обычно, светом, лившимся с лестницы Ахерона, откуда доносилось прерывистое, мрачное пение псалмов, которые греческая церковь предписывает исполнять при казнях. Двадцать немых рабов, чьи белые тюрбаны сообщали какую-то призрачность их изможденным лицам и сверкающим белкам, по двое поднимались по лестнице, как бы выходя из самых недр земли; каждый держал в одной руке обнаженную саблю, в другой — горящий факел. За ними шел злосчастный Никифор, полумертвый от страха перед близкой кончиной; все свое внимание он пытался сосредоточить на двух монахах в черном облачении; они усердно повторяли ему отрывки то из священного писания, то из молитвенного обряда,

принятого при константинопольском дворе. Одежда кесаря соответствовала его печальной участи — руки и ноги были обнажены, а простая белая туника, расстегнутая у шеи, говорила о том, что в ней он встретит своей смертный час. Высокий, мускулистый раб-нубиец, считавший себя, по-видимому, главным действующим лицом в этой процессии, нес на плече большой, тяжелый топор палача и, словно дьявол, прислуживающий чародею, шествовал по пятам за своей жертвой. Процессию замыкали четверо священников, время от времени громко и нараспев произносивших положенные для такого случая благочестивые псалмы, и вооруженные луками, стрелами и копьями рабы, которые должны были пресекать всякие попытки спасти преступника, если бы кто-нибудь вздумал их предпринять.

Надо было быть куда более жесткосердной, чем бедная царевна, чтобы не содрогнуться при виде этих зловещих и устрашающих орудий смерти, окружавших любимого человека за несколько минут до завершения его жизненного пути и готовых поразить возлюбленного ее юных лет, избранника ее сердца.

Когда скорбное шествие приблизилось к алтарю спасения, который как бы охватывали, выступая из стены, большие протянутые вперед руки, император, стоявший посреди прохода, бросил в пламя на алтаре несколько кусочков ароматического дерева, пропитанных винным спиртом; они мгновенно вспыхнули и озарили горестную процессию, лицо преступника и фигуры рабов, большинство которых потушило свои факелы, как только миновала надобность освещать ими лестницу.

Отблески огня выхватывали из тьмы и открывали взорам приближавшихся участников печального шествия Алексея Комнина, императрицу и царевну. Все остановились; все смолкли. Как потом написала в своем сочинении царевна, эту встречу можно было уподобить встрече Одиссея с обитателями иного мира, которые, вкусив крови принесенных им в жертву животных, узнали его, но смогли это выразить лишь тщетными жалобами и слабыми, призрачными движениями. Перестали звучать покаянные гимны; во всей группе четко выделялась только одна фигура — то был исполин палач; его высокий нахмуренный лоб и сверкающая сталь топора ловили и отражали струившийся с алтаря яркий свет. Алексей понял, что надо прервать молчание, иначе заступники кесаря воспользуются им и возобновят свои мольбы.

— Никифор Вриенний, — начал император; обычно он немного запинаясь, отчего враги прозвали его Заикой, но

в особо важных случаях столь искусно управлял своей речью и говорил так четко и размеренно, что этот недостаток становился совсем незаметным,— Никифор Вриенний, бывший кесарь, тебе вынесен справедливый приговор, ибо ты злоумышлял против своего законного властителя и любящего отца Алексея Комнина, за что и примешь должную кару — отсекновение головы на плахе. Соблюдая обет бессмертного Константина, я спрашиваю тебя здесь, у алтаря спасения, можешь ли ты привести какое-нибудь доказательство своей невиновности, дабы приговор не был приведен в исполнение? Приближается смертный час, и ты волен говорить обо всем, что касается твоей жизни. Все готово для тебя и в этом мире и в будущем. Посмотри вперед — там поставлена плаха. Оглянись назад — и ты увидишь уже отточенный топор. Что тебя ждет — вечное блаженство или вечные муки, уже определено, время летит, вечность близится. Если тебе есть что сказать — говори смело, если нечего — признай справедливость вынесенного тебе приговора и иди навстречу смерти.

Император говорил, и его пронзительный взгляд, по описанию царевны, сверкал, как молния, а слова если и не текли, как кипящая лава, то, во всяком случае, звучали так властно, что произвели сильное впечатление не только на преступника, но и на самого оратора: глаза его увлажнились, а голос стал прерываться, свидетельствуя о том, что Алексей понимал всю важность этой роковой минуты.

Сделав над собой усилие, дабы закончить речь, император снова спросил, не имеет ли узник что-либо сказать в свою защиту.

Никифор не принадлежал к тем закоренелым преступникам, редкостным в истории человечества, которые оставались невозмутимыми и когда их самих постигала кара и когда другие становились несчастными жертвами их злодеяний.

— Меня искушали,— сказал он, упав на колени,— и я не устоял. Мне нечего сказать в оправдание своего безумства и неблагодарности, и я готов умереть, дабы искупить свою вину.

Тут за спиной императора послышался тяжелый вздох, почти что вопль, и сразу же вслед за ним — возглас императрицы Ирины:

— Государь, государь, твоя дочь умирает!

И в самом деле, Анна Комнин упала на руки матери, бесчувственная и недвижимая. Внимание отца тотчас же обратилось к потерявшей сознание дочери, а ее злосча-

стный супруг вступил в борьбу со стражей, не позволявшей ему прийти на помощь жене.

— Подари мне еще несколько минут времени, отнятого у меня законом! — молил он императора. — Дозволь мне помочь привести ее в чувство, и пусть она живет еще много лет, как того заслуживают ее добродетели и таланты, а потому дай мне остаться возле нее и принять смерть у ее ног!

По сути дела, император больше удивлялся смелости и безрассудству Никифора, чем страшился его соперничества, и Никифор казался ему скорее человеком обманутым, чем вводившим в обман других; именно поэтому так сильно подействовала на него эта сцена. К тому же по натуре своей он не был настолько бесчеловечен, чтобы оставаться равнодушным к жестокостям, если ему приходилось при них присутствовать.

— Я уверен, что божественный и бессмертный Константин подверг своих потомков столь суровому испытанию не только для того, чтобы они могли установить невиновность осужденных, — сказал император. — Он еще хотел предоставить своим преемникам возможность великодушно прощать преступников, которых могла спасти от наказания лишь милость, — особая милость монарха. Я рад, что небо создало меня из гибкой лозы, а не из дуба, и признаюсь в этой слабости своей натуры: опасность, угрожавшая моей жизни, и негодование, вызванное во мне предательскими замыслами несчастного кесаря, волнуют меня меньше, нежели вид моей рыдающей супруги и лишившейся чувств дочери. Встань, Никифор Вриенний, ты прощен; я даже возвращаю тебе звание кесаря. Мы поручим нашему великому логофету составить грамоту о твоём помиловании и скрепим ее золотой печатью. Ты еще пробудешь под стражей двадцать четыре часа, пока мы не примем все меры, необходимые для сохранения общественного спокойствия. Эти сутки ты проведешь под надзором патриарха; если ты скроешься, ответил за это он. А вы, моя дочь и супруга, идите к себе; у вас еще будет время на слезы и объятия, на печаль и на радость. Вы так меня умоляли, что я принес в жертву слепой супружеской любви и отцовской нежности разумную политику и справедливость; молитесь же бога, чтобы мне никогда не пришлось горько раскаиваться в том, что я сыграл в этой запутанной драме такую роль.

Помилованному кесарю, пытавшемуся привести в порядок мысли после столь неожиданной перемены в своей судьбе, было не менее трудно поверить в ее достоверность,

чем Урселу — свыкнуться с ликом природы после того, как он много лет был лишен возможности наслаждаться ею, — настолько схожи между собой по своему воздействию на наш рассудок головокружение и смятение мыслей, вызванные духовными, равно как и физическими причинами, например изумлением и страхом.

Наконец Никифор, запинаясь, пробормотал, что ему хотелось бы отправиться вместе с императором на место поединка, дабы прикрыть монарха своим телом и отвести предательский удар, если какой-нибудь безумец вздумает нанести его в этот день, чреватый опасностями и кровопролитием...

— Довольно! — сказал Алексей Комнин. — Едва успев возратить тебе жизнь, мы не хотим снова сомневаться в твоей верности, однако не забывай, что ты все еще и по имени и на деле глава тех, кто собирается принять участие в сегодняшнем мятеже; поэтому будет надежнее, если его подавлением займется кто-то другой. Иди, поведай все патриарху, докажи, что ты был достоин помилования, открыв ему те коварные замыслы гнусных заговорщиков, которые, возможно, нам еще неизвестны. Прощай, дочь моя, прощай, Ирина! Мне пора отправляться к месту поединка; я должен там поговорить с изменником Ахиллом Татием и вероломным язычником Агеластом, — если, впрочем, он жив, а это весьма сомнительно, ибо у меня есть достоверные сведения о том, что провидение уже покарало его смертью.

— Не ходи туда, милый отец! — воскликнула Анна. — Позволь мне заменить тебя и самой ободрить тех подданных, которые остались тебе верны! Ты проявил такую необыкновенную доброту к моему провинившемуся мужу, что я увидела всю силу твоей любви к недостойной дочери и все величие жертвы, которую ты принес ее ребяческой приязнанности к неблагодарному, посягавшему на твою жизнь!

— Ты хочешь сказать, дочь моя, что помилование твоего мужа утратило цену после того, как было ему даровано? — улыбаясь, спросил император. — Послушайся моего совета, Анна, переломи себя: жены и мужья должны благоразумно забывать взаимные обиды со всей быстротой, какую позволяет им человеческая натура. Жизнь слишком коротка, и семейный покой слишком ненадежен, чтобы долго хранить в душе столь неприятные воспоминания. Ступайте же в свои покои, женщины, приготовьте пурпурные котурны и те отличительные знаки высокого сана, которые украшают ворот и рукава одежды

кесаря. Пусть завтра все увидят их на нем. А тебе, святой отец, еще раз напоминаю, что в течение суток, считая с этой минуты, кесарь находится под твоим личным при-
смотром.

Они расстались; император отправился принимать командование своей варяжской стражей, а кесарь, под надзором патриарха, удалился во внутренние покои Влахернского дворца, где ему, чтобы «из тесного игольного ушка своей крамолы выскользнуть»¹, пришлось открыть все, что он знал о заговоре.

— Агеласт, Ахилл Татий и варяг Хирвард — вот главные действующие лица, — сказал он. — Но я не могу утверждать, что все они остались верны своим обязательствам.

Тем временем в женских покоях шел яростный спор между Анной Комнин и ее матерью. В течение дня мысли и чувства царевны претерпели многократные изменения и хотя под конец слились в одно желание — спасти Никифора, однако воспоминание о его неблагодарности ожило в Анне, едва она перестала бояться за его жизнь. Помимо того, Анна поняла, что она, такая необычайно одаренная женщина — ибо всеобщие похвалы внушили ей весьма высокое мнение о себе, — выглядела довольно жалко, когда, сама того не ведая, стала средоточием многих козней и судьба ее попала в зависимость от расположения духа кучки каких-то жалких заговорщиков, которым даже в голову не приходило считаться с тем, что царевна может чего-то хотеть, на что-то соглашаться либо от чего-то отказываться. Власть отца и его право распоряжаться ею были менее сомнительными, но все же и тут достоинство порфирородной царевны, к тому же сочинительницы, дарующей бессмертие, было глубоко унижено, ибо ее, не спросясь, предлагали то одному, то другому возможному претенденту, на ее руку, сколь бы он ни был низкорощен или противен, в расчете на пользу, которую в данное время принесет империи подобный брак. Следствием этих мрачных размышлений явилось то, что Анна Комнин стала усиленно обдумывать способы восстановить свое поправленное достоинство и нашла их в немалом количестве.

¹ Перевод Н. Рыковой.

ГЛАВА XXXII

Рука судьбы на занавес легла —
И сцена озарилась.

«Дон Себастьян»

Гигантская труба варягов подала громкий сигнал к выступлению, и облаченные в стальные кольчуги ряды верных воинов, окружив ехавшего посредине императора, двинулись по улицам Константинополя. Алексей в великолепных, сверкающих доспехах действительно как бы олицетворял собой мощь империи. Позади императора и его эскорта теснились горожане, причем в глаза так и бросалась разница между теми, что шли с заранее обдуманном намерением вызвать волнения, и большей частью толпы, готовой толкаться и восторженно кричать по любому поводу, как это бывает со всякой толпой в больших городах. Заговорщики надеялись главным образом на Бессмертных, в чьи обязанности входила защита Константинополя; эти войска разделяли предупреждения горожан и привязанность к Урселу, командовавшему ими до своего заключения в темницу. Поэтому было решено, что те воины из числа Бессмертных, которые больше других роптали на существующие порядки, рано утром займут на арене самые удобные для нападения на императора места. Но их постигло разочарование: открыто пустить в ход силу было еще рано, а все попытки иным способом осуществить задуманное кончились неудачей, ибо варяжская стража была расставлена хоть и с видимой небрежностью, но на деле очень искусно и в любую минуту могла дать отпор заговорщикам. Увидев, что их замыслы — как они предполагали, никому не известные, — встречают повсюду сопротивление и разбиваются о препятствия, растерявшиеся заговорщики принялись искать своих главарей, чтобы спросить у них, как им вести себя в этих чрезвычайных обстоятельствах; однако они нигде не нашли ни кесаря, ни Агеласта — их не было ни на арене, ни во главе двигавшихся из Константинополя войск; правда, наконец появился Ахилл Татий вместе с отрядом варягов, но было ясно, что он скорее сопровождает протоспафария, чем действует в качестве независимого военачальника, каким любил себя изображать.

Когда император со своими воинами, чьи доспехи сверкали на солнце, уже приближался к Танкреду и его спутникам, которые выстроились в боевом порядке на верхушке мыса, между городом и ареной, главная часть

императорского войска свернула в сторону с целью обойти крестоносцев, а протоспафарий вместе с главным телохранителем под прикрытием варягов направился к Танкреду, чтобы выполнить поручение императора и узнать, почему крестоносцы оказались на этом берегу. Короткий переход был быстро завершен, трубач, сопровождавший обоих военачальников, подал сигнал о желании вступить в переговоры, и навстречу грекам сделал несколько шагов сам Танкред; он отличался удивительной красотой, превосходя ею, по мнению Тассо, всех крестоносцев, за исключением Ринальдо д'Эсте — плода его поэтического воображения. Протоспафарий обратился к Танкреду со следующими словами:

— Император Греции просил принца Отрантского сообщить через двух высокопоставленных военачальников, кои прочтут это послание, с какой целью принц нарушил свой обет и возвратился на правый берег пролива; при сем император заверяет принца Отрантского, что ему будет весьма приятно, если ответ не разойдется с договором, заключенным его императорским величеством и герцогом Бульонским, и клятвой, данной рыцарями-крестоносцами и их воинами; в этом случае ничто не помешает императору, как он того и хочет, благожелательно принять принца Танкреда и его спутников, показав тем самым, сколь высоко он чтит благородного принца и всех его доблестных воинов. Мы ожидаем ответа.

В тоне этого послания не было ничего, что могло бы вызвать беспокойство, и принц Танкред немедленно ответил на него:

— Причиной появления здесь принца Отрантского с пятьюдесятью копьеносцами является поединок, на который Никифор Вриенний, носящий титул кесаря, высокопоставленное лицо в этой империи, вызвал славного и отважного рыцаря, наравне с другими паломниками носящего крест и давшего торжественную клятву избавить Палестину от неверных. Имя этого грозного рыцаря — Роберт Парижский. Таким образом, долг участников священного крестового похода — послать для присутствия на поединке одного из своих вождей с таким отрядом вооруженных воинов, который необходим для надзора за соблюдением всех правил честного боя. Других намерений у них нет; это видно из того, что сюда прибыло всего лишь пятьдесят копьеносцев с обычным снаряжением и свитой. Если бы крестоносцы хотели силой воспрепятствовать предстоящему честному бою или вмешаться в него, они могли бы послать в десять раз больше рыцарей. Поэтому принц

Отрантский и его спутники отдают себя в распоряжение императора и выражают желание присутствовать на поединке с твердой уверенностью, что правила честного боя будут точно соблюдены.

Греческие военачальники передали ответ Танкреда императору, который выслушал его с удовлетворением и, придерживаясь своего правила по возможности не нарушать мир с крестоносцами, сразу же назначил принца Танкреда, совместно с протоспафарием, судьями поединка, уполномочив их установить по своему усмотрению условия боя и, в случае каких-либо разногласий, обратиться к нему самому. Вслед за тем назначенные для этого случая воины встретили на арене греческого военачальника и итальянского принца, закованных в доспехи, в то время как глашатаи сообщили зрителям о торжественном назначении судий. Те же глашатаи передали приказ освободить с одной стороны арены места для спутников принца Танкреда.

Внимательно наблюдавший за этими приготовлениями Ахилл Татий очень беспокоился, увидев, что в результате новых распоряжений вооруженные латиняне разместились между отрядом Бессмертных и мятежными горожанами; это могло означать только одно: что заговор раскрыт и Алексей имеет основания рассчитывать на помощь Танкреда и его воинов в подавлении мятежа. Все эти обстоятельства, вместе с холодным и язвительным тоном, каким император отдавал ему приказания, убедили главного телохранителя в том, что он сможет избежать грозящей ему опасности, лишь если мятеж сорвется и за весь день не произойдет ни единой попытки пошатнуть трон Алексея Комнина. И даже тогда нельзя будет сказать, удовольствуется ли такой хитрый и недоверчивый деспот, как император Алексей, своей тайной осведомленностью о заговоре и его провале, или заставит немых дворцовых рабов задушить Ахилла Татия либо выжечь ему каленым железом глаза. Убежать или сопротивляться было почти невозможно. Всякая попытка избавиться от соседства верных прислужников императора, личных врагов Ахилла, все теснее его окружавших, с каждой минутой становилась все опаснее, ибо могла вызвать вспышку, которую в интересах слабой стороны следовало задержать любой ценой. Несмотря на то, что подчиненные Ахиллу воины по-прежнему обращались за приказаниями к нему, как к своему начальнику, он все яснее видел, что если хоть что-нибудь в его поведении покажется сейчас подозрительным, он будет немедленно взят под стражу. Сердце главного телохранителя затрепетало, глаза затуманила всепоглощаю-

щая мысль о близкой разлуке с дневным светом и всем, что он озаряет; теперь Ахилл Татий был обречен лишь наблюдать за ходом событий, нисколько на него не влияя, и довольствоваться ожиданием развязки той драмы, от которой зависела его жизнь, но которую разыгрывали другие. И в самом деле, казалось, будто все собравшиеся ждут какого-то знака, но пока никто не может его подать.

Мятежные жители Константинополя и воины тщетно высматривали Агеласта и кесаря, а когда взгляды их останавливались на лице главного телохранителя, они видели лишь неуверенность и тревогу, никак не подкреплявшие их надежд. Тем не менее многие горожане низшего сословия, столь неприметные и безвестные, что им не приходилось опасаться за свою жизнь, жаждали пробудить в других мятежный дух, совсем уже, казалось, усыпленный.

В толпе внезапно поднялся глухой ропот, перешедший в крики: «Правосудия! Правосудия! Урсел! Урсел! Да здравствуют отряды Бессмертных!» и тому подобное. Тогда заговорила труба варягов; ее грозные звуки разнеслись над собравшимися подобно гласу всевышнего судии. Возцарилась мертвая тишина, и глашатай объявил от имени Алексея Комнина его августейшую волю:

— Граждане Римской империи, ваши жалобы, вызванные подстрекательством бунтовщиков, дошли до слуха монарха; вы сами увидите сейчас, что в его власти исполнить желания своего народа. По вашей просьбе и на ваших глазах угасшее было зрение будет возвращено; рузум, многие годы поглощенный лишь заботами о насущных нуждах существования, теперь, если того пожелает его обладатель, снова преисполнится помыслами о том, как лучше управлять целой областью нашей империи. Политическая зависть, победить которую труднее, чем вернуть зрение слепому, признает себя покоренной отеческой заботой императора о своем народе и стремлением облагодетельствовать его. Урсел, ваш любимец, которого вы считали давно умершим или живущим в заточении, во мраке слепоты, возвращается к вам здоровым, зрячим, обладающим всеми качествами, кои нужны, чтобы снискать благоволение императора и заслужить признательность народа.

При этих словах какой-то человек, до сего времени стоявший позади дворцовых слуг, выступил вперед и, сбросив темное покрывало, в которое был закутан, явился перед толпою в ослепительном пурпурном одеянии; нашившие на рукавах отличительные знаки, а также котурны указывали на высокий сан, близкий к императорскому.

Человек держал в руках серебряный жезл, вручавшийся тому, кто командовал отрядами Бессмертных; преклонив колена перед императором, он передал ему жезл в знак отказа от своей должности. Вид этого человека, столько лет считавшегося мертвым или безжалостно лишенным возможности трудиться на благо своих сограждан, глубоко взволновал всех присутствующих. Нашлись люди, которые узнали его, ибо его черты и облик трудно было забыть, и стали поздравлять с возвращением на службу отечеству. Другие застыли от изумления, не веря глазам своим, в то время как некоторые заядлые бунтовщики принялись усердно распускать слухи, что человек, представленный им как Урсел, на самом деле самозванец и что все это — ловкая проделка императора.

— Скажи им несколько слов, благородный Урсел, — приказал император. — Объясни, что я погрешил перед тобой лишь потому, что был обманут, и что мое желание загладить свою вину не менее велико, чем былое намерение причинить тебе зло.

— Друзья и соотечественники, — обратился к собравшемуся народу Урсел, — августейший император позволяет мне заверить вас, что если в прошлом я и пострадал от его руки, этот радостный миг стирает память о прежних обидах; отныне я хочу только одного — посвятить свою, теперь уже недолгую, жизнь служению самому великодушному и доброму из монархов или, с его дозволения, провести остаток своих дней в благочестивых трудах, дабы бессмертная душа моя вознеслась туда, где пребывают ангелы и святые угодники. Какую бы участь я ни избрал, я надеюсь, что вы, любезные соотечественники, хранившие память обо мне, пока я был во мраке, не откажетесь поддержать меня своими молитвами.

Внезапное появление давно исчезнувшего Урсела было слишком поразительным и волнующим событием, чтобы не привести народ в неистовый, бурный восторг; люди скрепили свое примирение с прошлым тремя столь громогласными приветственными кликами, что, по свидетельству очевидцев, птицы попадали наземь, не в силах удержаться в родной стихии.

ГЛАВА XXXIII

«Уйти без битвы?» — рыцарь говорит.
«Но так повелевает Стагирит.
Размер арены сковывает тоже». —
«Ну хорошо. А поле для чего же?»

Поп

Ликующие возгласы толпы, отразившись от гор и лесов, эхом отозвались на берегах Босфора и замерли наконец в бесконечной дали; наступило молчание, точно люди обращались друг к другу с немим вопросом — что же последует за столь многозначительной паузой и столь величественной сценой? Безмолвие, наверно, сменилось бы вскоре новыми возгласами, ибо толпа редко умолкает надолго, по какой бы причине она ни собралась, но в это время труба варягов опять привлекла к себе всеобщее внимание. Зов ее был тревожен и вместе с тем тосклив, одновременно воинственен и заунывен; он словно бы извещал о казни особо важного преступника. Высокие, протяжные звуки разносились далеко вокруг; они долго трепетали в воздухе, как будто источником этого медноголосого призыва было нечто более могучее, нежели человеческие легкие.

Народ, по-видимому, узнал грозный зов, который обычно предшествовал императорским указам, оповещавшим жителей Константинополя о бунтах, о свершении приговоров над изменниками и других, не менее значительных, волнующих и печальных событиях. Когда же труба наконец перестала будоражить присутствующих пронзительными и жалобными звуками, глашатай снова обратился к народу.

— Случается порою так, что люди изменяют своему долгу по отношению к государю, их покровителю и отцу, — объявил он серьезным и проникновенным голосом. — Тогда он с глубокой скорбью в сердце бывает вынужден сменить карающей лозой оливковую ветвь милосердия. К счастью, — продолжал глашатай, — всемогущий господь, охраняя от злоумышленников престол, по благим деяниям и справедливости подобный его собственному, сам карает тех, кто, по его непогрешимому суждению, всех виновнее, освобождая от этого тягостного бремени своего наместника на земле и предоставляя монарху другую, куда более привлекательную задачу — прощать тех, кто был хитро введен в заблуждение и опутан сетями измены. Ныне мы являемся свидетелями праведного суда. Да будет известно

всей Греции и подвластным ей фемам, что некий негодяй по имени Агеласт, который втерся в доверие к монарху, притворившись обладателем глубоких познаний и строгой добродетели, замыслил предательское убийство императора Алексея Комнина и государственный переворот. Этот человек, скрывавший под показною ученостью приверженность к язычеству и порочную склонность к сластолюбию, нашел себе последователей даже в царской семье и среди приближенных императора, а также среди низшего сословия; чтобы подстрекнуть народ к мятежу, он распространил множество, слухов, им же выдуманных, подобно слуху о смерти и слепоте Урсела; в лживости этого утверждения вы сами сейчас убедились.

До сих пор люди слушали молча, но при этих словах они стали выражать бурное одобрение. Едва шум утих, как снова загредел голос глашатая:

— Никого, даже Кору, Дафана и Авирана, не наказал разгневанный господь столь справедливо и поучительно, как злодея Агеласта,— продолжал он.— Твердь земная разверзлась, чтобы поглотить вероотступных сынов Израиля, а этот низкий человек, как нам теперь стало известно, был лишен жизни не кем иным, как нечистым духом, которого преступник сам же и вызвал из ада. Сей дух, как о том свидетельствуют благородная дама и другие женщины, при коих умер Агеласт, задушил гнусного негодяя — участь, вполне им заслуженная. Однако подобная смерть, пусть даже тяжкого грешника, омрачила нашего исполненного благих чувств императора, ибо она означает вечные муки и в загробном мире. И все же это страшное происшествие утешительно тем, что избавляет государя от необходимости дальнейшего мщения, поскольку небо пожелало его ограничить, само примерно наказав главу заговорщиков. Хотя некоторые перемещения должностных лиц и будут произведены, дабы обеспечить всеобщую безопасность и порядок, тем не менее имена тех, кто был — или небыл — замешан в этом злодеянии, останутся в тайне, хранимые в сердцах самих виновных, ибо император решил забыть о нанесенной ему обиде, считая ее плодом преходящих заблуждений. Пусть поэтому все, кто сейчас внимает мне, каково бы ни было их участие в замышлявшихся на сегодняшний день действиях, вернутся в свои дома, зная, что наказанием им послужат только их собственные мысли. Да возрадуются они, что милость всевышнего спасла их от пагубных намерений, и, как сказано в священном писании, «да раскаяются они и не грешат более, дабы их не постигло худшее».

Глашатай умолк, и в ответ на его слова снова раздались клики, выражавшие единодушное одобрение, ибо обстоятельства убедили мятежников в том, что они находятся во власти императора, что, как это следовало из указа, ему все известно и что в любую минуту он мог бы направить против них алебарды варягов, причем, судя по условиям, на которых он принял Танкреда, войска апулийца тоже были бы в его распоряжении.

Поэтому гигант Стефан, центурион Гарпакс и другие мятежники из числа горожан и воинов первыми громко изъявили свою благодарность за милосердие императора и воззвали к богу о продлении его жизни.

Тем временем народ, быстро свыкнувшись с мыслью о раскрытии и провале заговора, вспомнил, по своему обыкновению, о том, для чего он — с виду по крайней мере — пришел сюда; перешептывания перешли в общий ропот: горожане были недовольны, что их слишком долго держат в неведении относительно зрелища, которое им было обещано.

Расположение духа толпы не воспользовало от внимания Алексея; по данному им знаку трубы сыграли военный сигнал — куда более бодрый, нежели тот, который прозвучал перед императорским указом.

— Роберт, граф Парижский, — провозгласил глашатай, — присутствуешь ли ты здесь сам или кто-нибудь из рыцарей уполномочен тобой принять вызов августейшего Никифора Вриенния, кесаря империи?

Полагая, что благодаря принятым им мерам обе названные стороны не явились на поле боя, император подготовил взамен другое зрелище — клетки с дикими зверьми, которых должны были выпустить и натравить друг на друга для развлечения толпы. Какова же была его тревога и досада, когда он увидел облаченного в полные боевые доспехи графа Роберта Парижского, появившегося после призыва глашатая в одном из входов на арену; за ним вывели из-за занавеса коня в боевой кальчуге, на которого граф, очевидно, готов был вскочить по первому знаку распорядителя поединка.

Когда же люди увидели, что кесарь так и не вышел навстречу грозному франку, всех, кто окружал императора, да и его самого, охватили смятение и стыд, но, к счастью, ненадолго. Не успели глашатаи должным образом провозгласить имена и титулы графа Парижского и вторично вызвать его противника, как на арену выбежал человек в одежде варяжского воина и объявил, что готов

сразиться за честь империи от имени и взамен Никифора Вриенния.

Алексей с великой радостью принял эту неожиданную помощь и охотно дозволил смелому воину, появившемуся в столь трудную минуту, взять на себя это опасное дело — вступить в бой с графом Парижским. Он так быстро согласился еще и потому, что сразу узнал воина по его росту и облику, а также доблестному поведению и полностью доверился его отваге. Но тут вмешался принц Танкред.

— Мериться силами на арене могут лишь рыцари и знатные люди, — сказал он, — или же в крайнем случае те, кто равен друг другу по происхождению и благородству крови, поэтому я не могу оставаться молчаливым свидетелем такого нарушения всех законов рыцарства.

— Пусть граф Роберт Парижский посмотрит мне в лицо и вспомнит свое обещание сразиться со мной, невзирая на неравенство нашего положения! — воскликнул варяг. — Пусть скажет во всеуслышание, что, дав согласие на этот поединок, он тем самым только выполнит обязательство, которым уже давно себя связал.

Тут граф Роберт выступил вперед и заявил, что несмотря на разницу в их происхождении, он не отказывается от своего торжественного обещания сойтись с этим доблестным воином на поле брани. Он высоко ценит выдающиеся добродетели храбреца варяга и большие услуги, которые тот ему оказал, и сожалеет, что тем не менее им предстоит кровавая схватка; но так как воинская судьба часто заставляет друзей биться друг с другом насмерть, он не станет уклоняться от взятого на себя обязательства; достоинство же его ни в коей степени не умалится и не померкнет от того, что он вступит в единоборство с человеком столь известным и с такой доброй славой, как доблестный Хирвард. Граф сказал также, что готов драться пешим и на алебардах — обычном оружии варяжской стражи.

Пока он говорил, Хирвард стоял неподвижно, словно изваяние; когда же Роберт Парижский умолк, он, почтительно поклонившись ему, выразил признательность за оказанную честь и за то благородное мужество, с каким граф намерен выполнить данное им слово.

— Что ж, нам остается только поскорее приступить к делу, — со вздохом сказал граф: даже страсть к поединкам не могла заглушить в нем сожаление. — Пусть душа страдает, но рука должна исполнить свой долг.

Хирвард согласился с этим, добавив:

— Не будем терять времени; оно и так летит слишком быстро.

И, схватив свою алебарду, он стал ждать начала боя.

— Я готов,— ответил граф Роберт Парижский, тоже взяв алебарду, у одного из стоявших возле самой арены варягов.

Противники тотчас же заняли исходное положение, и теперь уж ничто не могло помешать им сразиться.

Первые удары были нанесены и отражены с большой осторожностью. Принц Танкред и его спутники даже подумали, что у графа она намного превышает обычную; но в бою, как и в еде, аппетит со временем разыгрывается. Как обычно, звон оружия и ощущение боли пробудили страсти; обе стороны свирепо наносили удары, отражая встречные выпады с трудом и не настолько успешно, чтобы избежать кровопролития. Греки с удивлением взирали на редкое для них зрелище поединка; затаив дыхание, они следили за тем, с какой яростью противники нападают друг на друга, уверенные, что следующий удар окажется для кого-нибудь из сражающихся смертельным. Хотя их сила и ловкость многим казались равными, более опытные зрители считали, что граф Роберт не хочет в полной мере пустить в ход свое прославленное воинское искусство; все также заметили и признали, что граф, бесспорно, пошел на большую уступку, не настояв на своем праве сражаться верхом. С другой стороны, по общему мнению, великодушный варяг тоже неоднократно отказывался от тех возможностей, которые предоставляла ему горячность графа Роберта, раззадоренного длительной борьбой.

Наконец случай решил исход встречи этих равносильных противников. Граф Роберт, сделав ложный выпад, нанес Хирварду с другой, неприкрытой стороны удар острием своей алебарды с такой силой, что варяг зашатался и чуть не упал. По рядам собравшихся пронесся глубокий вздох — обычное в таких случаях выражение сочувствия и тревоги; в этот момент какая-то женщина громко и взволнованно вскричала:

— Граф Роберт Парижский! Не забывай, что ты обязан жизнью небу и мне!

Граф уже собрался повторить удар, последствия которого трудно было предугадать, когда услышал этот возглас, сразу отбивший у него охоту продолжать поединок.

— Я признаю свой долг,— сказал он, опуская алебарду, и отступил на два шага от противника; удивленный варяг, еще не совсем пришедший в себя после оглушительного удара, который чуть было не уложил его на месте,

тоже опустил алебарду и напряженно ждал дальнейших событий.— Я признаю свой долг,— повторил доблестный граф Парижский,— перед Бертой из Британии и господом богом, не дозволившим мне пролить кровь вместо того, чтобы выразить благодарность. Вы видели наш поединок,— обратился он к Танкреду и его рыцарям,—и можете засвидетельствовать, что он велся обеими сторонами честно, на равных основаниях. Мой досточтимый противник, полагаю, удовлетворил уже свое желание сразиться со мной, тем более что оно не было вызвано ни ссорой ни тайной обидой. Я же сам перед ним настолько в долгу, что продолжать бой, когда мне нет надобности защищаться, было бы с моей стороны постыдно и грешно.

Алексей с радостью согласился на примирение противников, которого он совсем не ожидал, и бросил наземь свой жезл в знак окончания поединка. Танкред был несколько удивлен и даже, быть может, возмущен тем, что простому воину императорской стражи удалось так долго противостоять самым искусным выпадам всеми почитаемого рыцаря, но был вынужден признать, что бой велся по всем правилам, с равными силами и что обе стороны вышли из него с честью. Крестоносцы уже давно и хорошо изучили натуру графа Парижского и поэтому не сомневались, что причина, по которой он, вопреки своему обыкновению, предложил закончить поединок до того, как чья-нибудь смерть или поражение решили его исход, была весьма уважительной. Таким образом, все приняли решение императора, присутствовавшие военачальники признали его, а народ подкрепил одобрительными возгласами.

Пожалуй, самым примечательным лицом среди собравшихся был в эту минуту наш храбрый варяг, так неожиданно заслуживший воинскую славу, о которой он и не помышлял,— настолько ему было трудно сопротивляться графу Роберту; впрочем, эта скромность ничуть не мешала ему отважно сражаться с грозным соперником. Он стоял посреди арены; его лицо пылало как от боевых трудов, так и от смущения, вполне понятного у прямого и простого человека, внезапно ставшего предметом всеобщего внимания.

— Скажи мне, храбрый воин,— обратился к нему Алексей, в самом деле преисполненный признательности к Хирварду за удивительный оборот, который приняли события,— скажи своему императору, как человеку, стоящему ниже тебя — ибо в эту минуту ты поистине его превосходишь,— чем он может вознаградить тебя за то, что ты спас его жизнь и, более того, защитил и сберег честь

его страны? Я готов отдать тебе половину своего государства.

— Ты слишком высоко ценишь мои скромные услуги, государь,— ответил Хирвард.— Твои похвалы относятся скорее к доблестному графу Парижскому — во-первых, потому, что он снизошел до поединка со столь ничтожным противником, как я, а во-вторых, потому, что он великодушно отказался от победы, когда мог утвердить ее еще одним, последним ударом. Я должен признаться и тебе, государь, и моим соратникам, и собравшимся здесь гражданам Греции, что когда граф так благородно прервал бой, я все равно уже был не в состоянии продолжать его.

— Зачем ты так несправедлив к себе, храбрый воин! — воскликнул граф Роберт.— Я готов поклясться нашей Владычицей сломанных копий, что исход поединка еще не был решен провидением, когда мои собственные чувства воспрепятствовали мне ранить — и, быть может, смертельно — того, чьей доброте я стольким обязан. Избери поэтому награду, которую справедливо предлагает тебе твой признательный и щедрый император, и не бойся, что кто-нибудь дерзнет назвать ее незаслуженной: я, Роберт Парижский, докажу своим мечом, что, сражаясь со мной, ты ее доблестно завоевал.

— Ты слишком знатен и благороден, граф, чтобы такой простой воин, как я, посмел тебе противоречить,— ответил англосакс,— и мне не следует сеять новые раздоры между нами пререканиями о причинах, которые привели к такому неожиданному завершению нашего поединка; да, я поступлю неумно и неблагоразумно, если стану возражать тебе. Мой августейший государь великодушно дает мне право самому избрать то, что он именует наградой, но я молю его не оскорбиться, если не у него, а у тебя я попрошу милости, которая для меня так важна, что я едва смею ее назвать.

— И она, видимо, связана с Бертой, верной прислужницей моей жены? — спросил граф.

— Ты не ошибся; я хотел бы, чтобы мне дозволили покинуть варяжскую стражу и принять участие в вашем благочестивом и почетном подвиге, сражаясь под твоим славным знаменем за освобождение Палестины и время от времени напоминая о своей любви Берте, прислужнице графини Парижской; надеюсь, что ее высокородные господа отнесутся к этому благосклонно. И еще я надеюсь, что потом я все-таки вернусь в ту страну, которую никогда не переставал любить превыше всего на свете.

— Если ты примкнешь к моему войску, благородный

варяг, мне это будет не менее приятно, чем если бы в него вступил знатный рыцарь,— сказал граф.— Любую возможность заслужить почести с великой радостью первому предоставляю тебе. Не буду хвастать расположением ко мне английского короля, но все же, должен сказать, некоторый вес при его дворе я имею и приложу все старания, чтобы ты мог вернуться на любимую родину и поселиться там.

Тут заговорил император.

— Призываю в свидетели небеса и землю, вас, мои верноподданные, вас, мои доблестные союзники, и прежде всего вас, мои смелые и честные телохранители — варяги,— сказал он,— что я предпочел бы лишиться самого драгоценного украшения моей короны, нежели отказаться от услуг этого честного и верного англосакса. Но если уж он хочет и должен покинуть нас, милости, коими я его осыплю, до конца его жизни должны напоминать людям о том, что император Алексей Комнин перед ним в таком долгу, какой не смогут оплатить все сокровища его империи. Прошу тебя, благородный Танкред, и всех твоих военачальников отужинать сегодня с нами, а завтра вы продолжите свой достойный, благочестивый поход. Надеюсь, оба участника поединка почтят нас своим присутствием. Трубачи, трубите отбой!

Звуки труб разнеслись над ареной, и все зрители, вооруженные и невооруженные, построившись в ряды или разбившись на отдельные группы, двинулись по направлению к городу.

Но тут раздались испуганные крики женщин, и все остановились; оглянувшись назад, люди увидели огромного орангутанга Сильвена, который, к их удивлению и ужасу, неожиданно появился на арене. Женщины, да и большинство находившихся там мужчин впервые видели жуткую фигуру и свирепую физиономию этого необыкновенного существа; они завопили от страха так громко, что перепугали того, кто был виновником переполоха. Сильвен перелез ночью через ограду и убежал из садов Агеласта; затем он перебрался через городскую стену и без труда нашел себе пристанище на воздвигаемой арене, где спрятался в каком-то темном углу, под скамьями для зрителей. Когда люди стали расходиться, шум, очевидно, испугнул Сильвена; он вылез из своего укрытия и, совсем того не желая, возник перед людьми, наподобие знаменитого Пульчинеллы, когда тот в конце представления вступает в смертельный бой с самим дьяволом; но даже эта сцена никогда не наводила на детей такого ужаса, какой вызвало у по-

кидавших арену зрителей неожиданное появление Сильвена. Воины похрабрее сразу же натянули тетивы и нацелились дротиками в удивительное животное; оно было таких исполинских размеров и покрыто такой странной красновато-серой шерстью, что внезапно увидевшие его люди вообразили, будто перед ними или сам сатана, или один из тех жестоких богов, которым в древности поклонялись язычники. Сильвену уже не раз представлялся случай убедиться, как опасны для него воины, вставшие в боевую позицию; поэтому, завидя Хирварда, к которому он в известной степени привык, орангутанг поспешно бросился к варягу, как бы умоляя его о защите. Его уродливую, нелепую физиономию исказила гримаса страха; схватив варяга за плащ и что-то невнятно бормоча, обезьяна как бы пыталась сказать, что боится и просит покровительства. Хирвард понял, чего хочет дрожащее от ужаса животное, и, обернувшись к императорскому трону, громко произнес:

— Бедное, перепуганное существо, принеси свои мольбы и покажи, как ты боишься, тому, кто помиловал сегодня стольких коварных злоумышленников; я уверен, что он великодушно простит существу, лишь наполовину разумному, все его проступки.

Орангутанг, со свойственной его племени переимчивостью, очень выразительно повторял жесты Хирварда, которыми тот подкреплял свою просьбу; несмотря на всю серьезность предшествовавших событий, император не мог удержаться от смеха, глядя на эту заключительную сцену, внесшую в них комическую ноту.

— Мой верный Хирвард,— обратился он к варягу (мысленно прибавив: «Постараюсь никогда больше не называть его Эдуардом»),— все, кому грозит опасность, будь то люди или звери, находят у тебя прибежище, и, пока ты еще служишь нам, мы удостоим внимания всякого, кто действует через твое посредничество. Возьми, добрый Хирвард,— теперь это имя прочно засело в памяти императора,— тех своих товарищей, кто знаком с повадками этого животного, и отведите его во Влахерн, туда, где он раньше обитал. И не забудь, что мы ждем тебя и твою верную подругу к ужину, чтобы ты поделил его с нами, с нашей супругой и дочерью, а также с теми из наших приближенных и союзников, кои удостоены такого же приглашения. Да будет тебе известно, что, пока ты не покинул нас, мы будем охотно оказывать тебе всевозможные почести. Ты же, Ахилл Татий, приблизься ко мне — твой государь возвращает тебе свое расположение, которого ты чуть было не лишился сегодня. Все обвинительные речи, кото-

рые нам нашептывали против тебя, будут забыты благодаря нашему дружественному отношению, если только — от чего да избавит нас бог! — новые проступки не освежат их в нашей памяти.

Ахилл Татий так низко склонил голову, что перья его шлема смешались с гривой норовистого коня; однако он счел благоразумным промолчать, чтобы и его вина и прощение Алексея Комнина оставались названными лишь в тех общих словах, какие пожелал употребить сам император.

Толпы зрителей снова отправились в обратный путь, и больше их уже ничто не останавливало. Сильвена же в сопровождении нескольких варягов повели как бы под стражей во влахернское подземелье, где ему и надлежало находиться.

По дороге в город уже известный нам центурион Бесмертных Гарпакс завел разговор с некоторыми из своих воинов и горожан, которые принимали участие в неудавшемся заговоре.

— Да, хороши мы были, что позволили тупоголовому варягу опередить и предать нас,— сказал гимнаст Стефан.— Все обернулось против нас, как обернулось бы против башмачника Коридона, решишь он помериться силами со мною в цирке. Смерть Урсела всех взбаламутила, и оказывается, он и не думал умирать; но от того, что он жив, толку нам очень мало. Вчера этот молодчик Хирвард был ничуть не лучше меня, да что я говорю — лучше! — куда хуже, полное ничтожество! — а сегодня его так завалили почестями, похвалами, дарами, что он уже нос от них воротит. Наши же сообщники, кесарь и главный телохранитель, потеряли любовь и доверие императора. Если им и дозволили остаться в живых, то лишь наподобие какой-то домашней птицы: сегодня их откармливают, а завтра свернут шею, чтобы отправить на вертел или в кастрюлю!

— Для палестры ты сложен как нельзя лучше, Стефан,— ответил ему центурион,— а вот ум у тебя мало отточен для того, чтобы отличить действительное от вероятного в политике, хоть ты сейчас и берешься судить о ней. Когда человек вступает в сообщничество с заговорщиками, он многим рискует и должен почитать за счастье для себя, если ему удастся остаться в живых и не потерять своего звания. Так оно получилось с Ахиллом Татием и с кесарем. У них не отняли высокого положения, они по-прежнему облечены доверием и властью, и в будущем император вряд ли посмеет их тронуть, раз он даже теперь, зная их вину, не решился на это. По сути дела

сохраненное ими могущество — наше; не думаю, чтобы обстоятельства принудили их выдать государю своих сообщников. Куда вероятнее, что они будут помнить о нас и возобновят прерванные связи, когда настанет подходящее время. Поэтому не теряй своей благородной решимости, о властитель цирка, и не забывай, что ты отнюдь не утратил влияния, которым пользуются на жителей Константинополя любимцы амфитеатра.

— Возможно, ты и прав,— сказал Стефан,— но мне все время словно червь гложет сердце оттого, что этот нищий чужеземец предал благороднейших людей империи, не говоря уже о лучшем атлете палестры, и не только не был наказан за измену, но, напротив, получил и похвалы, и почести, и высокие отличия.

— Совершенно верно, но не забудь, любезный друг, что он намерен убраться отсюда,— возразил Гарпакс.— Он покидает Грецию и уходит из войска, где мог надеяться на повышение и всякие пустые знаки отличия, которые мало чего стоят. Через несколько дней Хирвард станет всего лишь отставным воином и будет жить на тех жалких хлебах, какие имеют телохранители этого нищего графа, или, вернее, какие им удастся добыть в борьбе с неверными,— а в этой борьбе ему придется скрестить свою алебарду с турецкими саблями. Когда он изведает и бедствия, и резню, и голод в Палестине, какой ему будет толк от того, что его некогда допустили на ужин к императору? Мы знаем Алексея Комнина — он охотно и щедро расплачивается с такими людьми, как Хирвард; но поверь мне, я уже вижу, как этот коварный деспот насмешливо пожмет плечами, когда в один прекрасный день ему сообщат, что крестоносцы проиграли битву за Палестину и его старый знакомец сложил там свои кости. Я не стану оскорблять твоего слуха рассказом о том, как легко можно приобрести благосклонность прислужницы знатной дамы; не считаю я также, что некоему борцу, пожелай он того, было бы трудно раздобыть гигантского павиана вроде Сильвена; впрочем, любой франк был бы, несомненно, низведен до положения шута, вздумай он столь постыдным способом зарабатывать себе на пропитание у подыхающих с голоду европейских рыцарей. И тот, кто способен унизиться до зависти к судьбе подобного человека, не имеет права оставаться первейшим любимцем амфитеатра, хоть он и заслужил это звание своими редкостными достоинствами.

В этом софистическом рассуждении крылось нечно не совсем понятное тупоумному борцу, к которому оно было

обращено. Поэтому он отважился лишь на следующий ответ:

— Однако ты забываешь, благородный центурион, что, помимо пустых почестей, этому варягу Хирварду, или Эдуарду, или как он там зовется, обещано в дар немало золота.

— Ловкий выпад! — воскликнул центурион. — Да, если ты скажешь мне, что обещание выполнено, я охотно соглашусь, что англосаксу можно позавидовать; но пока это всего лишь обещание, и ты уж прости меня, досточтимый Стефан, но оно стоит не больше тех посулов, которыми нас с варягами все время кормят: будут у нас золотые горы... когда рак свистнет! Поэтому держись, славный Стефан, не думай, что твои дела стали хуже из-за сегодняшней неудачи; собери все свое мужество, помни, для чего оно тебе понадобится, и верь: твоя цель по-прежнему достижима, хотя волею судьбы день нашего торжества еще не наступил.

Так, в расчете на будущее, опытный и непреклонный заговорщик Гарпакс подбадривал павшего духом Стефана.

После описанных событий те, кто был приглашен императором, отправились к нему на ужин; Алексей и все его разнообразные гости были так приветливы и ласковы друг с другом, что трудно было поверить, будто несколько часов тому назад могли свершиться опасные изменнические замыслы.

Отсутствие графини Бренгильды в течение всего этого дня, богатого происшествиями, немало удивило императора и его приближенных, знавших, как она предприимчива и как ее должен интересовать исход поединка. Берта заранее известила графа, что волнения последних дней так подействовали на его супругу, что она вынуждена остаться в своих покоях. Сообщив своей верной жене о том, что он цел и невредим, доблестный рыцарь присоединился затем к участникам пиршества во дворце и вел себя так, словно ничто и не напоминало ему о вероломном поступке императора на предыдущем пире. К тому же он знал, что сопровождавшие Танкреда рыцари не только внимательно следили за домом, где жила Бренгильда, но и поставили надежную стражу вблизи Влахерна, которая должна была охранять как их отважного вождя, так и графа Роберта, всеми почитаемого участника крестового похода.

Европейские рыцари, как правило, не позволяли недоверию смущать их после окончания распри — то, что однажды прощено, следует забыть, ибо оно уже не может

повториться, но в результате событий этого дня в Константинополе скопилось слишком много войска, и крестоносцам надлежало соблюдать особую осторожность.

Само собой разумеется, что вечер прошел без всяких попыток повторить в зале для совещаний церемониал с Соломоновыми львами, который закончился в прошлый раз таким недоразумением. Было бы, несомненно, гораздо лучше, если бы могущественный властитель Греции и доблестный граф Парижский объяснились друг с другом с самого начала, ибо, зрелом размышлении, император пришел к выводу, что франки не из тех людей, на кого могут произвести впечатление какие-то механизмы и тому подобные безделицы: то, чего они не понимают, вызывает у них не трепет ужаса и не восторг, а, напротив, гнев и возмущение. Граф же, со своей стороны, заметил, что нравы восточных народов отнюдь не соответствуют тем жизненным правилам, к которым он привык: греки были куда меньше проникнуты духом рыцарства и, как он сам говорил, недостаточно разделяли его поклонение Владычице сломанных копий. Несмотря на это, граф Роберт понимал, что Алексей Комнин — мудрый властитель и тонкий политик; возможно, в его мудрости искусно сохранять власть над умами своих подданных, необходимую и для их блага и для него самого. Посему граф решил спокойно выслушивать все любезности, равно как и шутки императора, чтобы новой ссорой, вызванной неверным толкованием слов Алексея или какого-нибудь придворного обычая, не нарушить согласия, сулившего христианскому воинству большую пользу. Граф Парижский придерживался этого благоразумного решения весь вечер, хотя далось оно ему нелегко, ибо не вязалось с его вспыльчивым и пытливым нравом; он всегда доискивался точного значения каждого слова, с которым к нему обращались, и тотчас же вспыхивал, если ему казалось, будто оно содержит умышленное или даже неумышленное оскорбление.

ГЛАВА XXXIV

Граф Роберт Парижский вернулся в Константинополь только после взятия Иерусалима; откуда он, вместе с женой и теми из своих соратников, которых пощадили в этой кровопролитной войне меч и чума, пустился в обратный путь на родину. По прибытии в Италию граф и графиня прежде всего пышно отпраздновали свадьбу Хирварда с его верной Бертой, несомненные права которых на привязанность доблестной четы теперь еще умножились благодаря преданной службе Хирварда в Палестине и заботливому уходу Берты за графиней в Константинополе.

Что касается судьбы Алексея Комнина, мы можем узнать о ней из пространного труда его дочери Анны, которая представила его там героем, одержавшим, по словам порфирородной сочинительницы, множество побед с помощью не только оружия, но и расчета: «Иные битвы он выиграл благодаря одной лишь смелости, но случилось, что он был обязан своим успехом военным хитростям. Он снискал себе величайшую славу тем, что не отступал перед опасностью, сражаясь рядом с простыми воинами и бросаясь с непокрытой головой в самую гущу вражеского войска. Бывали, однако, и такие случаи,— продолжает высокоученая царица,— когда он завоевывал победу, делая вид, что охвачен паникой, и даже прикидываясь, будто спасается бегством. Короче говоря, он умел добиваться удачи, и отступая перед неприятелем и преследуя его; а когда враги, казалось, уже сбивали его с ног, снова вставал перед ними во весь рост, напоминая военное орудие, называемое «подметные каракули», которое, каким бы образом его ни бросить наземь, всегда падает острием кверху.

Справедливости ради мы должны показать здесь, как защищается царица от обвинений в пристрастности.

«Я должна еще раз опровергнуть многочисленные упреки в том, что описать жизнь моего отца меня побудила естественная любовь к родителям, навеки запечатленная в сердцах детей. Нет, не привязанность к тому, кто даровал мне жизнь, а сами события заставили меня рассказать о них так, как я это сделала. Разве человек не может чтить память своего отца и в то же время любить правду? Я никогда не стремилась в своем труде к какой-либо иной цели, кроме описания того, что было на самом деле. Имея это в виду, я и избрала своим предметом жизнеописание замечательного человека. Неужели то обстоятельство, что он был моим родителем, должно пойти мне во вред и ли-

шить меня доверия читателя? Справедливо ли это? Были случаи, когда я дала немало веских доказательств того, сколь горячо я принимала к сердцу интересы отца, и тот, кто знает меня, никогда в этом не усомнится; но здесь я ограничила себя нерушимой верностью истине, и совесть никогда не позволила бы мне отступить от нее во имя того, чтобы возвеличить деяния моего отца» («Алексиада», глава III, книга XV).

Мы сочли себя обязанными привести эти строки, чтобы отдать должное прекрасной бытописательнице; мы хотим также привести отрывки из описания смерти Алексея Комнина, охотно при этом признавая, что, говоря о свойствах, которые были присущи царевне, наш Гиббон почти всегда проницателен и справедлив.

Анна Комнин неоднократно утверждала, что истина без прикрас и оговорок ей дороже, чем память покойного отца. Тем не менее, Гиббон совершенно прав, когда пишет следующее:

«Вместо простоты слога в повествовании, естественно вызывающей доверие, мы находим на каждой странице искусную и напыщенную риторику, а также стремление показать свою ученость, которые выдают женское тщеславие автора. Подлинную натуру Алексея заслоняет туманное созвездие его добродетелей, а обилие чрезмерных восхвалений и оправданий заставляет нас усомниться в правдивости историка и достоинствах героя. Однако мы не можем отказать в справедливости и глубине замечанию Анны Комнин, что и своими неудачами и своей славой император был обязан господствовавшей в те времена смуте и что небесное правосудие, вкупе с пороками предшественников Алексея, именно в период его царствования обрушило на империю все бедствия, какие только могут постигнуть приходящее в упадок государство» (Гиббон, «Римская империя», т. IX, стр. 83, сноска).

Отсюда проистекает уверенность царевны в том, что некие знамения, небесные и земные, были правильно истолкованы прорицателями и действительно возвещали смерть императора. Таким образом, Анна Комнин отнесла на счет своего отца те явления, которые, по мнению древних историков, показывали, что сама природа дает нам знать об уходе какого-то великого человека из мира сего; впрочем, царевна не преминула сообщить своим читателям-христианам, что отец ее не верил во все эти предсказания и даже при описанном ниже необыкновенном происшествии не изменил своим убеждениям. Оставшаяся со времен язычества великолепная статуя на порфировом

цоколе, которая держала в руке золотой скипетр, была опрокинута бурей. Все сочли это предзнаменованием смерти императора, но сам он, однако, решительно отверг эту мысль.

— Фидий и другие великие ваятели древности умели удивительно верно воспроизводить человеческое тело,— сказал он,— но предполагать, что эти произведения искусства обладают способностью предсказывать будущее, значит приписывать их создателям могущество, присущее одному лишь всевышнему, который недаром изрек: «Ниспосылаю смерть и дарую жизнь я».

В последние свои дни император тяжело страдал от подагры, происхождение которой занимало умы многих ученых, в том числе и Анны Комнин. Несчастный больной был так ею изнурен, что когда императрица заговорила с ним о том, чтобы привлечь к составлению его жизнеописания авторов, прославленных своим красноречием, он сказал с естественным презрением к подобной суетности:

— События моей горестной жизни должны скорее вызывать слезы и сетования, нежели похвалы, о которых ты говоришь.

Когда к подагре прибавилось удушье, все средства врачевания оказались такими же тщетными, как молитвы, возносившиеся монахами и духовенством, равно как и щедрая милостыня, раздаваемая всем без разбора. Император несколько раз подряд лишался чувств, что явилось зловещим предзнаменованием близкого удара; вслед за тем пришли к концу царствование и жизнь Алексея Комнина, монарха, чьи намерения были столь возвышенны, что, невзирая на все приписываемые ему недостатки, его по праву можно считать одним из лучших властителей Восточной империи.

Перестав на время кичиться своей ученостью, царица Анна как простая смертная начала рыдать и вопить, рвать на себе волосы и царапать лицо; тем временем императрица Ирина сбросила царский наряд, обрезала волосы, сменила пурпурные сандалии на черные траурные башмаки, а ее дочь Мария, тоже вдовствующая, подала матери одно из своих черных одеяний.

«В ту самую минуту, как она его надела,— говорит Анна Комнин,— император испустил дух, и солнце моей жизни закатилось».

Мы не станем приводить далее ее сетования. Она укоряет себя в том, что пережила не только отца, этот светоч всей земли, но и Ирину, отраду Востока и Запада, а также собственного супруга.

«Меня охватывает негодование при мысли о том, что моя душа, исстрадавшаяся от такого потока несчастий, все еще благоволит оживлять мое тело,— говорит царевна.— Разве я не холодней, не бесчувственней, чем сами скалы? И разве не права судьба, подвергая столь тяжким испытаниям ту, что смогла пережить таких родителей и такого мужа? Однако закончим сие жизнеописание и не станем более утомлять читателей бесплодными и горькими жалобами».

Заключив, таким образом, свой труд, она добавляет следующие строки:

Лишь пробил Алексея смертный час,
Дочь об отце прервала свой рассказ.

Приведенные отрывки, надо полагать, дадут читателям достаточное представление о подлинной натуре августейшей бытописательницы. Нам остается сказать еще несколько слов о других лицах, упомянутых в ее труде и избранных нами в качестве героев описанных выше драматических событий.

Почти нет сомнений в том, что граф Роберт Парижский,— человек весьма примечательный, о чем говорит та смелость, с какой он уселся на трон императора,— действительно занимал высокое положение; по мнению ученого историка Дюканжа, именно он был родоначальником династии Бурбонов, так долго правившей Францией. Видимо, он вел свой род от графов Парижских, которые доблестно защищали этот город от норманнов, и был предком известного всем Гуго Капета. Касательно последнего существует немало противоречивых мнений; одни считают, что он потомок некой саксонской фамилии, другие — святого Арнульфа, епископа Альтекского, третьи — Нибелунгов, четвертые — герцога Баварского, пятые — побочного сына императора Карла Великого. Во всех этих соперничающих между собой родословных присутствует, занимая различные положения, упомянутый Роберт, прозванный Сильным, владетель графства, носившего странное название Иль-де-Франс, главным городом которого был Париж. Анна Комнин, описавшая, как этот надменный военачальник дерзостно сел на трон императора, поведала нам и о том, как тяжело, почти смертельно, он был ранен в битве при Дорлее из-за того, что пренебрег советами ее отца, имевшего опыт в войнах с турками. Если какой-либо исследователь старины пожелает досконально изучить этот предмет, мы рекомендуем ему обратиться к подробной «Родословной царствующего дома Франции», составлен-

ной покойным лордом Эшбернемом, а также к примечанию Дюканжа об историческом труде царевны, стр. 362, где он доказывает, что «ее «Роберт Парижский, высокомерный варвар» и «Роберт, по прозванию Сильный» считающийся предком Гуго Капета,— одно лицо. Следует справиться также у Гиббона — том XI, стр. 52. И французский ученый и английский историк равным образом склонны видеть ту церковь, которую мы называли храмом Владычицы сломанных копий, в церкви, посвященной святому Друзу, или Дрозену, Суассонскому; считалось, что этот святой имел особое влияние на исход сражений и решал его в пользу того из противников, кто проводил ночь перед боем у его алтаря.

Из уважения к полу одной из героинь нашего повествования автор предпочел святому Друзу Владычицу сломанных копий, считая, что она больше подходит в качестве покровительницы амазонкам, которых было немало в те времена. Например, Гета, жена грозного воителя Роберта Гискара, подарившая миру целое поколение сыновей-героев, сама была амазонкой и сражалась в первых рядах норманнов; о ней неоднократно упоминает и наша августейшая писательница Анна Комнин.

Читатель, конечно, не сомневался, что Роберт Парижский выделялся среди своих соратников крестоносцев. Он стяжал себе славу у стен Антиохии, но в битве при Дорилее был так тяжело ранен, что не смог принять участие в самом величественном событии похода. Зато его героической супруге выпало великое счастье подняться на стены Иерусалима и, таким образом, исполнить и свой и мужнин обет. Произошло это более чем своевременно, ибо, по мнению врачей, граф был ранен отравленным оружием и лишь воздух родины мог полностью его исцелить. Прождав некоторое время в тщетной надежде, что терпение поможет ему избежать этой неприятной необходимости — или того, что ему представили как необходимость,— граф Роберт покорился ей и вместе с женой, верным Хирвардом и другими спутниками, подобно ему утратившими способность участвовать в боях, отбыл морем в Европу.

На легкой галере, приобретенной за немалые деньги, они благополучно перебрались в Венецию, а из этого прославленного города — в родные края, истратив при этом ту скромную долю военной добычи, которая досталась графу при завоевании Палестины. Граф Парижский оказался счастливее большинства участников похода — за время его отсутствия соседи не захватили его земель. Все же слух о том, что он лишился здоровья и больше не может

служить Владычице сломанных копий, побудили некоторых честолюбцев или зависников из числа этих соседей напасть на его владения, но мужество графини и решимость Хирварда преодолели их алчность. Менее чем через год здоровье полностью вернулось к графу; он снова стал надежным покровителем своих вассалов и несокрушимой опорой властителей французского престола. Последнее обстоятельство позволило ему оплатить свой долг Хирварду щедрее, чем тот ожидал или надеялся. Теперь графа почитали за ум и прозорливость не менее, чем за неустрашимость и доблесть, проявленные им в крестовом походе; поэтому французские монархи неоднократно поручали ему улаживать запутанные и спорные дела, связанные с владениями английского престола в Нормандии. Вильгельм Рыжий, высоко ценивший достоинства Роберта Парижского, понимал, насколько важно приобрести его расположение; узнав, что он хотел бы помочь Хирварду вернуться в отчизну, Вильгельм воспользовался случаем — или сам создал таковой — и, отобрав у какого-то мятежного рыцаря обширные владения, пожаловал их затем нашему варягу; эти владения прилегали к Нью-Форесту, где некогда скрывался отец Хирварда. Там, как утверждает молва, потомки храброго воина и его Берты жили из поколения в поколение, стойко выдерживая превратности времени, которые столь часто оказываются роковыми для более знатных семей.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I	3
Глава II	10
Глава III	36
Глава IV	53
Глава V	71
Глава VI	86
Глава VII	92
Глава VIII	106
Глава IX	116
Глава X	130
Глава XI	144
Глава XII	148
Глава XIII	152
Глава XIV	173
Глава XV	184
Глава XVI	193
Глава XVII	204
Глава XVIII	211
Глава XIX	226
Глава XX	235
Глава XXI	251
Глава XXII	260
Глава XXIII	266
Глава XXIV	278
Глава XXV	287
Глава XXVI	293
Глава XXVII	308
Глава XXVIII	317
Глава XXIX	325
Глава XXX	335
Глава XXXI	341
Глава XXXII	350
Глава XXXIII	355
Глава XXXIV	368

Літературно-художнє видання

СКОТТ Вальтер
ГРАФ РОБЕРТ ПАРИЗЬКИЙ
роман
(російською мовою)

Відповідальна за випуск *А. Стожук*
Художник-оформлювач *В. Шандиба*
Технічний редактор *В. Сабліна*
Коректор *Є. Орлова*

Здано до набору 05.02.93 р.
Підписано до друку 30.04.93 р. Формат 84×108/32.
Папір офсетний № 1. Гарнітура «Літературна».
Друк офсетний. Ум. друк. арк. 20,16. Ум. фарбо-відб. 20,16.
Зам. № 3-27.

Філія «Експрес» СП «ІНАРТ»
310057, м. Харків, вул. Сумська, 25.

Фірма «Титул» ЛТД
310078, м. Харків, вул. Чернишевська, 59.

Київське орендне поліграфічне підприємство «Книга».
254655, ГСП, Київ-53, вул. Артема, 25.

Скотт В.
С44 **ГРАФ РОБЕРТ ПАРИЗЬКИЙ:** Роман / пер.
з англ. Б. Т. Грибанова та Н. С. Надеждіної.— Хар-
ків: Фірма «Експрес» СП «ІНАРТ», 1993.— 384 с.—
(Сер. «Шукачі пригод»).
ISBN 5-85882-126-X

Запропонований читачеві роман Вальтера Скотта (1771—1832) — основоположника жанру сучасного історичного роману — це захоплююче, сповнене таємничих загадок та інтриг Візантійського двору часів одного з наймогутніших імператорів Олексія Комніна.

Любов і ненависть, шляхетність і зрада, рицарські турніри і підступні змови — чекають читача у романі «Граф Роберт Паризький», названого іменем одного з головних героїв.

